

АШИЛЬ ЛЮШЕР

ФРАНЦУЗСКОЕ
ОБЩЕСТВО
ВРЕМЕН
ФИЛИППА АВГУСТА





ACHILLE LUCHAIRE

LA SOCIÉTÉ
FRANÇAISE AU TEMPS
DE PHILIPPE-AUGUSTE

АШИЛЬ ЛЮШЕР

ФРАНЦУЗСКОЕ
ОБЩЕСТВО ВРЕМЕН
ФИЛИППА АВГУСТА



Санкт-Петербург
2018

ББК 63.3(0)4
УДК 94(44).023
Л 96

Люшер А.

Французское общество времен Филиппа Августа. Перевод с франц. Цыбулько Г. Ф. Под редакцией Малинина Ю. П., — СПб.: «Евразия», 2018. 410 с

ISBN 978-5-8071-0373-4

Время правления французского короля Филиппа Августа (1180–1223) историки часто называют «временем перемен». Франция переживает период стремительного подъема, как политического, так и социально-экономического: зарождается монархия, основанная на сильной и авторитетной королевской власти. За фасадом этих политических событий меняется и общество, разрываемое противоречиями — верностью старым устоям и влиянием новых веяний: по всей Франции растут города, горожане заявляют свои претензии на самоуправление, знать с оружием в руках отстаивает свои привилегии и пытается сдержать горожан и крестьян под своим контролем. Яркий и буйный мир Средневековья в деталях выведен на страницах классика французской медиевистики Ашиля Люшера.

© Цыбулько Г. Ф.,
перевод с франц., 1999

© Юрченко К. А.,
дизайн обложки, 2017

© Оформление, ООО «Издательство
«Евразия», 2017

ISBN 978-5-8071-0373-4

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Перед нами — последняя книга французского медиевиста Ашиля Люшера (1846–1908), итоговый труд его жизни, написанный в виде взаимосвязанных очерков, но лишь по смерти автора сведенный воедино.

Люшер был одним из ярких и блестящих ученых своего времени. В юности он, уже посвятив себя истории, получил образование филолога, и знание Средневековых диалектов расширило для него спектр доступных письменных источников. Стихией Люшера была аудитория: на протяжении всей жизни он преподавал, делаясь знаниями и оттачивая красноречие, вызывая к разуму студентов — но также и к их чувствам. В 1889 году он стал вторым по счету заведующим кафедрой средних веков в Сорбонне, сменив ее основателя — «самого» Н. Д. Фюстеля де Куланжа.

Эрудиция, исследовательский источниковедческий опыт Люшера, его дар рассказчика — все эти незаменимые для историка качества нашли на страницах предлагаемой книги самое полное отражение. Но не это стало сегодня главной причиной переиздания. Люшеру присуща в чем-то крайне современная интонация; я назвал бы ее журналистским пафосом. Хартии, хроники, поэмы — все привлекается для того, чтобы вывести эпоху на чистую воду. Рассказать о ней «все как есть». Горячо сочувствующий своим героям — реальным и литературным персонажам прошлого, «алчущий и жаждущий правды» автор в то же время инстинктивно предпочитает острые ситуации обиденным и строит картину действительности из волнующих, драматических рассказов. Чаще всего это не искажение, а скорее избирательность взгляда, та же, что побуждает хорошего репортера одновременно охотиться за истиной и за сенсацией. Средневековье дало автору несравненный материал: будни, от которых захватывает дух.

Толпы разбойников, алчные сеньоры и мстительные простолудины, подавленный всевозможными хлопотами клир — эпоха Филиппа Августа описана и скорбной, и грозной. Звучат

человеколюбивые проповеди, но они не услышаны; короли вызывают к порядку, но страна снова и снова рассыпается в их руках; У сеньоров человечнее всего получается дурачиться, проявляя гостеприимство; и только в литературных опусах крестьяне добиваются справедливости — да и часто ли они ее ищут?

Но черной краской очерчены белые силуэты: проповедь и порядок, гостеприимство и справедливость предстают на страницах книги Люшера не менее живо и конкретно, чем разбой, своеобразие или повседневные тяготы.

В духе доброго старого позитивизма Люшер твердо верит, что факты говорят сами за себя; радуясь и (чаще) негодуя по поводу деяний прошлого, сопереживая Средневековым французам, он очень мало задается вопросом, столь важным для сегодняшней науки — в чем представления и переживания людей той эпохи отличались от наших? Способны ли мы по-настоящему им сопереживать, или мы только тешим себя таковой иллюзией? Но Люшер сопереживает как умеет, щедро делится этим чувством и не сомневается в его истинности. Его повествование, переполненное и знаниями, и предрассудками, позволяет читателю как бы соучаствовать в действиях Средневековой жизни — однако же это не беллетристика, это строго документальное повествование. Теперь серьезные историки так уже не пишут. И поэтому вновь и вновь будет читаться книга Ашиля Люшера.

*От редакционного совета серии «КЛИО»
Медведев М. Ю.*

ГЛАВА I. МАТЕРИАЛЬНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

«Мир болен; он стареет, да так, что впадает в детство. Народная молва утверждает, что в Вавилоне родился Антихрист и близится конец света».

Написавший эти строки монах Ригор из Сен-Дени не знал, что эту античную формулу во все предшествующие столетия повторяли и многие другие монахи. Но отчего это уныние и зловещие пророчества? А оттого, что у Пап ныне короткая жизнь, и они до странности быстро сменяют друг друга; оттого, что Саладин взял Иерусалим в 1187 г. — году необыкновенном среди всех прочих лет («у всех родившихся в этот год вместо тридцати двух зубов было двадцать два»); наконец, оттого, что природные бедствия, бичи небесные и земные, беспрестанно обрушиваются на людей удар за ударом, повергая их в отчаяние и страх за собственное будущее.

Особенно пугали землетрясения — в 1207 г. в Анжу, в 1214 г. в Нормандии и в 1223 г. в Гаскони. Землетрясение 3 марта 1216 г. почувствовали одновременно в Бургундии и Лимузене. По словам одного монаха монастыря св. Марциала, толчки начались посреди ночи; иноки, занятые в церковном хоре, обратились в бегство, миряне повскакивали с постелей. Заметили, что даже птицы дрожали от страха, а вода в руслах бурлила громче, чем обычно. Чтобы успокоить разгневанные небеса, в Лиможе устроили внеочередную процессию.

За сорок три года (1180–1223) пронеслось семнадцать циклонов с ужасными бурями, были уничтожены посевы и виноградники, разрушены дома, унесены крыши, разбиты колокола и церковные башни, рухнули донжоны. В 1206 г. обрушился донжон крепости Ден-ле-Руа, похоронив под своими руинами благородную даму с двумя сыновьями. Грозы 1221 г. длились восемь

дней и унесли жизни сорока человек в окрестностях Парижа и Бове. Во время обедни в замок Пьерфон ударила молния; совершавший богослужение священник вместе с двадцатью четырьмя присутствующими были серьезно ранены, пятеро убиты; говорят, что чаша с гостией рассыпалась в прах, но сама гостия — о чудо! — осталась невредимой.

Можно только догадываться о тех бедствиях, которыми грозили тогда наводнения. У прибрежных жителей не было никакого средства их предотвратить; водохранилищ, плотин, запруд почти не существовало; мосты, перегруженные домами, zagrożенные лавками, не были рассчитаны на то, чтобы сопротивляться половодьям. Наводнения 1185 г. в Меце, 1195 г. в Осере, 1205 г. в Кане, 1213 г. в Лиможе оставили по себе мрачные воспоминания. В Париже в 1196 году были снесены два моста, Филиппу Августу пришлось покинуть Сите и укрыться на горе св. Женевьевы. Наводнение 1219 г. сделало неприступным Малый мост, и множество горожан возвращались в свои дома на лодках. Но послушаем монаха монастыря св. Женевьевы, который оказался очевидцем сильнейшего половодья 1206 г., когда все реки одновременно вышли из берегов:

В декабре месяце 1206 года Бог поразил королевство Францию. Город был полностью, до основания затоплен: площади и улицы можно было пересечь только в лодке. Большая часть домов была разрушена, те же, что еще продолжали стоять, грозили рухнуть, расшатанные напором воды. Каменный мост, который называют Малым мостом, не мог устоять под ударами волн, и на нем уже виднелись огромные трещины; каждое мгновение он мог рухнуть. Богатый город, король городов, был погружен в печаль. Священники стенали, девы были в трауре. Париж изнемогал под бременем скорби, и никто не мог его утешить.

Еще не изобрели средства возвращать в свое русло вышедшие из берегов реки. Из них нашим предкам было известно только одно: процессии, во время которых выносили священные реликвии. Парижские горожане в 1206 г. обратились к своей любимой святой, Женевьеве. С горы на левом берегу Сены выступила процессия, неся во главе мощи святой. Приблизились к Малому мосту. «Переходя его, — говорит монах, — нельзя было отклоняться ни влево, ни вправо, но держаться строго посередине. Опасен оказался переход по этому мосту, грозившему рухнуть под

усиливавшимися ударами бушующих вод. Со своим народом Женестьева перешла Сену, превратившуюся в стремительный поток: мост держит ее в меньшей мере, чем она сама держит его». Наконец шествие добралось до собора Богоматери, и тотчас же вода начала спадать, дождь прекратился. Святую в сопровождении горожан вынесли из храма. Мост шатается, но его переходят во второй раз, и мощи Женестьева вновь занимают свое место в алтаре. Через полчаса после возвращения всех по домам настала ночь, и Малый мост рухнул. Три арки были унесены течением.

Помимо наводнений, другим постоянным ужасом этих Средневековых городов с их узкими и извилистыми улочками, со скудным населением, живущим в деревянных домах, был огонь. Ибо каменные дома — редкость, и власти награждали горожан, строивших дома из камня. В маленьком пикардийском городке Рю такие люди освобождались от налогов. В этих огромных поселениях из легковоспламеняющихся материалов с более чем примитивными средствами тушения пожаров (нам неизвестны тексты того времени, содержащие хотя бы малейший намек на организацию службы помощи) пламя с горящего здания перекидывалось на другие дома и охватывало целый квартал, а часто и весь город. Всеобъемлющий пожар становился ужасающим. Руан с 1200 по 1225 гг. сгорал шесть раз. Не устояли самые массивные каменные здания, церкви, огромные донжоны. В 1189 г. донжон Жизора в день въезда туда Ричарда Львиное Сердце был охвачен пожаром. Донжон Помпадур в Лимузене обрушился во время пожара, и в пламени погибло двадцать человек. Огонь так быстро распространялся на дома и улицы, что спастись было невозможно. В 1223 г. двести человек стали жертвами пожара в деревне Верлен в Нонтронском крае. В годы, когда свирепствовала засуха и иссыкали реки, источники и колодцы, пожары бушевали по всей Франции. В 1188 г. жертвой огня стали Руан, Труа, Бове, Провен, Аррас, Пуатье, Муассак. Сохранились некоторые сведения о пожаре в Труа. Огонь занялся ночью на базарной площади и перекинулся на жилища. Аббатство Богоматери Нонненской, церковь св. Стефана, только что перестроенная графами Шампанскими, собор св. Павла — запылало все. Пламя распространилось так быстро, что священники собора Богоматери не успели убежать и сгорели заживо.

Угроза пожаров возникала и в годы сильных гроз с частыми ударами молний. В 1194 г. небесный огонь коснулся множества

городов и деревень. В это время был великий пожар в Шартре, погубивший множество несчастных и почти уничтоживший древний собор. Напуганное народное воображение питалось самыми зловещими слухами. Ригор утверждает, что тогда видели воронов, перелетавших с одного места на другое в объятых пламенем городах — они несли в клювах пылающие головешки и поджигали дома, которые еще не настигло бедствие.

К подобным частым катастрофам добавлялись систематические пожары, учинявшиеся солдатами. Как известно, война тогда заключалась в опустошении и прежде всего в сжигании деревень, замков и главных городов врага. Пожар являлся стратегическим военным приемом, запланированным и организованным, по сути — узаконенным. Грабящим деревни фуражирам, вооруженным запалами, специально вменялся в обязанность поджог риг и домов. Мы видим, что они фигурируют почти на каждой странице «Песни о Лотарингцах». Вот войско Гарена, которое трогается в путь на Дуэ: «Поджоги охватили деревни; потерявшие голову жители сгорели или были уведены в плен со связанными руками. Валит дым, вздымается пламя, крестьяне и пастухи, повергнутые в ужас, разбегаются в разные стороны». Далее идет описание большого города Лиона, взятого и разграбленного. Когда грабеж прекратился, «герцог Бегон на следующий день, вставая, требует огня, который был приготовлен, и город подожгли в ста местах. Мы никогда не узнаем, сколько людей погибло в этом страшном пожаре. Удаляющееся войско могло видеть, как рушились башни и раскалывались стены монастырей, слышать отчаянные крики женщин и простого люда».

Такие же сцены разыгрываются в Вердене, в Бордо, где «восемьдесят горожан, не считая женщин и малых детей, обратились в пепел». Кажется, этим феодалам доставляет жестокое удовольствие видеть, как огонь пожирает городские дома и живущих в них простолюдинов. Один из героев поэмы о Лотарингцах, Бернар де Незиль, был среди защитников Бордо. Опершись руками на подоконник замка, держа только что снятый шлем, он смотрит, как пылает город: «Вот мы, — говорит он Фромону, — и избавлены от великой скуки; Бордо в огне: [этим утром] нам веселей, нежели было».

В свидетельствах на эту тему переплетены история и вымысел. Достаточно привести список городов, сожженных в войнах

самого Филиппа Августа: Шатийон-сюр-Сен, Дре, Ле-Ман, Эвре, Дьепп, Тур, Анжер, Лилль. Пожар в Лилле, учиненный по приказу французского короля в наказание за предательство жителей, «сжег все до самой торфяной почвы города», — пишет историограф Гийом Бретонец. Если мы хотим узнать, что такое кампания поджога — привычный эпизод всех войн этого времени — следует ознакомиться с деталями экспедиции 1214 г. во Фландрию за несколько месяцев до битвы при Бувине, под командованием сына Филиппа Августа Людовика Французского, когда Ньивпорт, Стенворд, Байель, Хазебрук, Кассель, не считая простых деревень и деревушек, методично предавались огню. В Байеле поджигатели едва сами не стали жертвой своих стараний: Бетюнская хроника рисует нам улочки в глубокой ночи, настолько забитые беглецами и тележками, что Людовик и его рыцари с трудом пробились к воротам.

Чума, еще один знак божественного гнева, беспрепятственно косит этих малокровных и нечистоплотных жителей, эти города без канав и мостовых, где дома были не более чем протекающими трущобами, а улицы — клоаками. В Париже, «самом прекрасном из городов», горожане хоронили покойников на равнине Шампо, на месте нынешнего рынка. Это кладбище не было огорожено, прохожие пересекали его во всех направлениях, и на нем же устраивались базары. В дождливое время место упокоения становилось смердящим болотом. Только в 1187 г. Филипп Август окружил его каменной стеной, и то больше из уважения к мертвым, нежели ради общественного здоровья.

Двумя годами ранее король и парижане решились на первую попытку мощения дорог, но лишь больших, которые вели к воротам. Остальное оставалось трясинной, благодатнейшей почвой для распространения заразных болезней, которые Средневековье не умело ни предупреждать, ни лечить. В них видели священный огонь (*ignis sacer, ignis infernalis*), кару свыше. Снедаемых жаром больных, *ardentes*, пользовали всегда одними и теми же средствами: процессиями, публичными молениями, проповедями в церквах, молитвами некоторым святым целителям, вроде св. Фирмена или св. Антония. В Париже больных чумой несли в собор св. Женевьевы или собор Богоматери, не опасаясь распространить заразу еще больше. К эпидемиям добавлялась проказа, извечный бич всех французских провинций, грозный как для богатых, так и для бедных. И часто сверх всех этих

бедствий, как бы дополняя дело войны или чумы, раздражался еще более смертоносный голод.

Нужно напрячь воображение, чтобы представить себе экономическое состояние Франции в конце XII в. и в особенности аграрные условия, столь отличные от нынешних: леса и равнины, занимавшие большие пространства, пахотные угодья меньших размеров, более примитивные средства обработки земли, крестьянин, вечно обреченный видеть свой урожай попорченным или уничтоженным то войной, то жестокими феодальными обычаями охоты — все это объясняет, почему земля давала так мало и разве что в урожайные годы могла прокормить живших на ней людей. Недостаточность денежного обращения усугубляла нехватку продукции. Поскольку каждая провинция была изолирована и наличные деньги оставались редкостью, знать и духовенство обычно обходились продуктами, поставляемыми держателями в качестве натурального оброка; из предосторожности их прятали в амбары и погреба. Подданные, земледельцы, жили тем, что оставалось от урожая после изъятия сеньориальной доли. Когда год был хорошим, излишки зерна и вина продавали; но плохое состояние дорог, их небезопасность, огромные дорожные и рыночные пошлины препятствовали торговле. Рынки плохо снабжались продовольствием, и урожай, больше половины которого ныне поступает в торговый оборот, тогда потреблялся главным образом на месте; города были куда менее населенными, и продажа малоактивна. Поэтому в годы хорошего урожая спрос иногда бывал недостаточен, редкость покупок ослабляла рынок, а в голодные годы, когда спрос вдруг начинал намного превышать предложение, цены возрастали в угрожающих пропорциях.

Первенство держит XI век, в котором насчитывается сорок восемь голодных лет; однако и в правление Филиппа Августа одиннадцать раз свирепствовал голод, и в среднем из каждых пяти лет один год был моровым. Голод 1195 г. начался из-за ураганов 1194 г., уничтоживших урожай, и продлился четыре года. Страшное это было время. Зерно, вино, масло, соль невероятно возросли в цене; за неимением хлеба ели виноградные выжимки, издохших животных, коренья.

В день Пасхи 1195 г. Алиса, дама Рюмийи (сеньория в диоцезе Труа), удивилась, увидев, как мало народа присутствует на приходской мессе. Кюре объяснил ей, что большая часть прихожан

занята поисками корней в полях, дабы утолить голод. Растроганная Алиса велела доставить им продовольствие и приказала, чтобы отныне третью часть принадлежавшей ей десятины отдавали в Пасху жителям прихода. Кроме того, каждый из них должен был получать на пять ливров хлеба. Но что значило такое милосердие перед безмерностью бедствия! В 1197 г. несметное множество людей умерло от голода, как свидетельствует Римская хроника. Выражения вроде «*multi fame perierunt, moriuntur fame millia millium*» часто рождаются из-под пера хронистов, и их следует понимать буквально.

Голод в ту эпоху — не только лишения, нужда, страдание, но и смерть. Чтобы понять, до какой степени истреблял он во Франции целые провинции, представьте себе то, что происходит еще в наши дни в некоторых районах южной Африки, Австралии или Индостана. Даже самые богатые и могущественные страдали от него: льежский хронист утверждает, что они дошли до того, что ели падаль. «Что же до множества бедняков, то они умирали от голода, — добавляет он, — они падали на площадях, их видели лежащими с утра у врат нашей церкви, стенающих, умирающих, моливших о раздаче подаваний, которые производились в первый час». Но и самим монахам недоставало самого необходимого. «В этот год [1197] не хватило зерна. Со дня Богоявления и до августа нам пришлось потратить на хлеб более ста марок. У нас не было ни вина, ни пива. За одиннадцать дней до жатвы мы еще ели ржаной хлеб».

Крики голодных были услышаны и за пределами страны, в Италии и Риме. Папа Иннокентий III в послании епископу Парижскому приписывает, естественно, сей бич гневу Божьему. Это наказание за преступление, совершенное французским королем Филиппом Августом, поскольку тот упорствует, отвергая свою законную жену, Ингебургу Датскую.

Несчастье состояло и в том, что одни бедствия порождали другие. Голод вызывал к жизни разбой. «Чтобы не помереть от голода, многие люди стали ворами и были повешены», — свидетельствует хронист из Аншена. Он преувеличивает, ибо большая часть разбойников безнаказанно жила своим ремеслом.

Попробуйте вообразить себе общество, в котором не существует безопасности ни для имущества, ни для людей. Нет охраны порядка и мало правосудия, особенно за пределами больших городов; каждый защищает, как может, свои кошелек и жизнь.

Воры орудуют средь бела дня и на всех дорогах, нападая преимущественно на храмы, изобилующие золотом и ценными предметами. Хронист из монастыря св. Марциала в Лиможе Бернар Итье отмечает частые пропажи серебряных сосудов, золотых чаш, манускриптов, украшенных драгоценными камнями. Вор, оставшийся непойманным, унес знаменитый реликварий из золота, подаренный Карлом Великим капитулу св. Юлиана Бриудского. Монахи в связи с этим лишь смогли обрушить на виновного ужасный перечень анафем:

Да будет он проклят живущий и умирающий, вкушающий и поющий, стоящий и сидящий! Да будет проклят он в полях, лесах, лугах, пастбищах, горах, равнинах, деревнях, городах! Пускай его жизнь будет краткой, а имущество разграблено чужеземцами! Пусть неизлечимый паралич поразит его глаза, чело, бороду, глотку, язык, рот, шею, грудь, легкие, уши, ноздри, плечи, руки и так далее! Да будет он подобен страдающему от жажды оленю, преследуемому врагами! Да станут его сыновья сиротами, а жена обезумевшей вдовой!

Отлучение злоумышленников от Церкви — слабая защита. И, словно бы Франции не хватало с лихвой собственных дерзких мошенников, Англия посылала ей своих. В 1218 г. некто из-за Ла-Манша попытался украсть серебряные сосуды и канделябры из парижского собора Богоматери. Скрываясь много дней в верхней части нефа, тогда перекрытого стропилами, он ночью опустил веревку с крюками, чтобы подцепить то, чего так страстно желал. К несчастью для него, от горящих свечей загорелись шелковые драпировки, вывешенные ввиду праздника Успения Богородицы, все вспыхнуло, прибежали люди, и вор был схвачен.

Более опасные разбойники объединялись в вооруженные отряды, грабя паломников и купцов, сжигая крестьянские хозяйства, даже беря приступом небольшие бурги. В 1206 г. группа крестоносцев, возвратившихся из Константинополя, направлялась в свой родной край, Пикардию. Они ускользнули от ломбардцев и от альпийских горцев; но в Сен-Ламбере, близ Беле, на них напала одна шайка. Перерыли их кладь; но паломники везли с собой ценные реликвии и поспешили откупиться. Через несколько лье, в Амбрене — новая банда, другой выкуп. И, вне сомнений, на большей части пути было то же самое. Эти разбойники с большой дороги были преимущественно наемниками:

арагонцами, наваррцами, басками, брабантцами, немцами — висельниками, прибывшими на службу к принцам и королям. Когда им переставали платить, они убивали и грабили ради собственной выгоды. «Рутьеры» или «коттеро» Филиппа Августа, преемниками которых станут «большие роты» Карла V и «живодеры» Карла VII, — одна из открытых ран на теле общества, неизбежное зло, военный инструмент, который все осуждают, но без которого никто не может обойтись. Тщетно Церковь отлучает этих разбойников и обличает тех, кто их использует — с их помощью восполняется нехватка феодального ополчения, а потому они участвуют во всех походах и войнах. Их предводители так хорошо несут службу, что короли превращают их в высокопоставленных лиц с большими доходами, наделяют титулами и сеньориями. Так возвышаются трое бандитов, ставших знаменитыми: Меркадье, друг и главнокомандующий Ричарда Львиное Сердце, Кадок, помощник Филиппа Августа, Фоке де Бресте, палач Иоанна Безземельного.

Опустошения, производимые во вражеской и даже дружественной стране этими состоявшими или не состоявшими на жаловании ордами, ужасающи. И если в Северной Франции Капетинги, Плантагенеты, некоторые графы Фландрские и Шампанские еще могут ограничить бедствие или даже бороться с ним, то что делать за Луарой — в Берри, Оверни, Пуату, Гаскони, Лангедоке, Провансе, областях, более трудных для контроля и защиты? Именно там свирепствуют наемники, отмечая повсюду свой путь пожарами, убийствами и насилиями. Но особую неприязнь они питают к монастырям и храмам. Кажется, они просто испытывают ненависть к священникам и потребность оскорбить все, что служит религии и культуре. При этом у клириков можно было больше взять, а кроме того, священники, отлучая разбойников, возбуждали против них население. И наемники Берри забавы ради жгут церкви, уводят в плен толпы священников и монахов. «Они называли их в шутку певчими, — сообщает Ригор, — и говорили им: „Ну же, певчие, затягивайте свои песни!“, и тут же осыпали их оплеухами и ударами хлыста. Некоторые, избитые бичом, умирали, другие же избегали пыток в течение долгого пленения, только платя выкуп. Сии демоны топтали ногами священные гостии, а из алтарных покровов делали плащи для своих сожительниц». Настоятель Вижуаской обители рассказывает об одном предводителе банды, продававшем монахов по

восемнадцать су. Думаете, хронисты преувеличивают? В 1204 г. послание папы Иннокентия III сурово обвиняет архиепископа Бордо в том, что он окружает себя грабителями и управляет провинцией, держа ее в страхе. Он указывал своим наемникам, куда нанести удары, и участвовал в дележе добычи.

Через несколько лет разразились Альбигойские войны. Влекомые самой своей натурой к ереси, бандиты бросились в Лангедок; без их помощи графы Тулузы и Фуа не смогли бы так долго сопротивляться рыцарям Симона де Монфора. Захватив аббатство Муассак, наемники развлекались целый день, звоня в колокола. В Олороне, что в Беарне, в соборе святой Марии они оскверняют гостию, наряжаются в священнические облачения и принимают петь мессу. Такие шутки сопровождаются обычными преступлениями: бандиты жгут церкви, требуют выкуп со священников или мучают их. Католический хронист Петр из Во-Де-Серне возмущен столькими кощунствами. Однако не крестоносцам упрекать своих врагов. Симон де Монфор также содержал наемников, и среди них испанца Мартина Альгаиса, который, правда, покинул его, чтобы перейти к графу Тулузскому. Когда в 1212 г. католики схватили его, то привязали к хвосту лошади, а потом повесили. В письме, адресованном королю Арагона, жители Тулузы жаловались на чрезмерную строгость епископов: «Они отлучают нас, поскольку мы пользуемся наемниками. Но они сами прибегают к их услугам. Разве не допускают они в узком кругу к своему столу тех, кто убил аббата Зона и искалечил монахов Бальбона?».

Не без ужаса аббат монастыря св. Женеьевы рассказывает своим монахам о перипетиях путешествия из Парижа в Тулузу, о «долгой дороге, об опасностях переправы через реки, об угрозе воров и наемников, арагонцев и басков». Он держал путь через разоренные и пустынные равнины, и перед его глазами вставало лишь зрелище скорби и мрачные картины сожженных деревень, дома в руинах. Полуобвалившиеся стены церквей, разрушенных чуть ли не до основания, человеческое жилище, ставшее логовом диких зверей. «Я заклинаю моих братьев, — пишет в заключение путешественник, — молить за меня Бога и блаженную Деву. Ежели они сочтут меня достойным, пусть окажут мне милость добраться до Парижа здоровым и невредимым».

За Роной, в несчастной провинции Арль, номинально подчиненной императору, разбой так же обычен, как и феодальная

анархия. Папа Целестин III перечисляет архиепископу Эмберу различные категории злодеев, подлежащих наказанию:

Боритесь против тех, кто грабит потерпевших кораблекрушение или останавливает паломников или купцов; отлучайте тех, кто дерзает устанавливать новые дорожные пошлины. Я знаю, что ваша провинция является жертвой арагонцев, брабантцев и прочих чужеземных банд. Карайте их, но карайте также и тех, кто нанимает этих разбойников и принимает их в замках или городах.

Церковь действовала, но, вооруженная лишь духовным оружием, ничего не добивалась. Порой, когда бесчинства наемников становились чрезмерными, знатные сеньоры и короли, правда, начинали расправы. Ричард Львиное Сердце однажды окружил близ Экса в Лимузене банду гасконцев и подверг их различным казням: одних утопили во Вьенне, других перерезали, восьмидесяти выкололи глаза.

Плохо оплачиваемые Филиппом Августом, восстают и разоряют край наемники Берри. Король под предлогом выплаты им жалованья заманивает их в Бурж, но едва они вступают в город, как ворота закрываются и на наемников бросается королевская конница, обезоруживает их и отбирает все деньги. И все же преступления в основном остаются безнаказанными, так как знать была соучастницей их или не осмеливалась противодействовать. Зло распространялось. Грабительские банды росли за счет порочных людей или изгоев — бродяг, беглецов, священников-расстриг, беглых монахов.

Для напуганного населения Центральной Франции наступил момент, когда человеческая выносливость дошла до своего предела. К 1182 г. чаша терпения переполнилась, и переизбыток бедствий и отчаяния породил народное движение, которое является любопытным феноменом: массовый порыв, совместное усилие богатых и бедных, дворян и простолюдинов поставить военную силу на службу порядку. Речь шла о том, чтобы уничтожить разбой и дать возможность всем жить сносно.

Как во всех великих переломах такого рода, отправной точкой стало небесное знамение. Плотнику из Ле-Пюи-ан-Веле по имени Дюран Дюжарден явилась Богоматерь. Она показывает ему образ, изображающий ее с Христом на руках и снабженный следующей надписью: «*Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona*

nobis расет» («Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, — помилуй нас»). Затем она велит ему пойти к епископу Ле-Пюи и сплотить в братство всех, кто желает установления мира. Правда, епископат еще в XI в. учредил общества Божьего мира, но со временем и по причине плохой организации большая часть этих лиг распалась. Здесь же учреждался не Божий мир, а мир Марии, покровительницы собора, скорбящей Богоматери, к которой приходили паломники. Братство плотника росло с замечательной быстротой, распространяясь по соседним краям, а скоро и по всем провинциям центральной и средиземноморской Франции. За несколько месяцев с конца декабря 1182 по апрель 1183 г. в каждой области организовалось войско Мира. И эта удивительная новость вызывает восторг у монаха из Сен-Дени Ригора, который пишет: «Бог внял мольбам бедняков, так долго стенавших от притеснений и скорби. Он послал им спасителем не императора, не короля, не князя церкви, но бедного человека по имени Дюран». Распространяясь, легенда, как обычно, обрастает красивыми домыслами. Хронист Гервасий Кентерберийский делает из плотника человека, похожего на Христа, который якобы проповедовал доброе слово, сопровождаемый двенадцатью апостолами — двенадцатью гражданами Ле-Пюи.

Но странное дело: хронист с Севера, монах-премонстрант, живший в Лане, отказывается от сверхъестественного объяснения происхождения братства Мира и излагает его историю с рационалистических позиций. Если послушать его, то братство возникло в результате мошенничества, придуманного одним монахом из Ле-Пюи. Видя, что страх перед разбойниками мешает паломникам приезжать в собор Богоматери и источник прибылей церкви грозит иссякнуть, он с одним молодым человеком из числа своих друзей воспользовался благочестивой простотой плотника Дюрана. Молодой человек, переодетый женщиной, в сверкающем венце из драгоценных камней на голове, явился молящемуся в церкви ремесленнику в образе Девы Марии и приказал ему передать народу свою волю. Те, кто откажется ее исполнять, якобы умрут в том же году. Узнав об этом от плотника, горожане тут же устремляются в церковь, и каноник, говоривший от имени того, кому было видение, сообщил своим слушателям, что Богоматерь испросила у своего всемогущего Сына мир для людей и что тех, кто не пожелает поклясться его соблюдать и воспротивится действиям договорившихся, постигнет

внезапная смерть. Толпа спешит принести клятву, создается братство, которое скоро охватывает весь город и край.

Промежуточное положение между легендой о чуде и вполне земным объяснением ланского хрониста занимает рассказ Жоффруа, приора Вижуа в Лимузене, который писал, находясь вблизи от места событий: «Бог, вразумляющий слабых и смущающий могущественных, воодушевил человека из низшего сословия и гнусного обликом, одного плотника из Ле-Пюи, простого и забитого. Он пришел к Петру, епископу Ле-Пюи, и заговорил с ним о необходимости установить мир. Епископ удивился подобной проповеди в устах столь презренной особы, и толпа принялась смеяться над ним. Но с наступлением Рождества у плотника было более ста приверженцев соблюдения мира. И скоро их стало пять тысяч. После Пасхи их больше невозможно было счесть».

Шло ли это от Бога или от людей, но в существовании братства в Ле-Пюи нельзя сомневаться. Собратья носили как знак корпорации форменный головной убор — маленький капюшон из полотна или белой шерсти, откуда их прозвище «надевшие капюшон», *saruciati*, или «белые капюшоны». К этому капюшону привязывались две ленты из той же ткани, ниспадавшие одна на спину, другая на грудь. «Это походило, — говорит приор Вижуа, — на омофор епископов». На передней ленте была закреплена эмблема, символизирующая чудо, — оловянная бляха с изображением Богоматери и Младенца и со словами «*Agnus Dei*» (Агнец Божий). Члены сообщества на каждый праздник Троицы платили взнос и клялись вести себя по-монашески, ходить к исповеди, не играть в азартные игры, не богохульствовать, не посещать таверн, не носить изысканных одежд и кинжалов. Они организовались, чтобы бороться против разбойников, так что их не надо было собирать. Только посредством дисциплины и нравственности, по их мнению, можно было заслужить у Бога победу. Многие из собратьев жили в такой святости, что на могилах этих «капюшонов», убитых разбойниками, совершались чудеса. Солдаты такого образцового войска составляли очень тесное братство, члены которого клялись друг другу в абсолютной преданности. Когда «капюшон» случайно убивал кого-нибудь из своих и брат жертвы принадлежал к сообществу, он должен был отвести убийцу к себе домой и, забыв о своем трауре, дать ему с поцелуем мира еду и питье. Воистину христианское милосердие, доходящее до героизма!

Организация охватила все слои общества, объединяя знатных баронов, епископов, аббатов, монахов, простых клириков, горожан, крестьян, даже женщин. Братства, аналогичные велейскому, образовались в Оверни, Берри, Аквитании, Гаскони и Провансе. Члены этих сообществ называли себя «миротворцами» или просто «покаявшимися». Их число было значительным, а хронисты доводят его до «*numerus infinitus*» («бесчисленного множества»). Хотелось бы знать, как они выполняли свою трудную задачу, познакомиться с организацией войск Мира, увидеть их в пути и в битве с разбойниками, но деталей, за исключением двух-трех эпизодов, не хватает.

В 1183 г. «покаявшиеся» Оверни перебили три тысячи разбойников — победа, которая, говорят, не стоила жизни ни одному собрату. Вскоре действия членов братств Берри, Лимузена и Оверни стали координированными. Разбойники же, покуда войско братьев собиралось в Ден-ле-Руа, укрылись в маленьком городке Шарантоне в Бурбонне. От сеньора Шарантона Эбба VII потребовали изгнать наемников с территории, что легче было предписать, нежели сделать. Эбб прибег к хитрости: он склонил наемников покинуть Шарантон, чтобы они выступили против своих врагов. «Когда вы начнете драться с покаявшимися, — сказал он, — я внезапно нападу на них, и ни один не уйдет оттуда». Бандиты, согласившись, вышли из замка, ворота которого тут же крепко заперли; но едва они очутились за городом, без защиты и надежды укрыться, как их окружили. «Когда они увидели, что их предали, — говорит хронист из Лана, — и угрожают решительной рукой, как диким животным, то растеряли свою обычную свирепость; они не защищались и дали себя перерезать, как баранов на скотобойне». Десять тысяч наемников погибло в этом побоище; на поле же нашли кучу церковных крестов, золотых и серебряных чаш, не считая огромного числа драгоценностей, которые носили полторы тысячи следовавших за ними женщин (июль 1183 г.).

Двадцать дней спустя новая расправа в Руэрге: знаменитый предводитель банд Курбаран попал в плен у Мило и был повешен с пятьюстами своими людьми, а его голова была привезена в Ле-Пюи. Наконец, еще один разбойник, Реймон Брен, окруженный братством Мира в Шатонеф-сюр-Шер, был зарезан. Разбой становился опасным ремеслом. Люди наконец смогли свободно дышать, жить и передвигаться.

К несчастью, это великое движение повлекло за собой непредвиденные политические и социальные последствия. Новое сообщество противостояло не только ворами и профессиональным убийцам. Ведь в его списки были включены все, кто нарушал общественный мир, в том числе и знатные сеньоры, готовые грабить и обирать крестьян. Почему же оставлять безнаказанным постоянный феодальный разбой? Как закрыть глаза на невыносимые злоупотребления сеньоров, эксплуатирующих народ? Мало-помалу в братствах, где преобладали городские жители, действия сообществ Мира обратились против сеньориальных властей. Обязанный своим появлением инициативе ремесленников, этот институт исходил из равенства прав и возможностей всех членов лиги независимо от происхождения. Единение горожан и крестьян для совместных действий в одной корпорации становилось обоюдоострым оружием. Одни искореняли разбой, другие же решили использовать братство для переустройства социального порядка в пользу низших классов. Назревал перелом, становясь реальной угрозой привилегированным.

Ему не дали совершиться. Едва Церковь и знать заметили опасность и уразумели, что собратья нападают на установленный общественный строй, как сделали крутой поворот — началась резкая реакция. Набожные собратья, ставшие под знамя Богородицы, собратья, в честь которых Бог творил чудеса, внезапно становятся в монастырских хрониках возмутителями спокойствия, бунтовщиками, еретиками, чьи открытые выступления следовало немедленно подавлять. В 1183 г. хронист Робер, монах монастыря святой Марии в Осере, с восторгом излагал подвиги «капюшонов». А в 1184 г. он же называет их фанатиками, *secta saruciatorum*, и прибавляет: «Поскольку они дерзко отказались повиноваться вельможам, последние объединились, чтобы их подавить». Для анонимного хрониста из Лана их действия проистекали из бешеной ярости, *insana rabies saruciatorum*: «Сеньоры вокруг дрожали: теперь они осмеливались взымать со своих людей лишь законные повинности — никаких вымогательств, никаких незаконных поборов; им пришлось довольствоваться тем, что причиталось. Этот глупый и непокорный люд окончательно впал в слабоумие. Он осмеливался указывать графам, виконтам и князьям обходиться с большей мягкостью со своими подданными, под страхом испытать на себе его негодование». Каким интересным для истории

оказался бы этот манифест братьев Мира! Церковь не позволила ему сохраниться.

Историограф епископов Осерских еще ярче выражает подобные воззрения. Он называет собратьев «мерзкими отщепенцами», а их начинание «ужасным и опасным своеволием».

Именно в Галлии произошло повальное увлечение, толкнувшее народ к мятежу, восстанию против властей. Доброе вначале, их дело стало делом Сатаны, обрядившегося в светлого ангела. Лига принесших присягу в Ле-Пюи — лишь дьявольское дело. Не стало больше ни страха, ни уважения к господам. Все старались завоевать свободу, говоря, что они ее унаследовали от первых людей, Адама и Евы, с самого дня творения. Как будто они не знают, что серваж стал карой за грехи! В результате не стало больше различия между великими и малыми, и возникла гибельная путаница, ведущая к разрушению установлений, кои довели над нами по Божией воле и посредством земной власти.

Но вот что более серьезно: осерский монах приписывает «капюшонам» ответственность за ослабление веры и распространение ереси. И впрямь, разве не были они носителями ее — ереси социальной и политической?

Это ужасное бедствие начало распространяться в большей части французских провинций, но особенно в Берри, Осере и Бургундии. В этих краях дошли до такой степени безрассудства, что готовы были завоевать себе требуемые права и свободы мечом.

Подавление не заставило себя ждать, хотя детали его нам известны только по событиям в диоцезе Осер. Там незадолго до того назначили епископом воинственного Гуго де Нуайе (1183–1206 гг.), грозу еретиков и решительного противника любой власти, соперничающей с его собственной. Именно на его территории и даже в его собственном домене изобиловали «белые капюшоны».

Со множеством солдат он прибыл в епископский город Жи, зараженный этой чумой, схватил всех обнаруженных там «капюшонов», наложил на них денежные штрафы и отобрал их капюшоны. Затем, чтобы предать широкой огласке грехи сих дерзких и дабы неповадно было сервам восставать против

сеньоров, он приказал выставлять их под открытым небом в течение целого года с обнаженной головой, в жару, в холод и во всякую пору ненастья. И все видели, как эти несчастные с непокрытой головой посреди полей жарились летом на солнце, а зимой дрожали от холода. Они провели бы так весь год, если бы дядя епископа, Ги, архиепископ Сансский, не сжалился и не добился для них сокращения срока наказания. Таким путем епископ избавил свои владения от этой фанатичной секты. Так же поступили и в прочих диоцезах, и, по Божьей милости, она исчезла полностью.

Такова была странная история народного движения, закончившегося объявлением врагами социального порядка тех, кто хотел его спасти. «Капюшоны» были сломлены тем, что Церковь и знать посчитали их разбойниками. Похоже, власти под конец напустили на них наемников, уничтожить которых сами клялись. Спасшиеся от братьев Мира банды снова стали править в сельской местности. Один из наиболее свирепых наемников, гасконец Лувар, в 1184 г. пообещал отомстить за убийство своих. «Он захватил войско „капюшонов“, — говорит ланский хронист, — в местности под названием Порт-де-Перт и полностью уничтожил его, да так, что впоследствии те не смели больше показываться». Позднее он взял приступом город и аббатство Орийяк и захватил замок Пейра в Лимузене. В это время Меркадьё грабил Комбор, Помпадур, Сен-Парду, избивал жителей предместья Эксиде и делил добычу от своих набегов со знатью края. Он будет продолжать свои подвиги в течение шестнадцати лет.

Огромное усилие народа, сплотившее сознательных людей всех сословий, обернулось против него самого. Снова расцвел разбой, наемники опять стали хозяевами деревень, и значительная часть Франции вновь погрузилась в ужас и отчаяние, ставшие ее обычновенным состоянием.

* * *

В этой атмосфере зла и страха проявлялась наиболее характерная черта средних веков — вера в чудеса и предзнаменования, в частое вмешательство сверхъестественных сил. В основе индивидуального мышления Средневекового человека лежит суеверие в тысяче форм, и это общая черта социального сознания всех общественных слоев. В этом отношении Средневековье стало прямым продолжением античного мира, и христианин

времен Филиппа Августа весьма походит на прежнего язычника. Пронизанный верой в сверхъестественное, преследуемый детскими страхами и видениями, слабый духом, он был уверен, что все является предзнаменованием, предостережением или наказанием свыше, хорошим или дурным знаком небесной воли. Природные бедствия для него — лишь удары, наносимые всемогущим Богом и его святыми, которым следует покориться или отвести несчастья молитвой. В этом и состоит высшее призвание Церкви, причина ее влияния. Молитвы ее клириков и монахов составляют наиглавнейшую из общественных служб, службу, не допускающую ни приостановки, ни бездействия, ибо она защищает весь народ.

Все суеверные обычаи античности были перенесены в феодальный мир. Тщетно Церковь пыталась сражаться с этими пережитками язычества. Суеверие, более сильное, чем религия, приспособлялось к христианским идеям. Даже сама Церковь не в состоянии была защититься от этого, ибо монахи, писавшие историю, разделяли предрассудки и страхи своих современников. Приор Вижуа в Лимузене утверждал, что можно было предвидеть несчастья, которые свалились на его край в 1183 г.: в лесу Помпадура в день праздника св. Остреклиниана (Austreclinien) не переставая завывали волки. Особенно верили в предзнаменования французы Юга. В разгар Альбигойских войн граф Тулузский Раймон VI отказался выполнять соглашение, потому что увидел, как слева от него летит ворон, называемый крестьянами птицей св. Мартина. Предводитель наемников был совершенно счастлив, заметив белого чеглока, летевшего слева направо, стремясь изо всех сил ввысь: «Сир, — говорит он нанявшему его барону, — во имя святого Иоанна! Что бы ни случилось, мы выйдем победителями».

В 1211 г. дворянин Роже де Комменж прибыл принести васальную присягу — оммаж — де Монфору. В момент начала церемонии граф чихает. Роже, весьма встревоженный, тут же отводит в сторону людей из своей свиты и объявляет им, что не принесет оммажа, потому что граф чихнул только один раз, а значит, все, что произойдет в этот день, обернется дурно. Однако в конце концов по настоянию своего окружения и из страха, как бы Симон де Монфор не обвинил его в еретическом суеверии, Роже покорился. «Все гасконцы очень глупы», — заключает хронист Петр из Во-де-Серне. Но был ли сам этот северный монах,

рассказ которого изобилует чудесами, менее легковерным, чем гасконцы?

Верили также в порчу и ведьм. Собор в Париже под председательством епископа Эда де Сюлли недвусмысленно рекомендовал приходским священникам держать под замком красильные принадлежности, дабы не допустить наведения порчи. В порядке вещей узнавать будущее путем гадания (еще одно наследие античности). Открывают книгу (Евангелие, Псалтырь, Библию) и из первых строк извлекают предсказание. Отправляющиеся на войну или в крестовый поход не обходятся без того, чтобы спросить судьбу об исходе своего предприятия. Симон де Монфор, прежде чем принять крест, открыл Псалтырь и постарался выведать, что его ждет. Церковь не запрещает эту практику, она даже пользуется ею в своих собственных целях. На многих капитулах, когда требуется назначить епископа или каноника, обращаются к Евангелию и по выбранной наугад строфе делают вывод (само слово *prognosticum* священно) о будущности избираемого лица. Случай! Этого слова не существовало для людей Средневековья. Все является проявлением божественной воли. Это и принцип юридического поединка, и ордалии, и Божий суд. Как же запретить Церкви выведывание судьбы по священным книгам? В «Песни о крестовом походе против альбигойцев» сам папа Иннокентий III, прежде чем ответить прелатам, требующим от него лишиться наследства графа Тулузского в пользу Монфоров, просит подождать минуту: «Бароны, — говорит он, — подождите, пожалуйста, пока я обращусь за советом». Он открывает книгу и при помощи гадания узнает, что графа Тулузского ждет не самая плохая участь. И он старается защитить его дело перед враждебно настроенным собранием.

Но колдунов (*sortilegi*), профессиональных гадалщиков, мастеров одурачивания, которые предсказывали даже по доске Пифагора, Церковь осуждает. Средневековье донесло до нас очень общие выражения и фразы этих безвестных оракулов, которыми и поныне пользуются гадалщики на картах. Один из этих документов написан по-провансальски в форме грамоты, к которой подвешивался ряд шелковых нитей со строфами или предсказаниями. Вопрошающий касался наугад одной из нитей, и соответствующая строфа туманно уведомляла его о судьбе.

В ходу были и предсказания астрологов. Часто их объявляли публично, так что к ужасам, подтверждаемым массой

действительных бедствий, прибавлялись воображаемые страхи, вызванные предвестниками несчастья. В конце 1186 г. одно из таких пророчеств, исходившее от еврейских, сарацинских и даже христианских астрологов, распространилось по всей Франции и Западной Европе. Поскольку планеты в следующем сентябре должны были находиться в созвездии Весов, послание возвещало на это время невероятные катаклизмы. Невиданный ураган якобы поднимет с поверхности земли всю пыль и песок, засыпая города и деревни, и нет иного способа спастись от него, кроме как забиться в подземелья и пещеры. К урагану будто бы прибавятся землетрясения, чума, наводнения, войны между христианами. Наконец явится завоеватель и учинит страшную резню.

Это мрачное послание упоминается или цитируется многими хронистами, что свидетельствует о его тягостном воздействии. «Даже ученые были очень напуганы», — говорит монах из монастыря святой Марии в Осере. «По мере приближения к роковой черте, — вторит английский хронист, — клирики и миряне, богатые и бедные впали в отчаяние». Архиепископ Кентерберийский объявил трехдневный пост. Дабы приостановить эту панику, пришлось пустить в ход контрпослание, адресованное одним ученым архиепископу Толедскому и провозглашавшее, что предсказание не имеет под собой никакой почвы. Наконец, настал сентябрь; ко всеобщему облегчению, он прошел, как и все прочие. «Нас миновала, — пишет анналист из Лишена, — опасность великого урагана. Благодарение Богу за сие! Никто, кроме Него и святых, не может знать будущего. Поэтому мы не верим, что первый попавшийся астролог или некромант из Толедо способен постичь Его волю».

Чаще, чем обычно, причиной ужаса становятся кометы и затмения. У всех, кто видел солнечное затмение 1 мая 1184 г., исказились от страха лица. Некий мэтр Эд предсказывает это чудо в письме, адресованном архиепископу Реймсскому. Комета июля 1198 г. возвестила о смерти Ричарда Львиное Сердце. Лунное затмение 1204 г. повлекло гибельную зиму, а комета 1223 г. оказалась предвестницей кончины Филиппа Августа. Небо становится сценой, на которой разворачивается необычайное представление. Жители Лимузена в 1182 г. видят, как луна полностью почернела, затем покраснела и, наконец, вернулась к своему обычному виду. В 1185 г. в воздухе неоднократно появлялся огненный

дом. В 1192 г. люди Перша увидели, как с неба спустилось, сшиблось и исчезло рыцарское войско. В 1204 г., непосредственно накануне смерти архиепископа Реймского Гийома Шартрского, горизонт охватывает дракон. В 1214 г. появляется огненный шар, в 1222 г. — огромная звезда в виде пылающего факела конической формы, грозящего поджечь землю.

Не меньше поражают воображение «земные» чудеса. В Розуан-Бри в момент пресуществления во время мессы произошло реальное превращение — вино действительно обратилось в кровь, а хлеб — в тело. В одной церкви в Лимузене на алтарном покрове возникло множество крестов. «Сие чудо удостоверили, — говорит приор Вижуа, — виконтесса, аббат, весь народ; только было не разглядеть хорошенько, какого цвета были кресты. Господу известно, что он желал этим сказать!». Из статуи Пречистой Девы в церкви Тарна сочилась кровь. В Шатору во время войны Филиппа Августа с Генрихом II один наемник, игравший в кости перед порталом церкви, разъярившись, бросил камень в статую Богоматери с Иисусом. Рука Младенца отлетела, и из раны обильно потекла кровь. Эту бесценную кровь, способную совершать замечательные исцеления, собрали, а руку увез Иоанн Безземельный, который никогда не расставался с этой реликвией.

Одна только хроника Ригора упоминает три или четыре случая воскрешения людей. Жоффрау де Вижуа знает одну даму из Лиможа, которой посчастливилось после смерти увидеть Марию Магдалину. Святая коснулась ее губ, и мертвое тело ожило. Такой король, как Филипп Август, помазанный и освященный, не испытывал недостатка в божественном покровительстве. По меньшей мере три раза во время феодальных войн и войны с Плантагенетами оно чудесным образом выручало его из затруднений. Никто не сомневался, что души усопших возвращаются, чтобы мучить людей. Когда сын графа Гуго де Ла Марша в 1185 г. убил рыцаря по имени Бертран, то призрак этого Бертрана не переставал являться убийце до тех пор, пока семья жертвы не получила удовлетворения.

Вмешательство дьявола происходит почти столь же часто, как и вмешательство святых. Не довольствуясь наведением ужаса на людей, он порой овладевает их телом. Гидом Бретонский уверяет, что однажды в некоего рыцаря из Бретани, сидевшего за столом, вошел демон и заговорил его устами. Призвали священника, и

дьявол закричал, ибо священник поднял перед ним книгу изгнания злых духов. Но понадобилось много дней, чтобы заставить его покинуть одержимого. В другом месте демону вздумалось принять облик умершего дворянина во всеоружии и верхом. Он явился одному из друзей усопшего на поле и приказал сесть позади него на коня. Через пару сотен шагов они оказались перед многочисленным отрядом всадников, упрекающих привидение в опоздании. «Поехали!» — говорит привидение и уезжает с этими призраками; друг же, перепуганный, валится с коня и надолго остается на земле без сознания. «Я видел его тем утром, — говорит летописец Филиппа Августа, — когда он рассказывал об этом происшествии своему епископу: он показал нам место, где свершилось чудо». Чтобы оградить себя от появления дьявола и злых духов, никогда не спят без света: над кроватью всегда зажжен ночник.

Ниже речь пойдет о бесчисленных чудесах, совершающихся на могилах святых в результате созерцания реликвий или прикосновения к ним. Но существовали еще и живые святые, которым современники Филиппа Августа приписывали способность творить чудеса. Одна скотница из Кюдо, что в краю Санса, Альпайс, не ест больше десяти лет. Она все время лежит, у нее поразительно исхудавшее тело и лицо ангельской красоты. Во время великих религиозных празднеств она впадает в экстаз и, ведомая ангелом, совершает прогулку в небесные сферы, а по истечении, как ей кажется, нескольких лет снова оказывается дома, возвращаясь как бы во мрак. Она видит то, что далеко от ее глаз, и предсказывает будущее. Хронист святой Марии в Осере добавляет, что много раз беседовал с ней и поражался уму и языку этой девицы, выросшей в деревне. Божественная сила проявляется и в другой ясновидице, по имени Матильда, о чем свидетельствует ланская анонимная хроника.

Среди наиболее знаменитых чудотворцев этого времени особую историческую роль сыграли два человека, два проповедника крестовых походов: аббат из Сен-Жерме-де-Фле Эташ и Фульк, священник из Нейи.

Аббат Сен-Жерме поведал королю Генриху Плантагенету о видении, в котором была предсказана ранняя смерть двух старших сыновей короля. Занятый проповедью в Англии четвертого крестового похода, он, подобно святому Бернару, творит чудеса на своем пути. Ему достаточно благословить источник, чтобы

тот возвращал зрение слепым, речь — немым, движение и здоровье — калекам. Прибыв в деревню, где не хватало воды, он посреди собравшегося в церкви народа ударяет посохом о камень, и бьет вода, чудесная, исцеляющая больных. В Лондоне он пытается изменить нравы, запрещая торговать в воскресенье и стараясь заставить горожан творить дела милосердия. Последнее было труднее. Завидующие его успеху английские священники считали, что он им мешает. Они вынуждали его вернуться во Францию, крича: «Зачем ты явился пожинать урожай других?»

Фульк из Нейи, великий возмутитель спокойствия, обладал не только даром убеждения и потрясающим красноречием, увлекающим толпы на святую войну. Этот человек, обращавший грешников и грешниц, также ниспослан свыше, ибо доказывает свою миссию чудесами. Французские и английские хронисты наперебой утверждают, что он молитвой и простым наложением рук исцелял слепых, глухих, немых и паралитиков. Однако, видимо, не все верили этим чудесным рассказам, и монах Ригор отказывается вдаваться в детали, жалуясь на неверие людей. Англичанин Роджер Хоуден менее сдержан. Он рассказывает нам, как святой в Лизье укорял духовенство этого города в малоправедной жизни, а озлобленные клирики схватили его и бросили в темницу, заковав в кандалы. Но Фульк сам, с помощью милости Божией, освобождается и отправляется проповедовать в Кан, где удивляет толпу своими чудесами. Охрана Канского замка, стараясь услужить своему хозяину — английскому королю, снова заключает его в темницу и заковывает. Он опять выходит из узилища и продолжает бродячую жизнь. Этот необыкновенный человек превращал женщин легкого поведения в почтенных матерей семейств, а городских ростовщиков — в расточителей, щедро раздававших все имущество бедным. «Сии чудеса, — говорит английский хронист, — были весьма удивительны».

* * *

В этом человеческом сообществе, переполненном страданиями и каждодневными страхами, среди галлюцинирующих и ясновидящих, случается все, даже невозможное. Историки подтверждают реальность одного из наиболее невероятных событий той эпохи — детского крестового похода 1212 г. В нем долго видели лишь воплощение народной легенды, однако наука

доказала, что этот необычный эпизод принадлежит истории. После Франции движение охватило Германию; немецкие дети, как и французские, организовали свой крестовый поход — одновременно и из тех же побуждений. Схожесть рассказов хронистов обеих стран столь поразительна, что следует сделать заключение о реальности этих событий.

В июне 1212 г. пастушку из Клуа, что подле Вандома, мальчику по имени Этьен, было видение, как и плотнику из Ле-Пюи. Бог в облике бедного паломника попросил у него кусок хлеба и передал ему послание, обязывающее его отправиться на отвоевание Святой земли и освободить Гроб Господень. А чуть позже, изгоняя овец с засеянного поля, пастух с изумлением увидел, что они опустились перед ним на колени и просили прощения. Да ведь это знак его божественной миссии! Он начал проповедовать по своему краю, бросая клич крестового похода: «Господи, подними христианство! Господи, верни нам животворящий Крест!». Поскольку он везде совершал чудеса, к нему присоединились другие пастухи, и вскоре толпа детей, в основном двенадцати-тринадцати лет, избрала его предводителем крестового похода. Ланская хроника утверждает, что под его началом оказалось тридцать тысяч детей, составивших огромную процессию с крестом и хоругвями. С разных концов Франции подтянулись и другие дети, воодушевленные Этьеном (подобно тому, как в XV в. появились многочисленные «Жанны д'Арк»), и ватаги, собиравшиеся поначалу вокруг каждого из своих предводителей, впоследствии соединились под командованием пастушка из Клуа. Если верить монаху из Сен-Медара в Суассоне, этот крестовый поход нового типа возвестили чудеса. Наблюдали бесчисленное количество рыбы, лягушек, бабочек, птиц, двигавшихся со стороны моря. Множество собак, сбегавшихся к некоему замку в Шампани, разделились на две своры, начав яростную драку, из которой вышли живыми очень немногие. Явно наступали великие события.

Как же это детское войско, невзирая на сопротивление родителей и местного духовенства, смогло оформиться и организоваться? Тем, кто их спрашивал, куда они идут, они отвечали: «К Богу!». Люди относились к ним благосклонно. Они верили чудесам Этьена, убежденные, что Господь в действительности явил Свою волю посредством этих невинных душ и что их чистота должна искупить грехи человеческие. Повсюду, где проходили

дети, жители городов и предместий, не пытаясь их остановить, давали им продовольствие и деньги, собирались толпами, чтобы посмотреть на предводителя пастухов, посланца Божия, просили как реликвию один его волос, лоскут одежды.

Однако светские власти под конец взволновались. Филипп Август, вопросив об этом явлении священников и преподавателей Парижского университета, приказал детям возвращаться в родительские дома. Часть их повиновалась, большинство же воспротивилось. Папство не осмелилось осудить это предприятие. Иннокентий III, приверженный своей идее крестового похода, похоже, удовлетворился тем, что сказал: «Эти дети нас пристыдили: покуда мы спим, они с радостью отправляются на освобождение святого Гроба». Святой престол несет за это дело свою, притом значительную, долю ответственности. Чтобы побудить французов принять крест, Рим каждый год посылал проповедников, постоянно призывавших христиан на перекрестках улиц, на площадях и в церквах покинуть свои очаги и отправиться в Иерусалим. Пыл и сила этой пропаганды, особенно в понтификат Иннокентия III, разжигали воображение до невероятной степени. Особенно воодушевлялись женщины и дети. Хронист Альберт де Стад сообщает, что в Льеже сотня женщин, одержимых религиозным энтузиазмом, билась в иступленных конвульсиях. Та же истерия, вне сомнения, способствовала и созданию во Франции войска, ведомого пастухом из Клуа.

Это войско состояло не только из детей. К ним присоединялись священники, купцы, крестьяне, а также проходимцы и негодяи, которым нечего было терять, — обычные попутчики крестоносцев. Наконец, их сопровождали толпы женщин и девушек. Воины Христовы во все возрастающем числе переходили из города в город, пока наконец не вышли к Марселю, намеченному в качестве порта посадки. Во главе виден был чудесный мальчик, которого везли на богато украшенной повозке в окружении телохранителей; позади шагало множество паломников.

Дети договорились с двумя марсельскими судовладельцами, Гуго Ферри и Гийомом де Поркером, которые изъявили готовность «ради славы Господа» перевезти юных крестоносцев в Сирию. Они в самом деле привели семь кораблей и посадили их. Два из этих кораблей сели на мель близ берегов Сардинии у острова Сан-Пьетро и исчезли со всеми пассажирами. Прочие были увезены судовладельцами в Бужи (Алжир), а затем в Александрию.

У этих торговцев возникла простейшая идея продать детей на невольничьих рынках. Многие тысячи паломников и среди них четыреста священников были доставлены таким образом ко двору египетского халифа. «С ними там обращались очень достойно, — говорит хронист Обри де Труа-Фонтен, — ибо сей халиф в одеянии священника учился в Париже». Восточные государи уже посылали своих детей в европейские университеты.

Утешительно думать, что оба негодяя, виновники столь необычной развязки детского крестового похода, не остались безнаказанными. Во время войны, которую германский император Фридрих II начал семнадцатью годами позднее с сицилийскими сарацинами, оба марсельца пошли на новое преступление. Они задумали продать императора сицилийскому эмиру; но этого эмира немцы схватили и повесили, а сообщников его вздернули на той же виселице. В 1229 г., заключив мир с султаном Аль-Камилем, Фридрих II потребовал освободить несчастных крестоносцев 1212 года. Один из освобожденных сказал, что не все его товарищи по несчастью обрели свободу. Около семисот их оставалось еще на службе у наместника Александрии.

* * *

Истинная религия Средневековья — это поклонение реликвиям, и здесь не может быть двух мнений. Сколько людей того времени были способны подняться до метафизических и моральных концепций христианской доктрины? Для толпы все божественное заключалось в почитании мощей святых и предметов, которыми пользовались Иисус Христос или Матерь Божия. Согласно тогдашним верованиям, вмешательство божества в дела человеческие проявляется прежде всего через свойства реликвий. Таким образом, и в общественной, и в частной жизни люди почти ничего не делали, не прибегая к поддержке или защите этих священных предметов.

Реликвии приносили туда, где проходили собрания и соборы; на реликвиях давали самые торжественные клятвы, заключали договоры между народами и соглашения между частными лицами. Они — охрана и защита городов. Надо испросить у Бога прекращения длительного бедствия? Устраивают религиозную процессию с выносом реликвий. Тот, кто предпринимает дальнейшее паломничество, опасное путешествие, военный поход, предварительно отправляется помолиться святому, увидеть или

потрогать реликвию. Рыцарь помещает ее в рукоять своего меча, купец — в маленький мешочек, который вешает на шею.

Одним из наиболее частых видов покаяний, самым верным средством спасения и обильным источником дохода духовных лиц было паломничество к гробницам святых. Чем более удалено и труднодоступно святилище, тем большего уважения заслуживает паломник. Подобно земным властям, эти святые и реликвии иерархизированы. Счастливы те, кому удастся поклониться костям апостола, одного из тех избранных, кто соприкасался со Христом; но особенно счастливы посетившие Иерусалим и Гроб Господень. Однако не обязательно покидать родину — христианин даже во Франции находит прославленные храмы: святой Женевиевы Парижской, святого Дионисия, святого Мартина Турского, Мон-Сен-Мишель, собор Богоматери в Шартре и Везле, святого Марциала Лиможского, собор Богоматери в Ле-Пюи и Рокамадуре, храм святой Веры (Сен-Фуа) в Конке, Сен-Сернен в Тулузе. Грешник следует Божиим заветам и облегчает свою совесть; больной находит там выздоровление, ибо святые исцеляют надежнее, нежели лекари. *Physicus*, священник или еврей, стоит очень дорого, да и он зачастую лишь невежественный знахарь. *Libri miraculorum*, сборники чудес, составленные в местах паломничества, являлись своего рода медицинскими книгами Средневековья.

Чудесное действие реликвий отмечено не только в специальных сочинениях, оно составляет значительную часть содержания хроник. Писавшие их монахи были заинтересованы в рассказе о действенности реликвий, поскольку аббатства извлекали из них хороший доход. В Сен-Дени Ригор опускает наиболее значительные исторические факты или упоминает о них в двух строках, но описывает на двух больших страницах процессию 1191 г. Французский король Филипп Август был в крестовом походе; состояние его единственного наследника, принца Людовика, заболевшего дизентерией, внушало серьезные опасения. В Париж привезли монахов Сен-Дени, хранителей знаменитых реликвий — тернового венца, гвоздя от Креста, руки святого Симеона. Процессия прибыла в церковь св. Лазаря; там она встретилась с другим гигантским шествием, состоявшим из всех парижских монахов и священников с епископом Парижа Морисом де Сюлли во главе и огромной толпы школяров и горожан. Все они отправились ко дворцу Сите, где лежал больной ребенок;

мощами св. Дионисия ему начертали на животе крест, и угроза смерти миновала бесследно. Несколькими месяцами позднее зашла речь о том, чтобы добиться освобождения Святой земли и счастливого возвращения короля в свое государство. На сей раз довольствовались выставлением в самом Сен-Дени, в алтаре главной церкви аббатства, мощей святых мучеников Дионисия, Рустика и Елевферия. Члены регентского совета, королева-мать Аделаида Шампанская и архиепископ Реймский, как и все верующие, были приглашены на это действо.

Все церкви старались добыть реликвии, и жизненно важным вопросом и первой заботой их основателей становилось накопление в ней этих ценных предметов. У нас есть нечто вроде журнала учета приобретения реликвий приором Таво (Верхняя Вьенна) между 1180 и 1213 гг. Более любопытный документ, наверное, сыскать трудно.

В 1181 г. аббат из Ла-Курон передал подвластному ему приорству частицы мощей св. Петра, св. Лаврентия, св. Викентия и св. Жене. На следующий год друг приора сообщает ему о покинутой часовне, где находится очень старая рака, полная неизвестных реликвий — их доставили. В том же году некий священник дарит монахам кусок одеяния святого мученика Фомы, камень от Гроба Господня и один из камней, которыми забросали святого Стефана. Немного позднее — приобретение реликвий св. Марциала, св. Григория, св. Илария, св. Германа Осерского, св. Озона, св. Евстафия, св. Фереоля, св. Фронтини, св. Васта и нескольких волос св. Петра. Один прево присылает реликвии св. Василии и св. Флавию. Основатель церкви в Таво Эмери Брен, совершивший паломничество в Иерусалим, сделал вклад в виде флакона масла, которое истекло из статуи Богоматери. Со своей стороны и приор приступил к поискам: он привозит из знаменитого алтаря Сент-Ирие два зуба пророка Амоса, две реликвии св. Мартина и св. Леонарда, а с другой партией приобретений — реликвии египетских отшельников, св. Приска, кости, волосы и фрагменты одежды св. Бернара; наконец, кусок дерева от животворящего Креста. Но никто не мог сравниться в качестве искателя и первооткрывателя реликвий с келарем приорства Жераром. Именно ему монахи Таво обязаны останками св. Петра, св. Иоанна, св. Сатурнина, св. Себастьяна, св. Эстеля, праведных патриархов Авраама, Исаака и Иакова. Благодаря ему аббатство Сент-Ирие посылает еще реликвии свв. Петра и Павла,

святого папы Сикста, св. Лаврентия, св. Николая и св. Леонарда. Из монастыря Отмен привозят реликвии св. Бенина, св. Цезария, св. Амана и Святых Невинноубиенных Младенцев.

Таковы реликвии, происхождение которых известно; но дневник Таво перечисляет еще множество других, представляющих первостепенный интерес для верующих: обрывки платья Богоматери, волосы св. Стефана, кусочек вифлеемских яслей, кусок обуви Богоматери, кое-что из даров, принесенных волхвами в Вифлеем, волосы св. Павла, фрагменты креста св. Андрея и камня, на котором стоял Иисус Христос, возносясь на небо, палец Иоанна Крестителя, зуб св. Маврикия, мощи св. Андрея, обрывок власяницы Марии Магдалины, кусочек челюсти св. Радегонды и так далее.

Надо думать, все эти предметы были приобретены всего за несколько лет и находились в церкви какого-нибудь приорства в Пуату, не имевшей громкой славы.

Современники приобретали их с восхитительной доверчивостью; они не сомневались в их происхождении и не поднимали вопроса об их достоверности. Никто не удивлялся ни этой замечательной груде реликвий, размещенной в тысяче различных мест, ни тому, что один и тот же предмет существует в многочисленных святилищах, ибо все веровали. Только в высших церковных кругах были обеспокоены успешным развитием этой материальной формы религиозного чувства. Иннокентий III пытался было ограничить ее, рекомендуя французскому духовенству принимать только предметы бесспорной подлинности. Опасения и осторожные предостережения самих отцов Церкви плохо воспринимались толпой, а прелаты, осмеливавшиеся порой выразить свой скептицизм, подвергали себя большому риску. Их называли врагами веры и порочными людьми.

На исходе правления Людовика VII в 1162 г. среди парижских горожан внезапно распространился слух, что исчезла голова св. Женевьевы (вне сомнений — украдена). Ее нет больше в реликварии. Какое поднялось волнение! Людовик VII впадает в гнев (*immensa furoris ira exacerbatur*) и клянется святым Вифлеемом, что, ежели реликвия не найдется, он велит высечь розгами и изгнать всех монахов святой Женевьевы. Он посылает воинов в аббатство, дабы охранять сокровище и прочие реликвии, и приказывает архиепископу Сансскому и его викарию произвести расследование. Монахи пребывали в отчаянии, особенно Гийом,

которого как хранителя раки и церковной казны это затрагивало непосредственно.

В назначенный для расследования день церковь св. Женевьевы заполнили король со своей свитой, епископы, аббаты, толпа любопытствующих. Архиепископ Санский с викариями официально назначены присутствовать при открытии тела святой. Вскрывают ларь и находят там невредимой голову с прочими реликвиями. При виде этого приор Гийом не может сдержать радости и запеваёт мощным голосом «Te Deum», и народ в церкви поет вместе с ним. Этот инцидент не был предусмотрен в протоколе церемонии. Епископ Орлеанский Манассия II Гарланд в негодовании восклицает: «Какой негодяй позволил петь „Te Deum“ без разрешения архиепископа и прелатов? И откуда этот взрыв радости? Оттого только, что обнаружили голову какой-то старухи (vetulae cujusdam), реликвии, мошенническим образом помещенные в ларец?».

Обвинение было серьезным, и Гийом живо отвечает: «Ежели вы не знаете, кто я, не клеветайте на меня. Я не негодяй, а слуга святой Женевьевы. Голова, которую вы увидели, бесспорно является головой старой женщины. Но известно, что святая Женевьева, непорочная и незапятнанная девственница, прожила более семидесяти лет. Не дайте же сомнению вкратце в ваши умы; велите приготовить костер, и я, с головою святой в руках, без страха пройду сквозь пламя». Епископ принялся насмеяться, говоря: «Да ради этой головы я не подставлю руку и под струю кипятка, а ты, ты пройдешь сквозь пылающий костер?!».

Под конец епископ Санский посчитал нужным вмешаться. Он приказал Гарланду замолчать и пред всеми превознес усердие Гийома, его пылкость в защите святой девственницы. «Что же касается епископа-клеветника, — добавляет вместо морали автор жития святого Гийома, — его преступление не осталось безнаказанным. Несколько лет спустя, погрязший во всякого рода прегрешениях, он был лишен епископского сана и закончил свою презренную жизнь такой смертью, какую заслужил». Здесь историк в своем стремлении поведать всем о каре, постигшей хулителя реликвий, «сотворил с историей то, что ему захотелось». Правда же состоит в том, что епископ Орлеанский, этот скептик, никогда не освобождался от своей должности; он оставался епископом более двадцати лет после инцидента со святой Женевьевой и мирно почил в своей постели.

Чтобы отвечать на всяческие нападки и поддерживать религиозный пыл верующих, производили «вынесение» или даже «раскрытие» реликвий. В реликвариях подтверждали присутствие святых останков — операция, всегда укреплявшая доверие, и разыскивали под алтарями в гробницах новые предметы почитания. В обоих случаях церковное торжество требовало содействия всех властей страны и собирало огромную толпу. А Церковь всеми способами зарабатывала на этом.

Следовало с величайшей тщательностью присматривать за объектами почитания. Владельцы реликвий особенно опасались военных, вроде того мелкого лимузенского сеньора, который в 1182 г. похитил в Сен-Марциале тело св. Ансильда и спрятал его в часовне своего замка, *ad tutelam castrī*, а также воров, подобных тем, кто унес ночью 1219 г. из приорства в Вик-сюр-Эн останки св. Леокадии. Народ требовал найти эту святую; ее искали и нашли на дне реки Эна.

Надо было бороться еще и с конкурентами, ибо часто многие храмы претендовали на обладание одной и той же реликвией. Невелика беда, если соперничающие заведения были удалены друг от друга; но две известных, да еще и соседствующих церкви не могли соперничать без скандала. В 1186 г. в Париже в церкви св. Стефана находят тридцать два волоса Богоматери, руку св. Андрея и голову св. Дионисия. Но эта голова уже хранится в знаменитом аббатстве, усыпальнице французских королей. Монахи Сен-Дени выразили протест; в 1191 г. они вскрыли перед королевским советом серебряный ларь, содержащий тело святого Дионисия целиком, и решили поместить голову отдельно, в специальный реликварий, который выставлялся в течение всего года перед взорами паломников.

Этот эпизод был тем более неприятен, что монахи уже давно собирались с силами для опровержения одного враждебного их реликвии мнения. Со времен Людовика Благочестивого они утверждали, что святой Дионисий, мощами которого они обладали, был знаменитым епископом Коринфским Дионисием Ареопагитом, обращенным в христианство самим апостолом Павлом. Им не хотелось считать своим святым какого-то галло-римского епископа, безвестного законоучителя более поздней поры, казненного язычниками на Монмартре вместе с Рустиком и Елевферием, и они почитали врагами скептиков, осмеливавшихся утверждать, что их святой Дионисий не мог быть

Ареопагитом, поскольку, если верить достоверным документам, тот никогда не покидал Греции, умер и был погребен там. В течение пяти столетий по этому поводу проливались потоки чернил и разгорались яростные споры. Абельяр был изгнан из Сен-Дени, где укрылся после своего несчастья, именно за то, что пытался поколебать монахов в их традиционном убеждении. Ученый спор с прежним пылом продолжался и в эпоху Филиппа Августа. Сомнения существовали, росли, и первенствующее из королевских аббатств серьезно страдало от них.

В 1216 г. папа Иннокентий III нашел средство. Одному из его легатов, Петру Капуанскому, посчастливилось открыть в Греции, казалось, абсолютно подлинную могилу Дионисия Ареопагита и перевезти мощи в Рим. Иннокентий III подарил их приору Сен-Дени, прибывшему на Латеранский собор, и сопроводил щедрое дарение письмом от 4 января 1216 г., предназначенным для публичного прочтения. Послать монахам тело св. Дионисия Ареопагита, происхождение которого было надлежащим образом удостоверено, означало признать, что они им не обладали. Чтобы не получилось, что он принял сторону, противную дорогой для великого французского аббатства традиции, Папа занимает нейтральную позицию, напоминая, что существует множество мнений, излагающих историю спора, и добавляет: «Не желая в настоящее время отрицать ни первого, ни второго убеждений, мы даруем вашему монастырю...» — он не говорит «мощи» святого Дионисия, что разрешило бы спор, но ловко употребляет очень неопределенное слово *pignus* — так сказать, залог, подарок — *sacrum beati Dionisii pignus*. «Так что, — говорит он, — раз вы обладаете двумя телами, никто не посмеет усомниться, что бы одно из них не было мощами Ареопагита».

Для задач такого рода Церкви приходилось изыскивать различные решения. В течение долгого времени монахи аббатства Сен-Пьер-ле-Виф в Сансе соперничали с монахами Жуара за обладание телом св. Потанциана. В связи с этим в 1218 г. реликвии Сен-Пьер-ле-Виф были более торжественно, нежели обычно, выставлены, а чудесный случай в тот же день открыл в могиле святого епископа собравшимся в Сансе письменное доказательство, что останки, выставленные для поклонения верующих, действительно были останками св. Потанциана.

Подобная же распря случилась в конце XII в. в Оверни у монахов Мозака и Исуара. С незапамятных времен христиане

Оверни и прочих мест пребывали в уверенности, что тело св. Австремония, покровителя Оверни, покоится в Мозаке. Считалось бесспорным, что в 764 г. на соборе в Вольвине председательствовал Пипин Короткий и именно тогда останки святого были торжественно перевезены в Мозак, где их никогда не открывали. Но в начале правления Филиппа Августа в крае начал распространяться слух, что голова святого находится в церкви Иссуара. Возникла и легенда, согласно которой в момент перенесения мощей в 764 г. один аквитанский сеньор по имени Роже, присутствовавший на торжестве, якобы отделил тайком голову св. Австремония, дабы спрятать ее в своем замке Пьер-Энсиз. Оттуда она вроде бы попала в руки монаху знаменитого пуатевинского аббатства Шарру и в конечном счете нашла последнее пристанище в Иссуаре. Средневековые донесли до нас псевдоисторические рассказы, составленные из различных фрагментов, для объяснения дальних странствий реликвий и содействия притязаниям какой-либо Церкви. В глазах наших предков поставить интересы святого или монастыря выше интересов истины было благочестивым, нисколько не предосудительным поступком. Благочестивого фальсификатора извиняли.

Легенда, распространяемая монахами Иссуара, оказалась и в самом деле убийственной для Мозака: этому святилищу грозило забвение из-за соперничающего заведения. В 1197 г. аббат Мозака привез епископа Клермона и умолил его произвести в законном порядке проверку подлинности реликвий св. Австремония. Открыли заключавший его ковчег, и явилось целиком все тело, плотно обернутое в полотняные и шелковые ленты «в том же состоянии, в каком его оставил король Пипин». Ремни еще носили отпечаток королевской печати. Сомнений больше не было. Победа осталась за Мозаком.

Сегодня эти детали нам кажутся не слишком интересными для истории Франции; но для современников они важны. В Средневековом обществе не было более важного события, чем выставление и перенос мощей, чем чудо, совершаемое на могиле апостола или святого, чем спор за обладание священными реликвиями. Когда французские и венецианские бароны захватили в 1204 г. Константинополь, вся Франция, до глубины души взволнованная, издала неподдельный крик радости. Воскресла идея смены греческой империи латинской и создания французскими феодалами на берегах Босфора и Эгейского моря второй

Франции? Отнюдь нет! Причина безграничного ликования заключалась в том, что рыцари и паломники возвращались со своей долей добычи, плодами узаконенного обычая разграбления византийских церквей; по всем провинциям должны были широко распределять восточные реликвии; четвертый крестовый поход сулил внезапное, нежданное, небывалое умножение христианских сокровищ. Вот что в высшей степени интересовало толпу, и именно об этом наши исторические компендиумы умалчивают.

ГЛАВА II. ПРИХОДЫ И ПРИХОДСКИЕ СВЯЩЕННИКИ

Все вышесказанное доказывает, что религиозное чувство и религиозный страх во времена Филиппа Августа все еще оставались наиболее действенными и мощными рычагами управления индивидуальными и коллективными поступками людей. И эти рычаги находились в руках духовенства.

Несмотря на сильные нападки, предметом которых она начинала становиться, Церковь в глазах людей всегда была недосгаема. Именно она и только она исполняла и могла исполнять тогда большую часть социальных функций, возложенных ныне на государство. Историки вроде Анри Мартена, оспаривающие законность и необходимость подобной роли Церкви, ничего не понимают в Средневековье. Разумеется, основной миссией духовенства было молиться и отправлять религиозные службы для всего населения. Но оно было также и сословием, которое занималось обучением и хранило научные и литературные сокровища. В обязанность ему вменялась помощь бедным, больным и паломникам. Оно выносило приговоры по большинству гражданских и уголовных процессов. Имея в руках такое оружие, как отлучение и интердикт, оно укрепляло дисциплину. Духовенство руководило всеми актами гражданской жизни верующих и было для всех феодальных суверенов необходимым инструментом управления и администрирования. Наконец, это было едва ли не единственное сословие, поставлявшее представителей свободных профессий — врачей, преподавателей, судей и адвокатов. Ему было поручено блюсти все интеллектуальные и моральные интересы общества и значительную часть его материальных интересов. Короче говоря, международная корпорация церковников не ограничивалась общим руководством судьбами христианского мира, но являлась мощным стержнем всех национальных организмов. Земельный собственник, хозяин значительной части территории, чуть ли не капиталист (потому что нельзя было отчуждать его имущество и потому что, несмотря на канонические законы, оно занималось всевозможной торговлей, даже торговлей деньгами), самое привилегированное,

освобожденное от прямого налога, а часто и от косвенного, свободное от военной службы, подсудное только особым судам, духовенство этой эпохи занимало ни с чем не сравнимое положение. И ничто из того, что существует в современной Франции, не может дать представления о нем.

Однако надо учитывать и то, что священники Средневековья — люди своего времени. Их традиции и занятия недостаточно защищали от воздействия жестоких обычаев и грубых нравов, в атмосфере которых они, как и все их современники, жили. Постоянно взаимодействуя с феодалами, поучая и умиротворяя их, они не могли избежать влияния феодального духа, невольно поддаваясь заразительным примерам. Многие из посвященных в духовный сан вышли из рыцарского сословия и, ведя образ жизни дворянина, разделяли чувства, предрассудки и пороки своего класса. Под сутаной или монашеской рясой оставалась та же живость, те же буйные страсти, та же любовь к битве. За неимением возможности использовать свою энергию и удовлетворять потребность в движении в войнах, они наверстывали свое в сословных мятежах, в конфликтах по поводу прав и обязанностей, в жестоком соперничестве мирских и церковных интересов. В церквях и монастырях жил дух независимости и бунта — сущности феодальных нравов. Над природой священников властвуют плоть и кровь. Церковь воинствующая и могущественная! Она утверждает свою огромную власть как путем оказания народу услуг, так и совокупностью добродетелей и познаний, намного более высоких, чем у других классов; но у нее нет покорного вида современного гибкого духовенства. Она живет, пульсирует и борется, как и прочие сословия.

В основании церковного организма находится приход, в котором служит приходский священник, являющийся поверенным душ, *qui habet curam animarum*. Большая часть приходских священников принадлежала к белому духовенству и находилась в исключительном ведении епископа. Но когда приход становился собственностью аббатства или капитула, его могли доверить монастырскому канонику или даже монаху, облеченному иерейским саном и направленному своей общиной отправлять священнические обязанности. Совокупность многочисленных приходов и их придатков — часовенок с капелланами в деревушках — составляет комплекс, называемый в разных районах деканством или протоиерейским приходом. Декан, или

протоиерей, являлся естественным посредником между епископом и архидьяконом, а священники простых приходов были подвластны его юрисдикции. Таково низшее духовенство — находящееся в непосредственном контакте с крестьянином, вышедшее само по большей части из народных слоев, самое многочисленное, но также и самое неорганизованное и менее всего поддающееся церковному руководству.

История этих сельских священников мало известна, поскольку приходы того времени не оставили архивов. Протоколов епископских посещений в эпоху Филиппа Августа еще нет. Что же касается хронистов, то они говорят только о церковных властях — епископах, капитулах, аббатствах, занимавших определенное место на сеньориальной лестнице. Особенно не хватает свидетельств материального и изобразительного порядка. Иллюстраторов манускриптов и церковных скульпторов занимают епископы, аббаты, монахи, но они и не думают изображать кюре. Печати приходов и деканств, которыми эти священники скрепляли акты гражданской жизни своих прихожан, дары, продажи и завещания, к сожалению, очень малы размерами, да и изображают всего лишь символические образы: Агнца Божьего, цветок лилии, орла св. Иоанна Богослова, чашу для мессы. Только на одной из них (которой в 1209 г. пользовался Рено, архиепископ Буржский) можно видеть священника, служащего у алтаря, где стоит дароносица. Музей Байе хранит маленький колокол времен Филиппа Августа — на нем стоит дата «1202 год», что является редкостью. Правда, некоторые приходские церкви, где совершали богослужения тогдашние священники, еще стоят. Но столь малую часть из них можно датировать с уверенностью! Некоторые из них соперничали в богатстве и изысканности с соборами или знаменитыми аббатствами: таковы два прекрасных образчика готического искусства — церковь св. Петра в Гонессе и церковь Пти-Андели.

В других концах Франции, в центральных и южных провинциях, приходское духовенство меньше дорожило роскошным убранством, а больше — возможностью защититься от знати, рыцарей, наемников и бандитов. В ту пору кюре возводили массивные церкви, одетые в броню толстых контрфорсов, с высокими стенами и колокольнями, похожими на донжоны. Там можно было предоставить убежище и окрестным крестьянам. Однако же существовала опасность использования священниками

подобных церквей для угнетения прихожан или сопротивления епископу. Так, Авиньонский собор 1209 г. говорит о безобразиях, которые творились в некоторых укрепленных церквях, «где недостойные священники превратили Божий дом в воровское гнездо». Поэтому укреплять церкви и кладбища запрещают. Епископы обязаны разрушить все строения, придающие храму вид замка.

Приходские священники нашли иное средство подготовиться к возможной осаде и защитить себя от вымогательств и жестокостей владельцев замков. Они создают между собой и даже совместно с мирянами братства — настоящие общества взаимопомощи, со статутами, в которых клялись в их соблюдении и в наказании нарушителей. Но Церковь, враг коммун и городских корпораций, имела свои резоны избегать братств, даже религиозных. Руанский собор 1189 г. осудил их. «Канонический устав ненавидит сей вид союза, *canonica detestatur scriptura*», — говорят епископы, мотивируя это следующим: «Поскольку трудно соблюдать статуты братства, они становятся кое для кого причиной клятвopеступлений». А правда состоит в том, что епископат не желал оставлять в руках низшего духовенства инструмент для защиты независимости. Братства священников исчезли. Однако весьма вероятно, что союз священников Крепи-ан-Валуа (*confratria presbiterorum de Crespeio*), организованный при Филиппе Августе, не вызывал опасений у властей, ибо он просуществоует все Средневековье, и исторические документы о нем, в виде исключения, до нас дошли.

С другой стороны, недоверчивость епископов была правомерной. Уж если они хотели сохранить над служащими приходов непосредственную власть, данную им в день принятия посоха и митры, то следовало сохранить религиозный и чисто духовный характер сельских священнослужителей, без которого последние быстро бы исчезли.

* * *

Приход тогда не был, как ныне, чисто церковным органом. Эта маленькая сеньория особого рода принадлежала не только Церкви в лице епископа или его представителя — архидьякона: в некоторой степени она была собственностью «покровителя». И этот покровитель — часто мирянин, то есть хозяин соседнего замка, простой рыцарь, почтенный житель деревни, иногда

более значительное лицо — граф, герцог или даже король. Светский покровитель пользовался церковью, находящейся в его владениях, как семейной собственностью, передававшейся от отца к сыну. Помимо удовлетворенного самолюбия (первое место в церкви, почести при участии в религиозных процессиях) он получал часть десятины и приходских доходов, которую мог продавать, отдавать, закладывать, как всякую другую собственность. Наконец, он имел право «представить», то есть назначить, приходского священника при условии согласия и инвеституры епископа. Во многих местах священник был не более чем вассалом, компаньоном, управляющим, арендатором покровителя. Можно лишь догадываться, к каким коммерческим сделкам приводило назначение приходских священников мирянами, спешившими извлечь из своего патронажа наличные деньги.

Однако под влиянием подъема религиозного сознания и развития монашеских орденов это зло день ото дня уменьшалось. Сложившееся в приходах положение, столь противоречащее церковному порядку и законам, волновало и приводило в смущение некоторых совестливых сеньоров. Охваченные страхом ада, они стремились избавиться от такой опасной собственности, отдавая или продавая (ибо часто эти мнимые дары — не что иное, как скрытые продажи) соседнему монастырю, известному аббатству или епископству церкви и десятины, которыми они пользовались. Таким образом, доходы Церкви возвращались ей, и именно клирик, становящийся покровителем и назначавший священника, гарантировал лучший их подбор. Но в эпоху Филиппа Августа этот реальный прогресс был достигнут далеко не во всех диоцезах. Многие приходы, возможно, большинство их, оставались еще под светским патронажем — ситуация, несовместимая с достоинством и даже нравственностью викариев и мешающая осуществлению епископских прав.

Первое из этих прав, и самое важное, заключалось в участии в основании приходских церквей и капелланских приходов; они создавались постоянно, ибо Церковь всегда использовала любой случай для расширения своего духовного и светского домена и увеличения числа священников, облеченных миссией спасения душ. Удовлетворяя потребности верующих, она выступала с инициативой разделить приход надвое, или же щедрое высокопоставленное лицо во спасение своей души несло расходы по основанию церкви. В обоих случаях все решала епископская

власть. На исходе XII в. церковь св. Петра в Рибмоне, крупной деревне в окрестностях Сен-Кантена, попала под патронаж соседнего аббатства Сен-Николя-де-Пре; таким образом, местность Вилле-ле-Сек охватывал довольно широкий приходской округ, но приход Рибмона и Вилле обслуживался только одним священником. Жители деревни обратились с просьбой к епископу Ланскому соорудить им часовню, создав отдельный приход, ибо у них была только маленькая часовенка Богоматери, в которой крестили и отпевали с незапамятных времен. Они объяснили, что расстояние между Рибмоном и Вилле слишком велико, чтобы священник Рибмона мог должным образом обслуживать оба прихода. Кроме того, этот священник жил в черте замка Рибмон; ему трудно было оттуда выйти, особенно ночью, и тогда жителям Вилле случалось умирать, не получив отпущения грехов и не успев составить завещание.

Это дело о разделении прихода на две части привело к длительному процессу, который дошел до самого Рима. Аббат монастыря св. Николая и кюре в Рибмоне не желали раздела своего прихода. Они утверждали, что доходов церкви в Рибмоне недостаточно для содержания двух приходских священников. Напротив, жители Вилле, подстрекаемые одним клириком, который рассчитывал занять должность в будущем приходе, упорно требовали отделения. Однако они не ограничились тяжбами и, пройдя все уровни власти, перешли к делу.

Уверенный в положительном решении суда, клирик из Вилле, видевший себя уже приходским батюшкой, однажды проник со своими сторонниками в часовню Богоматери. Прибежал аббат св. Николая, чтобы воспретить им туда входить, но его остановили в дверях, и он даже жаловался, что его поколотили. Тут люди аббатства прибегли к силе и, окружив часовню, которую виллеский клирик отказывался покинуть, не спуская с него глаз, продержали его там без пищи четыре дня, желая поморить голодом. Но несчастный скорее бы умер, чем отказался от того, что считал своим правом, если бы епископ Ланский не приказал прекратить осаду. В конечном счете Иннокентий III 16 мая 1198 года утвердил разделение приходов. Но деревушка Вилле, слишком бедная, не могла прокормить нового кюре. Аббат св. Николая и священник Рибмона крайне неохотно выделяли Вилле часть доходов своего старого прихода. В 1204 г. епископу Ланскому по приказу Папы пришлось вмешаться снова, чтобы урегулировать

спорный вопрос: «Ввиду того, что со времени разделения прихода у священника церкви Рибмона меньше работы, а священнику Вилле не хватает средств, аббат св. Николая обязан снабжать последнего каждый год мюидом зерна из поступлений священника Рибмона». История любопытная; она показывает нам, что папская власть небезуспешно вмешивалась в самые незначительные дела церковной жизни страны.

Когда частное лицо основывает храм, церковные власти с готовностью принимают эту щедрость, но одновременно заботятся о том, чтобы обеспечить свое участие и диктовать свои условия. Они больше не позволяют основателю становиться, как некогда, абсолютным хозяином своей церкви и священника. В 1195 г. сеньор местности Бовуар в Лимузене просит у епископа Лиможского разрешения построить в своей деревне приходскую церковь. Епископ предоставляет ее, но прежде всего требует, чтобы викария-священника хорошо содержали: ему должен будет идти весь доход от приходской десятины, более того — кухня сеньора всю жизнь будет поставлять ему все необходимое. Капеллан же освобождается от прямой зависимости от епархии и не будет назначаться епископом. В 1202 г. два землевладельца объявили о готовности взять на себя капелланские расходы в Ренемулене (Сена-и-Уаза), хотя часовню обслуживал один монах ордена Троицы. Епископ Парижский разрешает, но оговаривает в официальной хартии с детальным указанием доходов пункт, сохраняющий за ним право назначать, равно как и отзывать викария и требовать с него клятвы повиновения. Причем одного основания церкви и передачи ее в дар основателем недостаточно: когда сеньор де Шеврез в 1204 г. получил разрешение создать приходскую церковь и часовню, от него потребовали выделить необходимое место для пристройки к храму дома священника, кладбища и часовни с садом; только в течение его жизни и жизни его жены за ними сохранится право назначать приходского священника и капеллана; после же их смерти назначение будет производиться епархией. Добрые времена феодального патронажа миновали, и Церковь все больше и больше отделяется от мира; она принимает дары, но не желает больше подчиняться дарителям.

Чтобы гарантировать собственное право и укрепить общий порядок, епископ принимает меры предосторожности даже в том случае, когда инициатива основания церкви исходит от

духовного лица. В 1204 г. дьякон из Сен-Клу захотел основать посредством дара специальную должность капеллана в большой часовне епископа Парижского в Сен-Клу. Ему поставили два условия: после смерти основателя и его брата, которые станут первыми викариями, их преемников назначит епархия; а еще — часовня никогда не будет вступать в соперничество с приходской церковью Сен-Клу за получение приношений и прочих приходских доходов. Следует стремиться к тому, чтобы новые службы не действовали в ущерб старым.

Серьезными были вопросы, затрагивавшие имущественные интересы людей, особенно если основатель прихода был монахом, ибо существовали бесконечное соперничество, постоянный конфликт между белым духовенством и монашескими конгрегациями. Последние заинтересованы в приумножении церкви и часовен, обслуживаемых монахами-священниками, чтобы усилить таким образом свое влияние и укрепить свои материальные ресурсы. В 1205 г. монахи приорства Дей попросили разрешения построить часовню в Гонессе. Парижский епископ, разрешив это, учел интересы священника Гонесса и приходской церкви св. Петра. Кюре оставлял за собой, как и прежде, доход от посещений, исповедей, погребений, свадеб, очищений, крестин и приношений во время пяти великих праздников — Рождества, Пасхи, Пятидесятницы, Дня Всех Святых и апостолов Петра и Павла. Несомненно, эти пять праздников будут отмечаться и в часовне монахов, но им строго запрещалось допускать к мессе кого-либо из прихожан церкви св. Петра. Однако, какими бы скрупулезными ни были эти установления, они не могли предусмотреть всех конфликтных случаев, и заинтересованные лица искали средства их избежать. В эпоху Филиппа Августа во всех провинциях постоянно происходили стычки между священниками и монахами по поводу приходских прав; белому духовенству все больше и больше угрожает соперничество клира монастырского. Дело примет другой оборот, когда появятся нищенствующие ордена.

Другая сложность — комплектование штата новых приходов. Когда патронаж церковный, то истинный настоятель — это епископ, декан капитула или аббат; викарий же, обслуживающий приход — лишь заместитель. На него возложен весь неблагодарный труд, и первая несправедливость заключается в том, что он получает лишь малую часть доходов должности. При этом

церковнослужители, контролирующие приход, старались не делать слишком плохого выбора; но светские бароны, больше озабоченные собственными интересами, нежели способностями кандидата, давали и даже продавали самые доходные церковные должности своим ставленникам. В этом случае приходы управлялись невежественными или недостойными клириками, которые зачастую не являлись священниками и не желали прилагать усилий к тому, чтобы ими стать. Многие из них, неспособные или слишком молодые, не утруждали себя проведением служб или не имели права на это. Они и не жили при храмах, а отправлять богослужения заставляли лучше или хуже оплачиваемых заместителей, спрос с которых также был невелик. Иные, будучи женатыми и отцами семейств, ухитрялись передавать свою должность сыновьям. Несмотря на запреты, наследование должности в некоторых странах существовало на практике.

Правда, у епископа были право и обязанность контролировать назначение приходских священников. Покровитель должен был представить ему своего кандидата. Епископ, осведомленный архидьяконом и деканом, подвергал соискателя экзамену и обязан был доверить ему заботу о душах пасомых только в случае способности кандидата к отправлению должности и его соответствии каноническим требованиям, условиям возраста и нравственности. Но как епископам исполнять свой долг в эпоху трудного сообщения и отсутствия исправных и эффективных средств контроля? Поэтому епархия чаще всего довольствовалась одобрением выбора, сделанного покровителями. Сам же экзамен был смехотворным. Кандидат склонял латинское имя существительное, спрягал глагол в индикативе, называл его основные времена, немного пел и все.

Мало того, что закон был несовершенен — его еще и обходили. Кандидат, боявшийся экзамена у своего епископа, мог быть опрошен епископом другого диоцеза, другой провинции или даже одним из епископов *in partibus (transmarini)* (в заморских землях), которых было предостаточно; довольно было представить своему епархиальному начальству акт о рукоположении, скрепленный епископской печатью. А если щепетильный глава диоцеза отказывался принять представленного покровителем священника, отстраненный кандидат взывал по этому поводу к Риму. Приходилось папским представителям производить расследование и принимать решение. В течение этого времени

приходское место оставалось вакантным, служба страдала или же в приходе временно устраивался посторонний, делаясь в конечном счете местоблюстителем настоятеля. Все эти махинации осуждались каждым собором, что само по себе является доказательством бессилия последних переломить ситуацию. Не большой успех имели и запреты Папы. Луций III пишет в 1181 г. архиепископу Руанскому: «Не позволяйте служить в приходах клирикам, кои не являются священниками или не собираются принимать духовный сан. Не принимайте также тех, кто не желает лично отправлять службу в своей церкви. Ежели патроны делают дурной выбор, назначайте сами другое должностное лицо, и пусть вас не останавливают апелляции к Риму».

В 1185 г. Урбан III приказывает аббату Фекану «не допускать, чтобы в каких-либо храмах, находящихся под его личным покровительством, сыновья священников наследовали своим отцам». Привычки и нравы были явно сильнее закона.

Эти приходские священники и не считали себя должностными лицами Церкви, зависящими от епархии; ведь епископ был далеко, его инспекционные поездки нерегулярны — не мог же он поспевать всюду. Строго говоря, священник обязан был приезжать в главный город диоцеза, чтобы присутствовать на ежегодном синоде, где епископ напоминал об обязанностях каждого сообразно положению, делал душеспасительные предостережения и предпринимал против тех, кто был им изобличен, дисциплинарные меры: наказания, временное отстранение от должности или полное отрешение. Он требовал тем более строго участия в синоде, так как это давало ему возможность на месте осуществлять свои права. Но священники с нечистой совестью побаивались такого путешествия. Один из первых статутов синода, принятый между 1197 и 1208 гг. епископом Парижским Эдом де Сюлли, предписывал служившим в приходе лично присутствовать на собрании, а в случае отсутствия по уважительной причине быть представленным капелланом или клириком, откуда ясно, что туда приезжали не все кюре. Собрание синода должно было проводиться в диоцезе регулярно: пример подавал парижский синод, где присутствие Филиппа Августа обеспечивало относительный порядок. Но как же епископ мог собрать вокруг себя каждый год всех священников своего диоцеза, если в провинциях даже государь был бессилён, если свирепствовала длительная феодальная война? Священник запирался в своей

церкви, почти столь же независимый, как и знатный владелец соседнего замка.

Неповиновение и даже открытые мятежи не были редкостью. В 1192 г. Тульский синод угрожает священникам, отказывающимся служить мессе и исполнять приходские обязанности, отлучить их от Церкви, временно отстранить или вовсе отрешить от должности. У них навсегда отнимут всякие бенефиции и церковные посты. Руанский собор отлучает клириков, которые вопреки воле епископа и при поддержке какого-либо мирянина насильственно завладели должностью приходского священника. Со своей стороны гневно возмущаются мятежными проповедниками прелаты: «Как только захотят их покритиковать за проступок, тут же они обращаются с жалобой в папскую курию. Они радуются, возбуждая дело против вышестоящих, и в гордыне ведут себя вызывающе со своими епископами. Едва попытаются их наказать, как они поднимают крик: „В Рим! В Рим!“ Они обманывают сеньора папу тысячею выдумок и клеветуют на тех, кто выше них».

Само папство наконец сочло невыносимым это апеллирующее к Риму вопиющее злоупотребление, противное всякой иерархии, всякой дисциплине, и Луций III сурово клеймит его в письме, адресованном епископу Парижскому Морису Сюлли:

Нам говорят, что некоторые священники твоего диоцеза не краснея, публично преступают законы о сожительстве и что, когда ты желаешь их наказать, они угрожают тебе обращением в Рим. Таким образом они воображают избежать законной кары и получить возможность упорствовать в своих пороках. Но право апелляции было придумано не для облегчения священникам возможности грешить. В силу апостольской власти мы предоставляем твоему братолюбию следующее право. Всякий священник, обвиненный и предупрежденный и не сумевший или не захотевший в течение сорока дней подчиниться каноническому очищению, будет наказан временным отстранением. Ты воспользуешься им против него, невзирая на его сопротивление и всякое обращение в нашу курию. Упорствующие будут наказаны отстранением их от должности и отнятием бенефиция.

Мудрая мера, но на деле знаменитая формула «невзирая на всякое обращение» является слабым удовлетворением для епископов. Властям диоцеза еще приходилось осторожно

использовать право строгого наказания мятежного священника. Клирик той эпохи, каким бы недостойным он ни был, являлся священным лицом, на которого было опасно посягать.

Епископу Эду де Сюлли пожаловались на постыдный образ жизни одного священника, и по приказанию свыше тот вынужден был покинуть Париж. В 1208 г. епископ умер; осужденный тут же без разрешения возвратился в Париж и продолжал скандально вести себя. Но новый глава диоцеза Петр Немурский велел задержать наглеца и заключить в епископскую церковь в Витри. Так как тот попытался сбежать, подкопав землю в камере, где был заключен, его перевели в более надежную тюрьму в Сен-Клу. Там он повел себя настолько безобразно со стражниками тюрьмы, что однажды один из них, выведенный из себя, потерял терпение, оскорбил задержанного и ударил его. Дело серьезное! Ведь ему не дозволялось бить клирика. Епископу доложили о происшедшем, и он приказал отпустить узника. Стражник, зная, к чему приведет его поступок, сам покинул место и сбежал. Дело на том не кончилось. Этот покрытый позором строптивый священник становится в свою очередь обвинителем и возбуждает дело против своего епископа. В 1209 г. Петр Немурский предстал перед третейским судом, состоявшим из аббата Сен-Виктора и одного из каноников собора Богоматери. Священник охотно признал, что епископ не ответствен за причиненную ему обиду и насилие, что стражник действовал не по его приказу и без ведома своего повелителя; он поклялся на Евангелии, что этим процессом он вовсе не пытается отомстить епископу и его людям и просит позволения отдаться на милость своего епархиального начальства. По требованию судей и в знак примирения Петру Немурскому пришлось дать ему поцелуй мира.

* * *

При внимательном прочтении предписаний и запретов ясно видно, что одна из главных забот церковной власти — пресечение скандалов и злоупотреблений в среде низшего духовенства. Именно в этом заключалось внутреннее зло, незаживающая рана Церкви. Видимо, особенно страдала от него южная Франция. Ежели верить хронистам, аквитанские, лангедокские и провансальские кюре дошли до последней степени разложения. Гийом де Пюилоран утверждает, что они вызывали самое глубокое презрение:

К ним относились как к евреям. Знатные люди, патронировавшие приходские церкви, воздерживались назначать священниками в них своих родственников, а давали эти должности сыновьям своих крестьян, своим сервам, к которым, естественно, не было никакого почтения.

Авиньонский собор 1209 г. в самом деле констатирует, что «священники больше ни внешне, ни по поступкам не отличаются от мирян» и что «они не прекращают предаваться самым постыдным излишествам (*immunditus et excessibus implicantur*)». Это объясняет ту легкость, с которой средиземноморское население отходило от католичества, предпочитая учение альбигойцев или вальденсов.

Однако не надо думать, что на севере священники были безупречны. Менее обмирщенные, под более пристальным надзором, они все же давали повод к порицаниям настолько серьезным, что сама Церковь осуждала их. Постановления соборов содержат весьма колоритные детали клерикальных нравов, и вот их основные черты. Прежде всего, не говоря о священниках, являвшихся таковыми лишь по имени и единственно для того, чтобы получать деньги из приходских доходов, штатные служители приходов чересчур легко уклонялись от обязанности жить в определенном месте. Их постоянно видят за пределами своих приходов — под предлогом обучения в школах, паломничества или посещения своих коллег, хотя по правилам они не должны отлучаться без разрешения епископа или его представителей.

Их внешний облик не соответствует облику служителя Церкви. Они слишком отрачивают свои волосы и прячут тонзуру; они одеваются по мирской моде в зеленые или красные ткани, открытую одежду с широкими рукавами, расшитую серебром или иным металлом, вырезанную понизу зубцами, в башмаки с острыми носами. Они носят оружие и прогуливаются с собаками или ловчей птицей. Вот от каких нарушений религиозных устоев, от какой свободы пришлось бы отказаться священникам под угрозой потерять свои бенефиции! Также им запрещалось иметь на своем столе слишком большой выбор блюд. Если клирики хотят снискать уважение у своих прихожан, пускай начинают с того, чтобы на них не походить.

Кроме того, эти кюре не довольствуются саном священника, но сочетают его с другими занятиями. Одни являются

адвокатами, другие — врачами, третьи — прево или состоят на службе у светского сеньора, четвертые — настоящие торговцы и продают зерно, вино, ссужают деньги под солидные проценты. Соборы сурово восстают против священников-торговцев и ростовщиков. Клирикам дозволяется становиться адвокатами только в особых случаях, когда речь идет о тяжбе в защиту интересов Церкви, вдовы или сироты. В крайнем случае они еще имеют право судиться за свои приходы, однако не должны требовать вознаграждения, разве что оплаты своих расходов, если последние не слишком велики. «Из вашего донесения мы узнаем, — пишет папа Григорий VIII епископу Пуатье, — что некоторые клирики вашего города и вашего диоцеза, жадные до денег, попирают достоинство священнического сана. Ко всеобщему возмущению они исполняют обязанности адвокатов, причем в неразумной мере. Другие до такой степени забывают церковную честь, что берутся за торговлю, продают и покупают товары. Их скорее назовешь купцами, нежели священниками. Этим они унижают высокую должность, коей облечены».

Нужда в деньгах толкает священников на дела еще более предосудительные. Рассматривая приходскую церковь как свою собственность, они сдают ее в аренду частным лицам, продают или закладывают без разрешения епископа дома и земли, составляющие часть прихода. Они предоставляют некоторым лицам, особенно своим родственникам, часть приходских доходов или пенсий. Когда же их кошелек пустеет, они закладывают у ростовщика священнические облачения и предметы культа, одним словом, всеми способами спекулируют своим бенефицием. В довершение всего некоторые кюре не довольствуются выколачиванием денег из своего прихода — они сдают в аренду другие церкви, расширяя таким образом свои операции. Все продается, даже звание и должность благочинного (декана).

Нет нужды говорить, что эти дельцы бесстыдно злоупотребляют своими священническими обязанностями и распоряжением таинствами. За деньги они совершают тайные бракосочетания, требуют плату вперед за крещения, похороны, венчания, соборование умирающих. Ладно бы принимали вознаграждение после, но ведь не наперед же, и во всяком случае они не должны ничего требовать. «Им запрещается вымогать деньги за предание земле тел усопших», — говорит Парижский собор 1208 г. Собор 1212 г. осуждает тех, кто заставляет больных передавать им

по завещанию вознаграждения за мессы, которые должны служить в течение целого года, а также трех и семи лет. Ясно, что эти мессы было не отслужить, и их сваливали на оплачиваемых заместителей. Наконец, судя по одному положению Руанского собора 1189 г., приходские священники возмутительно злоупотребляли своими правами, пытаясь отторгнуть от Церкви и ее таинств неугодных им прихожан или тех, из кого они хотели извлечь выгоду.

И хоть бы они выполняли на совесть свои служебные обязанности! Одной из самых главных является проповедь. Но многие слишком невежественны и именно по этой причине не могут проповедовать. Поскольку все же прихожан надо наставлять, они привозят откуда-нибудь профессиональных проповедников. Существуют клирики и даже миряне, сделавшие разъездную проповедь своим ремеслом. На счастье бесталанных кюре, они переезжают за деньги из прихода в приход. Это даже приводит к особому рода промыслу. Он возникает из «товариществ проповедников», которые подряджаются на год читать проповеди во всем диоцезе или группе приходов и поставляют проповедников тем, кто их запрашивает. Есть доказательства, что такая странная организация действовала в Нормандии.

Церковь встревожилась; неоднократно она запрещала использование бродячих проповедников, не без основания опасаясь, как бы чужаки не посеяли в народе семена чуждых христианству доктрин и в форме проповеди не проскользнула бы ересь. Парижский собор 1212 г. запретил все проповеди посторонних людей, не утвержденные местным епископом; равным образом он запрещает настоятелям приходов позволять служить мессу незнакомым священникам.

Спросим себя, какими же могли быть наставления, читавшиеся этими малообразованными клириками, неспособными даже выучить наизусть и должным образом изложить уже готовые сборники проповедей, вроде тех, что составил епископ Парижский Морис де Сюлли на потребу священникам своей епархии. Дабы компенсировать этот недостаток и произвести впечатление на своих слушателей, некоторые деревенские батюшки, особенно в отсталых районах, использовали чуть ли не детские приемы. Читая проповедь, они ставили на край или на балюстраду кафедры деревянное распятие, внутри которого была пружина, позволявшая двигать головой, глазами и языком Христа так,

что не было видно, что ими управляет проповедник. Пружина двигалась при помощи железного стержня, проходящего по всей высоте креста через основание, который можно было опускать и поднимать, нажимая ногой. Один из этих трюкаческих крестов из маленькой церкви в Оверни, изготовленный в конце XII в., сохранился в музее Ключи.

Наконец, соборы упрекают священников в том, что они позволяют в своем приходе танцевать в церкви, на кладбищах, в религиозных процессиях и сами участвуют в этих танцах, равно как и в прочих малоприличных представлениях, даваемых жонглерами и скоморохами. Их обвиняют в том, что они играют в азартные игры, им запрещают игру в кости и даже шахматы, а также посещение таверн. Некоторых порицают за нечистоплотность и плохое содержание храма. Отдельно с особой силой клеймят два порока, весьма распространенных, — пьянство и невоздержанность. Из числа подобных клириков меньшего порицания заслуживают те, кто содержит в доме священника сожительницу, которую народ вполне естественно называет «священница», а соборы — *focaria*, то есть «домашняя работница», «служанка».

Проповедники времен Филиппа Августа поддерживают — также высказываясь неодобрительно о приходском духовенстве — действия соборов. «Наши священники, — говорит Жоффруа де Труа, — погрязшие в материальном, мало беспокоятся о разумном. Они отличаются от мирян одеждой, но не духом, видимостью, но не сущностью. С кафедры они поучают тому, что опровергают делами. Тонзура, одежда, язык придают им внешний религиозный лоск; внутри же, под овечьей шкурой, прячутся лицемерные и алчные волки». Когда епископ Морис де Сюлли в предисловии к своему учебнику проповеди обращается к приходским священникам своего диоцеза, он сам невольно разоблачает слабые места этих служащих: дурные нравы, невежество, нежелание проповедовать. Ему приходится напоминать им, насколько незапятнанная жизнь, *vita sancta*, необходима священнику, находящемуся постоянно у алтаря, что первой добродетелью после целомудрия должна стать умеренность. Он призывает их также быть смиренными, любить ближнего, выказывать себя терпеливыми и великодушными. С другой стороны, он желает, чтобы они постигали знания, *recta scientia*, то есть чтобы читали и доставали себе книги, по которым будут обучаться:

необходимые литургические труды, сакраментарий, лекционарий, молитвослов, календарь, Псалтырь, книгу проповедей и пенитенциалий. Наконец, необходимо, чтобы они поучали не только примером, но и словом — существенной частью их служения, обязанностью, от которой они не должны уклоняться.

Сравним некоторые обвинения, возводимые соборами и сборниками проповедей этого времени, с тем, что засвидетельствовано тридцатью годами позднее в «Книге посещений» архиепископа Руанского Эда Риго — точное соответствие фактов не оставляет никакого сомнения в том, что интеллектуальное и моральное состояние низшего духовенства было плачевным. Сама Церковь вынуждена признать размеры зла. Видя, как сурово судит она своих служителей, нечего удивляться нападкам и сатирам светской литературы. Картина, которую мы только что нарисовали по церковным текстам — то же самое, чем станет книга Эда Риго, а именно живым комментарием к фаблио.

По словам самых сведущих специалистов, подобные рассказы по большей части относятся к концу XII — началу XIII вв. Таким образом, человек, изучающий эпоху Филиппа Августа, вправе искать в них подробности нравов, элементы реальной жизни, обрамляющие фантазию рассказчика.

Низшее духовенство особенно порицается авторами фаблио. Священник — непременно пронырливый и похотливый персонаж, которому нравится гоняться за приключениями к ущербу для благородных мужей и простолюдинов. Но авторы стараются различать простого клирика, у которого только и есть, что тонзура и одеяние и который может жениться, от собственно священника, викария прихода. Клирик, первый любовник фаблио (по очень точному выражению Ж. Бедье), забавен, и ему обычно все сходит с рук. Над кюре же, чревоугодным, алчным, распутным и во всех отношениях опасным для своих прихожан, издеваются почти так же, как и над простолюдином. Он одновременно посмешище и жертва. Эти скандальные рассказы обычно заканчиваются его посрамлением, потерями, иногда даже смертью. Рассказчики с жестоким удовольствием набрасываются на этого персонажа, смешивая его с грязью. Беспощадную резкость сатиры можно объяснить только злобой, копившейся против недостойных священников, привыкших злоупотреблять своей службой, чтобы обирать и унижать своих прихожан. Но сквозь крайности этих бурлескных и мрачных повествований в избытке

выплескиваются взятые из жизни черты нравов и пробивается наружу правда, окрашенная истинным колоритом прошлого. Нет ничего более поучительного, чем фавлю, озаглавленное «Священник и рыцарь». Некий рыцарь приезжает в деревню и, не зная, где переночевать, спрашивает у первого встречного: «Во имя спасения души твоего отца, назови мне самого богатого человека этого места». Тот отвечает: «Самый богатый, какой только может быть в десяти лье вокруг, это наш кюре; но он человек коварный и любит только самого себя. Окрест его дома живут крестьяне, отвратительные, как волки и леопарды. Так что лучше пойти к священнику, ибо из двух зол следует выбрать меньшее». — «Где же дом капеллана?» — «Вон тот, прекрасный, чистый, с трубой, что перед вами. Священника зовут Сильвестр». Рыцарь подъезжает к дому и видит кюре, развалившегося под окном. Он просит у него приюта на ночь. «Сеньор рыцарь, оставьте меня в покое, — говорит священник, — и подите прочь. Я никого не пущу, даже короля, если бы тот сюда явился. Я один со своей племянницей и подругой» (это общепринятое слово в литературе для обозначения «священницы»). Рыцарь настаивает: «Я за хорошую постель дам вам все, что хотите». Тогда священник соизволяет взглянуть на него, и переговоры между ними начинаются. Прежде чем пустить гостя в дом, он запрашивает с чужеземца сумму в пять су за все блюда, какие ему подадут. Рыцарь соглашается. Он входит; дама Авине (символическое имя подруги) накрывает на стол; сам священник помогает на кухне — чистит миндаль. Потом подают обильный обед, а после десерта кюре представляет своему гостю длинный счет, где каждый пункт оценен в пять су: мясо, вино, соль, стол, скатерть, горшки, овес для коня, сено, подстилка — вплоть до постели, на которую ложится рыцарь. Неважна забавная выдумка, которая помогла рыцарю расплатиться, не развязывая кошелек; важно констатировать, что в этой маленькой комедии ни единое слово даже в малейшей степени не наталкивает на мысль о порицании сожительствующего священника и незаконности этой супружеской четы.

Семейная жизнь священника и священницы — дело привычное, почти социальный институт. Изображенный в фавлю «Мясник из Абвиля» кюре наслаждается домашней жизнью, ибо живет в довольстве и владеет множеством скота. У него тоже есть «подруга», которая с помощью служанки радушно

принимает гостей в его доме. Она ужинает с ним и его гостем, абвильским мясником: «На стол очень щедро подавали хорошее мясо и доброе вино; постель мясника застлали белыми льняными простынями». На следующий день священник встал рано: «Он и его клирик отправились в монастырь служить и заниматься своим ремеслом, а дама осталась спать». Нам описывают эту даму, как «премиленькую». Она одета в «зеленую юбку, хорошо заплиссированную утюгом, со струящимися складками, с немного приподнятыми из кокетства к поясу полами. У нее ясные и смеющиеся глаза, она красива и искусна в беседе». Мы даже присутствуем при домашней сцене, когда дама оскорбляет служанку и бьет ее веретеном. «Госпожа, — говорит та, — что я у вас взяла?» — «Бесстыдница, мой овес и зерно, горшки, сало, шпигованное мясо и свежий хлеб». Вне сомнений, это хозяйка дома. Подобная совместная жизнь никого не возмущала, что доказывается тем, что далее священник в гневе на «священницу» говорит ей: «Вы больше мне не подруга» и угрожает выгнать ее, позоря тем самым перед соседями.

Кюре боится только силы — то есть епископа. Но епископы фавбли не слишком строги. Рассказчик показывает трех лиц, живущих в доме священника: кюре, его мать и подругу. Мать жалуется епископу, что ее сын не выделяет ей необходимого, в то время как «священницу» не знает, во что бы еще нарядить. «Он одевает ее хорошо и красиво. У нее прекрасная юбка и накидка; две шубы, добротных и красивых, одна беличья, другая из ягненка, и богатая ткань, шитая серебром, о которой все говорят». Епископ вызывает священника с двумя сотнями других кюре на суд, угрожая ему временным отстранением от должности, если он не будет обходиться со своей матерью с большим уважением, но и не думает упрекать его за совместную жизнь с подругой.

Однако (и это чаще встречается в исторической действительности) епископ Байе, менее великодушный, приказывает одному кюре своего диоцеза отослать «священницу» по имени дама Обере. В конечном счете он наказывает не желающего повиноваться священника, запретив пить вино. Дама Обере, тонкая штучка, советует кюре повиноваться: он не будет больше пить вина, он будет его всасывать. Когда епископу донесли об этой Уловке, он запрещает виновному есть масло. «Ладно! — говорит дама кюре, — вместо масла вы будете вволю есть гусей, у вас их

более тридцати штук». Новое предписание епископа воспрещает кюре ложиться на свою перину — дама Обере устраивает ему постель из подушек. Невозможно передать все хитрости, которыми двое провинившихся доводят епископа до того, что тому нечего больше сказать.

В некоторых фаблио видно, каким странным образом кюре отправляют свою должность. Здесь священник ложно обвиняет крестьянина в том, что тот женился на своей куме, изгоняет из церкви и устанавливает штраф в семь ливров. Там в Великую пятницу во время дневного чтения Евангелия служащий мессу не находит закладок в своем молитвеннике, который знает плохо, и, теряя голову, бормочет какие-то невразумительные латинские слова, совершенно не относящиеся к Страстям Господним, покуда не убеждается, что прихожане все до последнего уже собрались для приношения. Наконец, в другом месте кюре становится жертвой шутки, которую безденежный клирик играет со своим трактирщиком. Клирик обещает трактирщику, требующему долг, что за него заплатит кюре. Оба возвращаются в церковь. Там клирик отводит настоятеля в сторону: «Сир, я проживал на постоялом дворе этого доброго малого, вашего прихожанина; со вчерашнего дня его поразила жестокая болезнь — он стал немного не в себе. Вот десять денье — возложите ему Евангелие на голову». Священник говорит трактирщику: «Подождите, покуда я отслужу мессу, я улажу ваше дело». Трактирщик, полагая, что речь идет о плате, совершенно успокоенный, терпеливо ждет, а клирик украдкой ускользает. По окончании мессы священник заставляет встать на колени своего прихожанина, который упорно требует денег, а не изгнания бесов. Так вот в чем, оказывается, его болезнь! Сдерживаемый двумя самыми сильными молодцами прихода, он активно сопротивляется; его кропят святой водой и возлагают Евангелие на голову, понятно, без особого результата.

Стоило бы сравнить запреты соборов с соответствующими сатирами фаблио и показать, как последние интерпретируют первые. Только один пример: церковная власть часто запрещала приходским священникам играть в кости. «Рассказ о священнике и двух мошенниках» представляет нам кюре, потерявшего свои эку и даже лошадь в игре в кости с двумя случайно встреченными на дороге скрипачами. Эти бродяги сплутовали: их кости поддельные, и жертве не без труда удастся вернуть себе если не кошелек, то хотя бы лошадь.

Чтобы понять состояние приходского духовенства во времена Филиппа Августа, следует искать аналогий не в нынешней Франции, где сословие нынешних сельских священников столь почтенно и уважает законы Церкви. Бросим взгляд на ту сторону Атлантики, на низшие слои испанского духовенства — Чили, Перу, католических американцев Юга: сожителям священники и их более чем свободные нравы, которые допускаются терпимостью креольского образа жизни, переносят нас в настоящее Средневековье. Но ведь Средневековье можно извинить еще и удручающим состоянием окружающей действительности, деревенской средой, откуда выходили священники и в которой они призваны были жить. Впрочем, мы думаем, что класс приходских священников в целом был не таким уж порочным и бестолковым, как можно заключить из обвинений сановников и насмешек жонглеров. Во всяком случае, среди современников Филиппа Августа известен один кюре, которого уж никак нельзя назвать невеждой и который занимает достаточно почетное место в исторической литературе своего времени. Об этом исключении следует сказать особо.

Кюре Ламбер был прикреплен к приходской церкви в Ардре, главном городе маленькой сеньории, долгое время входившей в состав Фландрии. Это был женатый священник или, возможно, бывший когда-то женатым, поскольку он прямо, без малейшего стеснения говорит о своей дочери и двух сыновьях. Год его смерти нам неизвестен, равно как и год рождения; мы знаем только, что он жил в начале XIII в. Последнее упоминание о нем в хрониках относится к 1203 г. История порой изображает его при отправлении обязанностей. Не всегда было приятно их исполнять, поскольку священники, как и монахи, не были защищены от жестокостей феодалов.

У Бодуэна II, графа Гинского и сеньора Ардра, был сын Арнуль, отлученный от Церкви архиепископом Реймским за жестокий проступок. Неукоснительный долг настоятеля прихода заключался в соблюдении анафемы и запрещении отлученному входить в храм. Настал день, когда граф Гинский сообщил Ламберу, что его сын только что получил прощение грехов от представителя архиепископа, а поэтому, дабы возвестить о его прощении всем прихожанам, следует звонить в колокола. Одно-го утверждения отца отлученного священнику показалось недостаточно, он в затруднении прибег к увертке, прося об отсрочке,

а затем решил поехать к Бодуэну. Он повстречал его на дороге в сопровождении сына и отряда воинов. Бодуэн встретил его градом упреков и ругательств; ответ же непокорного и мятежного священника был кратким. «Повергнутый в ужас, — пишет кюре, — громом его голоса и молниями глаз, сверкавших как раскаленные угли, раскатами его брани, я почти без чувств свалился с лошади к его ногам. Воины подняли меня, и я снова кое-как взобрался в седло. И лишь проскакав некоторое время со своей свитой, он соблаговолил обратить ко мне более приветливое лицо».

Через некоторое время, в 1194 г., Арнуль женился на владелице соседнего замка Беатрисе де Бурбур. Свадьба состоялась с великой пышностью в Ардре. Рассказ кюре Ламбера позволяет нам присутствовать на одной из церемоний, где священник прихода играл важную роль — благословении брачного ложа.

С наступлением ночи, когда супруга и супругу уложили в одну постель, граф Гинский, преисполненный любви к Святому Духу, позвал меня и двух моих сыновей, Бодуэна и Гийома, а также Робера, кюре Одрюика, и попросил нас окропить святой водой новобрачных. Затем мы обошли вокруг ложа с кадилами, наполненными благовониями, и, окурив их, призвали на них благословение Господа. Когда мы с наивозможным тщанием и благочестием сделали свое дело, граф, все еще охваченный милостью Святого Духа, возвел к небу глаза, простер руки и воскликнул: «Пресвятой Боже, всемогущий Отче, Всевышний, благословивший Авраама и его потомство, излей на нас Свое милосердие! Соизволь благословить слуг Твоих, соединенных священными узами брака, дабы жили они в добром согласии, в Твоей божественной любви, и потомство их увеличивалось до скончания веков». Мы ответили: «Аминь», и он прибавил: «Мой дражайший сын Арнуль, старший и самый любимый из моих детей! Ежели есть что-то в благословении, даваемом отцом своему сыну, и если правда, что обычай наших предков дает нам это право, я с молитвенно сложенными руками также милостиво благословляю тебя, как некогда Бог-Отец благословил Авраама, Авраам — сына своего Исаака, а Исаак — сына Иакова». Арнуль склонил перед отцом голову и благочестиво прошептал «Отче наш». Граф продолжал, подчеркивая силу и значение своих слов: «Благословляю тебя, не в обиду праву твоих братьев,

чтобы ты пользовался моим благословением во веки веков». Мы все ответили: «Аминь», после чего вышли из брачных покоев и каждый возвратился к себе.

Человек образованный и эрудит, этот ардрский кюре представляет собой один из самых ранних примеров весьма распространенного сегодня явления: потребности приходского священника изучить происхождение своей церкви и области, в которой она была возведена. Ламбер стал историком сеньории Ардра и всего графства Гинского. Он сам заявляет об этом, видимо, чтобы угодить своему хозяину после дела об отлучении, охладившего его пыл, а затем и из удовольствия донести до других плоды своих научных изысканий, дабы показать редкую тогда среди ему подобных образованность. Одно чувство преобладает и всюду проявляется у этого священника: любовь к «своей колокольне» и сеньории, которая простирается вокруг. Кажется, для него в этом крошечном фьефе заключен весь мир. Все в его глазах здесь принимает грандиозные размеры. В своем хвалебном посвящении сеньору Ардрскому он поет славу Арнулю II, как если бы речь шла о Цезаре или Александре. И в основной части самого труда, говоря о владениях Бодуэна II Гинского, такого же феодала, как множество мелких баронов по берегам Ла-Манша, одновременно вассала Франции и Англии, он возвещает, что его сеньория — одна из самых ценных жемчужин короны Франции и один из самых лучших бриллиантов, сияющих ярким блеском в венце английских королей. Чуть дальше он сравнивает Бодуэна II с Юпитером, Давидом, Соломоном. В другом месте осада донжона Сангат напоминает ему осаду Трои, и он добавляет: «Если бы в Трое было столько же воинов, как в Сангате, она бы устояла перед греками!».

Весьма гордый своими познаниями, Ламбер цитирует во введении одновременно Овидия, Гомера, Пиндара, Вергилия, Присциана, Геродота, Проспера, Беду, Евсевия и святого Иеронима — мешанина священного и мирского, являющаяся знаменем времени. Он хвастается хорошим стилем, хотя, по правде говоря, его фразы витиеваты, запутанны, неясны, они утомляют читателя претензией столь же тягостной, сколь смешными были некоторые его этимологии имен собственных. Тем не менее он пишет достаточно живо, многие из его рассказов развиваются подобно полотну и производят яркое впечатление.

Поначалу он изощряется в разнообразных приемах повествования, стремясь привлечь внимание читателя. Он додумался вложить в вторую часть своего рассказа, касающуюся происхождения ардрской сеньории, в уста старого рыцаря Готье де Клюза, чтобы казалось, будто тот предается воспоминаниям в окружении маленького феодального двора.

В общем, ардрский кюре обладает определенными качествами историка. Прежде всего непредвзятостью, ибо если он и восхищается сеньорами Ардра, то не скрывает ни их недостатков, ни даже пороков. Нигде мы не найдем более реалистического и более живого портрета мелкой феодальной знати. Если ему и недостает критического чувства и он приводит вперемешку исторические факты и легенды, зато он везде ищет точности. Он заботится о документации, находя ее в исторических книгах, в картуляриях, и сам говорит, что за неимением письменных источников расспрашивал пожилых людей. В последней части своей работы он, как добросовестный свидетель, рассказывает, что увидел и услышал сам. Наконец, у него хватило здравомыслия не сочинять, подобно большинству других хронистов, всеобщую историю, восходящую к Адаму и Еве. Сам он дает понять, что порвал с этой традицией, «чтобы ограничиться анналами совсем маленького графства». К сожалению, его примеру больше никто не следовал.

Так что этот приходской священник немного поднимает уважение к своему сословию, которое, как мы только что показали, чрезвычайно в таком нуждалось.

ГЛАВА III. СТУДЕНТ

Изучая документы, касающиеся духовного сословия конца XII — начала XIII в., мы видим, что перед многими именами каноников и епископов стоит звание магистра (magister). Такие духовные лица получали лицензию (licentia docendi), разрешение преподавать в больших школах — университетах. Их различают по степеням — знамение времени, ибо столетием ранее звание магистра встречалось лишь в виде исключения. В эпоху же Филиппа Августа ученые степени становятся почти непременным условием для получения значительных бенефициев и высоких церковных должностей. Этот главный обращающий на себя внимание факт свидетельствует о весьма значительном социальном прогрессе — распространении образования среди церковных иерархов. Почти все представители высшего духовенства начинали как студенты, а школы являлись питомниками для капитулов и прелатств. Поэтому дальше нас будет занимать студент, или, как тогда говорили, школяр (scolaris).

* * *

Иные страстные поклонники Средневековья доходят до того, что утверждают, будто во Франции в ту эпоху существовало столько же школ, сколько сегодня, и даже больше. Это явное преувеличение; но правда заключается и в том, что в эпоху молодой цивилизации школ было гораздо больше, чем можно себе представить. Во Франции, особенно Северной, они имелись во всех центрах церковной жизни. В каждом диоцезе помимо сельских или приходских школ, которые уже существовали, но о которых во времена Филиппа Августа мы ничего не знаем, капитулы и основные монастыри имели свои школы, свой преподавательский и ученический состав. Там обучали не только детей из хора или новичков, обреченных провести всю свою жизнь в кафедральной церкви или аббатстве, — туда также набирали школяров со стороны, тех, кто собирался вступить в духовное сословие, дабы позднее обладать свободной профессией или церковными бенефициями, и даже сыновей дворян и сеньоров, то есть мирян, желавших дополнить то чересчур скромное образование, которое давали им их воспитатели. Одним словом, чтобы хорошо понять, что тогда происходило в области образования, нужно

представить себе общество, в котором не было иных общественных учебных заведений, кроме больших и малых семинарий, где формировались и пополнялись ряды духовенства.

Так, например, в Париже насчитывалось три вида учебных заведений: школа Богоматери, то есть группа школ епархии, или собора, под непосредственным руководством двух чинов капитула — регента певчих, присматривавшего за начальными школами, и канцлера, заведовавшего школами высшими; школы главных аббатств, особенно св. Женевьевы, Сен-Виктора и Сен-Жермен-де-Пре; частные школы, открытые клириками, получившими звание магистра и лицензию и обучавшими по своему усмотрению, но всегда под контролем епископа или канцлера. Многие из этих школ, содержавшихся известными учеными, философами или теологами, располагались на острове Сите и даже, как у Абельяра, на левом берегу близ Малого моста и по всему северному склону горы святой Женевьевы. В Шампани также было три перворазрядных школы трех церковных капитулов: самая знаменитая — Реймская школа, школа Шалона-на-Марне и школа Труа; затем — монастырские школы, зависящие от крупных аббатств: Монье-ла-Сель, св. Ремигия Реймского и св. Николая Реймского; наконец, школы второго разряда в некоторых приорствах, не считая начальных школ.

Итак, только Церковь дает образование, утверждает магистров и предоставляет им право обучать. В руках епископов, капитулов и аббатов сосредоточено высшее руководство и контроль за образованием, и никто не смеет обучать в школах без их дозволения. Значительная власть, также возложенная на церковную корпорацию. Но верхушка клира приложила определенные усилия, чтобы сделать подобную власть приемлемой и легитимной в общественном мнении. В конце XII в. Церковь попыталась провозгласить и ввести принцип, столь ценимый современным обществом — принцип бесплатности и свободы высшего образования.

В 1179 г. третий Латеранский собор под председательством папы Александра III действительно принял в своем восемнадцатом декреталии решение величайшего значения: «Каждая соборная церковь должна содержать магистра, на которого будет возложено бесплатное обучение клириков церкви и бедных школяров» — это обучение бесплатное, во всяком случае для тех, кто не может платить. «Запрещено лицам, коим поручается

руководить и надзирать за школами (то есть канцлерам и учителям богословия), требовать от кандидатов на профессорство какого-либо вознаграждения за выдачу лицензии» — свобода получения звания магистра. «Наконец, запрещается отказывать в лицензии тем, кто ее просит и достоин» — в некотором смысле это свобода образования. Одиннадцатый декреталий четвертого Латеранского собора, проведенного в 1215 г. Иннокентием III, воспроизводит те же предписания. Кроме того, он выносит решение, что в каждой церкви архиепископства или столичной церкви должен появиться магистр теологии, *theologus*, обязанный обучать своей науке священников провинции и следить за тем, как приходское духовенство исполняет свои обязанности.

Эти два указа знаменовали реальный прогресс. Церковь, удерживая монополию и неся бремя народного образования, пыталась посредством их узаконить ту огромную власть, которой она пользовалась.

Папская власть сосредоточивала в своих руках авторитет церкви и явно старалась дополнить и упорядочить учебную организацию, мало-помалу налаживавшуюся посредством создания отдельных и независимых учреждений во многих французских диоцезах в течение XI–XII вв. По вопросам начала занятий или открытия школ Средневековое общество получало из Рима неизменную поддержку. И предписания соборов не остались чисто теоретическими. Почти сразу же начались труды по их превращению в жизнь.

Едва минуло два года со времени провозглашения принципов образования на Латеранском соборе 1179 г., как они получили блестящее воплощение в Монпелье. Устанавливая хартией января 1181 г. свободу высшего образования, сеньор Монпелье, непосредственный вассал епископа Гильема VIII, стал действовать — вне сомнения, по согласованию с Церковью, ибо множество документов того же времени доказывают, что школа в Монпелье, как и все современные ей, была жестко подчинена духовенству. Гильем VIII провозгласил, что будет противиться любой монополии на медицинское образование в своем городе и в своих владениях. Невзирая на сильное давление и самые соблазнительные денежные посулы (*precio seu sollicitatione*), он никогда и никому не предоставил исключительной привилегии «читать» или руководить медицинскими школами (*in facilitate physice discipline*). Мотивировка любопытна и выражена

с предельной ясностью: «Принимая во внимание то, что было бы слишком вопиющим и противным правосудию и благочестию (*contra fas et pium*) предоставить одному человеку право обучать столь отменной науке». Впоследствии он, невзирая на всяческое сопротивление, утверждает всех частных лиц (*omnes homines*), кто бы они ни были и откуда бы ни прибыли, желавших содержать медицинские школы в Монпелье и обучать в его центральном городе с полнейшей свободой действий; и в заключение он предписывал своим преемникам не отклоняться от этой политики. Тем самым были провозглашены и внедрены принципы настолько свободные, каких только можно было желать приверженцам свободы образования; даже слишком свободные, потому что сеньор Монпелье вовсе не упомянул о способностях, которых общество вправе требовать от лекарей. Позднее церковной власти придется уточнить и регламентировать это пожалование, снабжая медицинское образование гарантиями, согласующимися с общественными интересами.

Предоставляя со свободами, о которых было бы глубоко несправедливо не упомянуть, право обучать, центральная церковная власть особенно заботилась о «больших школах», или *studia generalia*, — выражение, часто употребляемое в документах того времени.

Под «большими школами» следует понимать школы, куда стекалась молодежь со всей страны и даже из-за границы и в которых обучали совокупности всех известных тогда наук: на первом уровне — свободным искусствам, тривиуму и квадривиуму, незыблемой основе школьного здания, традиционным дисциплинам, все еще разделенным и организованным так же, как во времена Каролингов; на втором уровне велось обучение более специализированного и профессионального характера: медицине (*physica*), гражданскому праву (*leges*), каноническому праву (*decretum*) и теологии (*sacra pagina*). Студенты свободных искусств, художники, врачи, легисты, декретисты, теологи, все население больших школ, которое стремилось к духовной карьере и даже к тем профессиям, которые мы сегодня зовем «свободными», концентрировалось по большей части в определенных городах: в Париже, Орлеане, Анжере на севере, в Тулузе и Монпелье на юге — во времена Филиппа Августа в основном в городах школярских. Но некоторые из этих крупных центров имели уже и специализацию, привлекавшую французов

и иноземцев: в Париже — диалектика и теология, в Орлеане — гражданское право и риторика, в Монпелье — медицина. Одновременно с растущим успехом этих школ другие, вроде Шартрской и Реймской, миновавшие в XI в. свой период расцвета, приходят в упадок. Постепенно они опускаются до уровня местных семинарий.

Общей чертой больших школ являлся их интернациональный характер; это касалось не только студентов, но и преподавателей. Наука была тогда целиком церковной, а Церковь — космополитичной, соответствующий характер имело и обучение. Париж, как и Орлеан и Монпелье, поставлял клириков разных степеней всей Европе. Многие иностранные магистры были во Франции наделены бенефициями, санами каноников и даже епископов, и *vice versa*. Для церковной власти, глава и руководство которой находились в Риме, национальных границ не существовало. Обмен клириками между различными странами становился тем более частым, что папство во Франции, как и повсюду, начинало распоряжаться по своему усмотрению некоторым числом бенефициев. В качестве примера достаточно вспомнить двух лиц, влиятельных в литературе и религиозной мысли конца XII в. В то время, как англичанин Иоанн Солсберийский управлял Шартрским епископством, француз Петр Блуаский, всю свою жизнь просивший и так и не получивший бенефиция в своей родной стране, в частности, в Шартре, был канцлером архиепископа Кентерберийского и умер архидьяконом Лондона.

Интернационализм среди школяров не удивлял никого, включая общественные власти. Даже в Париже не ощущали серьезных неудобств, по крайней мере в правление Филиппа Августа. Однако его отцу, Людовику VII, доводилось жаловаться на иноземных студентов. Из письма Иоанна Солсберийского, датированного 1168 г., следует, что немецкие студенты якобы проявляли враждебность (во всяком случае, на словах) к Франции и королю, оказавшему им гостеприимство. «Они громко разглагольствуют, — пишет он, — и пыжатыся, угрожая (*minis tument*)». Он добавляет, что они смеялись над Людовиком VII, «потому что он жил, как горожанин, потому что у него не было повадок тирана по моде варваров и потому что его видели вечно окруженным охраной, как будто он опасался за свою жизнь (*ut qui timet capitulo*)». Тот же автор утверждает, что французское правительство того времени выслало иностранных студентов, но считает этот

случай абсолютно исключительным в гостеприимной Франции, «самой приятной и культурной из всех наций (*omnium mitissima et civilissima nationum*)».

Ничего подобного не наблюдается в правление победителя при Бувине. Именно с 1180 по 1123 гг. в основных учебных центрах начинаются главные преобразования, благодаря которым сообщества преподавателей и студентов стали могущественными корпорациями, способными успешно бороться против враждебных их развитию сил. *Universitas magistrorum et scholarium* — под этим названием в церковном сообществе появляется новый орган, и следует вникнуть в истоки и истинную природу «университетского движения».

Прежде всего, само собой разумеется, что составляющие университеты элементы существовали задолго до образования самих этих учреждений. «Университет» создан не только в силу материального фактора, корпоративной связи, взаимопомощи, налаженной между преподавателями и студентами. Следует учитывать моральную связь, общность мнений, идей и научных методов, связывающих большую часть школьного контингента. Разумеется, Парижская школа стала осознавать самое себя и свое интеллектуальное единство в день, когда такой преподаватель, как Абельяр, сумел собрать вокруг своей кафедры французскую и европейскую молодежь. В этом смысле Парижский университет существует со второй половины XII в.

С другой стороны, сообщество, называемое «университетом», само было лишь сплоченным союзом учебных объединений меньшего масштаба. В недрах основной корпорации существовали корпорации отдельные, объединявшие магистров и школяров одной и той же учебной специализации (с середины XIII в. их называют «факультетами»), и корпорации, которые связывали магистров и школяров, принадлежавших по происхождению к одной и той же стране, «нации». Сама генеральная корпорация (по крайней мере, в Париже) представляется результатом соединения двух меньших объединений — магистров и школяров. Самый сложный и неясный вопрос — в какую точно эпоху образовались общая и отдельные корпорации. Глубоких трудов некоторых ученых недостаточно, чтобы рассеять мрак и проникнуть в тайну. Сам П. Денифль, бесспорный авторитет в этой области, смог прийти лишь к приблизительным выводам. Очевидно, что школярские учреждения, как и многие другие заведения

Средневековья, появлялись не вдруг, не путем законодательного установления, но в результате ряда успешных начинаний и постепенно вызревали, о чем история не сохранила воспоминаний. Некоторые датированные тексты впервые упоминают о существовании корпораций факультетов, наций, университетов, но ничто не доказывает, что их организация не существовала задолго до создания данного документа.

Во Франции только две школярских корпорации в эпоху Филиппа Августа относились к разряду университетов: в Париже и Монпелье.

Именно в Париже, в акте 1215 г., исходящем от кардинала Робера де Курсона, мы в первый раз встречаем слова «Universitas magistrorum et scholarium», а в 1221 г. в булле папы Гонория III говорится о печати, которую парижские магистры и школяры «только что» изготовили для своей корпорации. Но многие предшествующие акты показывают, что магистры и школяры действовали как оформившаяся корпорация и ранее. Во всяком случае, объединение преподавателей фигурирует в акте папы Иннокентия III 1208–1209 гг., а союз школяров — в епископском акте от 1207 г. У общей корпорации наверняка уже был свой глава или директор (*capitale*) в 1200 г., когда она получила от короля Франции свою первую известную нам привилегию, ибо в сей знаменитой хартии Филипп Август под именем «*scolares*» совершенно очевидно объединяет весь состав парижской школы, магистров и студентов. Еще о происхождении факультетов можно сказать, что их начинают упоминать с их главами, или «прокурорами», начиная с 1219 г. Что касается «наций», о которых в первый раз идет речь в 1222 г., то П. Денифль предполагает, что они были созданы вслед за факультетами и после 1215 г. Мнение подобного эрудита много значит, но это всего лишь предположение. Здесь недостает ясности, и с неведением следует смириться.

Университет Монпелье, в полном смысле этого слова союз различных факультетов, официально будет упомянут и учрежден только в 1289 г. буллой папы Николая IV. Но медицинский факультет как организованная корпорация появляется во всяком случае с 1220 г. и называется уже «университетом» в узком смысле слова. Статут кардинала Конрада де Порто, который его основывает или санкционирует его основание, является самым старым конститутивным актом французского факультета. Из него ясно видно, в чем состояла первоначальная связь между членами ассоциации.

Прежде всего она заключалась в специальной юрисдикции, по крайней мере для гражданских дел, и этот специальный судья — один из преподавателей, назначенный епископом Магелонским. С тремя другими преподавателями (среди которых есть старейший по должности) он выносит решения, но только в первой инстанции. Апелляцию по их решениям подают епископу, кстати, единственному, кто облечен уголовной юрисдикцией. Рядом с этим гражданским судьей, «которого можно назвать канцлером университета (*cancellarius universitatis scolarium*)», существует судья иного характера — из наиболее старых профессоров. Он пользуется почетными привилегиями, в частности, может назначать дату и продолжительность школьных каникул, и мы видим, как здесь зарождается власть главы факультета, которого последующие тексты назовут «деканом».

Корпорация школ Монпелье имела своих глав и отчасти свою собственную юрисдикцию. Другая статья 1220 г. ставит вне сомнений ее характер ассоциации взаимопомощи против чужаков: «Если на магистра или на его людей нападает кто-то не из школы, все прочие магистры и школяры в связи с этим должны предоставить ему совет и помощь». Между обучающимися должны были устанавливаться отношения доброго содружества: «Ежели профессор пребывает в тяжбе с одним из своих учеников из-за платы или по какому иному поводу, никакой другой профессор не должен умышленно принимать этого ученика, пока тот не даст или не пообещает дать удовлетворения прежнему учителю». Преподавателям запрещается незаконно конкурировать друг с другом: «Пусть никто из магистров не отбивает ученика у другого магистра, переманивая его просьбами, подарками или каким бы то ни было другим способом». Последний пункт со всей очевидностью доказывает, что речь идет о чем-то вроде братства: «Все магистры и студенты должны обязательно присутствовать на похоронах членов университета».

Университет является сообществом, состоящем почти целиком из клириков. Магистры и студенты носят тонзуру, так что в целом они — продолжение церковного организма. Сказать, что основание университетов явилось одним из характерных признаков эмансипации духа в религиозной области и что «университетское движение» имело своей главной целью замену школ капитулов и аббатств корпорациями, проникнутыми мирским духом, значит впасть в самое глубокое заблуждение.

Университеты являются ассоциациями клириков, устроенными по-церковному. Первый документ, вышедший из Парижского университета (1221 г.), — это письмо, адресованное монахам недавно утвердившегося в Париже ордена Проповедников (святого Доминика). Преподаватели университета просят доминиканцев как собратьев разделить с ними плоды их духовных трудов; они добиваются милости быть погребенными в их церкви или монастыре с теми же последними почестями, которые воздаются членам конгрегации. И, чтобы завершить изучение вполне церковного характера этих схоластических ассоциаций, достаточно бросить взгляд на печать Парижского университета, разделенную на несколько секторов. В верхней, самой широкой ячейке изображена Пресвятая Дева, Божия Мать — покровительница университета и церкви, где зародилась великая парижская школа; слева — епископ Парижский, держащий свой посох; справа — святая, окруженная нимбом. Это важнейшие персонажи. Во внутренних, более мелких секторах, изображены доктора и школяры. И надо всем господствует крест. Как это братство, преданное Пречистой Деве и состоящее из клириков и монахов, может олицетворять светский элемент и эмансипацию мысли?

Правда, университет родился из стремления к независимости; но для схоластических ассоциаций независимость заключалась в избавлении от местной церковной власти, чтобы отдаться исключительно под начало высшей, то есть Папы. Университет, как и большие школы предшествующего периода, не перестал быть церковным учреждением, но это уже не епархиальное учреждение, находящееся под рукой епископа или его канцлера. Это инструмент римской власти, что свидетельствует об ослаблении епископата и успехах Святого престола. Именно Папы, стремясь контролировать школы и высшее образование, создали и развили университетские корпорации. И нетрудно понять, зачем им это было нужно. В руках епископов и капитулов, канцлеров и схоластов право разрешать обучение рассматривалось и использовалось как источник доходов. Во многих епископствах высокая и благородная профессорская миссия подчинялась стеснительным жестоким формальностям и даже деспотизму, которые парализовали и извращали идею обучения. Продажность шла рука об руку с нетерпимостью: продавали право обучать, «лицензию»; ее предоставляли либо в ней несправедливо отказывали по капризу или в личных интересах каноников

и высокопоставленных лиц диоцеза. Реформа была настоятельно необходима, и папство взяло на себя ее проведение — естественно, в свою пользу. Дело деликатное, ибо, активно поощряя развитие университетов, Папы старались бережно обходиться с епископами и не слишком нарушать традиции. Но мы знаем, как их дипломатия умела продвигаться вперед и достигать цели, не прибегая к радикальным методам.

История возникновения французских университетов в этом смысле была не чем иным, как эпизодом в развитии общей тенденции, начавшейся с самого раннего Средневековья, — вознести папскую власть над всеми ступенями церковной иерархии. Удивительно, но в столь важной области, как общественное образование, Рим не искал самоутверждения. На этой территории было что завоевывать, и завоевание было достигнуто посредством тесного союза папства со школьными институтами. И с точки зрения высших интересов образования и науки тут сожалеть не о чем.

Начиная с правления Филиппа Августа Парижский университет занимает значительное место во французском обществе и становится предметом восхищения всей Европы. Английский король уже в 1169 г. говорит о нем как о моральной силе, мнение или решение которой должно восприниматься как закон. В борьбе с архиепископом Томасом Бекетом основатель государства Плантагенетов Генрих II объявил, что готов принять третейский суд «или курии короля Франции, или французского духовенства, или Парижской школы». Когда Филипп Август только наследует своему отцу, аббат из Бон-Эсперанса Филипп де Арван уже пишет своим друзьям, поздравляя их с возможностью обучаться в Париже, «граде словесности». «Счастливым город, — добавляет он, — где так много студентов, что их число скоро превзойдет численность жителей-мирян».

В письме, написанном, видимо, незадолго до 1190 г., один шампанский клирик, Ги де Базош, расточает похвалы Парижу, королевскому городу, в котором он живет, самому пленительному из всех городов:

Большой мост — это деловой центр: он переполнен товарами, торговцами и лодками. Малый мост принадлежал диалектикам (*logicis*), которые ходят и прогуливаются по нему, дискутируя. На острове (Сите), близ королевского дворца — цитадель

просвещения и бессмертия, где единолично правит учеба. Сей остров является исконным жилищем семи сестер — свободных искусств; именно там трубами самого благородного красноречия гремят декреталии и законы; наконец, там бьет ключом источник религиозной науки, из коего вытекают три прозрачных ручья, орошающие луга ума (*prata mentium*), то есть теология в ее тройственной форме — исторической, аллегорической и моральной.

Это высокопарное свидетельство Ги де Базоша важно самой своей древностью и еще тем, что оно упоминает место, где тогда находились школы, и три типа образования, которое в них давали: искусство, каноническое и гражданское право и теология. Здесь не стоит вопрос о медицинском обучении, вне сомнения, еще незначительном. Но с начала правления Филиппа Августа медицина в Париже преподается. Доказательство этому мы находим в похвальном слове Парижскому университету, составленном историографом Гийомом Бретонцем и содержащемся в отрывке хроники, относящемся к 1210 г.

В это время в Париже расцветала словесность. Никогда ни в одной части света, будь то Афины или Египет, не видывали такого наплыва студентов. Это объясняется не только восхитительной красотой Парижа, но и особыми привилегиями, которые король Филипп, а до него его отец предоставили школярам. В этом благородном городе были в чести изучение тривиума и квадривиума, канонического права и права гражданского, а также науки, которая позволяет сохранять здоровье телес и лечить их. Но многие с особым рвением теснились у кафедр, где изучали Священное Писание и разрешали проблемы теологии.

Теологи, декреталисты, художники, преподаватели и студенты составляли массу парижских школяров (*scolares Parisienses*), которая оказывалась в первых рядах на всех торжествах в правление Филиппа Августа. В 1191 г. они занимали свое место в большой процессии, организованной парижским духовенством с целью испросить у небес выздоровления принца Людовика, единственного наследника короны. После битвы при Бувине, в 1214 г., они приняли активное участие в народных празднествах и доказали свою преданность династии, пируя и танцуя семь дней и ночей кряду.

Репутация Парижского университета была столь прочна, что в 1205 г. первый латинский император Константинополя Балдуин Фландрский умолял Папу приложить все усилия, дабы склонить парижских магистров приехать в империю перестроить обучение. Иннокентий III пишет в университет (*universis magistris et scholaribus Parisiensibus*), доказывая, насколько важно, чтобы греческая церковь, воссоединившаяся наконец после долгого разделения с латинской, смогла воспользоваться их усердием и просвещенностью. Он даже приглашает их в массе переезжать (*plerosque vestrum*) на Восток, открывая самые заманчивые перспективы. Послушать его, так Греция — просто настоящий рай, «земля, полная золота, серебра и драгоценных камней, где в избытке вино, зерно и масло». Несмотря на подобные посулы, непохоже, чтобы доктора Парижа в массе покидали Малый мост и Сите, чтобы ехать читать лекции на Босфор. Двадцать лет спустя папа Гонорий III обратится к ним с еще одним предложением подобного рода: речь пойдет о том, чтобы ехать в Лангедок сеять правую доктрину в землю, орошенную кровью альбигойцев.

Церковь горда своей великой школой — огромным семинаром, куда стремилась Франция и Европа. Однако умы суровые и мрачные не поддавались общему энтузиазму. Видя преимущественно опасности громадного скопления клириков в столице, они заявляли о злоупотреблении наукой и об опасностях, угрожающих вере со стороны разноликой молодежи, горящей желанием все знать и все обсудить. Между 1192 и 1203 гг. Этьен де Турне доносит Папе «о болезни, которая мало-помалу просачивается в университетскую корпорацию» и станет неизлечимой, если не поторопиться отыскать против нее средство.

Первый симптом зла, по его словам, — это отказ от старинной теологии. Ныне студенты рукоплещут только тем, кто несет им новое (*solis novitatibus applaudunt*), и преподаватели стараются скорее рекламировать себя подобным образом, нежели оставаться в рамках старой традиции. «Все их усилия сводятся к тому, чтобы пестовать, удерживать, соблазнять своих слушателей». И критик обрушивается на беспринципную диалектику, которая упражняется в толковании догматов и самых святых таинств религии: «Болтуны из плоти и костей (*verbosa caro*) дерзостно спорят о неземном, о существовании Бога, о воплощении Слова! Мы слышим, как на уличных перекрестках ничтожные резонеры расчленяют незримую Троицу! Сколько докторов,

столько и заблуждений, сколько слушателей, столько и скандалов, сколько публичных мест, столько и богохульств».

Здесь консерватор ради пользы дела заметно сгущает краски, но выражения, которые он употребляет, интересны. Вместе с другими свидетельствами они доказывают, что тогдашние преподаватели жили не в хоромах. У них даже не всегда было университетское жилье. Магистры проводили уроки у себя дома, перед студентами, сидящими на земле, а зимой — на соломе. Поскольку жилища были маленькими, те, кто жаждал обширной аудитории, открывал свою «школу» под открытым небом, там, где было больше простора — на перекрестках и площадях.

Этьен де Турне особенно возмущен тем, что происходит в преподавании свободных искусств. Многие магистры слишком молоды: «Эти хорошо причесанные подростки осмеливаются занимать магистерские кафедры; у них нет бороды, но они усаживаются на место зрелых мужей. А еще они пишут учебники, суммы (*sommes*), малообдуманная компиляции, присыпанные, но не вскормленные солью философии». Вывод автора жалобы: все злоупотребления нуждаются в исправлении папской рукою. Нецелесообразная и неупорядоченная организация образования должна быть подчинена твердо установленным правилам и уважению традиции: «Нельзя так принижать божественные вещи и делать их добычей пошлости. Нельзя, чтобы люди слышали, как по обочинам улиц то один, то другой кричит: „Вот Христос, он со мной!“ Да не бросят веру в пасть псам, а жемчуг свиньям!».

Многие проповедники придерживались того же мнения. Алан Лилльский сравнивал университетских преподавателей, беспрестанно мудрствующих с диалектикой, с «говорящими лягушками». Жоффруа де Труа называет грамматиков и их учеников вьючными животными и ослами, *jumenta sunt vel asini*. Сен-викторский аббат Авессалом открыто нападает на тех, кто занимается иными, нежели познание человека и Бога, вещами:

Наши школяры, наполненные бесполезной философией, счастливы, когда с помощью ухищрений приходят к каким-нибудь открытиям! Они хотят знать об устройстве мироздания, свойствах элементов, смене времен года, месте звезд, природе животных, свирепости ветра, о кустарниках, о корнях! Вот цель их занятий! Именно в них они думают обрести смысл вещей. Но на главную причину, венец и принцип всего, они глядят

гноящимися, если не слепыми глазами. О вы, жаждущие знаний, начинайте не с неба, но с самих себя; посмотрите, что вы есть, какими должны быть и какими станете. К чему спорить об идеях Платона, читать и перечитывать рассказ о сне Сципиона? К чему впадать в запутанные рассуждения, ставшие или становящиеся модой, и в неистовство, на погибель себе?

К счастью, призывы осуждающего науку аббата были гласом вопиющего в пустыне, и человеческий разум все-таки продолжал двигаться вперед. Многие клирики, не будучи настроены враждебно к научному прогрессу и не желая сводить все науки и образование к теологии, тем не менее делали оговорки, выступая против некоторых тенденций и фактов, противоречивших как принципам образования, так и господству Церкви в нем.

При изучении свободных искусств, составляющих тривиум, магистры и студенты увлекались светской литературой и особенно латинской поэзией. Они отрекались от всего ради того, чтобы читать или слагать латинские стихи, сочиняли песни, сказки, оды, комедии часто более чем легкомысленного содержания, что объяснялось общей грубостью нравов и наивным рвением этих клириков, восхищавшихся решительно всем античным. Множество образованных прелатов, писавших игривые стихи в подражание Овидию или другим поэтам, грешивших в молодости, перешли в зрелом возрасте к нравоучительным произведениям. У самых суровых критиков, Этьена де Турне и Петра Блуаского, в этом смысле совесть была не совсем чиста. Брат Петра Блуаского Гийом, аббат-бенедиктинец, написал на латыни комедию «Альда», конец которой совершенно невозможно перевести. Что-то вроде чувственного обожествления язычества — вот к чему вели гуманистические штудии многих клириков. Что касается квадривиума, наук в собственном смысле слова, то поскольку сами по себе они были менее привлекательны и приносили немного пользы, большинство студентов пренебрегало ими или вовсе их забрасывало.

Школяры мыслили практически. Чтобы получить доходное место, достаточно было хотя бы изучить свободные искусства. После квадривиума покидали школу, получив бенефиций. Теологией или вообще отказывались заниматься, или возвращались к ней позднее, после длительного перерыва, часто ради собственного удовольствия, дабы отвлечься от скучной жизни

каноника или приходского священника. Перед студентом, который не довольствовался образованием первого уровня, стоял выбор между различными предметами высшего образования: медициной, каноническим и гражданским правом, теологией; но как человек практичный он устремлялся к наиболее выгодному. С гражданским правом он мог стать судьей и управляющим при светском сеньориальном дворе; с правом каноническим он годился на те же должности при церковных сеньорах. Медицина тоже уже становилась прибыльным ремеслом. Среди этих новых умонастроений положение теологии было весьма плачевным; но те, кто управлял духовенством и хотел удержать его на традиционной стезе, не могли допустить принесения ее в жертву. Теологию, науку, обычно завершающую полное образование, следовало защитить от прагматиков; и в самом деле, в ход было пущено все, чтобы приостановить эту неприятную тенденцию и сохранить за Парижским университетом его характер международного центра изучения теологии. В начале XIII в. канцлер собора Богоматери Превотен сурово порицал в своей проповеди молодых клириков, забрасывавших Священное Писание, чтобы посвятить себя гражданскому праву.

Парижский университет подавал своим противникам и другие поводы для осуждения. Очевидно, что в столь большом городе, как Париж, присутствие такого количества клириков, съехавшихся со всех концов Франции и Европы, представляло определенную опасность для общественного порядка, морали и особенно для добрых нравов духовенства. Там видели не только молодых людей, овладевавших знаниями для получения бенефиция и сана. Университет привлекал толпу монахов, каноников и священников, которые под предлогом пополнения образования у известных магистров с удовольствием покидали свои аббатства, капитулы и приходы. Папы и соборы тщетно пытались воспрепятствовать этому наплыву клириков в «град словесности» и вернуть их к исполнению своего профессионального долга. Чрезвычайно скандальная ситуация для поборников старого порядка.

Многие из студентов-космополитов принадлежали к бедным бродячим клирикам (*vagi scolares*), которые, чтобы заработать на хлеб, занимались всяческими ремеслами. Развратники, разорители таверн и мошенники, «голиарды», как их тогда называли, увеличивали толпу жонглеров и сочиняли стихи на латыни,

сатирические или застольные песни или же писали на французском языке более чем непристойные рассказы. Некоторые наши фавбли являются произведениями бродячих клириков, привыкших жить плутовством и милостыней. Они изобразили самих себя в рассказе о «Бедном клирике», где герой, студент, не имеющий ни кола ни двора, просит себе на пропитание, уповая на милосердие общества:

Он учился в Париже так долго, что из-за нищеты ему пришлось покинуть город. Нечего больше заложить и продать. Ему ясно, что он не сможет больше оставаться в городе; трудным оказалось пребывание в нем. Поскольку он уже не знал, за что приняться, лучше было оставить свое обучение. Наконец он тронулся в путь в свой край, куда очень стремился; но денег не было ни гроша, что его чрезвычайно удручало. В день, когда он отправился, он ничего не пил и не ел. В одном городке на своем пути он входит к крестьянину и видит лишь хозяйку дома с ее служанкой. «Дама, — говорит он, — я иду из школы, я много сегодня прошел. Прошу вас, окажите мне любезность, приютите меня, ни о чем не спрашивая». И ему предоставляют приют, но, как всегда, расходы оплачивает хозяин.

Хитрец и весельчак, всегда готовый подтрунивать над горожанином и соблазнить горожанку — таким предстает школяр-клирик как в литературе, так и в действительности.

Современник Филиппа Августа, итальянский профессор Буонкомпаньо, написавший в 1215 г. свою «Antiqua rhetorica», нарисовал, слегка сгущая краски, портрет нищих студентов Болоньи. Жизнь, которую они вели, должно быть, очень походила невзгодами на жизнь их парижских товарищей.

Я должен был проводить время, посещая занятия и учась, — пишет один из этих бедных героев, — но бедность заставляет меня идти просить подавания у дверей клириков. <...> Я исхожу пред ними криком по двадцать раз: «Милости, мои добрые сеньоры!», и чаще всего мне отвечают: «Иди с Богом!» Я отправляюсь в дома мирян — меня гонят с громкими криками, а когда, случается, говорят: «Подождите немного», я получаю кусок отвратительного хлеба, который не стали бы есть и собаки. Настоящие нищие и те получают чаще меня гнилые овощи, кожу и сухожилия, которые нельзя прожевать, кишки, что выбрасывают, испорченное вино. Ночью я бреду по городу с палкой в

одной руке и котомкой и флягой в другой; палка — чтобы защищаться от собак, сума — чтобы подбирать объедки рыбы, хлеба и овощей, и фляга — чтобы было во что набрать воды. Часто случалось мне падать в грязь, и тогда я приходил в себя весь перепачканный и успокаивал истощенный желудок объедками, которыми в меня бросали.

Существование этих несчастных — угроза общественной безопасности, что наконец встревожило и Церковь. Соборы стали метать громы и молнии в клириков и голиардов, ведущих дурную жизнь, запрещая им носить тонзуру, то есть претендовать на церковные привилегии. Но при Филиппе Августе частная благотворительность начинает открывать приюты в пользу бедных студентов, давая им пищу и кров. Это скромное начало «коллегий», заведений для стипендиатов, которыми постепенно покрывлся левобережный Париж. Ставшие образовательными институтами, они в конечном счете превратились в университет как таковой.

Отправной точкой для основания подобных учреждений стал 1180 г., когда лондонский горожанин по имени Джос, вернувшись из Иерусалима, купил зал в Парижской Богадельне (Hotel-Dieu) и выделил средства, позволившие содержать и лечить там восемнадцать школяров-клириков. По выходе они обязывались, в свою очередь, присматривать в больнице за умирающими и при погребении нести крест и святую воду. Позднее они выделятся из Богадельни и получают в собственность дом. Так была учреждена первая парижская коллегия, коллегия Восемнадцати. Пример был подан, и начали образовываться другие коллегии, вроде коллегии Сент-Оноре, основанной в 1209 г. вдовой Этьена Бери для тридцати бедных школяров. В это время создается также и другой приют для студентов, приют св. Фомы в Лувре, ибо его начальство просит в 1210 г. у папы Иннокентия III разрешения возвести часовню и основать кладбище.

В Парижском университете существовал еще один трудно искоренимый источник аморальности — мирская прислуга, *servientes*, состоящая на службе у студентов. В некоторой степени она пользовалась привилегиями своих хозяев. Этот низший персонал состоял по большей части из негодяев, жертвами которых часто становились сами студенты. Доминиканец Этьен де Бурбон, преподававший в Париже в последние годы правления

Филиппа Августа, отчитываясь перед епископом за свою молодежь, прямо утверждает, что слуги школяров (*garçons*) «почти все воры». Когда эта прислуга отправлялась на рынок или к перекупщикам с деньгами своих хозяев, то находила способ заработать «от 75 до 100 на каждые 400 монет» на своих покупках.

В этих условиях понятны частые обращения студентов к родительскому кошельку, и у большей части школярских писем, сохранившихся в формулярах XII и XIII вв., иной цели нет. Я позаимствовал у Леопольда Делиля перевод послания, направленного в конце XII в. двумя орлеанскими студентами своему благородному семейству. Можно подумать, что оно написано вчера и пришло из Латинского квартала.

Нашим дорогим и почитаемым родителям с сыновним приветом и почтением. Извольте знать, что, благодаря Богу, мы пребываем в добром здравии в городе Орлеане и посвящаем себя полностью учебе, памятуя, что Катон сказал: «Весьма похвально кое-что знать». Мы живем в добром и красивом доме, отделенном от школы и рынка одной стеной, так что можем ежедневно посещать занятия, не промочив ног. У нас также хорошие товарищи, уже преуспевшие в науках и весьма достойные во всех отношениях. Мы этому весьма рады, ибо псалмопевец говорит: «*Cum sancto sanctus erit*». Но, дабы нехватка средств не поставила под угрозу результаты, на которые мы рассчитываем, мы полагаем, что должны воззвать к вашей отеческой нежности и просить вас прислать нам с подателем сего немного денег, чтобы купить пергамента, чернил, чернильницу и прочие нужные нам предметы. Вы не оставите нас в затруднительном положении и постараетесь, чтобы мы достойно завершили наше обучение, дабы иметь возможность с честью возвратиться в свой край. Податель сего может также забрать башмаки и штаны, которые вы собирались нам послать. А вы бы смогли сообщить нам таким путем свои новости.

Общественное мнение не всегда делало различие между добронравными студентами и мерзким разношерстным сбродом слуг, использовавших в своих целях молодежь. У проповедников времен Филиппа Августа нет снисходительности к парижским школярам — правда, в основном это канцлеры собора Богоматери, исконные враги университета. Петр Коместор упрекает школяров в том, что они слишком любят вино и хороший стол:

«В питии и еде они не имеют себе равных; они ненасытны за столом, но не благочестивы на мессе. Они зевают за работой, на празднике же не боятся никого. Они гнушаются размышлениями над священными книгами, но любят смотреть, как пенится вино в их стакане, и пьют его безудержно».

В этом профессора и сами не всегда подавали добрый пример. Петр Блуаский в одном из своих писем строго отчитывает одного магистра искусств, ставшего, говорит он, «первейшей крепости диалектиком и законченным пьяницей (*egregium potatorem*)»; он пытается, используя тексты Священного Писания, отвратить его от привычки пить. Петр Пуатевинский, другой канцлер, особо нападает на испорченность нравов: «Какой стыд! Наши школяры живут в такой мерзости, о которой никто из них в своей стране, среди своих близких, не осмелился бы даже заикнуться. Они проматывают с куртизанками богатства Христа. Их поведение, помимо того что внушает ненависть к Церкви, является позором для магистров и учеников, скандалом для мирян, бесчестьем для их нации и оскорблением самому Создателю».

Канцлер Превотен Кремонский более конкретен в своих сетованиях. Он рисует нам школяра, бегущего ночью по улицам Парижа, вышибающего двери горожан и наполняющего залы суда шумом скандалов. «Целый день приходят свидетельствующие против него проститутки (*meretriculae*), которые жалуются на то, что были избиты, их одежда разорвана в клочья, а волосы вырваны».

Дух непоседливости и воинственности! Но ведь это все тот же университет. Проповедник сравнивает профессоров с их схоластическими спорами с нахохлившимися петухами, вечно готовыми к бою. И ученики подражают учителям, за единственным исключением — они переходят к драке немедленно. У Оро (Haureau) в отрывке из неизданной проповеди есть следующие слова, произнесенные Филиппом Августом, когда ему стали рассказывать о драчливых школярах: «Они похрабрее рыцарей, — сказал король — вооруженные рыцари колеблются начинать борьбу. Клирики же, у коих нет ни кольчуги, ни шлема, а лишь тонзура на голове, бросаются друг на друга, играя ножом; великое безрассудство с их стороны и великая опасность!».

Внешняя история Парижского университета и впрямь открывается битвой. В 1192 г. студенты затеяли ссору с крестьянами аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Последние жили на пустырях,

простиравшихся южнее и западнее монастыря — то ли малого Пре-о-Клер, где ныне улицы Сен-Жак, Бонапарта, Сены и Изящных искусств, то ли, скорее, большого Пре-о-Клер, который начинался на улице Сен-Бенуа. Это широкое пространство, куда школяры ходили резвиться, было предметом бесконечных споров между университетом и аббатством. В потасовке 1192 г. один студент был убит. Убийство клирика мирянами, тем более вилланами, не могло остаться безнаказанным. Студенты жалуются в Рим. Аббату Сен-Жермен-де-Пре, сильно скомпрометированному, пришлось доказывать свою непричастность епископу Реймскому и собравшемуся университету и разрушить лачуги сбежавших убийц. Это возмещение в какой-то степени удовлетворило римскую курию. Этьен де Турне постарался доказать легату Папы, кардиналу Октавиану, что аббат не был соучастником.

Папой был Целестин III, автор первой привилегии, которая была дарована Парижскому университету. Буллой, адресованной епископу Парижскому между 1191 и 1198 гг., он постановил, чтобы все клирики, живущие в этом большом городе, имели право прибегать к церковному правосудию. Он напоминает, что у духовенства есть свои судьи и к клирикам неприменимо обычное законодательство. Слова «школяры» (*scolares*) в булле нет — речь идет только о «клириках», но по смыслу и важности папское послание явно имеет в виду огромное число духовных лиц, привлекавшихся в Париж школами.

В 1200 г. начался второй этап в истории университетской корпорации и одновременно новая битва. На сей раз идет речь о бурной драке между студентами и парижскими горожанами, поддержанными королевским прево, так сказать, городской полицией.

Тогда в Париже учился один клирик из знатной немецкой семьи, предназначенный для службы в Льежской епархии. Его слуга, придя в таверну купить вина, поссорился с трактирщиком: его поколотили и разбили ему голову. Взбешенные немецкие студенты вступились за своего соотечественника. Они захватывают заведение и избивают трактирщика до полусмерти. Среди парижских горожан начинается сильное волнение — несомненно, они не в первый раз пытались жаловаться на школяров. Прево Филиппа Августа по имени Тома, сопровождаемый вооруженными горожанами, вторгся в жилище немецких студентов, дабы

задержать виновных, оказавших сопротивление. У полиции, как это часто случается, рука тяжелая. Пятеро университетских школяров убиты. Магистры и студенты тут же принесли жалобу французскому королю. Если убийц не накажут, они прекратят занятия и покинут Париж.

Забастовка профессоров, приостановка занятий! Даже сегодня эксцесс оказался бы серьезным; во времена же Филиппа Августа дело выглядело публичным скандалом, почти оскорблением религии. Значение Парижского университета как источника пополнения рядов духовенства было таково, что прекращение занятий было равноценно внезапной приостановке всей церковной жизни Европы. И король Франции сделал все, что от него потребовали. Парижский прево был брошен в темницу со всеми своими соучастниками, которых удалось найти. Поскольку некоторые убийцы бежали, Филипп велел разрушить их дома и вырубить виноградники. Немного позднее школяры просили освободить прево и других задержанных, осужденных на вечное заточение, при условии передачи им виновных. Их бы подвергли в школе бичеванию, а потом отпустили. Но Филипп Август отказал, сказав, что его честь не позволит, чтобы слуг короля наказывал кто-то, кроме него самого. Прево долго оставался в королевской тюрьме. Под конец он попытался бежать по веревке через стену, но веревка оборвалась, и он, упав с большой высоты, разбился.

Для людей университета было важно любой ценой заставить светскую власть признать свое положение привилегированных клириков, подсудных только своим трибуналам, и больше не иметь отношений с королевскими стражниками. В 1200 г. Филипп Август полностью удовлетворил их требования. Прево Парижа может арестовать школяра только на месте преступления; при задержании он не должен с ним грубо обращаться, разве что виновный окажет сопротивление. И он задержит его лишь затем, чтобы немедленно передать церковному правосудию. Если судьи в момент задержания нет, нарушителя будут стеречь, покуда не переведут в дом другого школяра. Глава или ректор университета (*capitale Parisiensium scholarium*) ни под каким предлогом не может задерживаться королевскими стражниками. Одни только церковные судьи имеют право посадить его под арест. Даже у помощников или слуг-мирян школяров есть своя привилегия! Люди короля могут схватить их только на месте явного

преступления. Однако следует также защитить студентов и от произвола парижских горожан. Последние должны поклясться, что, если увидят, как мирянин издевается над школяром, то не колеблясь засвидетельствуют это перед судьями. Ежели на школяра нападут миряне с оружием в руках, с палками или камнями, свидетели инцидента должны схватить нападающих и передать их королевским стражникам. И последний пункт. Парижский прево, находящийся при исполнении обязанностей, и горожане Парижа должны принести клятву в присутствии университета, что будут добросовестно соблюдать статьи этой привилегии. В будущем всякий прево при вступлении в должность будет приносить ту же клятву.

Таков этот знаменитый ордонанс, рассматриваемый, и не без основания, как хартия начала университетских свобод. Привилегия значительная, ибо она изымала университет из гражданской юрисдикции, объявляла его неприкосновенным и священным для королевских представителей и подчиняла церковным судьям, весьма снисходительным к духовенству. Она на века утверждала независимость, а впоследствии — процветание великой интернациональной корпорации; но, гарантируя школярам почти полную безнаказанность, она имела своим следствием серию бесчисленных батальи, которыми наполнена их история. Впрочем, хартия Филиппа Августа не является, как иногда говорят, конститутивным указом для университета; она не содержит никаких мер. В ней университет появляется как уже оформившаяся корпорация, имеющая даже главу, обозначенного неопределенным термином *capitale*. Кто этот глава? Глава факультета искусств, «актер», который станет к концу XIII в. представителем университета? Ничто не дает основания для подобного утверждения. Наконец, признаем, что, делая школяров и магистров подсудными исключительно церковным трибуналам, Филипп Август не вводил ничего нового. Он просто санкционировал объявленное несколькими годами ранее папой Целестином III приравнение университетских людей к духовенству.

Но всегда ли было возможно целиком и полностью приравнять студента к клирику? Вопрос был поднят в 1208 г., когда легат Иннокентия III кардинал Гуала заставил духовенство Парижского диоцеза принять указ, направленный на исправление нравов. Самым суровым наказаниям подвергали клириков, которые не носили тонзуру и одеяние своего сословия, а также тех,

кто продавал таинства, занимался торговлей, жил с женщинами. Должно ли проявлять подобную строгость к магистрам и студентам университета? Кардинал рассудил, что это затруднительно, ибо он посчитал своим долгом завершить указ статьей, касающейся исключительно школяров. Школяры-правонарушители не могут, как прочие клирики, подлежать немедленному отлучению. Для начала профессора предупредят их всех вместе и пригрозят анафемой. Если же они будут упорствовать в своих проступках, университетская власть в присутствии всей школы их снова предупредит, но на этот раз индивидуально и поименно. В случае продолжающихся бесчинств они будут выданы канцлеру собора Богоматери для отлучения и останутся отлучены, покуда не получат прощения от епископа или, в его отсутствие, от аббата Сен-Виктора.

Именно папство делает для школяров подобное дисциплинарное предписание, единолично распоряжаясь привилегированным сословием. В 1207 г. Иннокентий III, найдя чрезмерным число профессоров теологии, единовластно свел его к восьми. Двумя годами позднее он позволил университету реформироваться самому. Некоторые молодые доктора искусств не боялись нарушать полученные предписания. Их упрекали в малопристойном внешнем виде, в несохранении традиционного порядка на уроках и диспутах, в абсолютном пренебрежении к обязательному присутствию на похоронах братьев. Корпорация избрала восемь присяжных с поручением выработать нормы поведения, обязательные для всех магистров. Только один среди них отказался покориться и принести клятву. Его вывели из состава профессоров. Немного позднее он смирился, принес повинную и попросил о восстановлении. Но понадобилась булла Иннокентия III (1208–1209 гг.), чтобы позволить ему вернуться в сообщество. По столь активному вмешательству папской власти в мельчайшие детали университетской жизни можно судить о той роли, которую оно брало на себя в сложных обстоятельствах. Рим — могущественный покровитель, к которому прежде всего прибегают магистры и студенты, когда моральные и материальные интересы корпорации оказываются в опасности.

В 1210 г. Парижский университет пережил один из самых серьезных кризисов. То, чего опасались подозрительные умы и противники научного прогресса, произошло. Под сенью монастыря Богоматери в университет постепенно просочилась ересь.

Магистр искусств, ставший теологом, Амальрик Бенский, или Шартрский, открыто поучал, что каждый христианин есть частица Христа, а следовательно — часть Божества, и доходил до крайности в своем пантеизме. Теологи, верные ортодоксальному учению, взволновались. Амальрик, подвергшийся нападкам и осужденный всеми своими коллегами, по требованию университета, пожаловавшегося в Рим, вынужден был поехать объясняться с Папой. Иннокентий III, услышав изложение его доктрины и противного мнения, которого придерживались посланники университета, в свою очередь осудил еретика. Последний возвращается в Париж, и там перед собравшимся университетом его принуждают отречься. Заболев от огорчения и унижения, он вскоре умер, внешне примирившись с Церковью. Но его идеи пережили его самого.

Пантеизм Амальрика Шартрского, распространяемый и развиваемый его учениками, положил начало новой религии, религии Святого Духа. Ветхий Завет был вытеснен Новым; но и время последнего миновало, и начинается воцарение Духа. Поскольку каждый христианин есть воплощение Святого Духа, частица Бога, таинства становятся не нужны, ибо достаточно милости Святого Духа, чтобы спасти весь мир. У этой доктрины, зародившейся в университетских теологических штудиях, были свои апостолы и мученики — университетские преподаватели. Ловкий маневр епископа Парижского и канцлера Филиппа Августа, брата Герена, привел к разоблачению этих сект. В них почти все были магистрами, студентами теологии, дьяконами или священниками. Одному из них, Давиду Динанскому, составившему учебник доктрины, удалось вовремя бежать. Другие же были схвачены и предстали перед судом на Парижском соборе под председательством Пьера де Корбея, архиепископа Сансского. У нас есть текст постановления, вынесенного собором 1210 г. Было решено вырыть и выбросить с церковного кладбища тело магистра Амальрика, основоположника ереси, а память о нем уничтожить во всех приходах провинции. Из задержанных сектантов одни будут отрешены от должности и переданы в руки светских властей, двенадцать из них сожгут 20 декабря на равнине Шампо, прочие будут осуждены на пожизненное заточение. Пощадили только женщин и простолюдинов — убогие души, виновные лишь в том, что попали под влияние теологов. Наказание распространилось и на книги. Записки магистра Давида

Динанского были публично сожжены. От инцидента пострадал даже Аристотель — в школах университета было запрещено под страхом отлучения изучать его естественную философию и комментарии к ней Аверроэса. Наконец, собор постановил считать еретиками всех, у кого обнаружат «Символ веры» и «Отче наш» в переводе на французский язык.

Это наказание было полным разгромом и грубым предостережением рождающемуся университету. В Средние века свобода преподавания, столь громко провозглашенная Папами, не являлась свободой вероисповедания в целом. Она заканчивалась на границе ортодоксии. Можно было открывать школы и широко дискутировать о различных вещах, но нельзя было публично касаться догмы; и нетерпимость шла здесь не только сверху, со стороны церковных властей. Сами профессора сторонились излишне храброго коллеги и требовали, чтобы он отрекся от своих убеждений. Они доносили на него не парижскому епископу (поскольку очень боялись, как бы епархия, местная власть, не вмешалась в их дела), но прямо Папе, к независимому суду которого обращались, когда речь шла о доктрине Церкви.

Именно к Папе они снова обратятся в 1212 г., когда произойдет первый известный нам эпизод длительной и яростной борьбы, которая велась в течение XIII в. между Парижским университетом и его непосредственным главой, канцлером собора Богоматери.

Эту должность занимал один из первых чинов капитула, обычно — известный теолог, уважаемый духовный писатель или проповедник. Его значимость зиждилась на двойственной функции: с одной стороны, он составлял, скреплял печатью и рассылал акты, издающиеся парижской епархией; с другой — представлял епископа в качестве куратора всего епархиального ведомства образования, следящего за школами и жалующего право обучать. Когда университет встал на ноги, канцлер естественным образом оказался во главе его; он продолжал осуществлять над корпорацией магистров и студентов дисциплинарную и юридическую власть, которой обладал во всех школах диоцеза.

Одного этого факта достаточно, чтобы объяснить неизбежность конфликта. Университет, рассчитывая, как все могущественные институты, на самоуправление, не мог договориться с должностным лицом, власть которого проистекала не от него. Чуждый корпорации, его не избиравшей, канцлер тем не менее

претендовал по своей должности на руководство и контроль за университетскими делами, на повседневное вмешательство в его внутреннюю жизнь. Сегодня идея государственных интересов и потребностей навязывается всем частным лицам; но у университетских преподавателей Средневековья этой идеи не было; они понимали только привилегию, жестко заботились лишь об интересах и развитии своего сообщества. Наконец, они чувствовали поддержку главы вселенской Церкви. Все шло к тому, чтобы началась борьба против канцлера.

В 1211 г. место канцлера занял Жан де Шандель, преемник теолога Превотена Кремонского, но человек гораздо более известный. Если верить магистрам и студентам, этот сановник был во всем неправ по отношению к ним. Он требовал от кандидатов на профессорство клятвы верности и повиновения, иногда даже заставлял платить за разрешение начать обучение. Когда кто-либо из университета совершал проступок, канцлер тут же арестовывал его, даже в случае, когда виновный и не думал спастись от приговора бегством, в то время как было бы достаточно взять его на поруки. За освобождение людей канцлер требовал уплаты некоей суммы, которую употреблял на личные нужды, так что сей поборник справедливости, как представляется, свирепствовал не столько из любви к правосудию, сколько из желания извлечь для себя доход. Эту жалобу довели до сведения Иннокентия III. «В мое время, — воскликнул Папа, — когда я учился в Париже, я никогда не видывал, чтобы со школярами обходились подобным образом». Он немедленно приказал канцлеру изменить свое поведение и поручил не парижскому епископу, а главе соседнего диоцеза, епископу Труа, вызывать его, несмотря ни на какие отговорки, на церковный суд в случае, если тот будет продолжать бесчинства. Но епископу не пришлось прибегнуть к крайним мерам против Жана де Шанделя. Тот принял третейский суд и подчинился решению, вынесенному в августе 1213 г. судьями. Победа осталась за магистрами и студентами.

Канцлер не требовал больше ни клятвы, ни денег от соискателя лицензии. Ему запретили заключать под стражу клириков, за исключением случаев настоящей необходимости. Во всех университетских тяжбах, где он является естественным судьей, он не должен ничего взимать: у него остается только право обязать обидчика возместить ущерб потерпевшей стороне. Все это станет неукоснительным правилом на будущее, но постановление

содержит и временные статьи, относящиеся к самой персоне действующего канцлера. Право раздавать лицензии больше не будет зависеть от его прихоти. Он останется хозяином положения, выдавая ее тому, кому пожелает, но не сможет отказать претендентам, которых большинство профессоров теологии, права и медицины признают пригодным для обучения школяров. Что касается «артистов», то их способности станут оценивать комиссия из шести профессоров, обновляющаяся каждые шесть месяцев и назначаемая канцлером и факультетом. Если канцлер в представлении к назначению не посчитается с мнением профессоров, назначаемое лицо будет введено в должность лицензией парижского епископа. Тот же епископ в конечном счете решает спорный вопрос, должен или не должен канцлер заключать под стражу правонарушителей-школяров.

Мы видим, как здесь в первый раз конкретно упомянуто право епископа Парижа вмешиваться в организацию университета. Епископ Петр Немурский утвердил это решение третейского суда — первой битвы, проигранной канцлером. Но в сущности тот же удар поразил и епископскую власть, и епископ хорошо отдавал себе в этом отчет; именно поэтому в том же акте, где он фиксирует и признает действительным решение арбитров, он прибавляет такую дополнительную оговорку: «за исключением всех дел, относящихся к нашей юрисдикции и к власти Церкви». Формула такого рода в судопроизводстве высшего уровня позволяла при необходимости вернуться к предоставленному ранее пожалованию. Власть парижской кафедры было легко перепутать с властью канцлера парижской епископии.

Впрочем, в этом деле последнее слово осталось не за Петром Немурским. Папа знал о жалобе университета; он или его уполномоченный должны были положить конец инциденту. В ноябре 1213 г. представитель Иннокентия III, епископ Труа Эрве, в ратификационном послании объединил в единое целое все предшествующие документы: папскую буллу, епископскую хартию, содержащую решение суда, и согласие канцлера. Эта заключительная часть разбирательства хорошо показала, что Рим во всех делах, а особенно в делах университетских, был началом и концом, *principium et finis*.

В Париже, как и в Монпелье, первый статут об организации университетской корпорации тоже был делом представителя Святого престола — кардинала-легата.

Кардинал Робер де Курсон как президент регионального синода Парижа уже пытался в 1213 г. провести частичную реформу, когда запретил настоятелям приходов посещать школы для изучения светских наук. Если они с разрешения своего епископа и желают жить в Париже, то изучать смогут только теологию. Еще более строгий запрет касался монахов. Слишком уже много их торопилось покинуть свой монастырь, дабы посещать университетские занятия по медицине и гражданскому праву — двум наукам, которые позволяли, как они говорили, лучше ухаживать за своими больными братьями и с большей пользой заниматься мирскими делами своей конгрегации. Однако нельзя было допускать бесконечный рост числа клириков-школяров и вносить беспорядок в Церковь, предоставляя им досуг для студенческой жизни в Париже. Собор объявлял отлученными монахов, не возвратившихся по истечении двух месяцев в монастырь.

Это было только вступлением к гораздо более общему установлению, которое в августе 1215 г. властью главы римской Церкви становится законом университета. Это не стройная и полная конституция, не устав, органически предназначенный разрешить все вопросы, которые могло вызвать материальное, моральное и интеллектуальное состояние парижской школы, но серия статей, бессвязно и как бы случайно собранных. Трудно назвать что-либо более несогласованное по форме и более неполное по существу. Легат просто отмечает моменты, где опыт показал настоятельную необходимость реформы или твердого решения. Прежде всего он занимается набором профессоров, условиями их службы и утверждением главных привилегий корпорации. Но и таков, каков он есть, акт Робера де Курсона интересен тем, что проливает свет на университетские обычаи и злоупотребления, уже там происходившие.

Были установлены возрастные ограничения для обучения как теологии, так и свободным искусствам. Магистр теологии должен достичь тридцати пяти лет, иметь по меньшей мере десять лет общих штудий и пять лет теологических. Он обязан слыть человеком добропорядочной жизни и нравов, с проверенными способностями. Чтобы стать магистром искусств, надо было достигнуть хотя бы двадцати одного года, пройти шесть лет школьного обучения и обладать лицензией на условиях, установленных арбитражным судом 1213 г. С другой стороны, не допускается открывать курс просто ради удовольствия дать

несколько уроков и затем исчезнуть: магистр обязуется обучать по крайней мере в течение двух лет.

Торжественные ассамблеи, а также получение студентами лицензий сопровождалось кутежами, столь обильными и продолжительными, сколь и дорогостоящими. Как и все братства Средневековья, университетское братство любило пировать. Кардинал категорически запрещает эти пирушки: *nulla fiant convivía*; самое большее, что он позволяет, это собирать маленькое общество друзей или товарищей. В сущности, он был не так уж и неправ, если вспомнить о количестве пространных писем и формуляров, показывающих, какие щедрые кровопускания родительскому кошельку делали студенты, дабы оплатить расходы по своему вступлению в преподавательскую должность. Профессор Буонкомпаньо оставил нам образчик письма, написанного из Болоньи одному отцу семейства, чтобы сообщить ему об успехах сына. Оно начинается в лирическом тоне, с цитатами из псалмов: «Воспойте же славу Господу! Пусть зазвучат виолы и кимвалы, ибо ваш сын выдержал торжественное испытание в присутствии огромного стечения профессоров и студентов. Он безошибочно ответил на все поставленные вопросы и заткнул рот всем оппонентам: никто не смог загнать его в угол. Кроме того, он устроил пиршество, которое запомнится; на него были приглашены и богатые, и бедные; это был невиданный пир. Наконец, он приступил к своим занятиям так, что заставил пустеть школы других, привлекая к своей кафедре множество слушателей».

В другом письме, в противоположность предыдущему, речь идет о незадачливом кандидате, которому не хватило денег: «Люди, приглашенные на его пиршество, так плохо поели, что даже не хотели пить. Он начал свои занятия с новичков и нанятых слушателей».

Запрет Робера де Курсона доказывает, что в Париже дела обстояли так же, как в Болонье, и обильным пиром по поводу получения лицензии наслаждались не меньше.

Если кардинал запрещает пирушки, он тем не менее допускает обычаи раздачи одежды и прочих предметов, имевший место по случаю избрания в должность. «Количество их можно было бы еще и увеличить, — говорит он, — особенно чтобы одеть бедных». Он хочет, чтобы студент, ставший магистром искусств, имел благопристойный внешний вид, соответствующий

его духовному званию: он должен носить только круглую мантию темного цвета, ниспадающую до пят. Обязан он исполнять и другой долг приличия, от которого университетские преподаватели, как представляется, часто уклонялись — присутствие на похоронах членов корпорации. В случае смерти школяра за катафалком должна следовать половина профессоров факультета, к которому он принадлежал. Законодатель, учредивший подобный род процессии, потрудился оговорить, что присутствующие не могут уйти до конца церемонии. А если речь идет о похоронах профессора, то все коллеги должны присутствовать на бдении, которое происходит в церкви, до полуночи и даже позднее. В день погребения все занятия прерываются.

Две статьи конституции 1215 г. касаются положения студентов. «Следует, — говорит кардинал, — чтобы у каждого школяра был магистр, к которому он прикрепляется»; это направлено против толпы псевдостудентов, не посещающих занятия. Кроме того, «нужно, чтобы всякий магистр обладал юрисдикцией над своим студентом (*forum sui scholaris habeat*)» — свидетельство тесной связи, установленной тогда между профессором и его учениками. Он их начальник, их судья; он отвечает за их поведение с правом наказания — для них он одновременно и наставник, и должностное лицо. Эти правила, исходящие от папской власти, должны были включать статью, призванную защитить университетскую корпорацию от канцлера собора Богоматери и парижской епархии. Ни один лицензиат не имел права преподавать, если он дал денег канцлеру или другому церковному чину, или поклялся им в верности, или подчинился на каком-либо условии. У магистров и школяров есть право объединяться между собой или с другими, образуя под присягой союзы (*constitutiones fide, vel pena, vel juramento vallatas*) при строго определенных обстоятельствах: если кто-либо из университета был убит или ранен, подвергся грубому оскорблению, если ему отказали в правосудии, если речь идет о создании общества по погребению членов корпорации, если возникает необходимость изменить плату за жилье парижским горожанам и т. д. Последний пункт был поводом для частых споров. Парижские домовладельцы злоупотребляли трудностями, которые испытывали искавшие жилье студенты, поднимали плату за него сверх всякой меры и вообще выражали всяческое недоверие по отношению к жильцам: «Я снял удобную квартиру, — пишет Иоанн

Солсберийский, — но, прежде чем в нее войти, мне пришлось отдать почти 12 ливров, и я не мог вселиться, пока не заплатил за год вперед».

В целом кардинал Робер де Курсон формально признал за преподавателями и школярами университета право на объединения. Папство дало им в руки оружие сопротивления, защиты и нападения, и они могли им воспользоваться против стражников и горожан, но особенно против парижской церкви и ее канцлера. И едва минуло четыре года после реформы, как конфликт между университетом и епархией, доселе скрытый, вдруг принял острый характер. В 1219 г. Петр Немурский, парижский епископ, и Филипп де Грев, канцлер, объявили об отлучении всех членов университета, которые объединились или объединятся клятвой без разрешения епископской власти или ее представителей. Отлучался также всякий, кто, видя школяров, бегущих ночью с оружием по улицам, не донес на них официальным органам или в канцелярию. По сути, завязавшаяся борьба была борьбой между епархией и Святым престолом, поскольку епископ препятствовал университету пользоваться правом создания союзов, предоставленным папским легатом. Петр Немурский не признает законность этого пожалования и на этой почве становится в открытую оппозицию Риму. Он целиком сознает серьезность содеянного и, дабы узаконить предпринятую меру, опирается на прецедент, подтвержденный другим легатом. Он и Филипп де Грев намереваются просто возобновить отлучение магистров и студентов, предпринятое предшественником Петра Немурского, епископом Парижским Эдом де Сюлли, с одобрения легата Иннокентия III, кардинала Октавиана. Но текста этого первого приговора об анафеме никто никогда не видел, и Петр Немурский, от которого его требуют, не может его показать. Ничего о нем не говорят и документы времен Эда де Сюлли. Впрочем, возможно ли, чтобы тот санкционировал постановление, направленное против университетской корпорации, которой покровительствовал Рим?

Создается впечатление, что в своей булле от 30 марта 1219 г. папа Гонорий III неявно обвиняет епископа Парижа в том, что тот выдумал это исчезнувшее постановление Эда де Сюлли. Во всяком случае, он приказывает архиепископу Руанскому аннулировать недавнее отлучение и грозит гневом Святого престола всякому, кто позволит себе объявлять университету анафему

без утверждения ее римской церковью. И здесь право Папы и право епископа приходят в прямое столкновение. Пришлось 11 мая 1219 г. обязать другого представителя римской власти, епископа Труа Эрве привести Петра Немурского к повиновению. Благодаря второй булле нам известны некоторые детали процесса.

После тщетных требований к парижскому епископу предъявить приговор Эда де Сюлли университетские преподаватели приступили к обсуждению вопроса. «Что следует понимать, — говорят они, — под проступком *объединения*, в котором вы нас упрекаете? Идет ли речь о дозволенном союзе с похвальной и законной целью или об объединении неправом, основанном во зло?» — «Речь идет, — отвечают люди епископа, — о любом объединении, законном или нет». — «Тогда это посягательство на наши права, и мы обратимся по этому поводу к Папе». Наконец университет решает отправить свое дело на рассмотрение в Рим. Но послать кого-то в Рим стоит дорого, а у корпорации профессоров и студентов еще нет общественных фондов, предназначенных для подобных целей. Их будут собирать по подписке (*collecta*). Магистры и клирики клятвенно обязуются подписаться на сумму, установленную их прокурорами. Когда деньги были собраны, представитель университета тронулся в путь. А канцлер отлучил всех организовавших подписку или внесших деньги магистров и студентов. Они даже не допускались к исповеди.

Школьное сообщество было охвачено страшным волнением. Мы даже не можем представить себе, что значил в Средние века интердикт. Университет умолял епископа отказаться от столь строгого решения. Каноник собора Богоматери, советник Филиппа Августа отец Герен присоединил свои настоятельные просьбы к просьбам университета. Но епископ и его канцлер непреклонны: они держат в неведении профессоров, заключают под стражу студентов, так что под конец университет наносит ответный удар общим прекращением занятий. «В Париже умолк глас науки», — пишет папа Гонорий III. Он негодует (это его собственное выражение), что «какой-то епископский служитель посягает на существование великой парижской школы и останавливает течение сей реки науки, орошающей и оплодотворяющей своими многочисленными ответвлениями земли вселенской Церкви». Постановление об отлучении снова признано недействительным; канцлеру и его соучастникам отдан приказ

прибыть для объяснения в Рим, куда Папа призывает также и представителей университета.

Каков же исход конфликта? Этого нам документы не сообщают. До нас дошли только некоторые отрывки процесса, сообщения о которых исходят от Святого престола или его представителей. Нам не известны ни оправдания епископа Парижского, ни факты, побудившие его на столь суровые меры. Вне сомнений, речь идет, как и всегда, о дневных или ночных преступлениях, которые беспрестанно совершали студенты, прикрываясь своими привилегиями, и о невыносимой ситуации, в которую эти привилегии ставили церковную власть, вынужденную закрывать глаза на громкие скандалы и оставлять виновных безнаказанными. Наверняка канцлер Филипп де Грев предстал в ноябре 1219 г. в Риме пред папским трибуналом, но университетские преподаватели, его обвинители, никого туда не послали. Возможно, у них самих совесть была нечиста, а может быть, им было достаточно добиться от Папы отмены епископского приговора. Потерпевший поражение истец возвратился в Париж и возобновил отправление своей должности.

Именно в конце этого смутного года и в течение последующего произошло событие, тесно связанное с университетской историей — проникновение в Париж и в университетский квартал нищенствующих монахов только что образованного ордена Проповедников (святого Доминика).

Этот столь своеобразный монастырский институт поставлял папству, от которого он полностью зависел, всецело преданное Риму войско. Между доминиканцами и университетом, покровительствуемыми и руководимыми одной и той же властью, тем более должна была возникнуть симпатия — ведь их интересы были общими. Если университет в своей извечной борьбе с парижской епархией и парижским духовенством постоянно пребывал под угрозой лишения таинств и церковных должностей, то орден святого Доминика также с самого начала боролся с официально организованным духовенством. У странствующих монахов было не только право, но и долг воздействовать на христианские души проповедью. Многие из них, будучи священниками, получали от Папы разрешение исповедовать верующих и исполнять те же функции, что и приходские настоятели. Это новое духовенство, держащее за правило не иметь никакой собственности и жить подаянием, более нравственное

и добродетельное, чем старое (поскольку, не находясь в монастыре, следовало строгим правилам монастырской жизни), становилось опасным соперником для приходских священников и капитулов. Белое духовенство не могло благосклонно взирать на то, как активные монахи проникают в города и спорят об «ответственности за других» с теми, кто до сих пор обладал монополией на это. Напротив, можно догадаться, с какой радостью встретил новоприбывших университет. Доминиканцы! Это было уже совершенно готовое университетское духовенство.

Новые парижские доминиканцы поначалу обосновались в маленьком доме близ Богадельни. В 1218 г. по просьбе папы Гонория III университет выделил им помещение и принадлежащую ему часовню. Расширенное и переделанное, это здание станет монастырем Якобинцев, расположенным напротив церкви Сен-Этьен-де-Гре, на месте нынешних улиц Кюжа и Суффло. Расположившиеся в университетском жилище проповедники получают в декабре 1219 г. право проводить там богослужения, и Папа посылает приветственную буллу магистрам и студентам. Но священники прихода Сен-Бенуа жалуются своему начальству, каноникам собора Богоматери, на соперничество со стороны нищенствующих монахов, и капитул противится проведению мессы в часовне св. Иакова. Раздраженный этим сопротивлением, Гонорий поручает приорам Сен-Дени и Сен-Жермен-де-Пре принять меры к прекращению спора. Победа осталась за доминиканцами, снискавшими большую популярность на левом берегу. Первая хартия, исходящая от всего университета, имела своей целью, как мы говорили, собрать в единое религиозное братство членов школьного сообщества и нищенствующих монахов (1221 г.). Многие из этих монахов изучали теологию, выжидая момента, который не замедлил явиться, чтобы войти в профессорскую среду и занять магистерские кафедры. И наоборот, многие университетские преподаватели стали жить как белое духовенство, приняв одеяние и устав ордена святого Доминика. Обе корпорации скоро так глубоко переплелись, что к моменту смерти Филиппа Августа генерал ордена доминиканцев мэтр Журден выражал в письме пожелание, чтобы все парижские студенты в конечном счете стали якобинцами.

В 1220 г. Гонорий III вопреки воле Филиппа Августа перевел патроном в Парижскую епархию другого кандидата, епископа Осерского Гийома де Сеньеле. Это был воинственный человек,

который и на своем прежнем месте уже вел самую активную борьбу против феодалов и короля. В Париже он ее возобновил и три или четыре раза сталкивался с Филиппом Августом. Для епископа подобного нрава университетский вопрос упрощался — это война, объявленная магистрам и студентам, и безоговорочная поддержка амбиций канцлера. Было очевидно, что епископ Гийом де Сеньеле и канцлер Филипп де Грев заодно. Гийом Бретонец утверждает, что епископ был ненавистен королю и всему университету: «Он вел себя так грубо, что профессора теологии и профессора других факультетов прервали на шесть месяцев свои занятия, что вызвало ненависть к нему духовенства, народа и знати».

Но анналист Осерской епархии, напротив, поддерживает Гийома де Сеньеле: «Среди парижских школяров были настоящие бандиты, бегавшие в ночи с оружием по улицам и совершавшие безнаказанно прелюбодеяния, похищения, убийства, насилия и самые постыдные злодеяния. Безопасности и спокойствия не было ни днем, ни ночью не только в университете, но в самом городе. Епископ решил очистить город от этих разбойников; он позаботился одних бросить пожизненно в темницу, других изгнать из Парижа и таким образом все привел к порядку».

Которая же из этих двух противоположных оценок истинна? Епископ Парижский занимался делом, достойным уважения — установлением добрых нравов, ибо привилегия Филиппа Августа и впрямь была чрезмерной. Но у Гийома де Сеньеле были и другие претензии. В жалобе, направленной папе Гонорию III в апреле 1221 г., он обвиняет магистров и студентов в постоянных происках против власти канцлера и его собственной: «Они велели изготовить себе печать и обходятся без канцлерской печати. В судебном порядке они устанавливают таксу квартирной платы, невзирая на ордонанс, изданный по этому поводу королем и принятый самим университетом. Они образовали по своему выбору суд, который разбирает все дела, как если бы юрисдикции епископа и канцлера не существовало вовсе. Короче говоря, они всячески покушаются на епископскую власть и до такой степени раздражают ее, что ежели не привести их к порядку, могут возникнуть самые крупные скандалы, и парижской школе грозит распад».

Обвинения епископа основательны; они свидетельствуют об Упорстве, с которым магистры и студенты старались сбросить

иго местной церковной власти и дать своей корпорации юридическую независимость. Гонорию III пришлось внять, по крайней мере для вида, жалобам епископов Труа и Лизье, провести расследование и попытаться помирить стороны. Это оказалось настолько трудным делом, что в мае 1222 г. самому Папе, дождавшемуся конца процесса, который разворачивался в Риме, пришлось заставить воюющих принять *modus vivendi*. Но это полюбовное соглашение стало для университета новой победой. Оно аннулировало отлучение магистров и студентов и запрещало епископу заключать в тюрьму и накладывать штраф на подозреваемых членов университета. Было разрешено брать их на поруки: это *habeas corpus* Парижской школы. Епископу, членам церковного суда и канцлеру запрещалось требовать от лиценциатов какой бы то ни было клятвы в повиновении и верности. Темницу, сооруженную канцлером, надлежало разрушить. Ни епископ, ни его должностные лица под угрозой отлучения не смели налагать на магистров и школяров денежный штраф. Канцлер будет предоставлять преподавательские должности на любом факультете только кандидатам, пригодность которых засвидетельствована их факультетскими преподавателями и избранной из числа профессоров комиссией. Наконец, епископ и его служащие не должны были препятствовать магистрам, допущенным к получению лицензии аббатом св. Женевьевы, начинать свои занятия.

Этот последний запрет вскрывает существенный для истории развития университетской корпорации факт. Большая часть магистров, которая до того времени жила на острове Сите, вокруг собора Богоматери, перебралась через Малый мост и обосновалась на северном склоне горы св. Женевьевы. Им было тесно на острове, но главное — они желали уйти от давления преследовавшей их епископской власти. На улицах Фуар, Бюшери, Юшетт — в отправных точках их распространения по всему левому берегу — расположились магистры искусств. Но аббат св. Женевьевы, сеньор этой территории, обладал, как и капитул собора Богоматери, властью над школой и правом выдачи лицензии. Университет склонил его к соперничеству с канцлером за право раздавать степени. Массовое переселение преподавателей с острова и лицензии св. Женевьевы — вот два решающих шага на пути к независимости, двойной и очень чувствительный удар по противникам университета.

Гийом де Сеньеле умер в конце 1223 г., а война еще продолжалась. Сам Филипп Август преставился до того, как стороны заключили мир. Но к этому времени университетская корпорация уже добилась своих наиболее важных побед. Видно было, как постепенно вырисовываются составные части и явственно намечаются главные этапы ее формирования. По королевской привилегии 1200 г. и магистр, и студент изымались из юрисдикции блюстителей правопорядка и светского суверена. Вследствие компромиссов 1213 и 1222 гг. и декрета 1215 г. они начинают освобождаться от власти канцлера и выходят победителями из многих сражений. По всем документам внутреннего регламента, принятым или сохранившимся с 1192 г., они добровольно попадают в прямую зависимость от Папы и все больше и больше отделяются от местной власти. Все эти стремительные успехи были достигнуты в правление Филиппа Августа, но сам Филипп Август ничего для них не сделал; за исключением единственно акта 1200 г., все произошло независимо от него.

Итак, Папы обладали полнотой власти над профессорами и студентами, власти административной и законодательной, власти управлять, контролировать, наказывать, абсолютной власти как над умами, так и над телами, как над обучением, так и над лицами, призванными обучать. Самым впечатляющим свидетельством этой безграничной власти является знаменитая булла 1229 г. «*Super speculam*», которой Гонорий III под угрозой отлучения строго запретил проводить и посещать занятия по гражданскому праву в Париже и его предместьях. Чего же хотело папство? Задержать научное развитие, заменить каноническим правом право римское, принизить значение светского законодательства, помешать сформироваться мирским властям, то есть в конечном счете взять верх над государством? Этот тезис горячо поддерживался крупными учеными, но мы сомневаемся, чтобы он, судя по фактам и по самим выражениям текстов, соответствовал действительности, ибо бесосновательно приписывает римской церкви далеко идущие намерения и макиавеллиевские планы уничтожения гражданского права, о которых она и не помышляла. Ни Гонорий III, ни его преемник Иннокентий IV, подтвердивший буллу «*Super speculam*», не были настроены враждебно или предвзято к римскому праву. Если они его и запрещали, то только в Париже, в других же французских университетах, созданных после смерти Филиппа Августа, разрешали

его изучение. На самом деле они преследовали двойную цель: прежде всего укрепить теологическую науку, предоставляя Парижскому университету что-то вроде монополии на эту ветвь высшего образования и делая из этого университета преимущественно школу теологии, на которой держался весь христианский мир; а затем — запретить клирикам и монахам забывать свой профессиональный долг, помешать им рваться в Париж для изучения гражданского права ради прибыльной карьеры судей, администраторов и адвокатов. Запрещение 1219 г. не было направлено ни против науки, ни против свободы преподавания, а метило в духовенство, которое, покидая священнический сан, угрожало Церкви беспорядками. Это был акт церковной реформы, смысл которого плохо поняли. Впрочем, каково бы ни было его значение, он ясно свидетельствует о факте, явствующем из ранней истории магистров и парижских студентов: университетом правит Папа, а не французский король и не парижский епископ.

ГЛАВА IV. КАНОНИК

Мы наблюдали священника сначала в приходе, потом в школе; теперь же посмотрим на него в капитуле, наделенного бенефицием или пребендой. Такой священник служит в кафедральном храме — местопребывании епископа или архиепископа, таком, как соборы Богоматери в Париже и Шартре, Святого Креста в Орлеане, святого Стефана в Бурже, или в коллегиальной церкви, не являющейся епископской, как Сен-Кантен, соборы Святого Духа в Корбее, святого Мартина в Туре, святого Илария в Пуатье. Храмы эти обслуживались общиной или коллегией дьяконов и псаломщиков. Говорят, что каноники (*canonici*) названы так по совокупности канонов, уставу, определявшему их совместное существование. Но это не основание для подобного «прозвища», поскольку то же можно сказать и об обычных монахах, подчиненных крайне строгому уставу общинной жизни. К тому же в изучаемую нами эпоху каноники соборов и коллегиальных церквей собирались вместе только в часы проведения капитулы или совершения богослужения. Помимо этого они пребывают в монастыре или за его пределами, в собственном доме, где могут пообедать и поспать, то есть живут домашней жизнью. Они находятся в определенном контакте с верующими в церкви, где служат, и даже вне ее, ибо кое-кто из них выполняет функции приходского священника. Они не оторваны от мира постоянно, как монахи. Их монастырь, несмотря на то же наименование, не «монашеский монастырь» — это лишь пространство, часто довольно обширное, где стоят их частные дома, правда, пространство рядом с церковью, но даже не всегда обнесенное стенами.

Таким образом, общины каноников определенно отличаются от монашеских общин: там царит далеко не один и тот же дух и весьма отличен жизненный распорядок. Особо осторожно следует обращаться со средневековыми названиями, часто неточными, и толковать характер средневековых институтов, крайне сложных. Некоторые монахи, живущие общиной, также называются канониками, но являются истинными монахами, подчиненными настоящему монастырскому уставу: этих каноников именуют черным духовенством в противоположность священникам соборов и коллегиальных церквей — белому духовенству. Таково черное духовенство конгрегации Сен-Виктора

и Премонтре, живущее в аббатстве затворниками, подчиненными по меньшей мере такому же строгому уставу, как и устав бенедиктинцев Ключни или Бернара Клервоского. Они каноники только по имени, ибо принадлежат к монашескому сообществу.

Не являясь монахами, белое духовенство тем не менее отделено от простых клириков, поскольку живет общинами и в своей совокупности составляет духовную и светскую сеньорию, обладающую землями, вассалами и подданными. Капитул является коллективным сеньором, занимающим свое место в феодальной иерархии. Наконец, все каноники отличались от простых клириков одеждой: стихарь (*superpellicium*) — ниспадающая льняная с широкими рукавами туника с накидкой (*pellicium*), чем-то вроде нынешней сутаны; на голове — подбитая мехом шляпа из черной материи с плоским верхом, загнутая по сторонам наподобие рогов.

* * *

Каноники нужны по двум причинам. Прежде всего, именно они отправляют религиозную службу при длительных молениях и празднованиях великих христианских торжеств. Они, так сказать, функционеры общественной молитвы, выражающие общий интерес, то, что не может прерваться или исчезнуть без угрозы для безопасности народа. Затем, они образуют совет епископа и являются вместе с самим епископом управляющими диоцеза; ибо в эпоху Филиппа Августа, согласно всеобщему правилу, епископ избирается капитулом, и архидьяконами, его помощниками, становятся лишь каноники. Молиться и время от времени управлять — вот их двойное призвание.

Слово «каноник» тотчас же вызывает у нас представление о человеке со свежим цветом лица, толстым и хорошо оплачиваемом за ничегонеделание. Пребенда стала синонимом синекуры. Нельзя говорить о канониках, чтобы тут же не вспомнить о тех, кого так хорошо изобразил Буало, — прелатах с двойным подбородком, служителях Изнеженности, сражающихся за аналой. Ясно, что в эпоху Людовика XIV, с упрощением религиозной службы и намного снизившимися, вследствие упадка народной веры, потребностями верующих, церковные бенефициарии жили не перетруждаясь, вполне довольные своими бенефициями. Многие не проживали на положенном месте, а заменяли себя викариями, обременяя себя только получением львиной доли

доходов. Нельзя сказать, чтобы подобных злоупотреблений не случалось в Средние века, а монахи во времена Филиппа Августа не стремились бы заработать при минимуме трудов как можно больше. Но служба общественной молитвы была тогда, безусловно, сложнее, верующие были слишком озабочены собственными нуждами и, как следствие, более требовательны.

Если мы хотим точно представлять себе, что творилось тогда в коллегиальных церквях, нужно читать те книги, которые называли «повседневными», «папскими», «ритуальными» или еще «руководствами», поскольку они имелись в каждом епископстве и в каждом храме. Они содержат скрупулезное перечисление песнопений и церемоний, отдельных для каждого дня года и каждого церковного праздника. В Средние века придавали много больше значения точному соблюдению ритуалов, чем в Новое время: традиция была всемогущей, церемониал — священным; звуки голоса, самые мелкие шаги и жесты служителей были предусмотрены заранее и крайне тщательно зафиксированы. Достаточно просмотреть хотя бы одну из этих книг, например, книгу ежедневных служб кафедральной церкви в Лане, составленную деканами капитула именно в эпоху правления Филиппа Августа, чтобы поразиться бесконечному перечню антифонов, ответствий хора, молитв, гимнов и церемоний — шествий и процессий — руководимых канониками.

У каждого дня своя служба или, скорее, набор служб. Наименее праздничный и перегруженный день обычной недели содержал пять служб или, как тогда говорили, пять «канониальных часов»: заутреня перед восходом солнца; перед обедней — утренняя; после полудня — вечерня и на закате солнца — повечерие (*completorium*), полунощница. По воскресеньям работы добавляется — служб уже девять: заутреня, дневной час, первый и третий час, месса с пением, шестой час, девятый час, вечерня и повечерие. И речь идет об обычных воскресеньях, ибо по великим праздникам отправление службы усложняется. Чтобы еще больше вникнуть в детали, возьмем наугад службу в один из дней недели, например, шестой будничной день, или пятницу, после Вознесения Господня. Утренняя служба включает пение, называемое «предначинание» (*invitatorium*), три антифона и молитвы, месса — традиционные песнопения, вечерня — антифоны и псалмы, повечерие — гимн и молитвы. И это минимум. В праздничные дни количество песнопений возрастает, и в

значительной степени, да и праздники в Средневековом календаре были, как мы знаем, весьма многочисленны. К регулярным праздникам добавляются поминовения святых, почитаемых в диоцезе, праздники мучеников, реликвиями которых обладала местная церковь. И, наконец, эта обычная, столь перегруженная служба дополнялась еще службами чрезвычайными, заупокойными — по тем, кто оставлял пожертвования. Следовало отмечать годовщины кончин благотворителей и знатных светских и духовных лиц, которые в силу каких-то обстоятельств заслужили признательность капитула. Конечно же, церковная служба каноников в Средние века не была синекурой.

Добавим к этому, что капитул был выборным институтом, призванным избирать епископа и некоторых сановных каноников, назначать определенное количество приходских настоятелей; он также был коллегией собственников, владевших и управлявших светской сеньорией. В храме, как и в капитуле, каноники были достаточно заняты. Правда, в качестве служителей культа во время богослужений они призывали себе на помощь некоторое число священников, капелланов и клириков не из капитула. Правда и то, что для управления своим имуществом они делегировали кого-либо из числа своих, кому поручалось под именем прево блюсти материальные интересы общины. Несмотря на все это, в капитулах оставался значительный объем работ, распределявшихся между их членами: профессиональные обязанности были тяжелыми, настолько тяжелыми, что каноники (и это по-человечески понятно) изыскивали средства уклониться от них или, по крайней мере, облегчить свое бремя. Соответственно, верхам церковного общества в интересующую нас эпоху постоянно приходилось противодействовать этой тенденции и заставлять, в принудительном порядке или как-то иначе, членов капитула выполнять свои обязанности.

Это было весьма трудно. Каноники всегда были готовы получать доходы со своих пребенд, то есть части собственности, которая была им выделена из имущества капитула, но в отношении проживания на своем месте и участия в службе проявляли меньше рвения. Некоторые подчас и не заглядывали в церковь, к которой были прикреплены: это были каноники *in partibus*, имевшие в другом месте иные бенефиции. Они состояли в капитуле только ради денег, для получения ренты. Другие, под предлогом обучения в школах или совершения паломничества,

вечно путешествовали за пределами города, в котором обязаны были проживать. Наконец, третьи просто отлучались, чтобы заняться торговлей или отправлять адвокатские должности, не удосужившись даже испросить у главы капитула разрешения на отсутствие. Об этом нас подробно осведомляет письмо, посланное папой Урбаном III в 1187 г. прево капитула в Магелоне:

Не без удивления я узнаю, что говорят о поведении некоторых твоих каноников. Они уезжают без твоего разрешения изучать гражданское право и светскую литературу или даже отсутствуют ради мирских дел, дабы иметь возможность свободнее предаваться удовольствиям. Некоторые набираются еще большей смелости — они покидают твой капитул, отправляясь на службы в другие церкви. Это абсолютно неподобающе и противно уставу. Ежели один из твоих каноников, избрав занятие и приняв одежду своего сообщества, злоупотребляет своей свободой настолько, что занимается посторонними занятиями, мы безоговорочно приказываем тебе исправить и наказать его.

Вместо того, чтобы наказывать и искоренять творящееся зло, Церковь сочла за лучшее его упредить, пойдя на кое-какие уступки человеческим слабостям, и наконец подчинила капитулы строгому уставу. В конце XII — начале XIII вв. капитулы приняли сами или получили от высшей власти, епископов или Папы, подробные предписания касательно повседневных обязанностей и проживания на месте. Эти предписания очень схожи по своим основным положениям: достаточно ознакомиться с некоторыми из них, чтобы знать все. Можно привести в качестве примера статуты Нуайонского собора 1213 и 1217 гг., статуты коллегиальной церкви Святого Духа в Корбее 1203 г., статуты Шартрского собора 1208 и 1222 гг. и реформы коллегиальной парижской церкви Сен-Марсель 1205 г. Везде одни и те же положения. С одной стороны, каноникам предоставляют возможность временно отсутствовать при определенных обстоятельствах, признанных законными: пребывание в школах или в университете, паломничество, служба у епископа. От них перестают требовать постоянного присутствия в течение целого года: им дают право то на шесть месяцев отлучки, как в Шартре, то на четыре месяца, как в Нуайоне и Париже, при условии, что они на это время заменят себя викарием, которому оставят часть своих доходов. Чтобы числиться каноником, «живущим на своем месте», то

есть каноником при исполнении обязанностей, пользующимся своей пребендой в полной мере, следует сначала пройти в капитуле нечто вроде сверхштатной службы в течение шести месяцев, а затем выполнять условия реального проживания на месте, указанные выше. Допускаются каноники, не живущие на месте, каноники чужие, посторонние (*foranei*); но таковые не получают доходов со своей пребенды. Часть этого дохода изымается для викария, который их замещает, а остаток делится между «местными» канониками. Всякий каноник, виновный в слишком длительном и неоправданном отсутствии, рассматривается как «чужой», то есть лишается пользования своей пребендой.

Таковы общие правила, но статуты о местожительстве содержат и более детальные предписания с целью помешать каноникам обойти закон. Статуты 1213 и 1217 гг. собора в Нуайоне впадают в этом отношении в забавные по своей мелочности разъяснения. Предполагается, например, что «местный» каноник просит позволения отправиться на год в школу. Это может быть косвенным способом избавления от службы, дабы отсутствовать, ничего не делая и продолжая пользоваться пребендой. Но такой вариант не предусмотрен. Каноник-студент действительно числится учащимся в течение отпущенного ему года: ему разрешают взять только три месяца каникул. Если же он покидает университет раньше, то обязан вернуться на свое место в капитул. Чтобы предпринять длительное путешествие, например, паломничество в Рим, требуется разрешение капитула, и когда путешественник возвращается, считается, что он все же был некоторое время на своем месте. Каноника могут послать и на отдаленную службу к епископу. При этом он не перестает считаться живущим на месте, но ему не разрешается покидать епископа. Если же он преждевременно уходит от него, то должен вернуться в капитул и определенное время отправлять свою должность в порядке компенсации.

Общеизвестно, что даже самые суровые и до мелочей разработанные положения нарушались. В Средние века более, чем в какую-либо иную эпоху, личные привилегии, предоставленные Папой или самим капитулом, позволяли обойти закон. В Нуайонском статуте 1217 г. появляются многозначительные оговорки вроде: «не иначе, как при получении отпуска, не иначе, как по специальной милости». Они давали возможность людям ловким или пользовавшимся поддержкой в верхах пройти, как

говорится, сквозь игольное ушко. Чтобы заставить каноника реально присутствовать на месте, прибегали к другим методам. Поскольку должного уважения к уставу оказывалось недостаточно, людей брали интересом и деньгами. Если каноник, чтобы не лишиться пребенды, и не покидал свой монастырь и город, то все же он мог позволить себе не приходить регулярно в церковь. Или же он проводил целые дни, не показываясь на хорах, уклонялся от некоторых служб, особенно заутрени, уходил до конца службы. Таким образом он совершал то, что во времена Филиппа Августа называли *marrantiam*, то есть мошенничал. Некоторые соборы устанавливали за это денежные штрафы. В октябре 1219 г. капитул Ланского собора среди прочих реформ утвердил ряд карательных взысканий за каждое нарушение профессионального долга: так, пропущенная служба, неисполненное песнопение стоило правонарушителю штрафа в несколько су или денье. Но эту систему не всегда было легко применить: она раздражала каноников, не добавляя им прилежности. Вместо того, чтобы наказывать штрафами, нашли более удачным привлекать стимулами вроде жетонов для получения вознаграждения за присутствие, как их тогда называли, «раздач». Раздачи деньгами или натурой — одна из характерных черт профессии каноника, одна из любопытных сторон института. У каноника не только есть более или менее установленное жалование, поступающее из его пребенды — ему, кроме того, платят каждый или почти каждый раз, когда он появляется на хорах, дабы заняться своим делом. Чем усерднее он ходит, тем больше зарабатывает. И эти продолжительные раздачи су и денье каноникам и капелланам должны были превращаться в достаточно своеобразный спектакль, которым нисколько не возмущалось Средневековье. Ибо они производились на месте, в самом храме, часто при заполненных хорах, когда за проведенную службу, за пропетый антифон выдавали непосредственную плату. Или еще лучше: каноники получали плату не только деньгами, но и натурой — вином и почти четвертью мясной туши. Им даже задавали при некоторых обстоятельствах целые обеды, *pastus*, которые проходили в трапезной капитула и обслуживались капитульным служкой, называемом поваром, *coquus*, прикрепленным к общине.

Откроем, например, «календари» Ланского собора и возьмем Расписание служб на неделю, предшествующую Рождеству Христову. В понедельник один из чинов капитула начинает антифон

«O clavis David» («О ключ Давидов») и раздает своим сотоварищам по два мюида вина. Во вторник — очередь великого архидьякона: после антифона он велит дать канонику два мюида вина. В четверг вино доставляется смотрителем гостиницы, в пятницу — экономом или монастырским казначеем. В дни великих праздников в службах участвует епископ, но это участие для него далеко не бесплатно. На рождественской мессе, пишет составитель ритуала, он становится перед алтарем в окружении каноников, священников, дьяконов и псаломщиков. Он произносит «Confiteor» («Исповедую»), и каждый из присутствующих выходит вперед и целует его, как целовали в Средние века, в уста. Потом он читает молитву, и два каноника в шелковом облачении поют перед ним предобеденную молитву. Затем они подходят, и каждому из них епископ дает 12 денье «доброй монетой». Далее следует наделение деньгами певчего и других служащих капитула. После службы шестого часа епископ с деканом и канониками идут в трапезную и занимают места. Сенешаль (ибо у капитула, как у всякого феодального сеньора, есть свои чиновники) звонит в колокольчик и произносит «Benedicite» («Благослови»). Капеллан благословляет, а два псаломщика подают епископу воду и полотенце. Распорядитель на церемониях (regnarius) или любой другой читают молитвы; в присутствии епископа гимны поются всю трапезу. Ко второй службе опять звон колокольчика; благословение произносится капелланом, и ему дают баранью заднюю ножку, большой хлеб и полсетье вина. Затем второе благословение изрекает смотритель странноприимного дома: ему дают кусок свинины и блюдо. Два каноника у стола епископа поют гимн, и епископ подает им денег. В Великий четверг все следует тому же ритуалу, а по окончании церемонии омовения алтаря епископ выдает мюид вина, которое каноники выпивают в той же зале капитула. На Пасху, как и на Рождество, епископ устраивает раздачу денег, и то же самое происходит по всем большим праздникам.

В парижском соборе Богоматери поют антифоны, если можно так выразиться, денежного характера — те, кто их поет, имеют право на вознаграждение. Расходы, кои они влекут, ложатся то на епископа, то на декана, то на каноников, исполняющих функции прево. Восемнадцать из этих прибыльных антифонов поются в предшествующую Рождеству неделю. Один из них сопровождается наделением клириков собора семьюдесятью хлебцами и семьюдесятью квартами вина.

Существовали раздачи в связи с появлением нового каноника, на его вполне понятные расходы. Были также раздачи по случаю всякого административного акта капитула — при освобождении сервов, при продажах земли, при изменениях в составе служащих и управляющих капитульным имуществом. Но не следует полагать, что каноники наделялись лишь от случая к случаю и в дни великих праздников. Они получали вознаграждение ежедневно, даже за обычную службу, в особенности когда присутствовали на заутренях.

Утренним деньгам (*denarii matutinales*) придавалось особенное значение, ибо, поскольку добиться постоянного присутствия клириков на заутрене было трудно, а обычных средств капитула для этого не хватало, многие частные лица ради спасения своей души делали вклады или оставляли завещанное имущество, специально предназначенное для раздачи денег участвующим в утреннем богослужении. Такого рода документов хватает; достаточно вспомнить среди вкладов времени Филиппа Августа вклад сыновей сен-марсельского декана Аселена, которые в годовщину смерти своего отца, скончавшегося в 1180 г., предоставляют собору Богоматери 20 су ренты «*ad denarios matutinorum*»; ренту 1189 г., также предназначенную для вознаграждения клириков и каноников, являющихся на хоры с рассветом; наконец, вклад епископа Мориса де Сюлли, который завещал значительную сумму, 100 ливров, бедным клирикам, служащим заутреню, «*ad denarios matutinales pauperibus clericis*». Возможно, это говорит о том, что каноники по званию, наделенные хорошей пребендой, неохотно ходили на эту службу и оставляли доход с нее посторонним капитулу клирикам, священникам-помощникам, которыми был полон собор.

Вклады в годовщину смерти за упокой души некоторых лиц, вклады благодетелей и благодетельниц капитула были особенно многочисленны: это было новым и очень прибыльным источником, откуда черпали средства для новых учреждений. Здесь фактов больше, достаточно наугад открыть «Картулярий собора Парижской Богоматери». В 1200 г. — годовщина смерти Гуго де Шелля — раздача шести денье всем, кто будет присутствовать на службе. В 1204 г. годовщина Симона де Монси, парижского каноника — 40 су для раздачи. В 1205 г. годовщина каноника Денле-Руа — 60 су, которые будут поделены таким образом: в день годовщины члены капитула получают 15 су на мессе, 15 су на

вечерне, и им заплатят 30 оставшихся су в день, когда будет отмечаться годовщина епископа Парижского Тибо. В 1208 г. другой парижский епископ, Эд де Сюлли, завещает капитулу необходимые суммы, чтобы учредить многочисленные раздачи су и денье (одну в день св. Стефана, другую в годовщину смерти донатора, третью в день святого Бернара для клириков, которые будут на заутрене, и, наконец, четвертую — в Страстную пятницу по случаю «mande», то есть церемонии, заключающейся в омовении ног бедняков. В 1211 г. именно так обеспечивает службу в день годовщины Петр Немурский, епископ Парижский: каждый из присутствующих каноников получит по 12 денье накануне и столько же во время мессы. В 1219 г. декан капитула Гуго Клеман оставляет собору Богородицы еще более значительное завещание. Все дни поста, за исключением воскресений, в трапезной капитула будут омыwać ноги тринадцати беднякам и раздавать деньги этим самым беднякам и прислуживающим им клирикам; еще одна раздача в годовщину смерти донатора — все члены капитула получают по шесть денье накануне и по шесть во время мессы. Это обычная плата для служащих.

Всех вышеприведенных фактов достаточно, чтобы дать представление о количестве специальных церемоний и распределяемых денег, сопровождавших вклады на годовщины смерти и заупокойные службы. И нам известны еще далеко не все подобные завещания: в картуляриях находят упоминания только о сановниках капитула или о других известных лицах. Но завещали не только деньги: люди благочестивые или те, кто хотел, чтобы их душа не слишком долго страдала в мире ином, оставляют средства на раздачу продуктов. Они учреждают то, что называют «paste», «station», так сказать, выдачу хлеба, вина и мяса каноникам и клирикам клироса. В «Картулярии собора Парижской Богородицы» от 1230 г., то есть через семь лет после смерти Филиппа Августа, мы находим описание обычаев, принятых у каноников собора Богородицы на этот случай в его правление и, вне сомнений, ранее. Помимо раздач продуктов, основанных частными жертвователями, были общественные и традиционные раздачи, происходившие в определенные дни за счет епископа, кое-кого из членов капитула или некоторых парижских церквей. Распределение такого рода обходилось в среднем в десять ливров. К примеру, видно, что на Пасху и на Рождество клирики хора получали сто полусетье вина и сто больших хлебов; на Троицу

раздача свинины состояла из ста тридцати семи кусков мяса, или «*frusta*», которые каноники и клирики делили между собой, причем самые высокие по рангу получали, как всегда, двойную порцию. В день праздника свв. Гервасия и Протасия раздавались девять баранов, разрубленных каждый на пятнадцать кусков, которые присутствовавшие на службе клирики уносили с собой. Повар капитула имел право на всю шкуру, а трое его помощников («*minores servientes de coquina*») забирали копыта и головы. На местах же раздачи свинины монастырский эконом и повар капитула брали себе кровь и кишки.

Все было регламентировано до мелочей. Но надо признать, что эти детали наталкивают нас на своеобразную мысль о том, что же все время происходило внутри коллегиальных церквей. Постараемся представить себе это смешение церковных служб и раздач денег и продуктов, шум, ежечасно прерываемый пением и дележом монет, странный облик капитулов, одновременно касс и трапезных, где каноник должен был присутствовать и петь, чтобы ему заплатили и накормили его.

Правда, в момент составления положения 1230 г. уже начинали ощущаться неудобства наделения пищей, которое заменялось мало-помалу денежной раздачей на соответствующую сумму. Это становилось общей тенденцией: благодаря экономическим успехам в феодальном мире натуральные повинности, барщину, личную службу также замещали денежными сборами, и их, таким образом, становилось легче взимать. В храмах же служба от этого только выигрывала в тишине и достоинстве. Тем не менее обычай распределения продуктов и даже проведения настоящих обедов и пиров просуществовал долго. Так, в 1177 г. граф Шампанский основал в коллегиальной церкви Богородицы в Ульши для торжественного богослужения по случаю годовщины своей смерти раздачу двух обедов, которые должны были последовать после заупокойной мессы. На первый обед допускались все без различия клирики, какие бы ни явились за стол каноников. И меню было также установлено донатором: первая перемена — блюдо холодной свинины; вторая — блюдо с гусиными ножками; третья — куриное фрикасе, «политое, — говорится в акте о вкладе, — добрым соусом, заправленным яичными желтками». Таким образом, предусмотрено буквально все. Второй обед подходил на первый, разве что вместо холодной свинины подавали говядину. Каждому гостю полагалось полсетье вина. И качество

этого вина также оговорено: это доброе, пригодное для питья вино, среднее между самым тонким и самым дешевым.

Традиция этих пиров продержалась в капитуле Ульши в течение двадцати лет. Только в 1203 г. графиня Бланка Шампанская предложила превратить оба обеда в денежные раздачи. Каждый из них стоил приблизительно 30 су, и присутствующие клирики получали деньги. Вряд ли перемена им понравилась больше — эти пиры доставляли радость нашим отцам. Ведь было так приятно вкушать и пить в святом месте пред очами Господа!

Когда каноники изволят жить на своем месте, их жизнь проходит в хорах своей церкви и в соседнем с ними монастыре.

Всякая кафедральная или коллегиальная церковь состоит из двух весьма различных частей: пространства, открытого для верующего народа, и места, оставленного для каноников. В алтарях боковых нефов, трансептов, апсид, в общем, во всех окружающих храм капеллах мессы и поминовения по случаю годовщин со дня смерти служились клириками, не принадлежащими к капитулу, — капелланами. В больших соборах, вроде парижского собора Богоматери, это вспомогательное духовенство бывало чрезвычайно многочисленным, ибо верующие имели право основывать маленькие капеллы при условии предоставления необходимой ренты на поддержку служителя и на расходы по богослужению в них. Именно так в 1217 г. некий парижский горожанин и его жена назначили в церкви Богоматери капеллана, занятого все время исключительно служением мессы во спасение их душ. Поскольку все богатые и набожные люди могли позволить себе роскошь сделать вклад на постоянное или временное служение мессы, число клириков, которые, не будучи канониками, жили со службы в коллегиальных церквях, было значительным, можно даже сказать — неограниченным. У некоторых из этих клириков, или капелланов, была привилегия проводить службу в хорах, большом алтаре, с сановниками и членами капитула. Глава таких клириков был важной персоной: его называли «великий капеллан», или совсем кратко «капеллан». Посредничество этого священника было необходимо каноникам, многие из которых не получили духовного сана; у него было свое место, обозначенное на торжественных церемониях, и он получал свою долю при раздачах.

Итак, церковь капитула наполнялась клириками, проводившими богослужение то в капеллах, то в хорах. Но по большей

части хоры — достояние каноников, они принадлежат им на правах собственности; только там их место, их скамья, более или менее близкая к алтарю соответственно их достоинству и возрасту. Хоры и являются той отдельной частью, куда не допускаются верующие. Известно, что к концу Средних веков все хоры капитульных церквей были относительно хорошо закрыты сначала оградой, служившей опорой для спинок скамеек и окружавшей большой алтарь, потом, перед скамьями, амвоном, таким, какой мы видим еще сегодня в Сент-Этьен-дю-Мон. В этих условиях хоры становились маленькой церковью в церкви: обычно они были приподняты на несколько ступеней над остальным пространством храма, так что народ мог видеть отправляющих службу разве что сквозь решетку дверей или когда те поднимались на галерею амвона прочесть там послание, а в воскресные или праздничные дни — Евангелие.

Были ли хоры уже в эпоху Филиппа Августа, когда повсюду поднимались великие готические соборы, обнесены оградой? Виолле-ле-Дюк высказывает по этому поводу теорию, принятую и повторяемую без лишних размышлений большей частью исследователей. Как он считает, епископы, возводя соборы (то есть в конце XII — начале XIII в.), сделали их по духу противоположными монастырским храмам: они стремились, чтобы церкви стали настоящей обителью для народа, открытой даже для публичных собраний, чтобы верующие могли там находиться беспрепятственно и в постоянном контакте с духовенством. Таким образом, никаких оград, никаких амвонов. Их якобы стали возводить значительно позднее, со второй половины XIII в. и в следующем столетии, когда из-за внезапно развернувшихся споров между епископами и канониками последние, стремясь к независимости, пожелали полностью отгородиться.

Виолле-ле-Дюк — весьма эрудированный архитектор и первоклассный рисовальщик, но очень сомнительный историк. Его теория вообще следует остерегаться, эта же представляется просто неприемлемой. Во все времена каноники коллегиальных церквей рассматривали храмы и в особенности хоры как свою исключительную собственность, и «демократические» идеи епископов, возводивших наши соборы, следует отнести к области сказок. Если действительно каменные ограды и амвоны капитулы начали сооружать лишь с конца XIII в., то ничто не мешает предположить, что раньше каноники отгораживались деревянными

оградами или даже просто ширмами из ковров или драпировками, скрывавшими их от глаз народа. В текстах времени Филиппа Августа часто упоминаются «*dorsalia*», или ткани, развешанные в хорах позади скамьи каноников. Все наводит на мысль о том, что с самого начала сооружения соборов у каноников возникла идея хора как священного места, оставленного за служителями и запретного для мирян, идея, которую позднее выразили и воплотили самым демонстративным образом каменные ограды.

Каноники желали сохранять свою обособленность и вне храма — в монастырях. Когда речь идет о кафедральных соборных капитулах, термин «монастырь» имеет два значения. Или же это здание, прилегающее к церкви, сводчатая квадратная или прямоугольная галерея, аналогичная галереям аббатств и служащая, как и они, местом прогулки каноников. Таковы, например, сохранившиеся монастыри Руанского, Ланского, Нуайонского, Сен-Лизьеского соборов. Или же — и это наиболее общее значение в текстах XII и XIII вв. — просто ограждение, действительное или воображаемое, с заключенными в него частными домами каноников. Эта ограда замыкала более или менее обширный участок, иногда даже целый городской квартал; там стояли дома, но не все. Существовали каноники, которые, продолжая пользоваться теми же привилегиями, жили в домах, располагавшихся вне собственно монастыря. При Филиппе Августе, как и при его предшественниках и преемниках, требовалось, чтобы все парижские каноники проживали в монастыре, расположенном на севере или востоке от собора Богоматери: но в начале XIV в. монастырь Сите включал только тридцать семь домов, в то время, как самих каноников было около шестидесяти. Особенно характеризует монастыри капитулов их привилегия неприкосновенности. Она ясно определена буллой Иннокентия III, пожалованной в 1206 г. каноникам Лана и подтверждавшей буллу папы Сикста II от 1123 г. Ни королевская, ни епископская власть не смогут напоминать о себе в границах монастыря, где стоят дома собратьев. Никто, за исключением декана капитула, и то после договоренности с канониками и по их решению, не имеет права вступить туда, чтобы кого-либо задержать. В 1200 г. Филипп Август торжественно подтверждает свободу и неприкосновенность парижских монастырей и грозит самыми суровыми наказаниями тем, кто ее нарушит. Естественно, каноники повсюду стремились закрепить за собой возведенные в черте

ограды здания, и церковная власть старалась изгнать те категории проживающих, которые нарушали религиозный характер общины. В 1203 г. капитул собора в Корбее постановил, что в монастыре не могут жить евреи. Булла папы Луция III от 1183 г. показывает, что монастырь собора св. Петра в Труа числил среди своих домовладельцев мирян, вплоть до жонглеров, игроков, трактирщиков и даже женщин легкого поведения, нанимавших там дома. Папа приказал собственникам самим проживать в своих домах или сдавать их духовным лицам. Вскоре были приняты возможные предосторожности, чтобы даже дома мирян, соседствующие с монастырем, не смущали каноников, живущих внутри за стеной.

В 1223 г. парижский горожанин Этьен Беру захотел надстроить свой дом, примыкавший к монастырю собора Богоматери. Тут же вмешивается, навязывая свои условия, епископ. Горожанин не может без специального разрешения капитула возвести здание выше шести шагов над монастырской стеной. Он не смеет пробивать в стене, выходящей на монастырь, ни окна, ни какого-либо отверстия — ничего, кроме зарешеченного и закрытого слухового окошка, находящегося так высоко, чтобы из него нельзя было прыгнуть на территорию монастыря. Равно и боковые стены нового здания могут иметь только такое же слуховое окно. За милость, которую ему оказывают каноники, позволяя надстроить свой дом на шесть шагов над стеной, горожанин выдает капитулу сумму в сто парижских су. Хартия, излагающая эту сделку, показывает, что монастырь Парижского капитула во времена Филиппа Августа уже был обнесен оградой. Но так в эту эпоху было не везде, ибо, например, монастырь каноников Шартра был огорожен только в начале XIII в. Обычай окружать длинной стеной территорию, предназначенную для домов каноников, вполне объяснялся здравым смыслом, прежде всего стремлением защитить их пристанище от светских властей и даже от епископа, а также необходимостью фактически очертить размеры территории, непосредственно подчиненной юрисдикции капитула.

Заглянуть в жилище каноника позволяет нам достаточно редкий в своем роде документ. В 1200 г. декан и капитул Сен-Пьер-ан-Пона в Орлеане уступают племяннику одного каноника за жилищную плату в 15 парижских су дом каноника со всем содержимым, расположенный в монастыре, и перечисление

находящегося в нем интересно: белье — две скатерти, два полотенца, шесть простыней; обстановка из шести кофров или сундуков, четырех кроватей с четырьмя покрывалами и пятью подушками, трех скамеек, двух столов; утварь — три медных котла, бронзовый чан, бронзовое и железное блюдо, три чаши для питья, таган, кочерга со щипцами, две ступки с тремя пестами, несколько сосудов для отмеривания зерна и жидкостей и, наконец, ведро с веревкой. Если в этом состоит обстановка дома каноника, то следует признать, что, по крайней мере в маленьких провинциальных капитулах, роскошь была невелика.

* * *

Тем не менее на социальной лестнице каноник стоит высоко, и капитул, членом которого он является, образует настоящую коллективную сеньорию. У нее есть глава, избираемый всеми канониками и носящий обычно звание декана (*decanus*); однако иногда, как в Суассоне, Реймсе, Ниме, Магелоне, таковыми являются прево. Декан, или прево капитула, — очень важное лицо, способное оказать сопротивление даже епископу. Он олицетворяет судебную власть капитула и может иметь, как и епископ, свой трибунал и церковный суд. Его избрание порой приводит к инцидентам, которые возбуждают капитул и получают огласку далеко за пределами кафедральной церкви. Мы приведем только один факт.

В 1218 г. кардинал-легат Робер де Курсон приехал в Амьен, посетил капитул и нашел во главе его необразованного и во всех отношениях недостойного декана по имени Симон. Он отстраняет его и, будучи крайне раздраженным на каноников, сделавших подобный выбор, лишает их апостольской властью права назвать преемника. Такое право он оставляет за Папой. Едва он покинул Амьен, как не склонные к повиновению каноники собрались, дабы приступить к выборам. Но, как это часто случается, голоса разделились: большинство выступило за каноника сеньориального дома Руа, а меньшая часть — за профессора, известного проповедника и ученого Жана Альгрена из Абвиля. Отсюда проистекли ссора и тяжба. Большинство, за которым было общественное право, обратилось со своим делом к епископу Реймскому, монастырскому судье; меньшинство же, полагавшее, что сделало наилучший выбор, воззвало к папе Гонорию III.

У Святого престола, поддерживавшего университеты, были свои соображения, чтобы вмешиваться в дела капитулов и простираť свою власть еще и над ними в ущерб власти местных епископов и архиепископов. Гонорий III начинает с отправки епископа Аррасского для разрешения спора; потом он решается на более радикальную меру — отменяет выбор большинства Амьенского собора и назначает деканом Жана Альгрена, поручая аббату Сен-Виктора ввести его в должность. Каноники яростно протестуют, а один из них, прево капитула, руководит сопротивлением. Когда сен-викторский аббат прибывает в Амьен, прево встречает его горячими обличениями, утверждая, что папская булла была получена и даже инспирирована интриганами, солгавшими во всем. Он взывает к Папе, предлагая лучше осведомить его об этом деле. Но представитель Гонория не только не придает этой апелляции никакого значения, но даже, видя, что упрямцы ничего не желают слышать, отлучает организатора протеста. Отлучить апелланта! Дело серьезное и порождает новую тяжбу. Противники Альгрена отправляют жалобу на аббата Сен-Виктора в Рим, и к первому судебному разбирательству добавляется второе. Речь идет о том, чтобы установить, когда прево и его соучастники были отлучены — до или после подачи апелляции. Папе пришлось специально по этому вопросу поручить декану Суассонского диоцеза провести тщательное расследование, прежде чем самому окончательно высказаться по существу дела.

Между тем кандидат от меньшинства амьенских каноников, Жан Альгрен, страстно жаждущий завершения дела, чтобы воспользоваться своим деканством, прибывает в Рим. Он представляется Папе и сам защищает свое дело с пылом человека, привыкшего, как все проповедники, навязывать свое мнение: или он подает в отставку с должности декана, или понтифик решительно защитит его от врагов и поддержит выбор, сделанный в его пользу, несмотря на всяческое сопротивление, проволочки и апелляции, причем без нового расследования или тяжбы. Загнанный в угол, Гонорий III отказывается принять отставку столь почитаемого всеми за красноречие, знания и добродетели доктора. Утверждают, что Святой престол был введен в заблуждение ложью; но эта тяжба оскорбительна и для самого достоинства апостолической власти. И 22 ноября 1218 года решительным документом, уж точно для него не характерным, Гонорий

сообщает аббату св. Женевьевы, главному архидьякону Парижа и доктору Петру Капуанскому, что отменяет все старые судебные процедуры, отзывает отданный им приказ начать новые и окончательно поддерживает Жана Альгрена Абвильского в Амьенском деканстве. Эпизод, показательный в двух аспектах: прежде всего в том, что на место декана капитула было много претендентов, а затем в том, что римская курия была тогда единственным и высшим судьей в разногласиях между канониками, хотя порой довольно было и епископской власти для их пресечения. Это еще одно проявление нового права.

Сан декана столь же доходен, сколь и почетен, ибо ему всегда принадлежит двойное право — распределения пребенд и раздач. Этот сан даже настолько значителен, что некоторые капитулы считают его опасным для себя и принимают меры предосторожности против главы, которого избрали. В Нуайоне по статуту 1208 г. декан должен дать каноникам самые обстоятельные клятвы, прежде чем добьется их повиновения. Он клянется считаться с целым рядом весьма точных предписаний и запретов, которые на него налагаются: постоянно жить на месте, не принимать никакой должности в ущерб общине, не совмещать две должности в капитуле, не противиться выполнению статуты, устанавливающих распределение пребенд; в период жатвы он не должен приходить в ригу капитула, требуя себе «полномочий», то есть права обедать за счет местных служащих или жителей; он не смеет временно отстранять каноника и отбирать у него пребенду, не посоветовавшись с капитулом, принимать на службу на хоры клириков без разрешения капитула. Короче говоря, каноники не желают, чтобы их декан стал чем-то вроде абсолютного властителя. Необходимо, чтобы он всегда действовал совместно со своими коллегами и не считал имущество капитула своей личной собственностью. Но, с другой стороны, за ним признают и права: он — единственный судья других каноников и отвечает за них. Он одновременно и должностное лицо, и настоятель общины.

На втором месте после декана стоит регент певчих, отправляющий хоральные службы, присматривающий за порядком в храме и за посторонними клириками в капитуле. В знак своего достоинства он носит жезл.

Третье должностное лицо специально занимается снабжением провизией и материальным обеспечением — это казначей,

называемый в некоторых капитулах камерарием, или *chèvecier*. Это эконоом общины, управляющий финансами и имениями. Он хранит капитульную казну и держит в своих руках не только средства, но и ценные предметы и архивы.

В конце XII в. во многих коллегиальных церквях казначеи, или эконоомы, почувствовали, что их труды значительно облегчает создание новых должностей церковных старост (*matricularii*), или хранителей (*custodes*). Им также поручалось с помощью служек содержать в порядке, чинить и подносить предметы, используемые при богослужениях, зажигать свечи, звонить в колокола и охранять церковь. Эти служащие выполняли одновременно обязанности ризничих и привратников. Институт церковных старост в эпоху Филиппа Августа в основном известен нам по двум документам — акту 1204 г. Эда де Сюлли, епископа Парижского, и декрету Ланского капитула 1221 г. Церковные старосты-священники, стоящие много выше по сану, нежели старосты-миряне, участвовали в почетных и денежных мероприятиях каноников: отправляли службу на хорах, привлекались к раздачам; но все они обязаны были спать по очереди в церкви и отвечать за пропавшие предметы.

Наконец, «школьный смотритель» (*escolâtre*), или секретарь, нес службу двоякого рода, состоявшую в скреплении печатью хартий капитула и присмотре как за монастырской школой, так и в целом за всеми школами диоцеза. В церкви этому должностному лицу поручалось чтение, подобно тому, как певчему было положено петь. Именно у него хранятся книги капитула — он обязан их беречь и, если надо, чинить. Он в ответе за не прочитанные днем и ночью молитвы, и ему надлежит вновь прочитать пропущенные. Он проверяет клириков, которым поручено чтение, назначает и присматривает за обучающими наставниками. Его неукоснительный долг состоит в том, чтобы жить на месте и быть рукоположенным священником в том же году, когда он приступит к обязанностям. По крайней мере это требуется от секретаря Нуайонского собора в начале XIII в., согласно тщательно перечисляющему все его обязанности документу.

Обычно печати секретарей изображают их владельцев держащими книгу. Но смотритель школ Амьенской церкви Манассия, чей печатью скреплен акт 1207 г., не колеблясь, повелел выгравировать себя в позе и за занятием, которое, вне сомнения, ему особенно нравилось: он изображен в охотничьем одеянии на

коне, с ловчей птицей на руке и бегущей позади него собакой. Этот секретарь, как и многие другие каноники и должностные лица капитула, очевидно, был знатным человеком со вкусами своего сословия и вел жизнь аристократа. Мы можем сопоставить эту характерную печать с печатью капитула Руа в Пикардии, которая исключительна тем, что эмблема на ней носит характер не религиозный, а совсем наоборот: эти каноники, явно воинственного нрава, как и все пикардийцы, пожелали, чтобы их олицетворял скачущий в кольчуге и в круглом шлеме рыцарь со щитом и штандартом, коим он гордо размахивает.

И вот мы удаляемся от аналоя и алтаря. В конце XII в. завершается эволюция, приведшая к вступлению в церковь каноников — представителей малых или больших сеньориальных домов. Капитулы тогда составлялись при активном участии аристократии, и не только потому, что светские сеньоры влияли на назначение каноников через посредничество епископа или декана, но еще и потому, что они прямо располагали во всех французских областях некоторым количеством пребенд. Саны каноников порой доставались по более или менее завуалированному наследственному праву членам знатных баронских семей, являвшихся священниками. Только один пример. В Париже в 1209 г. право раздавать пребенды капитула св. Фомы Луврского, то есть назначать каноников, было установлено следующим образом: до своей смерти епископ Бове Филипп де Дре, кузен Филиппа Августа, сохраняет за собой право жаловать пребенды, после чего этим правом будут попеременно пользоваться епископ Парижский и Робер, граф де Дре. Отпрыски знатных семейств уже не довольствовались заполнением капитулов, они без зазрения совести совмещали должности каноников нескольких коллегий. Первый советник Филиппа Августа Гийом Шампанский, прозванный «Белоруким», умерший архиепископом Реймским и кардиналом, начал еще совсем молодым с получения пребенд одновременно во многих капитулах: в одно и то же время он был каноником Камбре и Мо, прево соборов Суассона, Труа и коллегиального капитула Сен-Кириак в Провене. Такое совмещение формально было запрещено канонами, но для могущественного дома графов Шампанских законов не существовало. Коль скоро подобный пример подавали владетельные феодалы, то и мелкая знать в затерянных уголках отдаленных провинций не отказывалась от подобных злоупотреблений в свою пользу.

Но капитулами правит не только дух феодализма — даже формы ленного держания были привнесены в них и в конечном счете возобладали. С некоторых пор отношения должностных лиц между собой и особенно с епископом были отношениями вассалов с сюзеренами. Любопытный документ, появившийся между 1197 и 1208 г., говорит нам об официальном сопоставлении вассальной зависимости разных вассалов епископа Парижского в эпоху Филиппа Августа. Там мы читаем следующее: «Декан Парижской церкви является вассалом епископа, за исключением верности, коей он обязан капитулу. Парижский регент певчих является вассалом епископа и приносит ему клятву верности. Секретарь Парижа есть вассал епископа, приносящий ему ту же клятву. Все архидьяконы Парижской церкви являются вассалами епископа и присягают ему. Капеллан епископа — тоже его вассал. Декан капитула Сен-Марселя является вассалом епископа в силу своего деканства. То же относится к деканам Сен-Жермен-л'Осеруа и Сен-Клу».

Таким образом, все клирики соединены с епископом феодальной связью и оммажем, а впоследствии приносят ему клятву верности по церемониалу, принятому при вассальной инвеституре, так что их вполне можно было бы уподобить баронам с их иерархией. Не заключается ли в этом посягательство на дух церковных институций и на церковные законы? Вне всякого сомнения. Церковь не могла допустить, чтобы капелланы и деканы капитулов стали в области права вассалами епископа. Доказательство тому — некоторые капитулы, например, Нуайонский, где по майскому статуту 1208 г. декану строго запрещалось как приносить оммаж епископу, так и принимать от него какой-нибудь фьеф. Но нравы времени и влияние окружающей среды были сильнее всех запретов. Каноники являлись мелкими сеньорами, многие из них, невзирая на уставы, жили, как ленные владельцы, и сами капитулы, кажется, пропитаны феодальными привычками и идеями. Вот почему проповедники и соборы времен Филиппа Августа возмущаются не слишком церковным обликом некоторых из этих корпораций и скандальной жизнью их членов.

Но от этого представление о канонике как о лице, облеченном трудами, социальная значимость которых первостепенна, не упало в общественном мнении. Да и разве не выражается почтение верующих в дарениях земель и денег капитулам или

завещании их на основание новых коллегиальных церквей и общин каноников? Частные лица, богатые и набожные, не довольствуясь тем, что основывают капелланства или увеличивают средства для раздач в знаменитых церквях, создавали капитулы, предназначенные для молитв за спасение их души. Именно так, например, поступил в 1201 г. епископ Неверский Готье, соорудивший соборную церковь Сен-Леже в Танне, некогда простом приходе. До нас дошел акт об этом основании, и он интересен тем, что показывает, как умело брались уже при Филиппе Августе за преобразование приходской церкви в капитул, а служащих в каноников.

Обогащением уже существующих капитулов или учреждением новых не ограничивались. Поскольку главный интерес состоял в тщательном исполнении службы вознесения общей молитвы в больших церквях лицами, достойными этой высокой миссии, большое значение придавали тому, чтобы каноники не подвергались соблазну нарушить чистоту жизни, соответствующую уставу их института. Общественное мнение обязывало церковные власти производить частые преобразования капитулов. Эти реформационные указы, исходившие то от Пап, то от епископов, то от самих капитулов, в великом множестве начинают появляться с конца XII — начала XIII вв. Одни носят ограниченный характер, вводя лишь частичные улучшения; другие, напротив, направлены на общую реорганизацию общины. В Париже капитул собора Богоматери претерпел видоизменения структуры в 1204, 1208, 1211, 1213 и 1216 гг.; преобразовательное движение распространилось и на капитулы, находившиеся в зависимости от собора: Сен-Клу — в 1204 г., Сен-Жермен-л'Осеруа — в 1209, Сен-Марсель — в 1205, Сен-Мартен де Шампо, Бри — в 1205, св. Фомы Луврского — в 1209, Сен-Мерри — в 1219 г. За пределами Парижа по всей Франции мы видим те же усилия, направленные на упорядочение жизни каноников и приведение структуры капитулов к гармонии с нуждами Церкви и требованиями верующих. Для Нуайонского собора постановления сменяют друг друга почти непрерывно, каждый год, с 1183 по 1218. В Шартре это положения 1208 и 1222 гг.; в соборе Святого Духа в Корбее — 1191, 1203 и 1208 гг.; в Сен-Сальви в Альби реформа проходит с 1212 г., в соборе Сен-Карантен в Кимпе — с 1223 г., в соборе св. Петра в Шампани — 1183 г. и т. д. Это перечисление дат и мест, взятых наугад по всей стране, само по себе интересно:

оно подтверждает, насколько общество в царствование Филиппа Августа было озабочено тем, чтобы утвердить в капитулах порядок, мир и строгость нравов и насколько эта озабоченность была тогда всеобщей.

Все статуты походят друг на друга, и это вполне понятно, поскольку существо реформы касалось одних и тех же злоупотреблений и заключалось в том, чтобы улучшить повсюду одно и то же. Предпринимались меры с целью заставить монахов проживать на месте и исполнять свои обязанности; беспристрастно распределять пребенды; определять права должностных лиц и отношения каноников с епископом; создавать новые должности; лучше организовывать управление имениями капитула; уточнить способ избрания управляющих и особенно декана. Именно посредством изучения этих документов можно прийти к детальному выяснению недостатков канониального режима и более или менее обоснованной критики, повод к которой он подавал. Но как ни множились уставы и запреты, нравы и привычки были сильнее закона. Все, в чем общественное мнение упрекало каноников, все пороки института проистекали из того факта, что капитул был одновременно священническим сообществом и светской сеньорией, коллегией клириков, обязанных отправлять религиозные службы, и совокупностью собственников, заинтересованных в доходах от своих капитулов и доменов. Все более и более аристократизировавшийся состав капитулов и влияние окружающей среды приводили к тому, что все эти сыновья знати, посвященные в духовный сан и наделенные пребендами, слишком часто забывали о религиозном характере своего положения, видя в нем только материальную и феодальную стороны.

Епископы, Папы, соборы силились принудить слишком обмирщенных каноников к соблюдению их церковных обязанностей, напомнить им о принадлежности к духовенству и долге блюсти его внешний облик и нравы. В начале XIII в. епископ Мендский Этьен направил в Рим любопытную записку, где горько жаловался на неподобающую жизнь своих каноников. «Они причина того, — говорит он, — что Церковь стала предметом насмешек всех жителей моего диоцеза, и важно, чтобы Ваше Святейшество наконец изменили сие положение вещей». Главы капитулов обязаны сами заявлять о зле и испрашивать у священноначалия помощи. В 1183 г. декан собора в Труа докладывал епископу и папе Луцию III о канониках своей церкви, которые

не желают получать священнический сан. Они не отправляют службу и упорно продолжают принимать в качестве заместителей посторонних капитулу священников. Папа приказал епископу Труа отлучать каноников, отказывающихся становиться священниками; на будущее же решено, что ни одно постороннее лицо не будет допускаться к большому алтарю служить мессу.

Парижский собор 1212 г. и собор в Монпелье 1214 г. составили многочисленные положения, специально касавшиеся каноников, а упреки, им адресованные, показательны. Прежде всего, клирики живут и одеваются чересчур роскошно; они носят платье и обувь красного и зеленого цвета, короткие и развевающиеся плащи; при езде верхом они используют золоченые уздечки и шпоры; в их домах содержатся ловчие птицы, и они прогуливаются с птицей на руке; короче говоря, их внешний вид — вид мирянина, и все эти злоупотребления должно прекратить. В обителях, где стоят частные дома каноников, бывают сборища для проведения азартной игры и оргий — подобное попустительство категорически недопустимо. Каноникам под страхом отлучения запрещено совмещать несколько бенефициев: им приказано в течение двух месяцев избавиться от тех, которыми они владеют сверх положенного. Некоторые капитулы имеют во главе людей невежественных или неспособных, потому что упорно противятся принятию в свою корпорацию декана и прочих должностных лиц; но раз в общине не оказывается людей, которые были бы достойны этих функций, они должны избрать в начальствующие посторонних. Надлежит проводить выборы добросовестно: следует огласить день, когда они должны состояться, и предупредить отсутствующих из братии, чтобы они могли прийти голосовать. Наконец, категорически запрещено членам капитулов заниматься какой бы то ни было торговлей, давать деньги под залог и взимать ростовщический процент.

Это последнее запрещение не случайно. Множество документов свидетельствует, что капитулы — финансовая власть — помещали свои средства под большие проценты и с выгодой занимались банковскими операциями. Особенно богат был капитул парижского собора Богоматери. Мы видим, как в 1216 г. он покупает за 360 парижских ливров золотой сосуд, украшенный драгоценными камнями, выставленный на продажу кельнским епископом. Из одного документа 1204 г. ясно следует, что каноники одалживали деньги парижским горожанам.

Когда один из них, задолжавший 130 ливров, умер, его вдова выплатила наличными 30 ливров; что же касается остальной части долга, то капитул позаботился о том, чтобы отобрать у нее в качестве залога принадлежавшую ей меняльную лавку на Большом мосту. Те же каноники к торговле деньгами добавляли прибыль от сельского хозяйства: они предприняли в Парижском диоцезе широкомасштабные операции по раскорчевыванию пней, во время чего в 1185 г. что-то не поделили с королевскими лесничими. История Аррасского капитула в правление епископа Рауля де Невилля, между 1202 и 1221 гг., ставит также вне сомнений тот факт, что под предлогом продаж и заклада десятин каноники давали ростовщические ссуды и обращали деньги в значительные бенефиции, что, впрочем, стоило им после смерти епископа, поощрявшего эти операции, нескольких судебных процессов. Капитулы дорожат деньгами, но также дорожат они и землей, не брезгуя различными средствами для увеличения своего домена: скупают по дешевке собственность и т. д., а когда речь идет о значительном приобретении, все методы хороши. В 1216 г. каноники св. Мартина Турского, владельцы сеньории Шабли и ее виноградников, получили возможность присоединить к ней земли некоего Ги де Монреала; но цена покупки значительна — две тысячи ливров, а у капитула не было под рукой необходимых средств; и он, не колеблясь, продает за 700 ливров часть золота, покрывавшего престол большого алтаря собора св. Мартина — крайность, вне сомнения, неприятная, но, надо думать, набожность верующих со временем возместила все издержки.

Капитулы подобны людям: есть среди них умеющие управляться со своими средствами, и они процветают; другие, напротив, не могут свести концы с концами. Последние, вместо того чтобы быть кредиторами, сами должники и порой доходят до банкротства. Таковым было в 1197 г. положение Магелонского капитула. Мы знаем об этом из письма папы Целестина III, перечисляющего причины дефицита: плохой урожай зерна и вина, частные феодальные войны, а также постоянные ссоры каноников, разделенных на вечно враждующие партии. Чтобы выручить капитул из этого затруднительного положения, Папа позволяет его главе, магелонскому прево, взять под свою руку все церкви, бывшие в подчинении общины, то есть изъять у них доходы для постепенного погашения долгов, «настолько тяжких,

что каноники, — говорится в папской булле, — не могут больше нести их бремя».

Трудно не признать, что денежный вопрос играет преобладающую роль в документах, касающихся каноников. Было бы весьма любопытно провести историческое исследование по распределению пребенд между членами капитулов. Церковная власть постоянно обязана принимать меры, чтобы помешать каноникам считать пребенду своей частной собственностью, которой они могут распоряжаться в пользу клириков из своей семьи. Следовало заставить владельцев пребендов участвовать в расходах общины, ибо они удобно устроились, получая свои доходы и не неся никаких расходов по отправлению культа и управлению доменом. Необходимо воспретить капитулам по истечении нескольких лет образовывать новые пребенды: ибо стоимость земельных участков и доходов может со временем увеличиться в значительной степени, и равенства между получившими пребенду больше не будет. Нужно также время от времени обязывать капитулы увеличивать число своих членов и осуществлять перечисление пребенд, ибо при разрастании капитульного домена или увеличении его стоимости его пользователи вполне естественно желают оставаться малочисленными, чтобы иметь более крупную долю. Так, например, в 1205 г. собор Богоматери в Париже постановил разделить надвое пребенды вассального капитула св. Мартина в Шампо, в Бри. Стоимость каждой пребенды доходила до 50 ливров. Принимая во внимание такой доход, нашли, что каноников слишком мало. Владельцы, естественно, запротестовали; их успокоили, согласившись, что разделение пребенд состоится только после смерти или отставки настоящих владельцев. Это доказывает, что даже в Средние века административные реформы проходили без насилия.

Души по-настоящему благочестивые, преисполненные суровой сознательности, возмущались, видя, до какой степени общины каноников поглощены мирскими интересами, воплощенными в земле и в деньгах. Проповедники времени Филиппа Августа клеймили алчность, с которой многие домогались сана каноника. Эта охота за пребендами возбуждает их негодование. «Кандидаты, — говорит один их них, — впадают в исступление, когда появляется вакансия, подобно собакам, что воют, когда луна идет на убыль». Обличители мечут молнии и громы против алчности клириков, удерживающих многочисленные пребенды,

невзирая на запрещения соборов. Один каноник, секретарь Парижской епархии Превотен Кремонский, сам признавался в этом: «Мы, клирики, хотим иметь все духовные и мирские сокровища; но идол Дагона падает, а порядок остается стоять; время проходит, а вечность остается. Мы же хотим поднять Дагона, уравнивая мирское с духовным, и даже ставя его выше... Что можно сказать, видя, как в Божьем доме служат мессы за деньги?».

Другой современник Филиппа Августа, Элинар, бывший трувер, ставший монахом цистерцианского ордена, весьма вероятно, намекает на обмирщенных каноников, когда с негодованием говорит о священниках, которые появляются на людях убранными, как женщины, «с завитыми волосами, с непокрытой головой, голыми плечами, с татуированными предплечьями, с руками обутыми, а ногами в перчатках». Другие проповедники сообщают о дурном характере и строптивости каноников: «Если епископ вздумает их побранить, они тут же ссылаются на то, что право делать им замечания принадлежит только декану капитула. Если же декан хочет сделать им внушение, они в конечном счете отвечают, что они под юрисдикцией всего капитула, а не под юрисдикцией декана».

И здесь проповедники, имеющие обыкновение излишне бичевать нравы современников и сгущать краски, дабы произвести впечатление, не преувеличивают. Средневековые каноники не очень-то были склонны к повиновению и взаимному согласию; эти обитатели и даже храмы оказываются далеко не прибежищами мира и сосредоточенности. Как и везде, там спорят, а часто даже и дерутся. Большая часть этих клириков, сыновей знати, как мы говорили, вышедшая целиком из рыцарской среды, имеет нрав, свойственный представителям этого сословия, и весьма воинственные инстинкты.

Мы здесь даже не говорим о борьбе, которую капитулы ведут в городах и деревнях против мелких и знатных феодалов, постоянно пытающихся захватить их домен, или против горожан, не желающих больше подчиняться церковной власти. Об этом речь пойдет дальше. Сейчас же достаточно показать, как необходимость защиты от нападений кастелянов и баронов придавала некоторым общинам каноников совершенно особый характер. В труднодоступных областях, горных краях или провинциях, лишенных высшего сюзерена, но достаточно сильных, чтобы создать органы правопорядка, существуют капитулы,

которые, постоянно подвергаясь сеньориальным разбоям, обречены в силу чрезвычайных обстоятельств на военное положение и соответствующим образом организованы. У этих каноников о духовном сане говорит лишь тонзура — это настоящие воины. Обычно выходцы из благородных и богатых семей, они всегда готовы созвать своих близких, чтобы отразить врага. На деле это главари ватаг, которые не довольствуются обороной, но мстят за нанесение оскорбления и, в свою очередь, нападают на соседних владельцев замков. В эпоху Филиппа Августа самой любопытной разновидностью таких военных капитулов являлся капитул св. Юлиана Бриудского; капитулов подобного рода было много в Оверни, стране исключительной феодальной анархии. Бриудские каноники были особо знамениты; их повадки и воинственный образ жизни вызывали возмущение. Аббат Бон-Эсперанса Филипп Арван в своем трактате «*De continentia clericorum*» приводит их в качестве причудливого примера священника-воина. Он описывает, как они спускаются с хоров, где только что распевали псалмы и гимны, и бегут надевать шлемы и панцири, дабы сражаться на больших дорогах. «Это необычное положение, — говорит он, — очень хорошо известно епископам и Папам, но они вынуждены терпеть: каноникам надо защищать себя, иначе хищность мирян обратит их церковь в ничто».

Если мы оставим в стороне эти своеобразные общины и ограничимся капитулами, поставленными в обычные условия, и отношениями каноников с другими членами церковного общества, то следует признать, что ссоры часты, бесконечны, а состояние войны почти постоянно. Не без основания у их церковей порой вид укрепленных замков.

Мы бы никогда не закончили, если бы пришлось писать историю всех конфликтов, ареной действий которых стали в конце XII и начале XIII вв. кафедральные и коллегияльные церкви. Впрочем, не в этом особенность данного периода истории Франции. Многие из распрей начались еще до правления Филиппа Августа и окончатся лишь много времени спустя после него. Есть среди них и такие, которые не прекращались на протяжении почти всего Средневековья, — поколения каноников передавали их, как наследство. Клирики спорили в течение столетий, ибо, невзирая на все судебные постановления и компромиссы, они в глубине души не отказывались пользоваться тем, что рассматривали как свою привилегию.

В городах, где было много капитулов, общины каноников часто вступали в конфликт друг с другом. Часто именно кафедральный капитул стремился дать почувствовать свое превосходство простым соборным, более или менее надеющимся на независимость — вражда сюзерена со своими вассалами. Достаточно понаблюдать за происходившим в 1189 г. в Труа в Шампани. Каноники собора св. Петра боролись с канониками Сен-Лу, и последние в конечном счете признали мирный договор. Впредь они будут присутствовать на большой мессе в соборе св. Петра четыре великих праздника в году — это признак их вассалитета; но взамен, в порядке компенсации, казначей св. Петра будет выплачивать келарю Сен-Лу по пять су за каждое присутствие. В Шалоне-на-Марне каноники собора Богоматери платят чинш кафедральному собору св. Стефана: это результат соглашения, заключенного в 1187 г. Они обязаны также принимать участие в процессиях собора и являться на богослужения, проводимые там в дни великих праздников. Взамен каноники св. Стефана будут приходить в церковь Богоматери на четыре больших праздника Пречистой Девы. В 1206 г. те же каноники Шалонского собора странным образом воспользовались своим превосходством: они отдают приказ разрушить церковь вассального капитула св. Николая под предлогом, что эта церковь стоит слишком близко к собору. Каноники св. Николая обращаются к Папе с решительной жалобой, и Рим повелевает капитулу св. Стефана отстроить заново церковь св. Николая на старом месте. Надо же было поддерживать порядок среди этих клириков и мешать великим притеснять малых и поглощать их. В Этампе, где не было собора, борьба между капитулом Богоматери и капитулом Святого Креста продлилась все царствование Филиппа Августа и много дольше; Папы, короли и архиепископы попусту тратили силы, устанавливая мир. Тем не менее в 1210 г. было заключено соглашение, согласно которому капитул Святого Креста признавал свое поражение. Именно денежный вопрос вел к столкновению двух общин: они оспаривали приходские доходы. Соглашение предусматривало, что священники Святого Креста никогда не будут звонить к утренней мессе, никогда не будут получать пожертвований от прихожан и прихожанок собора Богоматери, не будут творить освящение хлеба, посещать больных; что у капитула Богоматери будет хорошая пребенда в Святом Кресте, что приходские права на новый город Этампа будут принадлежать

исключительно собору Богоматери и т. д. Именно собор Богоматери Этампской является главным капитулом, суверенной властью, и именно ему должно давать деньги и воздавать почести.

Войдем теперь в кафедральную церковь; там мы вновь оказываемся свидетелями разногласий между членами одной и той же общины. Мы уже знаем, что церковная служба поручена двум разным сообществам: бок о бок с корпорацией каноников живет коллегия священников, или капелланов, обязанных служить бесчисленные мессы, заказанные частными лицами, и даже отправлять богослужение в большом алтаре. Однако каноники не могут договориться с капелланами; священники хора соперничают со священниками капелл и алтарей, которые, выполняя, в общем, самую тяжелую работу, стараются избавиться от юрисдикции капитула и получить некоторые побочные доходы. Есть коллегиальные церкви, как храм Святого Духа в Корбее, где каноник и капеллан постоянно враждуют; положений, вроде регламентов 1191 и 1209 гг., и присяги, требуемой от каноников Святого Духа при вступлении в должность, недостаточно, чтобы установить полную гармонию.

Но и внутри самого капитула, среди сеньоров, владеющих пребендами, кипят страсти, хватает грубости и конфликтов.

Прежде всего — столкновения из-за выборов. При избрании высоких должностных лиц почти всегда случается так, что мнения каноников разделяются; меньшинство не уступает большинству, ведь в Средние века голоса не только подсчитываются, но и взвешиваются. Рядом с «major pars» существует «senior pars», и каждая партия претендует на то, что представляет самое святое мнение. Тогда все оборачивается бесконечным процессом в римской курии, а в ожидании судебного решения — внутренним раздором, доходящим часто до драки в самом храме. Мы уже наблюдали перипетии, возникшие при выборах декана в капитуле Амьенского собора. Из магелонских картуляриев можно узнать о шумных инцидентах, которые были вызваны в 1186 г. выборами простого ризничего. Часть магелонских каноников несправедливо избрала главой ризницы некоего Ги: епископ же и другие каноники воспротивились его назначению. Они отлучили чужака и его выборщиков. Ги стремился удержать ризницу и должность за собой. По просьбе епископа в Магелон прибыл архиепископ Нарбоннский, дабы восстановить порядок; но ризничий, все еще цепляющийся за свое место, призвал к себе

на помощь могущественных персон — сына графа Тулузского и самого сеньора Монпелье. Эти миряне проникли в зал капитула, оскорбляя епископа и его приверженцев и угрожая им. Пришлось вмешаться папе Урбану III, послав специальных представителей, призванных покончить с разногласиями.

В периоды между выборами мир в капитулах соблюдался не лучше — споры между канониками по поводу пребенд и приходских прав, борьба простых владельцев пребенд с сановниками, обвиняемыми в превышении власти и присвоении доходов, предназначенных всей общине. Так, например, в 1215 г. капитул парижского собора Богоматери воюет со своим секретарем, виновным, как говорят, в чрезмерном присвоении доходов от использования канцлерской печати. Самые многочисленные и жестокие конфликты — столкновения капитулов с теми из их членов, кто под именем прево был облечен правом светского управления капитульным доменом. Тенденция, ведшая всех сеньориальных служащих и уполномоченных феодального мира к узурпации своей должности, равно как и присвоению территорий, на которых должность отправлялась, и смене своего положения управляющих на положение собственников, также оказывала свое воздействие на эти маленькие церковные сообщества. Каноники, занимавшие прево, в конце концов стали рассматривать их как собственное имущество и присваивать лично себе права и доходы — достояние всей общины. Последней же, рисковавшей лишиться всего, приходилось реагировать на это неприятное проявление феодального духа. Следовало низвести прево до их истинного положения служащих, отняв силой у упорствующих домены, которые они не желали оставить. Отсюда весьма часты ожесточенные конфликты между канониками и их собратьями прево в течение всего XII в. (в Шартре, во времена знаменитого Ива Шартрского, они дошли до кровопролития). На исходе XII в. большая часть капитулов стала изымать домены у прево, вверяя управление ими самим владельцам пребенд: они или упраздняли прево, передавали прево в пользование простым светским уполномоченным, или оставляли прево только номинальную власть. Но во времена Филиппа Августа некоторые капитулы еще боролись — например, в Бордо, где каноники собора св. Андрея добились в 1210 г. от одного из своих прево признания их прав охоты, рыбной ловли и правосудия на землях прево.

в самом Париже в 1216 г. капитул собора Богоматери определил положение своих прево и реорганизовал всю домениальную администрацию: по мере того как превоства будут становиться вакантными, их будут возвращать в общину, которая начнет сдавать их в аренду, а у оставшихся прево будут так связаны руки, что им станет невозможно спекулировать доверенными им землями.

Но большим поводом для разногласий внутри коллегиальных церквей, самым изобильным источником конфликтов и постоянной причиной беспорядка в соборах являлось двусмысленное положение епископа — одновременно и собрата, и начальника над канониками. Собор принадлежит епископу и капитулу, он является нераздельной и узкой территорией, где этим двум властям приходится жить бок о бок. Учитывая сутяжнический и воинственный дух людей Средневековья, вполне можно понять, сколь часто он становится полем сражений.

Иногда глава диоцеза обладал всеобъемлющей властью над священниками собора, как и над всеми священниками диоцеза; церковная собственность была для них общей, а епископская власть как в духовном, так и в светском отношении оставалась полной и абсолютной. Но когда дары верующих значительно увеличивали соборный домен, когда по закону разделения институтов капитул отделялся от епископа, а капитульная собственность от епископской, епископ и каноники постепенно вступали в соперничество. Капитул старался стать независимым от епископа, сначала в светском, а потом даже и в духовном плане, и мало-помалу, с помощью Папы, который, как мы видели, был заинтересован в ослаблении епископата, им это удавалось. Во многом епископ и его капитул находились в положении двух враждующих братьев, а накал семейной вражды хорошо известен. Ненависть проистекала из тысячи различных причин и облекалась в разные формы. Они ссорились из-за всего — самого храма, предметов в его сокровищнице, юрисдикции над приходами, права избирать некоторых служащих диоцеза, особенно архидьяконов, права назначать владельцев пребенд, права налагать отлучение и т. д. И во всех французских провинциях один и тот же антагонизм приводил к одинаковым результатам. Можно взять наугад во время всего правления Филиппа Августа самые несхожие и самые отдаленные друг от друга области — картина не изменится.

В Байонне папе Целестину III пришлось вмешаться, чтобы поделить между епископом и капитулом церковные доходы. В Кемпере в 1220 г. борьба с епископом Рено все еще продолжается; здесь она тем более жестока, что две власти тесно соединены, и епископ Кемпера — настоящий каноник, принимающий участие в ежедневных раздачах. Тут, как почти повсюду, капитул берет над ним верх: Рено оставляет свои притязания и отдает обратно каноникам различные предметы, им присвоенные. В Бове епископ Филипп де Дре в 1212 г. признает, что не имел права отлучать подданных капитула. Его преемник Милон де Нантей в 1219 г. предоставил каноникам право накладывать отлучения, оглашать их в приходах диоцеза и обеспечивать их исполнение. Но служащие епископа и настоятели не так-то легко подчинятся анафемам каноников Бове, и в этом смысле между 1219 и 1221 гг. произошел любопытный инцидент. Кафедральный капитул собора св. Петра отлучил Пьера де Бари, прево епископа, виновного в заключении в темницу служки каноников. Настоятели различных церквей Бове отказались оглашать отлучение. Декан же капитула неоднократно требует придерживаться его. Под конец он заставил их съехаться и объявил временно отстраненными от должности. «Снимите ваши стихари, — говорит он, — вы не будете принимать участия в процессии». Большая часть решила повиноваться, за исключением двоих, которые обратились к архиепископу Реймскому. Документ, сообщающий детали этого эпизода, интересен тем, что из него видно, до чего могли доходить в некоторых диоцезах независимость и притязания капитула.

Продолжим наше путешествие по Франции. В Орлеане в 1217 г. епископ, будучи в конфликте с Филиппом Августом, наложил интердикт на свой город и диоцез; на сей раз он действует в согласии со своим кафедральным капитулом — капитулом собора Святого Креста; но каноники коллегиальной церкви Сент-Эньяна отказываются соблюдать интердикт и продолжают звонить в колокола и открывать церковь. Епископ временно отстраняет декана Сент-Эньяна. Запутанная тяжба поступает в римскую курию. В Туре в 1211 г. архиепископ борется со своим архиепископским капитулом за собственность одного прихода, а также с могущественным капитулом св. Мартина по поводу юрисдикции над аббатством Болье. Этот конфликт тянется бесконечно: только в 1208 г. он привел к трем тяжбам,

разбиравшимся в Орлеане, Бурже и Шартре. В Руане епископ оспаривает у своего капитула некоторые доходы от города Дьепп: каноники накладывают интердикт на собор; дело передается третейским судьям, и декан капитула в конечном счете приносит публичное покаяние. В Вердене разгорелась настоящая война между деканом и епископом Робером — каноники не принимали епископа, считая его необразованным и недостойным. Они возбудили против него дело в Риме и настолько извели его, что принудили в 1217 г. отказаться от должности. В Бордо стычки между архиепископом и канониками были часты: последние в 1181 г. добиваются от Папы права избирать своего декана, а в 1195 г. соглашаются на новую сделку с местным владыкой. В Труа в 1188 г. кафедральный капитул св. Петра обвинил своего епископа в похищении части церковных сокровищ, в том числе золотой чаши и серебряного престола, и епископу Манассии пришлось возвратить то, что он взял. В самом Париже, где две власти, казалось бы, живут в достаточно добром согласии, капитул собора Богоматери, однако, получает от папы Гонория III в 1219 г. право отлучать своих обидчиков, если епископ Парижский откажется их наказать. Но если мы хотим составить себе полное представление об ожесточенной и продолжительной борьбе, а временами и настоящей войне между епископом и его канониками, надо перенестись в Магелон. Там прево капитула и глава диоцеза не прекращали столкновения в течение всего XII и XIII вв. В 1186 г. один из епископов Магелона, Жан де Монлор, настоящий тиран, заключал в темницу своих каноников и избивал их. Это привело к тому, что почти все они покинули собор, и Папы с трудом их туда вернули.

Этого достаточно, чтобы сделать вывод. Составные элементы церковного общества, так же, как и светского мира, пребывают в состоянии междоусобной войны. Капитулы, далекие от мирной жизни в соборах, слишком часто становятся полем битвы. Епископ там не хозяин: он не хочет делить свою власть с церковной сеньорией каноников — своих собратьев, поскольку видит, как они за его счет растут и мало-помалу завоевывают богатство, власть и независимость.

ГЛАВА V. ЕПИСКОП

Главная амбиция клирика, который выучился и получил магистерскую степень, а потом добыл себе пребенду каноника или даже капитульного должностного лица, состоит в том, чтобы подняться еще на одну ступеньку и стать епископом. И все-таки в эпоху Филиппа Августа епископат уже не является тем, чем был в первые феодальные столетия. Епископы много потеряли в своем мирском и даже духовном превосходстве. В диоцезе они теперь далеко не полностью распоряжаются, как некогда, всем тем, что составляет церковное сообщество, всеми жизненно важными церковными органами — свободные монастыри ускользают от их власти, повинуюсь только главе ордена или Папе; капитулы, как мы видели, пытаются стать независимыми и оспаривают у них даже сам собор; и прямые помощники, архидьяконы, стараются присвоить частицу их власти над приходами и настоятелями. С другой стороны, вне диоцеза епископам тоже приходится считаться с двумя властями, хотя и удаленными, но навязывающими им определенное обременительное подчинение — с Папой и королем. Можно сказать, что папская власть в области духовной заполучила то, что утратила власть епископская. Папство все активнее вмешивается в выборы, распределение бенефициев и управление епархиями, вплоть до мельчайших деталей местной церковной жизни. В то время как епископская юрисдикция становится почти иллюзорной из-за развития практики апелляций к Риму, римская налоговая система начинает эксплуатировать диоцезы, и епископы уже жалуются на нее. Вмешательство короля в епархиальные дела происходит значительно реже, и оно менее обременительно; однако мы видим, что Филипп Август крайне строго требует от своих епископов военной службы и подчинения, особенно в финансовом плане, системе принудительных реквизиций, часто заставляющих их поднимать вопль о притеснениях. Наконец, епископы всегда должны бороться против своих извечных врагов — свободных горожан, светских феодалов, кастеляна, барона, которые, особенно в тех краях, где королевская власть не может создать органы правопорядка, продолжают захватывать и грабить церковные земли, присваивать домены, доходы и епископские права. Епископам следует постоянно находиться в обороне и вести беспрестанную борьбу. В

общем, это ремесло, которое, как представляется, в конце XII в. давало гораздо меньше власти и приносило меньше пользы, чем когда-то в прошлом.

Но значение и блеск положения легко затмевали его трудные стороны, и епископского сана с одинаковой жадностью домогались все и всегда. Несмотря на то, что власть епископа ослабевала, количество претендентов на епархию не уменьшалось. Проповедники той эпохи даже не находят достаточно грубых выражений, обличая охоту за прелатствами и интриги соискателей. Во времена Филиппа Августа и Иннокентия III деньги больше не играют в епископских выборах решающей, как некогда, роли; открытая, циничная симония возможна теперь только в некоторых отсталых провинциях; но милость, рекомендация, влияние короля, знатного барона, могущественного сеньориального семейства продолжают приносить свои результаты. Наперекор требованиям части наиболее просвещенных представителей общественного мнения, невзирая на усилия и надзор Пап, епископы, хотя в целом и превосходящие по моральным и интеллектуальным качествам своих предшественников прошлых столетий, еще далеко не воплощали христианский идеал. В них странным образом сочеталось хорошее и дурное. В рамках французского епископата существовало любопытное разнообразие типажей — от образованного и добродетельного теолога, ученого прелата, политика и придворного до беспокойного клирика, проводящего свою жизнь в сражениях, главаря разбойников, считающего свой диоцез завоеванной провинцией, до хищного ростовщика, искусного по части выколачивания денег у жителей своего диоцеза, до злодея, преступления которого покрыли бы позором епископство и Церковь, если бы не было глубоко несправедливо судить по исключениям обо всем сословию.

Епископ эпохи Филиппа Августа представляется нам одновременно и главой диоцеза, и крупным сеньором, занимающим в иерархии знати высокое место. Как и всякий феодальный владыка, он располагает территорией, на которой является собственником и сюзереном: доходы, взимаемые на этом двояком основании, и составляют то, что называют «епископским доходом» — настоящие сеньориальные поступления.

В качестве собственника епископ владеет в своем личном домене приходскими церквами, аббатствами, землями, лесами, домами зависимых крестьян, то есть всем, чем владеют и другие

бароны. Это имущество, как и имущество короля и всех прочих светских сеньоров, управляется чиновниками, именуемыми прево, мэрами, деканами, сержантами, положение которых двойственно — это общественные служащие, частные эконоы, фермеры, сборщики налогов, судьи и стражники одновременно. Имение же, которым владеет епископ в своем городе, порой весьма значительно. Чтобы составить себе ясное представление о нем, достаточно знать, что в Париже епископ был почти таким же крупным собственником, как и король. Парижскому епископу при Филиппе Августе принадлежала резиденция с пристройками на Сите, целый остров св. Людовика, территория от Кюльтюр и Билль л'Эвек между Сен-Рош, с одной стороны, и Сен-Филипп-дю-Руль и набережной св. Августина, с другой; Шампо, то есть участок между улицами Сент-Оноре и Сент-Эташ; предместье Сен-Жермен-л'Осеруа почти до высот Монмартра; на левом берегу — земельный участок Брюно, место близ улиц Нуайе и Карм. Акт Филиппа Августа, изданный в 1222 г., доказывает, что парижский епископ разделял подати и юрисдикцию этого города с королем и был наделен не самым худшим образом.

В качестве феодального сеньора епископ владел фьефами и извлекал из них доходы так же, как и всякий сюзерен. Его вассалы приносили ему оммаж и обязательство нести военную и придворную службу; они же составляли его сеньориальный суд. Кроме того, на некоторых из них был возложен особый долг нести его на «*sedia gestatoria*», когда он после избрания совершает торжественный въезд, проезжая через весь город и прибывая в собор для возведения в сан. Чтобы отдать себе отчет в огромном количестве фьефов, связанных с епископским сюзеренитетом, можно прочитать, например, перечень вассалов парижского епископа, зафиксированный в одном из картуляриев собора Богоматери между 1197 и 1208 гг.

Феодальное положение епископа, однако, отличается от положения светских баронов двумя особенностями. Прежде всего, со времени церковной реформы XI в. епископ не приносит больше оммажа высшему сюзерену, королю, ограничиваясь клятвой верности — что, впрочем, не избавляет его от обязанности военной и судебной службы. И потом, сам он — сюзерен особого рода: у него «инкорпоральные» фьефы — он заставляет служителей соборов приносить оммаж за церковные бенефиции. Он

принимает оммаж от декана, регента певчих, канцлера, главного капеллана, церковных старост и т. д.

Епископ тем больше походит на барона, что его дом, его личный «отель», то есть совокупность служб, занятых уходом за его персоной и окружением, точно таков же, как у графов, герцогов и короля. Его обслуживают те же должностные лица, великие и малые, у него есть свой сенешаль, или стольник, свой виночерпий, маршал, эконо́м (или казначей), свой конюший, хлебодар, свои клирики-писцы, капелланы, не считая низшего персонала — привратников, каменщиков, кучеров и т. д. Вся эта находящаяся у него на содержании челядь живет в подсобных помещениях и ежедневно обхаживает его. Но у епископа, как и у знатных сеньоров, равно как и у короля, есть высокородная почетная свита в лице некоторых вассалов епархии, которые, в силу держания фьефов от него, обязаны прислуживать за столом на пышных праздниках, исключительных торжествах, а главное — в день его посвящения.

Таково в основных чертах и с мирской точки зрения положение рядового епископа, то есть епископа, который, будучи крупным собственником, не является графом или герцогом. Существовали прелаты, вроде архиепископа Реймского, архиепископов Вьеннского или Арльского, епископов Ле-Пюи, Менда, Лодева, Вивье, Лангра, являвшихся единственными суверенами своих городов: они совмещали графскую власть с епископской, а потому более, чем другие их собратья, обликом, влиянием и средствами походили на знатного феодала, на «короля» в своей провинции. Но здесь речь идет о епископах, которые владели подавляющим числом диоцезов, где епископская власть соперничала со светской и зависела от нее. Поэтому интересно было бы ознакомиться более детально с материальной стороной жизни этих епископов — какими финансовыми ресурсами они располагали, как был составлен их бюджет, одним словом, до какой суммы могли подниматься доходы епархии и епископское состояние.

Документы времен Филиппа Августа в этом отношении далеко не удовлетворяют наше любопытство. Мы попытались установить приблизительно для XIII в. годовой доход в зерне, деньгах, лесных и речных продуктах, который получал епископ Шартрский, тогдашний владелец весьма обширного диоцеза, и получили цифру в 500 тыс. франков по нынешнему курсу, что,

конечно, является минимумом, ибо туда следовало бы еще при-
сокупить доход от феодальных прав и косвенные налоги.

Однако сумма в полмиллиона наверняка не была большой. Следует подумать об образе жизни, который приходилось вести епископам того времени, о частых путешествиях, которых требовала от них служба у короля и Папы, о денежных вымогательствах этих двух властей и об установившихся традициях гостеприимства и милостыни. Обязанности епископата были многочисленны, а во времена, о которых идет речь, у епископа, в отличие от его капитула, не было источника обогащения в виде даров и вкладов верующих. В то время как домен и поступления каноников постоянно росли, состояние епископа оставалось приблизительно неизменным. Он мог увеличить доходы епархии только с помощью управления, энергичного и ловкого одновременно, на что были способны далеко не все прелаты.

Тем не менее епископы умирали отнюдь не в бедности. Почти все они, как видно из содержания их завещаний или из указаний в церковных книгах записи умерших, находят возможность осыпать щедротами свою церковь, монахов и бедняков. Они более или менее обогащают казну своего собора, передавая книги, предметы редкой роскоши, священнические облачения, ценные сосуды. Завещание Петра Немурского, епископа Парижа, датированное июнем 1218 г., содержит любопытное перечисление предметов, оставленных им собору Богоматери, Сен-Виктору, св. Мартину Турскому: испанские ковры, лиможские сундуки, прекрасные манускрипты и т. д. В 1181 г. в Осере умирает епископ Гийом де Туси, дары которого всем капитулам и аббатствам диоцеза долго перечисляются его биографом. Он завещает своему собору чашу и сосуды из серебра, дорогие ткани и часть своей библиотеки. Другой осерский епископ, преемник Гуго де Нуайе, Гийом де Сеньеле, сменяя в 1220 г. свое епископство на парижскую кафедру, отдает своему капитулу богатые папские одеяния, митру, изукрашенную золотом и жемчугом, два серебряных позолоченных сосуда, подушки прекрасной работы, золотой крест, содержащий реликвию, девять золотых марок, чтобы изготовить крест и чашу, дома, виноградники и ренты. И его преемник, добавляет Осерская хроника, нашел все епископские жилища обставленными мебелью и полными вина и зерна. В 1180 г. епископ Шартрский Иоанн Солсберийский завещал своему собору ценные ткани, драгоценную мантию, епископский перстень и всю

свою библиотеку. Детали подобного рода в избытке присутствуют в синодиках церквей. Отсюда не следует, что владение епархией непременно становилось гарантией изобилия. Щедроты до или после смерти могли сочетаться с весьма посредственным финансовым положением. Доказательство этого содержится в истории Осерской епархии: таков случай епископа Гуго де Нуайе, этого великого строителя крепостей. Он занял денег в казне своего собора и возвратил бы их с процентами, говорит хронист, если бы смерть дала ему на это время. В сущности он завещал этот долг своему преемнику.

Но другие умели обогащаться. Приведем в пример Мориса де Сюлли. Сын простого крестьянина из сеньории Сюлли, что в Орлеане, он приехал учиться в Парижский университет. Там он жил как бедный студент: поговаривали даже, что он кормился подаванием и прислуживал богатым школярам. Магистр теологии, он стал каноником, потом архидьяконом, затем архидьяконом собора Богоматери. Его репутация профессора и проповедника подняла его к самым высоким должностям. Избранный в 1160 г. епископом Парижа, он обнаружил такой талант в обращении с епископскими финансами, что сумел найти необходимые средства на восстановление своего собора и оставить, умирая, значительные дары собору Богоматери: дом близ монастыря, права на проезд по дорогам в парижском предместье, церковные облачения, денежные суммы на украшение большого алтаря, 100 ливров на кровлю собора, 100 ливров бедным клирикам, 100 ливров для каноников, присутствующих на утренней мессе, 190 марок серебром на покупку земли и виноградников, чтобы ими пользовался его внучатый племянник; 900 ливров аббатству Сен-Виктор; 40 ливров Сен-Жермен л'Осеруа и т. д. Не были забыты и бедные, которым была отказана определенная сумма. Морис де Сюлли — тип благочестивого епископа, преуспевшего благодаря собственным заслугам, конечно, ничем не владел до вступления на парижскую кафедру, что доказывает, что должности архидьякона и епископа обогащали даже тех, кто отправлял их честно.

* * *

В качестве церковного главы епископ не только руководил богослужениями в соборе. Ему поручался и контроль за поведением священников во всех храмах и приходах диоцеза. Это он назначал приходских священников, непосредственно

подчиненных епархии, или же просто вверял заботу о душах тем кандидатам, которых представляли покровители. У него единственного было право приказывать клирикам, а его долг заключался в том, чтобы они получали священнический сан. Наконец, на нем лежала и такая обязанность: однажды разместив и обустроив священников, поддерживать их на доброй стезе, то есть следить за их образованием и нравственностью. А ведь нам известно, сколь утомительной и трудной делала эту часть епископской задачи неотесанность низшего духовенства. Чтобы благополучно ее разрешить, епископу следовало как можно больше взаимодействовать со служителями приходов. И вот он совершает инспекционные поездки по сельским церквям всего диоцеза; он собирает деканов или протоиереев, проводит общие опросы прихожан, выслушивает обвинения, объектом которых всегда являются священники, временно отстраняет их от должности, наказывает или грозит наказанием подозреваемым или виновным. Но этой работы разъездного инспектора или судьи недостаточно — епископ не может быть постоянно в пути; и тогда с места на место переезжают священники приходов. Каждый год он собирает в большом зале своего дворца или на хорах собора свой синод, или общее собрание клириков диоцеза; там он читает проповедь, дает указания, делает выговоры и карает, укрепляя дисциплину и исправляя нравы.

Двух последних вещей добиться труднее всего, ибо клирики, натуры грубые и необузданные, нелегко смиряются с наказаниями. Они упираются, особенно когда им запрещают публично содержать сожительниц, обращаются в Рим, дабы приостановить действие наказания, или даже открыто восстают. Самый мягкий и добродетельный из епископов этого времени, парижский епископ Морис де Сюлли также испытал сопротивление своего духовенства. И как будто епископу мало было проблем со священниками приходов, ему еще приходится бороться на этой территории с некоторыми сановниками, узурпирующими его власть. Такими должностными лицами являлись архидьяконы. Поставленные епископом, дабы помогать ему в управлении от его имени частью диоцеза, архидьяконы мало-помалу забывали, что они лишь представители епископской власти. Они стараются оставить у себя диоцезальные доходы, назначают, судят, отлучают настоятелей приходов в своей округе, как если бы архидьяконство стало епархией малого размера. Это

весьма любопытный пример феномена феодального захвата в церковном обществе. Естественно, епископ, опасаясь потерять власть во всем диоцезе, сопротивляется и защищается как может. И тогда во многих диоцезах разгорается скрытая или явная война между прелатом и его архидьяконами; во всяком случае, епископ постоянно прилагает усилия, чтобы удержать ускользающие от него доходы и права. С конца же XII в. некоторые предпринимают решительные меры: вместо того, чтобы делегировать свою власть архидьякону, ставшему их врагом, они вручают ее особым клирикам, «клирикам епископа», избираемым и отзываемым. Эти доверенные агенты повсюду разъезжают с епископами, образуют их постоянный совет, выполняют их поручения, помогают судить и собирать налоги. Епископские клирики вызвали к жизни «официалов» и «великих викариев», два института, возникновение которых везде датируется временем правления Филиппа Августа. Именно благодаря им епископ смог успешно бороться с захватническими тенденциями архидьяконов и сохранить над приходами и приходскими священниками власть, которую у него оспаривали.

Но в диоцезе, помимо приходов, есть и другие органы церковной жизни — капитулы и аббатства, две категории учреждений, которые для епископа являются одновременно и новой причиной забот, и новым источником осложнений и конфликтов. Правда, все эти каноники не соперничают с епископом, как каноники соборов, но за ними следует не меньше присматривать, заставляя точно выполнять обязанности и давая распоряжения. Что же касается монахов, то они или свободны, то есть полностью независимы от епископа, или подчинены его власти. В первом случае независимые аббатства, если они в некоторой степени известны и богаты, становятся одним из самых серьезных препятствий для осуществления епископской власти. Они не только пресекают всякое вмешательство епископа в свои дела, вплоть до того, что не позволяют ему даже входить в их храмы, но препираются с ним по поводу права суда, приорств, доменов — извечный конфликт между черным и белым духовенством; а некоторые аббаты конфликтуют с епископом даже из-за одежды, получая от Папы право носить епископские знаки отличия — сандалии, митру и посох. Присутствие независимых аббатов в епархии становится для главы диоцеза постоянным предметом дискомфорта и раздражения; но подчиненные аббатства и их приоры заботят

его еще больше. За ними приходится надзирать, как и за приходскими, наказывать за злоупотребления, защищать от грабителей и всеми способами, особенно дарами, помогать им. Религиозное общественное мнение требует от епископов благотворительности в отношении их аббатств и даже основания новых с целью приумножения в своих диоцезах очагов наставления в вере.

Монахи, каноники, архидьяконы, приходские священники также доставляют епископу довольно много хлопот, трудов и поводов для борьбы, и вполне вероятно, что отношения с диоцезальным духовенством с избытком поглощают его время. У него столько дел, что некогда заниматься тем, что происходит у его коллег и «сотоварищей», викарных епископов той же провинции. Вместе с тем, будучи подчиненным архиепископа, он вынужден выполнять некоторые обязательства по отношению к нему. Епископу приходится выезжать из диоцеза на архиепископские синоды, чтобы присутствовать на посвящении других епископов провинции; архиепископ также имеет право использовать его в качестве судьи на некоторых процессах, так что, неся в одиночку тяжкое бремя епархиальных дел, епископ в некоторой степени обязан заниматься и делами провинции. Но и там он может столкнуться, и зачастую сталкивается, с распрями и затруднительными положениями. Отношения с архиепископом тоже не всегда мирные, поскольку последний часто пытается посягать на епископские права, и в первую очередь право судить подданного епископа; так что тому снова приходится бороться, чтобы противостоять подобным претензиям. В результате конфликт порой оборачивается жестоким и откровенным кризисом. Так, например, в 1196 г. мы застаем епископа Лизье Гийома в состоянии открытой войны с архиепископом Руанским Готье де Кутансом, отлучившим непокорного: в дошедшем до нас письме архиепископ пылко обвиняет его, что «он поносил руанскую церковь, свою мать, побуждаемый духом гордыни и зловонным дуновением Эреба». Беда в том, что конфликты подобного рода не решаются на месте; начальнику и подчиненному, архиепископу и епископу, приходится отправляться по ту сторону Альп, чтобы разрешать свои споры у Папы и его судей.

Да и сам Папа является для епископов начальником весьма требовательным и опасным, но по-другому, нежели архиепископ. При Филиппе Августе централизация Церкви вокруг Папы и кардиналов уже завершилась, и епископат становился первой

жертвой нового положения вещей. Благодаря апелляции к Риму большая часть судебных процессов церковного характера попадает теперь в ведение папского правосудия. К счастью, не все доходит до самого Рима, но Папа привыкает по самым незначительным конфликтам использовать епископов как представителей Святого престола; он поручает им проводить расследования, выслушивать стороны и свидетелей и выносить от своего имени окончательное решение. И, словно бы епископу недостаточно своего диоцеза, а иногда и всей провинции, Папа обременяет его еще и чрезвычайными службами и специальными поручениями. Парижский епископ Морис де Сюлли, оставшийся в должности тридцать шесть лет, использовался Папами в качестве судьи по крайней мере двадцать раз — цифра очевидно заниженная, ибо документов того времени, откуда можно было бы узнать все обстоятельства, при которых он направлялся римской церковью, не хватает.

Епископ должен еще радоваться, если Папа заставляет его просто судить на месте. Но в особо серьезных случаях, когда обвиняется он сам, ему приходится лично представлять перед судом в Риме. Его присутствие требуется там, и когда Папа собирает христиан на Вселенский собор. Для современников Филиппа Августа путешествие, вроде поездки в Италию, ужасно: страшная усталость, разного рода опасности, значительная потеря времени и денег. Но следует повиноваться, поскольку Папа не позволяет уклоняться от поездки: он грозит упрямам, отчитывает опоздавших, наказывает тех, кто отсутствует без уважительной причины. По этому поводу любопытно прочитать переписку Александра III и архиепископа Турского Варфоломея. Последний в 1179 г. не явился на третий Латеранский собор, хотя его присутствие в Риме засвидетельствовано в четвертое воскресенье поста или позднее, во второе воскресенье после Пасхи. Епископ же не имел никакого желания совершать путешествие в Италию; однако вместо того, чтобы ответить самому, он заставляет написать Александру одного из своих друзей, лицо, к которому Рим благоволил, аббата св. Женевьевы Этьена де Турне. Тот, как может, оправдывает архиепископа Турского: он подтверждает, что во время собора Варфоломей был болен и не мог без опасности для своего здоровья отправиться в Рим; к тому же ему было необходимо приехать в Париж на совет к королю. Приходит новое письмо Папы архиепископу Турскому, на сей раз

составленное чуть ли не в угрожающих выражениях: Александр все же надеется, что прелат прибудет в Рим в один из назначенных им дней; его следовало бы наказать за отсутствие на соборе, и его пощадили лишь по просьбе Людовика VII и его сына Филиппа Августа. Архиепископу был назначен последний срок — до ближайшего праздника св. Мартина, в случае же неявки Папа строго накажет его.

Напрасно епископы ссылались на уважительные причины и прибегали ко всяким отговоркам — Папы под угрозой отлучения требовали поездки в Италию и часто этого добивались. Путешествие проходило не без опасности для тех, кто его совершал — примеры французских епископов, лишившихся в Италии жизни, нередки. Обри, архиепископ Реймский, умер в Павии в 1218 г.; Жераль де Кро, архиепископ Буржский, скончался в том же году, некоторое время спустя после отъезда из Рима; епископ Орлеанский Анри де Дре, приехавший в Рим в 1197 г. ходатайствовать об освобождении своего брата, епископа Бове, заключенного в темницу Ричардом Львиное Сердце, заболевает в Сиене и уже не возвращается оттуда; в 1206 г. Гуго де Нуайе, епископ Осерский, умирает через десять дней после своего приезда. Случаи становятся настолько частыми, что Папы начинают извлекать из них выгоду, постановив: если епископские престолы окажутся вакантными на время *in curia*, то есть во время пребывания епископа в римской курии, то папство получает право назначить на это место преемника. Если бы мы располагали более полными документами для времени царствования Филиппа Августа, то весьма вероятно, что число французских епископов, присутствие которых отмечено в Риме, намного бы возросло. Можно упомянуть архиепископа Нарбоннского Арно-Амори, судившегося в папской курии в 1217 г. с Симоном де Монфором; Готье де Кутанса, архиепископа Руанского, который вел тяжбу со своим сюзереном Ричардом Львиное Сердце; Готье Корну, избранного епископом Парижа в 1220 г., защищавшегося в Риме против канцлера своей епархии; епископа Тульского Матье, о преступлениях которого мы еще поговорим, приехавшего защищать свое дело перед Иннокентием III в 1210 г., и множество примеров того же рода, которые было бы нетрудно привести.

Мы видим, чем были чреваты дела, тяжбы, утомительные переезды, более или менее опасные путешествия и даже обычные, нормальные отношения главы диоцеза с членами

церковного сообщества, подчиненными или вышестоящими. Чтобы выдержать подобные нагрузки, надо быть закаленным душой и телом, ибо это еще не все. Мы ничего не сказали о внешних обстоятельствах, налагавших на епископа еще более тяжкие обязанности. Период правления Филиппа Августа был отмечен четырьмя большими крестовыми походами, не считая нескольких экспедиций в Святую землю не столь широкого размаха. Епископы не только не могут оставаться вне этого движения, но обязаны участвовать в нем, да и общественное мнение требует, чтобы они подавали народу добрый пример. Им приходится уезжать, покидая родину вместе с королями, знатными баронами и рыцарями. И уклониться от этой обязанности им зачастую не удавалось. Многие из них отъезжают сражаться с неверными или еретиками в Испанию, в Лангедок, в Святую землю, в Египет, и кое-кто из этих епископов-паломников уже никогда не увидит вновь ни своего диоцеза, ни своего родного края.

Можно просто перечислять факты и даты, красноречивые сами по себе. Вот один из таких фактов, дающий точное представление об исключительно беспокойной жизни французских епископов. Обри де Юмбер, архиепископ Реймский, с 1209 по 1212 г. принимает участие в крестовом походе против альбигойцев; в 1215 г. он в Риме на Латеранском соборе; в 1218 г. — уезжает в Сирию, задерживается там на несколько месяцев, садится на судно в Александрии, а в Лиссабоне попадает в плен к сарацинам; освобожденный рыцарями ордена Калатравы, он снова возвращается в Италию и умирает, как мы видели, в Павии. В 1212 г. Арно-Амори, архиепископ Нарбоннский, и Гийом Аманье, архиепископ Бордо, сражаются вместе с королем Альфонсом Кастильским с сарацинами в Испании. В 1190 и 1191 гг. епископ Байоннский Бернар, Жерар, архиепископ Ошский, Жан, епископ Эвре, Манассия, епископ Лангрский, Филипп де Дре, епископ Бове, Петр, епископ Тульский, принимают участие в третьем крестовом походе, живут в Сирии и участвуют в осаде Сен-Жан-д'Акра. В 1202–1205 гг. епископ Суассонский Нивелон де Шеризи и Гарнье де Тренель, епископ Труа, два героя четвертого крестового похода, сражаются в Греческой империи, берут Константинополь, играют видную роль в избрании первого императора Латинской империи и возвращаются в свои диоцезы, увенчанные славой, нагруженные деньгами и реликвиями. Начиная с 1209 г. и до 1219 г. епископы постоянно снуют туда-сюда,

покидая свои диоцезы, дабы принять участие в Альбигойских войнах; мы видим, как они один за другим, вслед за архиепископами Рейнским, Руанским и Буржским — епископы Отена, Шалона, Камбре, Лиможа, Лизье, Орлеана, Парижа, Шартра, Байе, Лана, Ле-Пюи и Сента, появляются в Лангедоке. 1218 годом, крестовым походом на Дамьетту, датируется отъезд в Египет и на Восток епископов Отена, Лиможа, Лизье, Бове и Парижа.

Нам известно, насколько утомительным и опасным, губительным и дорогостоящим делом становилось в Средние века паломничество в далекую страну или крестовый поход в Святую землю. Можно было бы привести длинный список епископов того времени, умерших на чужой стороне во время своего путешествия: Обри де Юмбер, архиепископ Реймский — 1218 г.; Эд де Водемон, епископ Тульский — 1196 г.; Жан де Бетюн, епископ Камбре — 1219 г.; Журден, епископ Лизье — 1218 г.; Манассия, епископ Лангрский, почил во Франции в 1192 г., но от болезни, подхваченной во время третьего крестового похода; Нивелон де Шеризи, епископ Суассонский — 1207 г.; Петр Немурский, епископ Парижский — 1219 г.; Петр, епископ Тульский — 1191 г. и т. д. Было бы интересно восстановить некролог полностью — из него было бы видно, сколько жертв из числа епископов принес крестовый поход и сколь ничтожны были надежды этих епископов избежать опасностей заморских экспедиций и возвратиться на родину если не через несколько месяцев, то хотя бы через несколько лет. Вне сомнения, мотивы отъезда у разных людей были различны. Одни принимали крест, повинувшись зову совести, пастырской необходимости, требованиям общественного мнения; другие — из любви к приключениям и в надежде обогатить свою кафедру восточными реликвиями или же просто из благочестия, получая благословение на борьбу с врагами веры. Но, какой бы ни была побудительная причина, они не прятались от опасностей, и из этого тоже можно заключить, какой активности, нравственной энергии и физической силы требовал епископский сан.

Столь же очевидны и выводы, к которым мы приходим, рассматривая ремесло епископа с его светской стороны и изучая их взаимоотношения с мирской средой, в которой они тоже были призваны жить. Собственник и сеньор, епископ подвергался нападениям и грабежам, объектом которых со стороны крупных и мелких феодалов всегда являлось церковное имущество.

Конечно, существовали некоторые диоцезы, например, парижский, в котором сильное управление, вроде управления Филиппа Августа, смогло установить относительный порядок. Повсюду, где есть сильный и уважаемый высший сюзерен, епископу легче защитить свою собственность и доходы от разбойных феодалов-ленников или назойливых баронов. Но во множестве епархий у главы диоцеза, постоянно изводимого грабителями, нет другого средства, как укрыться в епископских домах, преобразованных в укрепленные замки, и быть всегда готовым вступить в сражение. Прочтем, например, прелюбопытную историю епископов Осерских времени Гуго де Нуайе и Гийома де Сеньеле — это сплошной ряд конфликтов со всеми светскими властями области, постоянная и зачастую опасная борьба, в которой епископ защищается, пользуясь не только анафемами, но и оружием, при помощи воинов и наемников. У него враги повсюду: в деревне — мелкие дворяне, неимущие и озлобленные, в городах — граф, с которым он делит власть, и горожане, часто организованные в коммуну; они не любят церковного сеньора и действуют только ему в ущерб. Среди событий подобного рода, имевших самый большой резонанс в эпоху Филиппа Августа, достаточно упомянуть столкновение епископа Этьена де Турне с жителями своего города, стычки епископов Бове Филиппа де Дре и Милона де Нантея с горожанами Бове, ссоры епископа Осерского Гуго де Нуайе с графом Осерским Пьером де Куртене, распри Норбера де Мена, епископа Ле-Пюи, с горожанами и знатью своего города, столкновения епископов Вердена и Камбре с рыцарями и бюргерами этих двух городов и т. д. В иных диоцезах конфликты с мирянами становятся настоящей войной с осадами, сражениями и резней, а иногда проливается и епископская кровь: в 1220 г. епископ Пюи убит дворянином, которого он отлучил; в 1208 г. убит во время мятежа ударом копья епископ Вердена; и уже в 1181 г. другой верденский епископ нашел смерть при осаде замка Сен-Менеуль.

Этих нескольких примеров достаточно, чтобы показать все тяжкие обязанности, страдания и каждодневные опасности, с которыми была сопряжена карьера епископа. Чтобы довершить картину, остается рассмотреть последствия, вытекавшие для епископа из его роли вассала и знатного собственника королевства. Ибо — и здесь мы не ошибемся — епископ по отношению к светскому сеньору находился не только в положении

ленника, имевшего дело со своим сюзереном лишь тогда, когда он выполняет феодальный долг. Епископ пребывал от короля в зависимости личной и тесной, и король — патрон и покровитель Церкви — всячески использовал свой епископат. Он требовал от епископов налогов, присутствия в королевской армии и политических услуг разного рода. Он без стеснения распоряжался их деньгами, войсками и временем, короче говоря, рассматривал и использовал их как слуг и агентов, у которых можно потребовать все, что угодно. А если епископы пытались пресечь подобные посягательства, если они сопротивлялись требованиям, находя их чрезмерными, это выливалось в конфликт, войну со всеми последствиями: с накладываемым на земли интердиктом и отлучениями людей, с занятием диоцеза *manu militari* (вооруженным путем), с конфискацией епископских доходов, со смещением епископа, изгоняемого из своей резиденции, а иногда и из королевства.

Достаточно напомнить здесь наиболее серьезные конфликты, почти всегда заканчивавшиеся поражением епископов: столкновение с архиепископом Санским в 1181 г. по вопросу юрисдикции; с архиепископом Руанским в 1196 г. по поводу собственности; с парижским епископом и многими другими епископами северной Франции в 1200 г. в связи с делом Ингебурги; с епископами Орлеана и Осера в 1210 г. из-за военной службы; с парижским епископом в 1221 г. по вопросам юрисдикции и собственности и т. д. Те же конфликты, которые бурлят в капетинской Франции, беспокоят и Францию Плантагенетов. Мы видим, как Ричард Львиное Сердце борется в 1197 г. с руанским архиепископом, в 1180 г. — с архиепископом Пуатье, а Иоанн Безземельный — в 1204 г. с епископом Лиможа. Повсюду одна и та же картина: епископу, которому в своих взаимоотношениях с духовенством и знатью диоцеза так трудно добиться победы, которому надо усмирить столько противников, приходится еще и противостоять суверену и бороться против притеснений короля — сколько дополнительных трудов, забот и опасностей!

С помощью уступок и покорности можно избежать конфликтов и остаться в мире с королем; но это до странности беспокойный мир, нарушаемый продолжающимися требованиями денег и услуг. Одна обязанность присутствовать на политических и судебных ассамблеях, на больших сборах королевской армии является для французских прелатов источником страшной

усталости и значительных расходов. Епископы стараются по возможности увильнуть от них, но не принимать приглашения короля еще труднее, нежели уклоняться от приглашений Папы. Ведь король совсем близко и обладает реальной силой. В 1193 г. епископ Турне Этьен, человек просвещенный и миротворец, бо-
вавшийся разъездов, обратился к архиепископу Реймскому с жалобным письмом. Король требует, чтобы он являлся со своими воинами и оружием перед праздником Вознесения Господня и накануне Троицы в Мант. Что делать? — спрашивает епископ.

Я ничего не понимаю в военных делах. Я отдался духовной службе не для того, чтобы вести походную жизнь. И вот меня призывают — меня, никогда не сражающегося на войне, и предлагают надеть доспехи, а я никогда не носил оружия. Со времени Хильперика короли Франции всегда требовали от епископов Турне только клятвы верности и присутствия в суде. Мне очень трудно вступить в борьбу с государем, и, однако же, невозможно сделать и того, что он требует. Я нахожусь между молотом и наковальней: либо я должен оскорбить короля, либо выполнить службу, которой не обязан.

Три года спустя — письмо того же епископа, изнемогающего от созывов во время поста 1196 г. Архиепископ Реймский требует, чтобы он приехал на посвящение в сан епископа Шалонского; король приказывает ему находиться 31 марта между Водреем и Гайоном, в Нормандии, где должна состояться встреча английского и французского суверенов; наконец, 7 апреля его вызывают в Париж присутствовать на судебном процессе парижского епископа и Шелльского аббатства. Он извиняется перед архиепископом Реймским: «Отец мой, мне шестьдесят восемь лет, и я чувствую близкую смерть. Пощадите своего слугу: мой разум готов бы вам повиноваться, но плоть немощна. Я не могу без великой опасности для себя предпринять и вынести подобное путешествие. Если я двинусь в путь, я не доеду до конца».

Епископам не всегда удавалось сослаться на возраст и болезни: подобные извинения часто встречались королем недоверчиво; он и не думал их принимать, а вызывал отсутствующих в суд за нарушение феодального долга. Таким образом, и к его двору, и в лагерь приезжали, каким бы тяжким ни было это путешествие. Но одного присутствия было недостаточно. Король постоянно нагружал епископов деловыми миссиями и посольствами

за границу. Епископат поставлял ему послов, дипломатов, администраторов, которые ему ничего не стоили. Многие епископы волей-неволей принимали таким образом активное участие в политике, вынужденные добавлять к своей ежедневной обременительной работе выполнение чрезвычайных поручений. Не говоря об архиепископе Реймском Гийоме Шампанском и архиепископе Руанском Готье де Кутансе, бывшими один — для Филиппа Августа, а второй — для английского короля настоящими первыми министрами, следовало бы упомянуть Гийома, епископа Лизье, посланного в 1200 г. препроводить Бланку Кастильскую из Испании в Нормандию; Жана, епископа Эвре, на которого возлагались Генрихом II и Ричардом Львиное Сердце многочисленные миссии; Жана де Верака, епископа Лиможского, главного уполномоченного Филиппа Августа во Франции и на западе; Мориса де Сюлли, парижского епископа, исполнявшего многие дипломатические и административные поручения короля Франции. Список этих обремененных поручениями епископов можно было бы продолжать до бесконечности. Их даже использовали для командования военными силами, как епископа Байоннского и архиепископа Ошского, исполнявших в 1190 г. должности адмиралов у Ричарда Львиное Сердце, и архиепископа Буржского Симона де Сюлли, который в 1221 г. привел в Лангедок вооруженный отряд, посланный против альбигойцев Филиппом Августом. Некоторые из них были настоящими воинами — таковы епископ Бове Филипп де Дре и епископ Санлиса Герен, стратег битвы при Бувине. Филипп Август многим им обязан.

Но тяжких повседневных трудов еще недостаточно, чтобы очертить все поле деятельности епископов. В эпоху готики, искусства если и не самого богатого, то, по крайней мере, самого чистого и строго-элегантного, большая часть епископов была великими строителями. Сами современники поражались этому. Хроника епископов Осерских содержит на сей счет очень характерный отрывок:

В это время жители снова воодушевлялись строительством новых церквей. Наш епископ (Гийом де Сеньеле), видя, что его осерская церковь, возведенная в соответствии со старыми вкусами, плохо выглядела и рушилась от старости, в то время как во всех соседних диоцезах новые церкви возносили к небу свои сияющие кровли, решил перестроить и свою, согласно приемам

современного искусства, и поручить украшение ее самым умелым архитекторам. Он не хотел, чтобы его церковь уступала красотой ансамбля и тщательностью отделки церквям других епархий. И он повелел полностью разрушить, начиная с апсиды, старое здание, дабы, лишившись своего прежнего облика, осерский собор возник вновь, сверкающий молодостью и изяществом, во всем блеске своего возрождения.

Вот ясно отмеченное стремление епископов соперничать в роскоши и расходах для перестройки своих соборов. Эта мода, эта страсть чрезвычайно заразительны: каждый из епископов, по крайней мере в северной Франции, хочет иметь церковь, выстроенную в новом стиле, и старые романские церкви повсюду уничтожаются. Для этого им даже не надо было быть старыми. В Париже, чтобы соорудить собор, Морис де Сюлли разрушает церковь Богоматери, которая была перестроена едва ли семьдесятю годами ранее, при Людовике Толстом. В Лане епископ Готье де Мортань к 1170 г. построил свою готическую церковь на месте романского собора, возведенного уже в 1114 г. Романский стиль больше не отвечал современному вкусу — хотелось нового, а то, что делали готические архитекторы, вызывало восторг, отголосок которого иногда доходит и до нас. Аббат Мон-Сен-Мишеля Робер де Торини, современник Людовика VII и Филиппа Августа, сказал о парижском соборе Богоматери, возведение которого он наблюдал: «Когда сие здание будет закончено, то по эту сторону гор ничто не сможет с ним сравниться».

Для епископа сооружение собора — вершина его правления, творение в высшем смысле, *opus*. Архитектор, которому он поручает верховное техническое руководство предприятием — мастер творения, *magister operis*, и, к несчастью, имена авторов этих чудес не часто доходили до нас. Под началом архитектора работали мастера (*operarii*), то есть члены самых разных ремесленных корпораций, используемых при сооружении и украшении здания. С этими помощниками епископу, поддерживаемому своим капитулом, удастся возвести храм, который останется лучшим документом в памяти и признательности жителей. И немало найдется епископских городов, особенно на севере Франции, которые бы за сорок лет царствования Филиппа Августа не соорудили или по крайней мере не начали сооружать свой собор, очень мало областей, которые бы остались в стороне от этого

художественного движения. Примечательно, хотя и давно отмечено: в городах-коммунах, где население было таким буйным и зачастую враждебным по отношению к епископу и Церкви, не возводились даже скромные соборы, что хорошо доказывает, вопреки теориям Виолле-ле-Дюка о мирских настроениях корпораций, их построивших, что собор был творением церковным и прежде всего епископским. Именно епископ со своей корпорацией каноников являлся повсюду вдохновителем, высшим распорядителем, финансирующим предприятие. Церковь предназначалась для него, а не для горожан, каким бы ни было участие верующих в расходах. Чтобы убедиться в этом, проедемся по Франции; во всех провинциях перед глазами современников представала одна и та же картина.

Колыбелью новой архитектуры становятся прежде всего области к северу от Луары, та капетингская Франция, где стройка в полном разгаре. Вот епископ Эврар де Фуйуа из Амьена, который 1220 г. начинает возводить наиболее заверченный из всех наших соборов по планам архитектора Робера де Люзарша. В Осере епископ Гийом де Сеньеле кладет в 1215 г. первый камень в хоры своей церкви: обычно начинали с хоров — надо было, чтобы прежде всего каноники могли как можно скорее начать службу; неф, порталы, башни, трансепт появлялись потом, и был это труд одного или нескольких столетий. Работы в Осере идут так быстро, что к концу года высокие перегородки хоров почти закончены. Хроника не называет нам архитектора, *magister operis*, но рассказывает, что по его неосторожности чуть было не случилось несчастье. Он решил как следует закрепить подпорами — поперечными балками — две башни первоначальной церкви, расположенные по обе стороны от старых хоров; но на них появились трещины. Каноники спросили его, могут ли они там без опаски отправлять богослужение. «Бояться нечего», — отвечал архитектор. Но один из его служащих заявил, что он иного мнения и надо бы подождать. Архитектор возразил, что не следует лгать капитулу, подпоры надежны. «Но все же, — продолжают каноники, — вы можете утверждать, что нет никакого риска?» — «Я ничего не могу гарантировать полностью, ибо не могу читать будущее». Этот ответ убедил каноников перейти в пристроенную капеллу, и вовремя, ибо, едва прозвонили на южной башне колокола, как она со страшным грохотом рухнула на северную. И тогда увидели, как происходят чудеса, которые не могли не

сопровождать столь угодное небесам дело, как строительство собора: двое молодых людей, наблюдавших, как работали каменщики, и стоявших на башне в тот момент, когда она упала, истинным чудом успели спастись; некоторые предметы культа остались невредимы под обломками. Немного позднее, когда рабочие трудились над расчисткой, кусок стены, оставшийся на башне, вдруг начал рушиться; все спасаются, но один замечает, что забыл свою рубаху в опасном месте, там, где шатается стена; он бежит туда, и все думают, что он погиб; но, к счастью, Бог следил за ним и вовремя остановил падение стены, которая, несомненно, его бы раздавила.

Бог с теми, кто строит, дабы восславить его. В Шалоне-на-Марне 29 августа 1183 года освящают неф и трансепт церкви Богоматери, переделанной по канонам новой архитектуры. Здесь, в виде исключения, начали не с хоров. Хоры были сооружены только в первой половине XIII в. и освящены в 1322 г. В Эвре собор, также посвященный Богородице, был почти разрушен пожаром в 1194 г., в ходе войны Филиппа Августа с Ричардом Львиное Сердце. Епископ Робер де Руа в 1202 г. начинает надстраивать большой неф и сооружает трифорий удивительно изящной простоты. В Лизье собор св. Петра был заложен в 1141 г. епископом Арнулем, но в 1183 г. оставлен им незаконченным. В 1215 г. его расширяют — удлиняют хоры, окружают их галереей и многочисленными апсидными капеллами. В Руане с 1207 г. трудятся над собором Богоматери. Щедроты графини Марии Шампанской позволяют епископам достроить в Мо здание, начатое в 1170 г. К 1210 г. делают крестовины и кафедры, и к 1220 г. отстраивают большую часть хоров. В Нуайоне собор, заложенный в 1152 г., завершили в первые годы XII в. Десятью годами позже, в 1211 г., архиепископ Реймский Обри де Юмбер кладет первый камень в хоры замечательного собора; но здесь работа пойдет не так быстро — хоры будут закончены только к 1241 г. По крайней мере, нам известно имя его строителя, Жана д'Орбе, которому определенно принадлежит честь задолго до Робера де Кузи, всегда несправедливо упоминаемого, быть первым архитектором Реймского собора. Трудятся и в Труа, где епископ Эрве, прежде чем умереть, заканчивает в 1223 г. алтарь собора св. Петра и окружающие его капеллы. В Лане величественная церковь Богоматери со своими четырьмя башнями и огромными химерами, нависшими над городом, была заложена на исходе правления

Людовика VII, около 1170 г., епископом Готье де Мортанем. Ее сооружали все время правления Филиппа Августа. Хоры, наименее древняя часть здания, были завершены в 1225 г., а портал датируется временем битвы при Бувине.

Суассонский собор был творением одного из героев четвертого крестового похода — епископа Нивелона Шеризи, азартнейшего охотника за византийскими реликвиями. Именно для того, чтобы их красиво разместить, потребовалось расширить, вернее, перестроить алтарь его церкви. С Суассонским собором нам посчастливилось больше, чем с другими: мы точно знаем, когда были закончены хоры — на их каменной стене вырезана дата: «13 мая 1212 года община каноников начала подниматься на сии хоры».

В долине Луары и по ее окраинам сооружения менее многочисленны, но некоторые — одни из самых красивых. В Шартре романская церковь в 1194 г. сгорела, и епископ Рено де Мусон тут же начинает возводить огромный собор; к 1220 г. устанавливают большую розу, а своды уже по большей части завершены. Гийом Бретонец сравнивает кровлю храма с огромным черепашьим панцирем. «Вот она, — восклицает он, — вырастает внезапно, новая, сверкающая скульптурами. Это шедевр, равного которому нет в целом мире. Он может не бояться пожара до самого Судного Дня». В Ле-Мане в 1217 г. епископ велел перестроить хоры в церкви св. Юлиана. Большой алтарь св. Петра в Пуатье освящают в 1199 г. и помещают в нем между 1204 и 1214 гг. красивый витраж с распятием. Наконец, в Бурже закладывается собор св. Стефана (1192 г.).

Движение распространилось даже на самые отдаленные провинции. Первоначальная лионская церковь строилась под руководством епископа Гишара с 1175 г., а собор св. Стефана в Тулузе был возведен в разгар альбигойских войн (1211 г.). В Байонне епископ Гийом де Донзак закладывает первый камень (1213 г.) в собор святой Марии. В Бретани достраиваются соборы в Кемпере и Сен-Поль-де-Леоне. В Альпах основан собор Эмбрене. Но, по мнению христианского мира, все эти чудеса превзошла большая королевская церковь в Париже, творение Мориса де Сюлли.

Собор Богородицы стал делом всей его жизни. Говорят, что папа Александр III, будучи проездом в Париже в 1163 г., заложил первый камень новой церкви. Этот факт прямо не подтвержден ни единым современником, но хоры точно были уже почти

полностью сооружены к 1177 г., за три года до восшествия на престол Филиппа Августа, ибо аббат Мон-Сен-Мишеля Робер де Торини в это время видел их и с восхищением упоминает о них в своей хронике. «Уже давно, — пишет он, — Морис, епископ Парижский, трудится над возведением собора этого города. Верхушка без большой кровли уже сооружена». Также несомненно и то, что в 1182 г., 19 мая папским легатом был освящен главный алтарь собора Богоматери. В 1185 г. там провел богослужение патриарх Иерусалимский. Ко времени кончины епископа Мориса в 1196 г. закончили большую кровлю, но не соорудили еще ни башен, ни порталов собора, которые являются творениями непосредственных преемников Мориса, прежде всего Эда де Сюлли, и были завершены, по всей вероятности, только в 1220–1225 гг. При строительстве понадобилось сначала подготовить место для нового собора, разрушив старую романскую церковь Богоматери и маленькую церковь Сент-Этьен-ле-Вье, купить и снести множество домов, проложить улицу Нев-Нотр-Дам, доходившую до паперти и напрямую выходившую к обоим мостам.

Спросим себя, как могли епископы нести столь огромные расходы по подготовке и самому сооружению новых зданий? Кто брал на себя издержки по строительству? Откуда поступали деньги? Вопрос интересный и требует точного ответа. Прежде всего, нет никакого сомнения в том, что епископ вкладывал в великое предприятие существенную часть сеньориальных доходов — своих личных средств. Это делал в Лане Готье де Мортань, а в Париже так же поступал Морис де Сюлли. Один современник определенно утверждает: «Он возвел здание скорее на свои средства, нежели на щедроты других». И мы знаем, что в своем завещании Морис де Сюлли еще отказал своей церкви сумму в сто ливров, чтобы настелить кровлю из свинца. В Суассоне епископ Нивелон предоставляет землю для собора и отказывается от своих прав на доходы с вакантных пребенд. В Осере епископ Гийом де Сеньеле только в первый год строительства вкладывает 700 ливров из своего кармана, не считая отказа от доходов от юрисдикции, а в последующие годы каждую неделю выделяет сумму в десять ливров.

К фондам, предоставляемым епископами из своих епархиальных доходов, добавляется взнос членов капитула, обычно выделяющих на строительство некоторые поступления. На собор идут также деньги от обычных приношений, сделанных

верующими во время мессы или прочих служб, при выставлении реликвий. А мы знаем, что в Средние века дары алтарю и реликвиям составляли значительный и верный доход. В этом побочном источнике средств недостатка никогда не было. О парижском соборе Богоматери кардинал Эд де Шатору в середине XIII в. говорил: «Парижский собор был по большей части возведен на лепту женщин» — это истинная правда, хотя и несколько преувеличенная, ибо средства от приношений составляли церковное имущество лишь отчасти. Чтобы умножить щедрость верующих, обращались и к другому средству: частным лицам, жертвовавшим деньги, отпускали грехи или гарантировали индульгенциями сокращение срока пребывания в чистилище. Один из современников Филиппа Августа, монах цистерцианского ордена Цезарий Гейстербахский утверждал, что Морис де Сюлли прибегал к следующим приемам: ростовщику, приходившему спросить о том, как спасти свою душу, епископ предлагал отдать на сооружение собора деньги, нажитые его ремеслом. Регент певчих собора Богоматери, знаменитый Петр Кантор, к которому также обратились, заметил тому же ростовщику, что было бы еще лучше вернуть деньги тем, кого тот ограбил. Правда, певчий был противником церковной роскоши и не стремился строить собор.

Итак, надо было добывать деньги, дабы возвести достойный Бога храм. В религиозном плане цель тогда оправдывала средства. Папы охотно давали на это буллы с отпущением грехов — так поступил, например, в 1202 г. Иннокентий III, чтобы помочь перестройке собора в Эвре. Существовал и другой способ, использовавшийся многими епископами, к примеру, при строительстве Осерского собора: епархиальные или капитульные священники брали самые почитаемые из своих реликвий и носили их по всему своему и соседним диоцезам, доходя иногда даже до рубежей страны и переходя границу. Вдоль всего пути следования они собирали пожертвования для пополнения церковных фондов.

Наконец, к суммам, добытым и собранным епископской властью, прибавлялись единовременные пожертвования частных лиц.

Внести деньги на сооружение собора — наилучший способ спасти свою душу. Гийом Бретонец, так восхищавшийся, как мы видели, Шартрским собором, восстановленным после пожара

1194 г., замечает, немного играя словами, что огонь, которым была уничтожена старая церковь, спас души всех, кто помог своими деньгами строительству новой. Нам известен один из жертвователей, некий Манассе Мовуазен, который в 1195 г. даровал шартрской церкви Богородице ренту в 60 су; эта рента была целенаправленно предназначена на перестройку церкви (*ad opus ecclesie*); «и когда начатая работа, — говорится в дарительной грамоте, — милостью Божией подойдет к концу, выше-названная рента останется все равно в распоряжении церкви». Взамен жертвователь просто просит каноников молиться за него в этой церкви в годовщину его смерти. В Париже король Людовик VII дает 200 ливров; рыцарь Гийом де Бар — 50; племянник папы Александра III — две марки серебром. В Осере спустя пять лет после закладки первого камня собора образовалось «братство созидания», состоявшее из группы верующих, желавших получить отпущение грехов, добывая средства, чтобы ускорить окончание строительства храма. Возможно, этот институт был распространен и во многих других местах.

Чтобы обладать духовными правами в сооружаемом соборе, достаточно было выделить место, поставить материалы, взять на себя расходы за окно, витраж или любой предмет, служащий культуре. Пожертвования такого рода многочисленны: это поле соперничества отдельных лиц и корпораций в набожности. В Суассоне графиня Вермандуа Аделаида, дабы помочь возведению собора, предоставляет из своих угодий Валуа весь строевой лес, необходимый для сооружения кровли; она же дает распиленный на куски и обработанный дуб, чтобы изготовить скамьи для каноников; наконец, она несет расходы по одному из витражей. Другой сеньор из того же края берет на себя еще два окна. В Труа в 1218 г. одно частное лицо разрешает церковному совету брать в своем карьере тесаный камень. В Шартре в 1210 г. канцлер капитула Робер де Бери преподносит в дар одно из окон хора. Этот витраж сохранился до наших дней — он изображает две группы паломников и самого коленапреклоненного пред алтарем жертвователя со следующей надписью: «*Robertus de Berou, Camotensis cancellarius*». В Париже регент певчих Альбер дает 20 ливров на изготовление скамеек новой церкви Богородице, а декан капитула Барбедор одаряет храм витражом за 15 ливров. Все эти щедроты и множество других, которые можно было бы упомянуть по картуляриям и некрологам, были выгодно помещены: они

приносят дарителям уважение на этом свете и надежды на спасение в мире ином. Каждый христианин, каждая христианская корпорация могут подобным образом содействовать обогащению и украшению храма, возводимого их епископом; и теолог времен Филиппа Августа даже всерьез задается вопросом по поводу одного случая, имевшего место, возможно, в епископство Мориса де Сюлли: «Корпорация парижских проституток просит дозволения поднести в дар витраж или чашу. Может ли епископ принять сей дар? Да, если только он сделан без огласки». Морис де Сюлли, широкой души человек, вполне мог решить, что деньги куртизанки стоят денег ростовщика. Благое намерение очищало все.

Новая церковь, достаточно широкая, чтобы удовлетворить все потребности службы, достаточно высокая, чтобы символизировать христианский идеал, говорящая языком лепных украшений и цвета — вот чего желал епископ своим клирикам и народу; признательности и всеобщего восхищения было достаточно, чтобы вознаградить его за труды в ожидании посмертного воздаяния. Творение высокого зодчества доставляло счастье всем — убогим и могущественным. Однако иным оно не нравилось. Были люди, проникнутые монастырским духом, не признававшие пышности даже христианской, денег, даже расточаемых для службы Богу. На протяжении всего Средневековья в христианстве существовало два противоположных течения: тех, кто думал, что молитва должна быть главным образом почитанием духа, актом веры, выражаемой просто, в строгих рамках, без церемоний, вызывающих к чувствам, и тех, кто, напротив, полагал, что все, что есть прекрасного и ценного в земном, должно посвящать службе Богу. За шестьдесят лет до начала XIII столетия святой Бернар уже с негодованием обличал «огромную высоту церквей, их необычайную длину, роскошь мрамора и росписи». Он видит в них самое суетное из всех сует и заявляет, что «вместо того, чтобы украшать себя позолотой, церковь лучше бы прикрыла наготу своих бедняков: ведь деньги, растрачиваемые на храмы, украдены у несчастных». Что бы он сказал, если бы увидел крикливую пышность готики и всеобщее стремление к сооружению больших церквей? Моралист его школы, Петр Кантор, находивший, что епископы слишком много тратят на возведение дворцов, не более одобрял и сооружение соборов: «Зачем строить церкви, как это делают сейчас? Верхушки этих церквей должны бы быть

ниже, чем основная часть этого здания, ибо они символизируют мистическую идею. Христос, вершина человечества, смиреннее, чем его церковь. Сегодня умудряются все выше и выше поднимать хоры церквей. Подобная любовь к высоте есть гордыня и напасть». И он добавляет: «Каковы же последствия этой болезни? А то, что эта роскошь, эта пышность в украшении церквей имеют своим результатом ослабление набожности и уменьшение раздач милостыни бедным. Соборы нынче сооружаются с ростовщицеством и алчностью, с ухищрениями лжи». Пьер клеймит злоупотребление дарами, в которых так нуждаются епископы. Подношения, считает он, следовало бы принимать только по великим праздникам — слишком много церквей и алтарей. «Посмотрите, — говорит он под конец, — как было в Израиле: там существовал только один храм, только одна дарохранительница, только единожды приносили дары».

Петр Кантор, возможно, прав с точки зрения христианского аскетизма, но даже здесь его мнение спорно; с точки же зрения искусства он ошибался. Если бы его слушали, то сейчас перед нами не было бы ни собора Парижской Богоматери, ни прочих соборов, выраставших по всей Франции Филиппа Августа. И не следует забывать, что именно в этих шедеврах романского и готического искусства, а не в литературе проявил свою мощь и своеобразие дух Средневековья.

* * *

Вне своей духовной миссии епископы оказывали бесспорные услуги обществу, ибо покровительствовали своим подданным — горожанам и крестьянам, одновременно и себя защищая от разбоя светских сеньоров и становясь помощниками короля в его усилиях по сосредоточению национальных сил для наведения порядка. Вечно динамичная жизнь, нескончаемая борьба большинства архиереев снискала им симпатию и признательность. И действительно, епископы часто были просто воинами, которым явно недоставало того, что мы сегодня называем христианскими добродетелями, но они жили и умирали, окруженные уважением и любовью жителей своего диоцеза. И когда историограф епископов Осерских, говоря, например, о смерти в 1181 г. епископа Гийома де Туси и о всеобщей скорби, которую она вызвала, утверждает, что «невозможно было и выразить, какой великий траур охватил весь город, какими стенаниями, каким плачем

выражалась боль всех тех, кто присутствовал на похоронах», то мы знаем, что это не дежурная фраза, не избитое клише при описании официальной церемонии. Люди Средневековья могли искренне любить своего епископа, ибо нуждались в его заботах, и мы знаем, что он много тратил на их общее дело, равно как и на дело монархии.

Класс же благородных феодалов — бароны и владельцы замков — не так благоволил к епископам из соображений совершенно обратных: в глазах светского сеньора епископ часто становился помехой и врагом. Ниже речь пойдет о постоянном противостоянии, приводившем во всех концах Франции к столкновению епископов и баронов. Знать не писала историю, а посему мы не знаем, что они думали и что говорили главе своего диоцеза; самое большее мы можем догадаться об этом по тому, как часто они вели с епископами ожесточенные войны и как долго пренебрегали их анафемами. Но за неимением собственно истории у нас есть художественные произведения, глубоко пропитанные феодальным духом и сочиненные преимущественно для слушателей в замках. Это жесты — литературный жанр, достигший своей высшей точки развития в эпоху Филиппа Августа. Следует иметь в виду, что жесты предоставляют нам в более или менее преувеличенном виде мнения, бывшие в ходу в феодальном обществе, в рыцарской среде. Итак, читая поэмы, написанные в основном для развлечения и из лести рыцарям-воинам, мы прежде всего констатируем, что епископы в них не играют почти никакой роли; если же они там и появляются, то как неприметные фигуры, персонажи второго плана. Они не видны в мирное время и едва упоминаются в войне и в битвах. Впрочем, то же самое касается клириков в целом, духовенства черного или белого. Авторы таких поэм, как «Гарен Лотарингский» или «Жиран Русильонский», показывают духовенство всегда в зависимом или приниженном положении; если их послушать, то духовенство годится только для того, чтобы служить писцами у неграмотной знати, подбирать мертвых на поле битвы, перевязывать раненых и служить мессы для тех, кто им платит.

Нечего и говорить, насколько это равнодушие, слегка презрительное отношение к епископату и Церкви противоречит исторической реальности. Ведь известно, какое значительное место не только в церковном, но и в светском обществе занимали епископы, как часто они принимали участие в военных экспедициях,

в судебных или политических советах королей и знатных феодалных сюзеренов. История показывает, как повсюду, при всех обстоятельствах иерархи Церкви вмешиваются и действуют. Жесты — один из любопытных примеров бесцеремонности, с которой их авторы трактуют современные им реалии; и это же доказывает, до какой степени надо быть осторожным, извлекая из этих сказочных сочинений пригодные для истории выводы. Ясно, что здесь мы сталкиваемся с предвзятым мнением. Поэт, пишущий для развлечения благородных, разделяет все предрассудки знати, которую он прежде всего и выводит на сцену — он всего лишь отголосок, орудие злобы военного сословия. Рыцарство борется с епископами за признание собственного превосходства, за свою юрисдикцию и даже за то, чтобы о ней говорили в жестах, слагаемых для его же увеселения.

Итак, жонглеры обычно не говорят почти ничего об увенчанных митрами и владеющих посохом властителях; если же и упоминают их, то лишь затем, чтобы представить в самом неблагоприятном свете. Так поступил, к примеру, автор поэмы «Гарен Лотарингский»: в своего рода вступлении он говорит об епископате как об эгоистичной, скупой корпорации, которая отказывается взять на себя расходы по защите королевства. Когда архиепископа Реймского, самое высокопоставленное церковное лицо во Франции, просят помочь своими деньгами императору Карлу Мартеллу и его рыцарям, приготовившимся сражаться с язычниками, он отвечает: «Мы священники, и наш долг — служить Богу. Мы будем охотно молиться о ниспослании вам победы и сбережении вас от смерти. А вам, рыцарям, Бог велел приходить на помощь клирикам и защищать святую Церковь. Зачем же столько слов? Я призываю в свидетели великого святого Дионисия, что вы не получите от нас ни единого анжуйского су». — «Сир архиепископ, — отвечает клюнийский аббат, — нехорошо вам забывать о благодетелях. Ежели мы и богаты (хвала Господу за сие!), то благодаря добрым землям, которые их предки передали нам. Пускай каждый из нас сегодня выделит им немного добра: не следует, отказывая совсем, рисковать потерять все». — «Делайте что хотите, — возражает в гневе архиепископ, — но скорее я позволю себя привязать к хвостам их лошадей, чем дам пару мелких анжуйских монет».

В этом отрывке содержится очевидный намек на денежные вымогательства, объектом которых были со стороны короля

и Папы во второй половине XII в. епископы, возможно, даже намек на конкретный эпизод — требование в 1188 г. Филиппом Августом саладиновой десятины. Истина же в том, что Церковь и ее подданные почти в одиночку несли это тяжкое бремя. Несомненно, некоторые епископы и задерживали свой взнос; другие уступали только насилию, но в конечном итоге высшее духовенство платило. Мы видим, как оно отдает в залог, чтобы помочь королю и Папе, даже свои алтарные ценности и священные сосуды. Феодальный поэт допускал тут субъективное преувеличение и, в общем, историческую неточность.

Категория жонглеров, создававших и развивавших в эту эпоху другой жанр народной литературы, фаблю, особенно набрасывается, как мы видели, на низшее духовенство, приходских священников — епископы фигурируют в рассказах нечасто; но если им и отводится какая-то роль, то уж точно неблагоприятная. Рассказчик заставляет их вести скандальную жизнь, которая служит примером, объясняющим распущенность простых служителей. Здесь снова чрезмерная галльская веселость сатириков злоупотребляет некоторыми фактами, слишком явными, чтобы приписывать всему епископату проступки кое-кого из его представителей.

Следует признать, что литература на народном языке прежде всего повторяла то, что говорила о епископате религиозная литература некоторого рода. В Средние века духовенство подвергалось не столь грубому обращению на словах, сколько порицаниям со стороны самого же духовенства. Знать и горожане, враги Церкви, никогда не были более жестокими и несправедливыми по отношению к епископату, чем иные проповедники, считавшие своей обязанностью разить наотмашь, дабы сильнее обличать и карать. Впрочем, многие из авторов проповедей были монахами или клириками, пропитанными монашеским духом — духом, как мы знаем, малоблагосклонным к официальным и обмирщенным церковным властям. Вот портрет епископата, который нам оставил один из них, Жоффруа де Труа:

Епископы — это волки и лисы, ставшие магистрами. Они льстят и соблазняют, дабы вымогать. Их пожирает скупость, сжигает желание обладания. Вместо того, чтобы стать покровителями и защитниками церквей, они являются их расхитителями, грабят их, продавая таинства, попирая правосудие.

Единственный их закон — собственная воля. Посмотрите, как они ходят: с высоко поднятой головой, неприступным видом, сурово взирая, сухо разговаривая. Все в их облике дышит гордыней. Их поведение — ниспровержение добрых нравов, их жизнь — само беззаконие. Они жаждут наводить ужас на свою паству, забывая, что они врачеватели, а не суверены.

Адам де Персень сравнивает жизнь клириков с жизнью Христа: «...они питают свою роскошь и гордыню. Они беспокоятся не о душах, а о своих ловчих птицах, ухаживают не за бедными, а за собаками. Они делают из святого места ярмарку, бандитский притон». Петр Блуаский особенно клеймит судей и управляющих епископов, «официалов», замещавших прелата в его суде и частично освобождавших его от деловых забот. Недавно учрежденные, эти произвольно сменяемые агенты представляли в диоцезе единство управления и власти, скомпрометированное архидьяконами; они и сами злоупотребляли своей властью. «У них только одна мысль: подавлять, обирать, драть шкуру с жителей диоцеза. Это епископские пиявки или губки, которые он время от времени выжимает. Все деньги, которые они выколачивают из бедных, идут на тонкие блюда и удовольствия епископской жизни. Эти крючкотворы, охотники за слогом, ловко заманивающие в свои сети несчастных истцов, толкуют закон по-своему и самовольно чинят правосудие. Они разрывают доверенности, разжигают ненависть, расстраивают браки, способствуют супружеским изменам, в качестве инквизиторов проникают в дома, позоря невинных и прощая виновных. Одним словом, эти сыны жадности ради денег делают все. Они сами продались дьяволу».

Официальные документы подтверждают, что многие епископы вели не слишком благочестивую жизнь. Декреты двух соборов, состоявшихся в Париже в 1212 г. и в Монпелье в 1214 г., содержат одинаковые предписания и запрещения, косвенно показывая нам нравы епископата. Епископам приказывают носить тонзуру и одежду своего сословия. Им запрещают надевать ценные меха, пользоваться разукрашенными седлами и золочеными уздечками, играть в азартные игры, охотиться, браниться самим и позволять браниться рядом с собой, усаживать за свой стол комедиантов и музыкантов, слушать заутреню в постели, говорить о frivolных вещах во время церковной службы,

отлучать людей без разбора. Они не должны покидать свою резиденцию, обязаны созывать свой синод по крайней мере раз в год и во время поездок по диоцезу не возить с собой многочисленную свиту — слишком тяжелое бремя для тех, кто их принимает. Им запрещено брать деньги за указы, закрывать глаза на сожительство священников, давать разрешение на брак, позволять виновным избегать отлучения. Наконец, запрещено допускать недозволенные браки и отменять законные завещания, разрешать танцевать в святых местах, праздновать в соборах праздники дураков, позволять в своем присутствии судебные поединки или Божий суд.

Не следовало бы верить на слово составителям проповедей, склонным скорее видеть зло, нежели добро, или заключать из соборных декреталий, что общее состояние церковных нравов было столь уж плачевным. Однако, разумеется, епископат, несмотря на великие реформы предшествующего периода, оставался частично феодальным. Многие прелаты принадлежали к благородному сословию и жили, как владельцы замков.

Епископ Осерский Гуго де Нуайе — тип воинственного епископа, который сражается против знати, сопротивляется даже королю и усердно трудится над расширением территории и увеличением доходов своей церкви. Он строит резиденции — настоящие крепости, «окруженные широкими рвами, куда с великим трудом издалека подведена вода, защищенные огромными палисадами, над которыми возвышается донжон, с крепостными стенами, с башнями, воротами и подъемными мостами». Однажды граф Шампанский Тибо, используя свое право сюзерена, повелел скрыть до основания стены и башни этих громадных поместий, оставив стоять только жилище. «Епископ Осерский много тратил, — добавляет епархиальный хронист. — Он любил общество рыцарей и принимал в их состязаниях и развлечениях большее участие, чем это допускал священный сан. Он был весьма образован, читал книги и охотно отдыхал за учением, когда у него было на это время. Очень деятельный, когда речь шла о его интересах, он мало занимался интересами других и был жесток со своими подданными, обременяя их непосильными поборами».

В Нарбонне архиепископ Беренгарий II (1192–1211 гг.) был одним из тех, кто, по выражению самого Иннокентия III, «не знал иного Бога, кроме денег, а вместо сердца имел кошелек». За все

полагалось платить, даже за посвящение в епископы. Когда кафедра вот-вот должна оказаться вакантной, он запрещает назначать должностное лицо, дабы пользоваться доходами. Он наполовину сокращает число каноников в Нарбонне, чтобы присваивать пребенды, а также удерживает в своих руках вакантные архидьяконства. В его диоцезе, пишет Папа в 1204 г., видят «монахов и белое духовенство, которые отрекаются от сана, поселяют у себя женщин, живут на ростовщические проценты, становятся адвокатами, жонглерами или лекарями». Через шесть лет Беренгарий не исправился; Иннокентий снова просит в связи с этим своих легатов объявить церковное порицание ему и его коллеге, архиепископу Ошскому, который, сдается, был не лучше. Илия I, архиепископ Бордо (1187–1206 гг.), брат предводителя гасконских наемников, часто использовавшихся Генрихом II и Ричардом Львиное Сердце, жил в окружении рыцарей и обирал свой диоцез. Выше мы видели, что Папа обвинял его в раздаче бенефициев этим шайкам. Однажды Илия обосновался со своими людьми или наемниками, лошадьми, охотничьими собаками и куртизанками в аббатстве Сент-Ирие и так проводил время за счет местных жителей и монахов, что после его отъезда те и другие чуть не умерли от голода. В письме от 1205 г. Иннокентий III сравнивает его с «засохшим и бесплодным деревом, которое довольно собственным гниением, как вьючное животное своим навозом».

Самым необычным епископом своего времени был Матье Лотарингский, епископ Тульский (1198–1210 гг.), принадлежавший к герцогскому роду. До избрания, будучи прево церкви Сен-Дье, он уже жил как беспутный и любящий роскошь сеньор, проматывая доходы от своей должности и выживая декана и каноников, своих коллег, с их мест. Став епископом, он пользовался положением с таким бесстыдством, что тульский капитул попросил у Папы его смещения. Иннокентий III приказал изучить его дело; но накануне того дня, когда Матье должен был предстать перед судом, тульский декан был схвачен стражниками, посажен на осла и с ногами, привязанными к животу животного, доставлен к епископу, который велел бросить декана в темницу и заковать в цепи. Папский легат отлучил Матье; но потребовалось восемь лет (1202–1210 гг.), чтобы приговор о смещении стал окончательным и верующие Туля смогли избрать другого епископа. В продолжение бесконечного процесса Матье построил на

высотах Сен-Дье замок, откуда грабил весь край. Герцогу Лотарингскому, его родственнику, пришлось самому ехать его усмирять. Изгнанный наконец из своего владения, Матье удалился в уединенный домик в глухом лесу, где жил охотой и грабежом, поджидая случая отомстить своему преемнику. В 1217 г. он такого дождался. Новый епископ, Рено, был заколот кинжалом в ущелье Этиваля, а Матье бежал в горы, унеся епископскую кладь, ризы, чаши и святой елей. Тибо I, герцогу Лотарингскому, пришлось собственными руками прикончить на окраине леса этого разбойного епископа-убийцу (16 мая 1217 г.), чтобы освободить от него Церковь.

Рядом с этими типами прелатов, пережитками примитивного и дикого феодального общества, встречаются и другие, такие как Этьен де Турне, Гийом Шампанский и Пьер де Корбей — теологи, гуманисты, политики, ученые или придворные. Морис де Сюлли в Париже времен Людовика XII и Филиппа Августа был образцовым епископом. Избранный на кафедру в 1160 г., он не стремился играть политическую роль, хотя и пользовался доверием королей и Пап, превосходно управляя своим диоцезом в нравственном и административном плане на протяжении тридцати лет. Его почитали чуть ли не святым; монах аббатства Аншен, увидавший его в 1182 г., оставил нам восторженный портрет:

Морис, епископ Парижский, чаша изобилия, плодоносная олива в доме Господнем, цветет среди прочих епископов Галлии. Не говоря о его духовных качествах, ведомых одному Богу, он блистает внешне своими знаниями, проповедью, своей щедростью, милостыней и своими добрыми делами. Это он построил церковь Пресвятой Девы в своей епископской резиденции, и для возведения столь прекрасного и пышного сооружения он не столько пользовался средствами других, сколько своими собственными доходами. Он часто и подолгу присутствовал в соборе. Я видел его в праздник, не слишком торжественный, во время вечерни; он сидел не в своем епископском кресле, а на хорах, распевая псалмы вместе с другими, в окружении сотни клириков.

ГЛАВА VI. ДУХ МОНАШЕСТВА

Кажется, не было в Средние века периодов, когда бы монаху не приходилось целиком и полностью подчиняться уставу своего братства, предписывавшему сторониться всякого контакта с миром, жить постоянно в затворничестве, погружаясь в учение, молитву и физический труд. Монах тогда был орудием для наставления и духовного воздействия, но именно поэтому он являлся и социальной силой. Так почему бы обществу и не применить в иных целях то влияние и авторитет, которым монашество пользовалось в народе? Самым знаменитым монахом Средневековья был святой Бернар Клервоский, ибо не было священника, который бы так часто и подолгу пребывал вне стен своего аббатства. Он провел жизнь, разъезжая по Франции, Германии, Италии, за что часто осуждал себя и сетовал, мучаясь угрызениями совести. Он находил «чудовищной» (это его выражение) жизнь, на которую его обрекла Церковь: «Уж не знаю, — говорил он, — каким необыкновенным существом я являюсь: не клирик и не мирянин, тот, кто носит одежды монаха, но не соблюдает его устав».

Спустя пятьдесят лет после смерти святого Бернара, на исходе XII в., у монахов уже совершенно отсутствовали подобные сомнения. Рассказывают, что через некоторое время после кончины основателя ордена Великой Горы (Гранмонского), Этьена де Мюре, могила этого святого человека, на которой совершались многочисленные чудеса, стала привлекать такое число посетителей и паломников, что гранмонские монахи, лишившись уединения, рассердились. Они запретили святому творить чудеса и пригрозили, ежели он их не прекратит, выбросить его тело в клоаку. Неизвестно, насколько достоверна эта история, но подобное решение, во всяком случае, сохранило свою силу ненадолго. Во времена Филиппа Августа монахи не только находили допустимым и очень выгодным позволять мирянам толпами стекаться к своей церкви, но и сами охотно выходили из монастыря, то есть устремлялись навстречу миру. Вопреки каноническим запретам и строгим уставам, их видели повсюду, на всех дорогах. Современник Филиппа Августа, аббат Бон-Эсперанса Филипп Арван с возмущением жаловался на это: «На какой улице, на какой площади, на каком перекрестке не встретишь

монаха верхом на коне? Может ли кто нынче, выйдя из дома, не столкнуться с монахом? Бывает ли праздник, ярмарка, рынок, где бы не появились монахи? Их видят на всех сборищах, на всех битвах и турнирах. Повсюду, где собираются сразиться рыцари, полно монахов. Что делают они посреди ударов щитов и яростного треска копий? И почему дозволяют им вот так выходить и скакать верхом?».

Известно, насколько суеверны, почти как древние, были люди в Средние века. И если считалось дурным предзнаменованием встретить зайца, простоволосую женщину, слепого или хромого, то не менее зловещим знаком было повстречать монаха. Письмо Петра Блуаского содержит по этому поводу характерный рассказ. Ученый клирик, магистр Гийом де Бо, выходя из трактира, столкнулся с монахом, и этот монах сам стал настойчиво упрашивать его возвратиться, утверждая, что тому грозит большая опасность, если он отважится в этот день тронуться в путь. Магистр Бо, добавляет Петр Блуаский, считая все, что не опирается на веру, вздором, вскочил на коня, дабы присоединиться к свите епископа, которого он сопровождал. «Но едва он проехал несколько шагов, как свалился вместе с конем в глубокий пруд, откуда большого труда стоило его вытащить». И Петр Блуаский заключает: «По-моему, мэтр Бо, даже если бы какой-то монах и не заговорил с ним, все равно упал бы в пруд». Так что подобные ему образованные люди больше не верят приметам; но в отношении встречи с монахом это невеликая заслуга, поскольку в эту эпоху монахи были повсюду, и следовало уже привыкнуть к встречам с ними.

Утверждение Филиппа Арвана несколько не преувеличено. Достаточно открыть хроники и прочесть сообщения этого периода, чтобы увидеть, насколько часто используются в политике и делах монахи, как принцы и короли без колебаний вызывают их из монастырей, поручая самые разные миссии. Это люди скромные, ловкие, разбирающиеся в делах: уважение, внушаемое их платьем, позволяет им легче и бесстрашнее, чем другим, разъезжать повсюду. Они нередко присутствуют в свите Капетингов и Плантагенетов в качестве посредников и послов при дворе и войске.

В 1202 г. Иоанн Безземельный, торжествуя в Миребо неожиданную и полную победу над своим племянником Артуром, спешит известить об успехе своих многочисленных английских

советников, находившихся тогда в Нормандии, и особенно Вильгельма Маршала, графа Пемброка. И кому же поручает он миссию? Монаху. А вот и отрывок, описывающий это событие и обнаруженный в стихотворной хронике биографа Вильгельма Маршала:

Монах уехал и, путешествуя днем и ночью, добрался до Маршала. Он вежливо изложил то, что ему было поручено, сообщив о пленении Артура, Жоффруа де Лузиньяна, графа де ла Марш, Савари де Молеона и прочих знатных лиц, которые были с Артуром. Маршал возрадовался и сказал монаху: «Вы отнесете эту весть во французское войско, графу д'Э, в Арк, дабы доставить ему удовольствие». — «Сир, — говорит монах Вильгельму Маршалу, — помилуйте! Если я туда отправлюсь, граф так разгневется, что может приказать меня убить. Пошлите вместо меня другого». — «Монах, — отвечает Маршал, — не ищите отговорок: поедете именно вы. Не в обычае этой страны убивать послов. Живо поезжайте. Вы найдете его в войске». Монах поскакал в Арк и передал графу д'Э вести из Пуату. Последний же, ожидавший совсем других новостей, изменился в лице и онемел. Озабоченный, он отправился спать в свой шатер, не зная, что и делать, ибо не желал повторить никому только что услышанного.

Филипп Август, как и его английские соперники, также охотно использовал монахов. Один из них, брат Бернар де Кудрей, которому он поручал наиболее щекотливые переговоры, был постоянно подле него. Именно монаха аббатства св. Женевьевы Гийома он послал в Данию, чтобы договориться о своем браке с Ингебургой, Гийом же и привез во Францию юную невесту. Брак, как известно, не удался, но не по вине посредника, образцового клирика, канонизированного Церковью. Аббат св. Женевьевы, литератор и философ Этьен де Турне, был в течение многих лет доверенным и признанным послом Филиппа Августа. Мы уж не говорим о брате Герене, госпитальере, который был французскому королю в течение двадцати последних лет его правления ценнейшим служащим, компетентным во всем, так как сочетал функции канцлера, советника по иностранным делам и главнокомандующего; мы знаем, какую важную роль он сыграл в победе при Бувине. Монахи были хороши всем, и суверены этим злоупотребляли. Иноки не всегда добровольно покидали

свою обитель, чтобы скакать невесть куда в такую погоду, когда большие путешествия были делом сколь малоприятным, столь и опасным. Достаточно прочитав в переписке Этьена де Турне дышащие ужасом послания, в которых этот монах говорит о своей миссии в Тулузу и о бесчисленных опасностях, которых он избежал, и в особенности письмецо от 1183 г., где он благодарит небо и людей за то, что уклонился от поездки в Рим, которую король намеревался ему поручить — как будто осужденный на смерть неожиданно получил прощение.

Не только собственно исторические документы показывают нам монаха, вызванного из монастыря и мчащегося по дорогам по приказу сильных мира сего заниматься земными делами и даже брачными переговорами. Свидетельства жест, написанных во времена Филиппа Августа, целиком согласуются со свидетельствами хронистов. Откроем, например, поэму о Гарене Лотарингском, одну из тех, что наиболее уверенно датируются этим периодом. Вот герцог Эрве де Мец, вступающий на свою землю и ищущий пристанища в монастыре. Он обращается к аббату, которому очень доверяет: «Поезжайте искать мне жену, мое тело требует супруги». Аббат отвечает, что охотно выполнит это, но хотел бы точно знать, в какой стороне он должен искать. «Во имя Бога, сотворившего меня, — говорит Эрве, — я желаю Алису, сестру Годена. Нет красивее ее под небесами, так же как нет на свете лучшего рыцаря, чем ее брат». Получив приказ, аббат тут же собирается в путь и уезжает с пятнадцатью монахами и многочисленными рыцарями. Аббат богат и едет «с великой роскошью». Дороги запружены их мулами, вьючными лошадьми и скакунами. Ему хватает месяца, чтобы исполнить свое поручение, и он возвращается в Мец с девушкой, Эрве Лотарингский едет им навстречу. «Милости просим», — говорит он аббату и берет за руку девицу. «Красавица, — обращается он к ней, — во имя Господа, никогда не солгавшего, вы прекрасны телом и лицом; я сделаю вас очень знатной дамой». — «Сир, — отвечает Алиса, — я вам весьма благодарна». Далее автор поэмы показывает нам аббата Льетри из Сент-Амана в Павеле, которому поручено передать могущественному герцогу Гарену тело его брата Бегона, предательски убитого в лесу. Он тоже выезжает с пятнадцатью монахами и двадцатью шестью рыцарями, а выполнив свою миссию, возвращается после двухнедельного путешествия в свое аббатство. «Едва он добрался до монастыря, как вокруг него

столпились монахи и стали расспрашивать, куда его посылали и что он делал. Он удовлетворил их любопытство и закончил словами: „Помолитесь, чтобы между могущественными баронами установилось согласие“. Так что для монаха ремесло посла и посредника — почти профессия; ремесло тяжкое, подчас осложняемое различными опасностями. Поэма «Гарен» выводит на сцену еще двух монахов, которых архиепископ Реймский посылает ко французскому двору, дабы лжесвидетельствовать. Речь идет о мнимом родстве между принцессой Бланшефлер и герцогом Гареном с целью помешать их браку, ибо король Пипин сам желает жениться на невесте, предназначенной его вассалу — герцогу. В тот момент, как архиепископ торжественно возвещает о браке между Бланшефлер и Гареном, один из монахов, подсланных им с согласия короля, выходит вперед и заявляет, что отец барона был близким родственником отца невесты:

Эти слова повергли в гнев Бегона, брата Гарена — он набрасывается на монаха, опрокидывает на землю и топчет ногами: «Откуда ты взял то, что только что рассказал?». Он убил бы несчастного, если бы монаха не поспешили вырвать из его рук. «Сир вассал, — говорит недовольный король, — вам надо слишком непочтительно относиться ко мне, чтобы так бить на моих глазах этого монаха». — «Его, монаха? Сир, он не монах, он негодяй и предатель; уж не знаю, кто ему заплатил, чтобы сказать то, что он говорит. Я призываю в свидетели святого Дионисия, что если он попадется мне второй раз, то лишится жизни». — «Довольно, — продолжает король, — я пошлю за мощами, и монахи принесут клятву на реликвиях, что сказанное ими правда». Принесли мощи, и оба монаха принесли клятву в том, о чем их спрашивали.

В поэме «Гарен» преобладает феодальный дух, но она благосклонна и к церковникам. Мы не утверждаем, что тогда было много монахов, способных согласиться на подобное дело, но следует признать, что во множестве и всякого рода они встречались на ассамблеях, при дворах, и их заставляли заниматься по-немногу всем. Они даже следовали за войсками, что возмущает Филиппа Арвана, вопрошающего, почему их видят в сражениях и на турнирах. Почему? Странно, что аббат Бон-Эсперанса задает подобный вопрос. Как и все современники Филиппа Августа, он должен был знать, что повсюду, где пребывало войско, находилась также и группа клириков и монахов, черных или белых,

«миротворцев», у которых была двойная миссия; прежде всего они становились посредниками между воюющими сторонами, побуждая их заключать во имя Церкви и крестового похода если не окончательный мир, то по крайней мере перемирие. На каждой странице хроник идет речь об усилиях, прилагаемых «мужами веры», дабы помешать рыцарям схватиться, а потом, когда, невзирая на миротворческие попытки, битва начинается, клирики и монахи становятся санитарями, они доставляют раненых к лекарям; впрочем, многие из этих лекарей сами монахи, учившиеся в Монпелье или Салерно.

И опять-таки погребением умерших занимаются именно монахи, ибо благородные рыцари любят, чтобы их хоронили в аббатствах, счастливые, что могут перед смертью облачиться в монашеское одеяние. В самом деле, хроники и хартии приводят нам тысячи подобных примеров, и жесты являются здесь лишь отголоском действительности. Гарен приказывает аббату св. Винцентия Ланского: «Велите, — говорит он, — подобрать, покрыть и похоронить только что погибших моих друзей. Я завещаю ренты, дабы Бог помиловал их». Эрве де Мец также вызывает аббата Сен-Сернена в Бордо, и тот приезжает в сопровождении двух монахов. «Сеньор аббат, — говорит ему Эрве, — я требую, чтобы ты похоронил двух молодых людей у главного алтаря Сен-Сернена. Если ты согласишься на это, я выделю тебе значительную часть денег из моей казны». — «Как вам угодно», — отвечает аббат. И, как только омыли тела, он велел сопроводить их в монастырь Сен-Сернен на указанное герцогом место. Это означает неожиданные прибыли для монастыря. Неудивительно, что монах играет определенную роль в жизни рыцаря и что повсюду, где знать сражается и убивает друг друга, то на войне, то на турнирах, столь частых в эпоху Филиппа Августа, встречаются монахи, готовые ухаживать за ранеными, отпевать и хоронить мертвых.

«Acedia», эта неизлечимая хандра, это мистическое томление, которое испытывают проповедники, является лишь страстным желанием покинуть монастырскую темницу и жить на свежем воздухе, на свободе, среди народа, который чем-то занимается и разговаривает. Один из наиболее знаменитых современников Филиппа Августа, философ и теолог Алан Лилльский, высказал это в совершенно ясных выражениях: «Сия „acedia“ приводит к тому, что в монастыре страшатся строгости устава: хотят

изысканнее есть, спать на менее жестких постелях, сократить бдения, меньше соблюдать тишину и даже полностью ее нарушать. Именно она питает пороки и увлекает монахов из их аббатства».

Отсюда мы видим, как Церковь принимает самые строгие и тщательные меры предосторожности, чтобы удержать монаха, помешать ему выйти за ограду обители и снять свою рясу. Во всех решениях соборов, во всех статутах диоцезальных синодов имеется на сей счет запретительная статья. «Монах, снявший свое облачение, да будет отлучен», — говорит Парижский собор 1213 г. Одно из положений того же собора приказывает замуровывать малые монастырские ворота, чтобы пресечь всякую возможность нарушения порядка. Синодальный статут Эда, епископа Тульского, датированный 1192 г., отлучает беглых монахов. Положение реформы Клунийского аббатства, утвержденное аббатом Гуго V в 1203 г., содержит отдельную статью относительно монахов, без разрешения переступающих врата аббатства. Строго запрещено выходить без позволения: «Ибо частенько наши монахи прохаживаются снаружи, вокруг домов, в деревнях, в лесах, говоря и поступая так, как не должно им, за что нас порицают, а народ возмущается. Посему у каждого монаха, застигнутого за пределами монастыря, должно быть письмо от своего аббата, разрешающее передвижение в пристойном и должном виде». А реформа аббатства Сен-Виктор в Марселе, объявленная в 1195 г. папой Целестином III, добавляет еще одну хорошо знакомую предосторожность: «Монах никогда не должен отправляться в город в одиночку: аббат или приор обязаны позаботиться о том, чтобы дать ему почтенного сопровождающего».

Но что могли сделать уставы, запреты, анафемы против непреодолимой силы, влекущей монаха из монастыря? Для него хороши все предлоги, чтобы ускользнуть, и он широко ими пользуется. Вот, для начала, монах из проповеди Петра Коместора, который болен или сказался больным и просит для выздоровления позволить ему вернуться на некоторое время в свои края: «Под предлогом [поправления] здоровья отправляется он к своим родственникам, возвращаясь в родной край, дабы подышать несколько дней более чистым воздухом, воздухом первых лет своей жизни. А возвращаясь, он хорошенько рассчитывает время прихода, так как никогда не появляется во время обеда

или молитвы, ибо испытывает отвращение к полусырым блюдам, овощам, приготовленным без сала, к слишком разбавленному водой вину, к тишине монастыря и умерщвлению плоти».

А вот другие монахи, и их множество, торопящиеся покинуть свои аббатства, чтобы отправиться учиться в школы, особенно в Париж, где студенческая жизнь, как мы видели, не лишена определенной прелести. Они приводят убедительные доводы, чтобы оправдать свое путешествие: они хотят изучать медицину, дабы ухаживать за своими больными братьями, и право, чтобы плодотворно заниматься спорными делами общины. Но этих монахов-школяров вскорости становится целый легион; наконец обеспокоенная власть предпринимает меры, чтобы монастыри не опустели. Уже Турский собор в 1163 г. высказался против таких монахов. Он запрещает им изучение права и медицины, во всяком случае тем, кто похваляется монашеской жизнью, и отдает приказ в течение двух месяцев возвратиться в свое аббатство под страхом отлучения. Возвратившиеся таким образом будут занимать последнее место среди монахов на хорах, в капитуле и трапезной; им придется оставить всякую надежду на повышение в каком-либо чине, «разве что милосердие Святого престола распорядится иначе». Этот запрет был возобновлен в 1213 г. на Парижском соборе. И в своей знаменитой булле «*Super speculam*» 1219 г., запретившей изучение права в Парижском университете, папа Гонорий III находит очень жесткие слова для священников, становящихся студентами: «Они более не желают, — говорит он, — монашеской тишины, они отвергают Божий закон, обращающий души, устав, который они должны любить пуще золота и драгоценных камней». Отчего же стремятся монахи в великую школу? А потому, что им нравится смешиваться с толпой, вызывать рукоплескания черни и предаваться утехам со служанками. Так говорит Папа: «*ad pedisequas amplectendace*». Ну и ну! Напрасно такие монахи горячо возражают и приводят в оправдание своего пребывания в школах убедительные доводы: Папа желает, чтобы к ним строго применяли наказание, введенное Турским собором — отлучение с невозможностью апелляции по его поводу в Рим.

Существовала целая категория монахов и монахинь, которых трудно удержать в монастыре: это знатные сеньоры и дамы, вступившие в монастырь от скуки, угрызений совести, потребности в отдыхе и покое. По истечении некоторого времени они

замечают, что монастырский устав обременителен; у них начинается ностальгия по миру, своим свободам и радостям, и тогда они снимают клобук и возвращаются в замок — какой аббат смог бы им воспрепятствовать? Но это дурной пример для простых иноков низкого происхождения, готовых использовать любые предоставляющиеся возможности, чтобы покинуть монастырь и вырваться временно на свободу.

Шайки, опустошавшие Францию в начале правления Филиппа Августа, включали в себя огромное число изгнанников и беглецов, собранных со всех провинций, потерявших доброе имя мужчин и женщин, монахов, каноников, священников — сброд, проходимцев, снявших церковное облачение и предававшихся всяким бесчинствам. Вот довольно забавное сообщение по этому поводу, относящееся к 1183 г. и приводимое в биографии Вильгельма Маршала, написанной в стихах по-французски. Однажды Вильгельм Маршал со своим конюшим Эташем де Бертримоном скакал по Бри.

Он захотел спать и прилег на обочине дороги, а конюший ослабил поводья лошадей и пустил их пастись. Покуда Маршал спал, по дороге проехали мужчина и женщина, оба прекрасные обликом, восседающие на двух больших скакунах-иноходцах. У обоих путешественников было много клади, навьюченной на лошадей, и они ехали быстрым шагом. В тот момент, когда они проезжали мимо Маршала, дама громко сказала: «О Господи! Как я устала!» Маршал проснулся и спросил, в чем дело. «Сир, — ответил Эташ, — это мужчина и женщина, которые торопятся. У них богатое снаряжение». — «Взнуздайте коня, — говорит Маршал, — я хочу узнать, откуда они едут и кто они». Он тут же вскочил на коня, но в спешке забыл взять свой меч. Настигнув путешественников, он схватил мужчину за рукав и спросил его, кто он. «Сир, — ответил тот, и ему был явно неприятен этот вопрос, — я человек». — «Клянись головой, — говорит Маршал, — я вижу, что вы не животное». Тот отпрянул и положил руку на рукоять меча. «Вы ищете ссоры? — произнес Маршал. — Вы ее получите. Эташ, живо мой меч!» Незнакомец хотел ускакать, но Маршал его настиг и, схватив за капюшон, так дернул его, что обнажил тому голову и увидел, что это самый красивый монах, какого только можно было встретить в Кельне. «А! О вас-то я и подумал, — сказал Маршал. — Кто вы и кто эта женщина?»

Пристыженный монах признался, что женщина — его любовница, которую он увез из своей страны, и в настоящее время они отправляются в чужие края. «Скажите мне, красавица, — произнес Маршал, — кто вы и какого рода?» — «Сир, — ответила, плача, молодая женщина, — я из Фландрии, сестра монсеньера Рауля де Лена». — «Красавица, вы безрассудны. Я предлагаю вам отказаться от этого безумия и помирю вас с братом, с которым хорошо знаком». — «Сир, меня никогда не увидят в тех краях, где знают». — «Раз так, то, по крайней мере, есть ли у вас деньги на жизнь?» Монах откинул полу своего плаща и вытащил толстый пояс. «Конечно, — произнес он, — вот все наши деньги, сорок восемь ливров». — «И что же вы думаете с ними делать?» — «Сейчас вам скажу: я не намерен менять эти деньги; но я их помещу в каком-нибудь чужеземном городе, и мы будем жить с дохода». — «На ростовщические проценты! — воскликнул Маршал. — Клянусь мечом Господним, этого не будет. Заберите деньги, Эсташ. Раз вы не хотите обратиться к добру, езжайте и дьявол с вами!»».

Маршал приехал домой. Там он застал сеньоров Бодуэна и Гуго д'Амелинкуров, которые подбежали к нему, обрадовавшись, и сказали: «Маршал, вы опаздываете и заставляете нас голодать». — «Сеньоры, не сожалеете об этом, у меня добыча с которой вы будете (иметь) свою долю. Эсташ, деньги!» И Эсташ бросил перед ними деньги. А Маршал говорит им: «Вот, держите, чтобы заплатить свои долги». — «Маршал, — спрашивают они, — откуда эти деньги?» — «Наберитесь терпения, я все вам сейчас расскажу». Он весело пообедал и сосчитал деньги, которых в самом деле было около сорока восьми ливров. Тут Маршал рассказал им от начала до конца, как ему достались эти деньги. «Клянусь устами Господними, — воскликнул мэтр Гуго, — вы поступили еще слишком хорошо, оставив им лошадей и поклажу. Коня мне! ибо, клянусь, мне хочется их проучить!». Но Маршал его удержал.

Вот так мало-помалу черное духовенство выходило из монастыря и приходило в соприкосновение с миром. Монахи при дворе, монахи в войске, монахи-беглецы и расстриги появляются в большем количестве, чем раньше. И это знамение нового времени.

Однако если в подавляющем большинстве монастырей монах и стал более динамичным, то по образу мышления и самоощущению он остался таким же, каким был в предшествующие столетия. Мы скорее догадываемся о его душевном состоянии, нежели знаем на самом деле. Ведь люди Средневековья не писали автобиографий, не занимались самоанализом, чтобы заставить говорить о себе любопытных потомков. Их психология может приоткрываться нам косвенно и как бы случайно, данные о ней приходится извлекать из написанного ими.

Итак, писатели монашеского общества принадлежали тогда к трем категориям: монахи, пишущие теологические трактаты, философские труды или проповеди; монахи, составляющие хроники, биографии и исторические рассказы, и, наконец, монахи-литераторы, поэты и остряки, особенно сатирики, или трубадуры в клубуке, а поэтому — надо ли говорить? — не настоящие монахи.

Что же сообщают нам о самих себе теологи, философы и проповедники? Почти ничего. В их утомительных схоластических трудах, переполненных цитатами и строфами из священных книг, нет ни малейших замечаний личного характера — никаких сведений об авторе, его жизни, привычках, окружении. Все, что следует из набора фраз — что автор их обладал замечательной способностью к абстрагированию и забавной страстью к самым странным упражнениям ума. Это эпоха, когда изошряются в изыскании аллегорического или мистического смысла каждого слова Священного Писания, золотой век утонченных толкований и сухих комментариев. В подобной игре монах демонстрировал чудеса изобретательности и терпения. Не всегда только ради собственного удовольствия мудрил он в одиночестве над пергаментом. Если он был проповедником — частый случай в конце XII в. — то стремился донести до верующих свои изошренные идеи, и аудитория, понимая или нет, приходила в восторг.

Среди многочисленных комментариев «Песни Песней», оставленных нам Средневековьем, комментарий цистерцианского монаха Фомы является одним из шедевров аллегорической интерпретации. Этот монах уже пишет в духе символизма, и даже самым искушенным современным символистам до него далеко. Каждое из живых и нежных выражений, которыми наполнена «Песнь», дает повод к настоящему научному исследованию, в котором безгранично господствует стремление к

абстрагированию и анализу. Характер сюжета и простодушие, с которым автор вдается в самые двусмысленные разъяснения, с трудом допускают цитирование. Достаточно одного примера.

В первом стихе «Песни» супруга говорит супругу: «*Osculetur me osculo oris sui*» («Да лобзает он меня лобзанием уст своих»), и этот страстный призыв цистерцианец Фома объясняет так:

Сие есть крик народа израильского, ведавшего, что в этот мир должен прийти Христос, о чем они узнали от ангелов, а также от своих пророков. И поэтому, жаждущий узреть Его, он восклицает: «*Osculetur me*». То есть он хочет, чтобы Христос пришел наставить и спасти его. Ему нельзя посылать Своих ангелов, патриархов или пророков — нужно, чтобы явился Он сам. И впрямь, какого же поцелуя требует он, «*osculum ejus*»? Учения, исходящего из Его собственных уст. Пусть же наконец Он придет, дабы узнал он от Него самого то, что ему должно знать.

Следует предлинное рассуждение о поцелуе, тщательно разложенном на свои физиологические элементы, затем изучение различных способов, которыми даются поцелуи, и все строго определено, расставлено, классифицировано и символически интерпретировано. По данному отрывку можно судить и об остальном. Аллегорический комментарий второй строфы также весьма интересен, но не поддается никакому переводу.

Достаточно рассмотреть речи самых известных проповедников — аббата св. Женевьевы Этьена де Турне, аббата Сен-Виктора Авессалома, аббата Адама Персеня и даже Алана Лилльского, того, кого называли «учитель всеобщий», чтобы найти расхожие аллегории и модные символы. Они кочевали с одной кафедры на другую, и слушатели всегда с удовольствием внимали им. Мы приведем только две из них: «духовная колесница» и «спрягающийся глагол».

«Духовная колесница» — это колесница, которую везет дух справедливости. У нее четыре колеса: два передних — любовь к Богу и ближнему своему, два задних — неспорченность тела и чистота души. Ступица первого колеса есть познание Господа, спицы, отходящие от ступицы — размышления; они доходят до обода колеса, представляющего благочестие. И так же расшифровываются другие колеса. Ось, соединяющая задние колеса, — это Божий мир, а передние — праведность намерений. Волы, тянущие колесницу, есть ангелы, запряженные в дышло узами

человеческой любви. Дабы колесница не ударялась о придорожные камни, надо, чтобы впереди нее шествовала мысль о присутствии Бога, позади — презрение к миру, слева — сила души в несчастье, справа — добродетельное распоряжение богатством. И эта аллегорическая колесница направляется в небесный Иерусалим.

«Спрягающийся глагол» — это приложение грамматики к религии. Речь идет о божественном Слове, то есть о втором лице Троицы. Итак, этот Глагол существует одновременно в четырех спряжениях. В первом спряжении он пребывает в чреве Пречистой Девы, во втором — в крестильных глубинах, в третьем — за алтарным престолом, в четвертом — в душе справедливости. Расскажем только, почему в первом спряжении он оказывается в чреве Пречистой Девы: потому что он связан с человеческой природой только любовью к нам, а глагол, выражающий акт любви, «*amare*», используется как образец первого спряжения. Кроме того, Глагол одновременно активен, пассивен, нейтрален и отложителен; он активный потому, что Христос был активен в своей проповеди; пассивный потому, что Христос претерпел мучения на суде и на кресте; нейтральный оттого, что, испустив дух, Христос был обернут в пелены и положен во гроб; и отложительный, ибо, спустившись в ад, Христос низложил могущественных, то есть демонов, с их престолов. Наконец, Глагол выражается также рядом наклонений: сослагательным — через воплощение и проповедание; повелительным — посредством страданий и креста; желательным — из-за воскресения и вознесения; неопределенной формой — ввиду славы и вечности.

Таким образом, схоластическое образование накладывало на монаха свой неизгладимый отпечаток, внушая ему с юности любовь к игре слов, антитезам, метафорам, дурному вкусу и преувеличенной аллегоричности, оно наделяло его интеллектуальной болезнью, которую обостряли длительные размышления на досуге монастырской жизни.

Монах-историк, собиравший факты и передающий их в форме сухих хронологических анналов или более развернутого повествования, не мог не заразиться склонностью к аллегориям. Свидетельство тому — Ригор из Сен-Дени, ставший биографом Филиппа Августа, по своему ремеслу лекарь. Но он еще и эрудит, знакомый с церковными и светскими авторами и склонный к изощренным толкованиям. Его хроника усеяна цитатами из

Ветхого и Нового Заветов, а посвящением он пользуется, чтобы вернуть стихи Горация и Вергилия. Он весьма привержен этимологиям. Почему дает он своему герою, королю Филиппу, прозвище Августа? Потому что король, подобно римским кесарям, значительно увеличил территорию Франции: «Augustus» — от глагола «augere, auges», говорит он, а также потому, что тот родился в августе месяце, «augusto mense». Ригор не выбирает между этими этимологиями, он принимает их обе. А еще добавляет в связи с мощением некоторых парижских улиц, предпринятым в правление Филиппа Августа, что древнее название Парижа было Лютетия, от «lutum», грязь. А само название «Париж»? Ригор выводит его от Париса, сына Приама. Откуда и огромное отступление, посвященное генеалогии потомков Приама, и повествование о троянском происхождении Франции. Монах Сен-Дени с полным доверием принимает все эти генеалогические басни, впрочем, не им придуманные, вводя в них совершенно научное уточнение: именно в 895 году до Рождества Христова двадцать три тысячи троянцев, прибыв из Сикамбрии, обосновались в Лютетии и в память о сыне Приама стали называться «Parisii». Тут, однако, щепетильность вынуждает его напомнить, что название «Parisii» трактовалась и иначе, как происходящее от греческого слова «parisia», означавшего отвагу, храбрость. «Парижане» значит «отважные», в высшей степени «свободные» — «франки». И отступление переходит в длинный пересказ истории меровингских, каролингских и капетингских королей.

Педантичные изыски этих монахов доходили почти до детской доверчивости. Ригор верит в астрологию: он отмечает все чудеса, разговоры о которых он слышал, и большое место в своей истории уделяет чудесному. Он не только перечисляет все необычные исцеления святыми реликвиями, имевшие место в его время в аббатстве Сен-Дени — воскресшие дети, выздоровевшие слепые и парализованные и так далее; он изыскивает чудеса в жизни самого Филиппа Августа, вплоть до его военных операций против вассалов и Плантагенетов. Для него капетингский король — особа священная и почти сверхчеловеческая, объект проявлений божественного покровительства. Чтобы дать представление об умонастроениях монаха Сен-Дени, достаточно привести страницу «Истории», посвященную 1187 году: «В том же году, в праздник святого Луки, умер папа Урбан III: он восседал на престоле полтора года. Его преемником стал Григорий VIII, прибывший

папой полтора месяца. Последнего в том же году сменил папа Климент III, римлянин по рождению». Как прискорбны эти смены Пап, то и дело меняющихся на престоле святого Петра! «Это следствие ошибок, совершенных самими Папами, а также неповиновения людей, их подданных, не желающих обратиться милостью Божией к добру. Ибо никто не может выйти из Вавилона, то есть из смешения, беспорядка и греха, собственными силами или собственным разумением — для этого надо, чтобы Бог даровал нам свою милость. Мир старится, и все стареет на сем свете и дряхлеет, вернее, впадает в детство».

Но вот что особенно ужасает монаха-хрониста и заставляет его видеть все в черном свете: «В тот год, когда Саладином был взят Иерусалим, у всех родившихся детей было только по двадцать или двадцать два зуба вместо тридцати или тридцати двух, как обычно».

Не будем осуждать Ригора за это своеобразное наблюдение. Нельзя сказать, что он как историк не заслуживает никакого доверия или полностью лишен чувства критичности. Он сам так выражается в предисловии: «Я рассказал факты, увиденные собственными глазами, и прочие, о которых я тщательно расспрашивал: что же касается тех, о которых у меня не было никакой возможности разузнать, я обошел их молчанием». В самом деле, «История» Ригора больше грешит замалчиванием, нежели отсутствием точности, во всяком случае, в том, что касается современных автору событий. Он даже в некотором роде заботится об истине и справедливости — похвальная черта для чуть ли не официального историографа, излагающего деяния и поступки всемогущего короля. В первой части своей хроники он делает из Филиппа Августа героя, наделенного всеми добродетелями; но во второй он открыто упрекает его за поведение по отношению к Ингебурге Датской и за приемы, которыми он выколачивал деньги из своего духовенства. Он наивно рассказывает нам, как взялся за свой труд и через сколько испытаний должен был пройти, дабы его завершить. Трудность первая: нехватка источников и времени, необходимость работать, чтобы добывать себе пропитание («*asquisitio victualium*») — в Средние века врачевание не всегда кормило человека. И только став монахом Сен-Дени, Ригор получил обеспеченный стол и кров и смог серьезно отдалиться работе. Трудность вторая: отсутствие привычки. Его перо не искушено в изящном слого, оно описывает вещи слишком

незатейливо. Наконец, последнее препятствие: сложности добывания правды среди пристрастных суждений и противоречивых настроений, окутывающих ее мраком. «Удивительно, — говорит он, — как изначально род человеческий склонен скорее осудить, нежели рассудить со снисходительностью и с какой легкостью мы видим в вещах их дурную сторону. Все ложь и лицемерие в мире сем. Дурно говорят о тех, кто творит добро; оправдывают тех, кто причиняет зло. Как признаться в этом?». И эти сомнения настолько мучат историка, что однажды, по его словам, он собирался уничтожить свою книгу — плод десяти лет труда; но его аббат (к счастью для Филиппа Августа и для истории Франции) его от этого отговорил. Беспристрастно и некоторой справедливости ради следует отметить у Ригора сильную предвзятость, даже ненависть к евреям. Он упрекает их прежде всего в том, что они овладели половиной Парижа и неумолимо выколачивают долги; а еще в том, что они мучат христианских детей и оскверняют священные сосуды, которые должники оставляют им в залог, — это было распространенным предрассудком. Ригор рассыпается в дифирамбах Филиппу Августу, описывая, как в начале своего правления тот грубо и цинично обирает «проклятых иудеев», *perfidii Judei*. Не менее счастлив он и когда десять лет спустя тот же король Франции велит сжечь в Бри-Комт-Робере восемьдесят евреев, обвиненных в том, что они повесили христианина. В этом Ригор человек своего времени, времени, о котором не следует сожалеть.

Другой портрет монаха-историка: Бернар Итье, библиотекарь и хронист аббатства св. Марциала в Лиможе. Он пробыл монахом сорок восемь лет своей жизни, с 1177 по 1225 год, то есть в течение всего правления Филиппа Августа и немного после. Он последовательно прошел все ступени послушания, вплоть до должности регента певчих. Его хроника, преимущественно местного характера, стремится прежде всего ввести нас в курс того, что происходило в Лиможе и провинции Лимузен. Лишь время от времени Бернар упоминает несколькими краткими словами о великих событиях политической истории того времени, о выдающихся деяниях королей династии Плантагенетов, Филиппе Августе, крестовом походе против альбигойцев, третьем крестовом походе, да и то вскользь — кажется, он абсолютно ничего не знает о битве при Бувине. Тем не менее этот монах не сидел взаперти в своем аббатстве, а, как и многие другие монахи своей эпохи,

ощущает потребность бродить и сменить обстановку. Его видят то в Пуату, где он оставался, как он сам признается, больше трех лет, то в Гранмоне, то в Ключи, Клермоне, Ле-Пюи-ан-Веле, Шез-Дье, в аббатстве св. Мартина в Туре. Почти все это — путешествия паломника. Паломничество было очень удобным для монахов, не привыкших к заточению.

Человек широкого ума, Итье занимался не только тем, что бережно сохранял рукописи своего монастыря, вставлял их в красивые переплеты и покрывал историческими пометками. Он увлекался всем: теологией, философией, этикой, естественной историей, музыкой и латинскими стихами. Но при всем этом — ничего личного или оригинального: реминисценции авторов античности или раннего Средневековья, наборы различных цитат, выжимки из знаний других. Он пишет нечто вроде учебника философии в форме катехизиса, вопросов и ответов. «Что такое философия? Любовь к мудрости, ибо греки называли любовь „фило“, а мудрость — „софия“. Как определяют философию? Как знание человеческих и божественных вещей. На сколько частей делится философия? На три: физика, этика, или мораль, и логика. На сколько частей делится физика? На четыре: арифметика, геометрия, астрономия и музыка. На сколько частей делится этика? Тоже на четыре: осторожность, справедливость, смелость и воздержанность». И далее в том же духе. Здесь присутствует явное стремление уточнить определения и представить их в сжатой форме. Определение человека: «Человек есть животное, которое смеется, обладает разумом, подвержено смерти и способно к добру и злу». Этот монах XII в. выделяет в мозгу участки, связанные с некоторыми свойствами ума. Способность к пониманию, «*ingenium*», находится, как он считает, в передней части головы. И чем это доказывается? Тем, что лекари, говорит он, установили, что человек, хорошо наделенный этой способностью, теряет ее, получив ранение в эту часть головы. А на затылке существует ячейка мозга, «*quaedam cellula cerebri*», где располагается способность к запоминанию. Когда ранена эта часть, исчезает память. Правда, рассуждая таким образом, Бернар Итье ничего не изобретает: он вычитал это, как он признается, у одного античного автора.

А еще он широко использует аллегорю и символизм и в изошренности не уступает монахам, о которых говорилось выше. Гордыня, полагает он, это дерево, ствол которого порождает семь

главных ветвей, являющихся семью смертными грехами, от которых отходят более мелкие ветки — все человеческие пороки. Дабы бороться со смертными грехами и пороками, надо обращаться к Богу — объекту семи просьб воскресной молитвы. Благодаря этим семи просьбам получаешь семь даров Святого Духа; с дарами Святого Духа достигаешь семи добродетелей и в конце концов вступаешь в обладание семью блаженствами. Цифра «7» священна и совершенна. Ее находят повсюду: семь слов Иисуса на кресте, семь покаянных псалмов, семь канонических посланий, семь проклятий, семь звезд, сияющих на севере, семь грамматических правил, семь ступеней восхождения к созерцанию Господа, семь золотых гор, называемых в Греции сестрами, и так далее. Правда, несколькими строками ниже лиможский монах восславляет и число «12».

Тот же схоластический пережест, та же наивность, повсюду видящая чудеса, и та же тенденция к тщательному собиранию различных проявлений сверхъестественного, чудес и предсказаний, что и у прочих авторов. Бернар Итье убежден, что рожденные в Рождество умирают ужасной смертью, и приводит примеры. Если стены лиможского замка в 1203 г. рушатся, то оттого, что накануне близ этой части укреплений молились отлученные священники. В кратком изложении всемирной истории, которое предшествует рассказу о современных ему событиях, правление императора Феодосия озаменовано единственным фактом: рождением в городе Эммаусе, в Палестине, сиамских близнецов. У ребенка было две груди и две головы; и обе части этого человеческого туловища вели раздельную жизнь — когда одна ела и пила, другая ничего не принимала; одна спала в то время, как другая бодрствовала. Порой, однако, добавляет хронист, два ребенка играют вместе и вместе плачут; они прожили два года. Вот и все правление Феодосия! «Однажды в аббатстве Сутерпен монахи на заутрене пели антифон „*Spiritus sanctus in te descendet, Maria*“, когда вся церковь озарилась ярким светом к великому изумлению присутствующих». В 1198 г. умирает епископ Пуатье Гийом, который некогда назначил дьяконом Бернара Итье. Много чудес совершается на его могиле. Бернар немного этим удивлен и спрашивает себя, какие добродетели снискали ему такую честь. Он признает, что прелат был человеком очень милосердным и терпеливым. «Однако же, — говорит он, — поскольку он

вел бездеятельную жизнь, нашлись люди, заключившие, что почитание его реликвий совершенно безосновательно».

И все-таки Итье не был фанатичным поклонником всего, что касается религии и Церкви. Порой он свободно высказывал свое мнение. Под 1209 г. он рассказывает о папском легате, кардинале Талоне, и о вымогательствах, жертвой которых тогда стало французское духовенство: «Легат Талон привел в отчаяние многих (*multos exasperavit*)». Выразительное слово; оно объясняет грубость монахов по отношению к кардиналам, посылаемым Римом во Францию.

Несомненно, инок св. Марциала Лиможского обладает некоторыми достоинствами своего ремесла историка — в целом он точен и достаточно беспристрастен. Он старательно ищет правду, что доказывают отрывки из его истории, где он поправляет сам себя, признавая, что был введен в заблуждение ложными известиями, или сообщает нам о своем недоверии к слухам, которые принимает отнюдь не безоговорочно. Легко веря, как и Ригор, в сверхъестественное, он тем не менее демонстрирует определенный метод в отборе исторических фактов, по крайней мере для своей эпохи. У него есть предпочтения и пристрастия, но выраженные слабо, поскольку он почти всегда ограничивается констатацией фактов, не давая им личной оценки. Можно ли упрекать его за убежденность в том, что святой Марциал, покровитель его аббатства, был апостолом и принадлежал к окружению Христа? Ведь в этом не сомневались все жители Лимузена, и испытывать колебания на сей счет было бы преступлением против своего края. Неудивительно также и то, что Бернар интересуется успехами крестоносцев в Альбигойских войнах. Он их даже охотно приумножает — говорит о тридцати тысячах еретиков, убитых в Безье, двадцати тысячах в Лаворе, что явное преувеличение; но все эти избиения творятся к вящей славе Господа, и хронист по-своему уничтожает еретиков столько, сколько может.

Не любит он и неверных вместе с их главой Магометом, «лже-пророком, утверждавшим, что убивший врага или убитый своим врагом попадает в Рай». И какой рай! Плотский рай, где текут реки меда, вина, молока, где знают только самые низкие наслаждения и все, что исполнено сладострастия и глупостей («*quaedam luxuria et stulticia plena*»), — иными словами, в раю

слишком много женщин, а согласно Бернару, женщина является величайшим врагом мужчины, причиной всех зол и пороков человечества.

Здесь мы сталкиваемся с одной из аксиом церковного воспитания, породившей столько язвительных тирад проповедников и столько страстных сатир моралистов с тонзурами. Наш монах сочинил специальный трактат, в котором собрал целый ряд исторических примеров женщин, спровоцировавших серьезные проступки или опасные ошибки мужчин, а также составил список известных персонажей, погубленных женщинами. Женщина — почти образ Антихриста. Что есть самое большое преступление из всех? Прелюбодеяние, и никакой жалости к тем, кто оказывается виновным в нем. Это нарушение божественных заповедей, утверждает Бернар Итье, не получит прощения ни на этом, ни на том свете.

Все эти монахи, занимаются ли они теологией или историей, в общем — взрослые дети, проникнутые предрассудками. С наивным пылом ищут они исторической правды или анализируют философские и этические идеи, но главным образом занимаются школярскими упражнениями. Так, например, Бернар Итье, историк и философ, слагал латинские стихи и составлял акростихи и загадки. В день, когда ему удалось записать в рукописи своей истории слова, составленные исключительно из согласных, где гласные были заменены точками, он остался очень доволен собой, поскольку изобрел новую игру.

* * *

Наряду с монахами-философами, теологами и историографами были и монахи-поэты. Самым интересным из всех, безусловно, является шампанский монах Гио де Провен. Мы почти ничего не знаем о его жизни, кроме того, что он сам говорит о ней в своей «Библии», написанной между 1203 и 1208 гг., но этого чрезвычайно мало. Мы даже не знаем, в какой обители он был монахом. Из стихов Гио следует, что он носил черное облачение, что его аббатство зависело от Ключи и что он был монахом в течение двенадцати лет, когда сочинял свое произведение. Вместе с тем он утверждает, что провел четыре месяца в Клерво среди цистерцианцев, белых монахов, но вряд ли он сменил свое одеяние или принял их устав. Впрочем, сатирическое остроумие де Провена, как мы увидим, лихо бьет и по черному, и по белому

духовенству. По происхождению он кажется горожанином без состояния: до вступления в монастырь он жил, как многие из труверов скромного положения, переходя со своими стихами и музыкой из замка в замок, от двора ко двору, ибо, если верить ему, то он был якобы лично известен в конце XII в. всем королям и знатным баронам северной Франции и Бургундии. Он даже путешествовал по другим странам, потому что говорит, что видел арагонского короля Альфонса II, иерусалимского короля Амальрика и присутствовал на знаменитом сейме, проведенном в Майнце императором Фридрихом Барбароссой в 1184 г. Этот бродячий поэт, должно быть, совершал путешествия в свите какого-нибудь знатного сеньора за его счет. Пословица «катящийся камень не обрастает мхом» очень подошла бы ему, ибо установлено, что монахом ему пришлось стать на склоне лет, дабы обеспечить себе пропитание и кров. Так в эту эпоху заканчивали многие писатели. Наверняка у Гио было довольно слабо выраженное религиозное призвание, судя по тому, как он рассуждает о своих собратьях, монахах, и обо всех должностных лицах Церкви в целом, а также по отрывкам его «Библии», дающих представление о его личном отношении к обязанностям монашеской жизни. Он явно не был создан для монастыря и умерщвления плоти.

Это не должно нас удивлять. Сегодня монахами становятся по горячему желанию, но не так было в Средние века; во времена Филиппа Августа число людей, заключенных в монастыри вопреки своему желанию, монахов и монахинь поневоле, было значительным. Не надо думать, что насельники монастырей были исключительно благочестивыми и раскаявшимися грешниками. Веры и покаяния оказалось бы недостаточно для заселения аббатств и бесчисленных приорств, покрывавших тогда земли Франции. Вспомним, что в каждой благородной семье (и таких семей было тогда множество) имелись сыновья и дочери, которых родители с колыбели предназначали к монашеской жизни; что многие младшие сыновья без состояния и незамужние дочери добровольно заключали себя в монастырях — в обмен на малость земли или какой-то доход они обретали там относительно верное убежище и хлеб на каждый день. Таким образом слабые уклонялись от борьбы за существование. Вспомним также, что в монастырь вступали и из чисто амбициозных соображений, зная, что из монастыря ведет дорога к епископству и

самым высоким церковным должностям. Наконец, припомним, что аббатства служили даже исправительными домами — в них держали раскаявшихся преступников, для которых монашеская жизнь становилась искуплением, а монастырь — темницей.

Иначе было с Гио де Провеном. Однако и он, подобно многим другим, похоже, не испытывал любви к своему ремеслу. У этого монаха совершенно отсутствует религиозный пыл, и он обнаруживает это самым простодушным образом, рассказывая нам о самоистязаниях, которыми занимались в картезианском ордене, и прямо-таки с ужасом перечисляя их: «Ни за что в мире не хотел бы я быть картезианцем — их устав слишком суров. Каждый монах обязан сам себе готовить, есть в одиночестве и спать в отдельной келье. Когда я вижу, как они раздувают огонь и мешают в печи, то думаю, что это не дело почтенных людей. Не знаю, что мыслит об этом Господь, но что до меня, то я не хотел бы жить в уединении даже в раю. Для меня не рай там, где нет товарища. Нехорошо быть одиноким: одиночество — дурная жизнь, часто порождающая меланхолию и раздражительность».

Есть еще одна вещь, которую Гио не любит в обителях, — то, что там не едят мяса и не дают его даже больным. Эта строгость устава его возмущает: «Эти люди — просто убийцы больных: уж я бы не позволил, чтобы бедный человек подле меня скорее умер, чем получил мясо. Забывают, что ученики Иисуса Христа ели мясо, и сам Он им сказал: „Что бы вам ни поставили на стол и каковы бы ни были блюда, кои Господь вам посылает, не думайте, откуда приходит ваша еда и ваше питье“». Гио не считает, что отсутствие мяса необходимо для добродетели монахов. Он слышал от умных людей, что постная пища более вредна, так что надо давать мясо больным, ежели они его хотят. «Определенно, — заключает он, — я не люблю этот орден, и если бы я в него вступил, то покинул бы в первый же день. А ежели бы мои начальствующие не пожелали меня отпустить, уж я бы сумел отыскать стену, чтобы перелезть».

Малопригодные для монаха настроения, ибо, хорошенько поискав, мы не найдем монашеской конгрегации, в которой Гио де Провен захотел бы жить. Правда, ему нравятся тамплиеры, и он предпочел бы, по его словам, орден Храма ордену Ключи. Но и орден тамплиеров имеет в его глазах крупный недостаток — ведь братья там обязаны сражаться, а уж чего меньше всего в нашем монахе, так это воинственности. «Тамплиеров очень почитают в

Сирии, турки ужасно их боятся; они защищают замки и укрепления, а в битве никогда не бегут. Но вот это-то меня и удручает, и, если бы я принадлежал к такому ордену, то хорошо знаю, что удрал бы! Я не стал бы дожидаться ударов, ибо отнюдь не стремлюсь к ним. Они сражаются чересчур отважно. Я же не хочу быть убитым; лучше прослыть трусом и сохранить жизнь, чем встретить самую славную в мире смерть. Я бы с удовольствием отправился проводить богослужение с ними, это бы меня нисколько не затруднило, и был бы чрезвычайно аккуратен при службе, но только не в час сражения: там меня бы точно не было».

Трудно быть более искренним. Этот клюнийский монах не считает, что и в Ключи все самое лучшее: нельзя разговаривать в трапезной; всю ночь братья голосят (это его выражение) в церкви, а днем без отдыха работают. Только в трапезной можно некоторое время передохнуть. Но там другая неприятность: «Нам приносят тухлые яйца и неочищенные бобы; что меня частенько повергало в гнев, так это слишком разбавленное вино: в него чересчур много добавляют того, что положено пить быкам. Нет, от монастырского вина я никогда не опьянею. В Ключи лучше помереть, чем жить». И Гио заканчивает, вздыхая над уставом каноников св. Августина: «Будь благословен святой Августин! У его каноников в изобилии добрые куски и хорошие вина».

Теперь мы знаем, с монахом какого рода имеем дело. Наивное простодушие обладает своим очарованием и ясно показывает, что Гио является полной противоположностью монаху-аскету и фанатику. Кроме того, у него достаточно глубокое понимание сути вещей. Идея, выразительно изложенная, заключается в том, что дела монастырской жизни ничего не стоят, если им не сопутствует любовь и милосердие: «Община, построенная на милосердии, должна быть преисполнена милосердия. Монах может страдать от великой боли, читать, петь, работать, поститься — но если в нем нет милосердия, то, по-моему, ему ничего не зачтется. Он подобен пустому дому, в котором пауки ткут и развешивают свою паутину, но быстро уничтожается то, что они направили. Не пение и посты спасают душу, но милосердие и вера». Следует отметить провозглашение этого принципа: он показывает, что Гио де Провен стоял выше своего времени, когда религия почти полностью заключалась в ритуалах, а общая вера воплощалась в повседневных обязанностях исполнения культа, особенно в почитании святых и реликвий, то есть в материальной практике.

Неудивительно, что, проникнутый подобными принципами, наш монах, рассматривая различные конгрегации, включая свою, изощряется в сатирическом остроумии — беззлобном, ибо в начале своей поэмы он заявляет, что расскажет всю правду, не нападая на личности, и держит слово. При всем том следует признать, что Гио не снисходителен по отношению к монахам всех цветов, своим собратьям, и что его милости не снискал ни один орден. То, что он говорит о каждом из них, его сатирические преувеличения представляют огромный интерес для нашего исследования. Он начинает с черных монахов Ключи и упрекает аббатов этого ордена в том, что они плохие управляющие, эксплуатирующие приорства вплоть до полного разорения, что они поселили в монастыре трех старух, уродливых, грязных и жестоких: предательство, лицемерие и симонию. Потом он переходит к белому ордену — цистерцианскому, где жизнь тяжела и меньше братолюбия. У цистерцианцев нет никакого сострадания друг к другу: они думают только о том, чтобы стяжать землю и деньги, жаждут всего, что видят, и запугивают бедных людей, которых лишили достояния и заставили нищенствовать на дорогах. Простые монахи у них несчастны, но настоятели монастырей, аббаты, келари обходятся друг с другом хорошо. У них есть деньги, мясо, жирная рыба. Там чуть ли не лазарет: они пьют прозрачные вина, а мутные отсылают в трапезную. «Это братство наоборот, — говорит Гио, — я бы предпочел оказаться в Персии, нежели в этом мерзком безжалостном монастыре».

Мы уже знаем, в чем наш монах упрекает картезианцев — в чрезмерной жестокости по отношению к больным. Впрочем, это все, что он о них говорит худого. Орден Великой Горы (Гранмона) устроен так, что больше ему по душе, ибо, если послушать его, там меньше, чем где-либо, умерщвляют плоть: монахи разговаривают в дортуаре, в церкви, в монастыре; они любят хорошую рыбу, горячие и хорошо сдобренные специями подливки. Ночью, ложась спать, они хорошенько моются и тщательно расчесывают бороды; «они их даже закручивают и заплетают в три косички, чтобы днем, когда они появятся на людях, бороды были красивые и блестящие». Но что было плохого в Гранмоне и почему Гио не хотел бы там оказаться, так это то, что приказы монахам и священникам отдают братья-послушники, наполовину миряне. И когда настоящие монахи противятся, послушники их бьют — что очень похоже на телегу, поставленную перед лошадью.

Отсюда раздоры и беспорядки, глубоко возмущающие автора. Этот намек на междоусобные войны, которые взбудоражили орден Гранмона в эпоху Филиппа Августа и наделали тогда столько шума в христианском мире, любопытен и подтверждает то, что нам сообщают собственно исторические документы. К нему мы еще вернемся.

А вот белые каноники Премонтре. Для Гио это полностью разложившийся орден: там ссорятся, а монахи бьют своих аббатов; у них большие владения, которые они вот-вот потеряют; по уши в долгах, они только и делают, что продают и закладывают. «То, что я говорю о них, — добавляет поэт, — не может причинить им зла: они и без посторонней помощи губят себя сами». Тамплиеры в своих белых плащах, на которых сверкает крест, — храбрые рыцари, хорошо содержащие свои дома и творящие доброе правосудие; но у них два порока, достойных сильнеешего порицания, — алчность и гордыня. Что касается госпитальеров ордена св. Иоанна, то Гио их видывал в Иерусалиме; однако они позабыли свое имя: очень богатые, они не оказывают больше гостеприимства и не ведают милосердия. К другому роду госпитальеров, братьям-послушникам ордена св. Антония, поэт благоволит не больше. Для него это проходимцы и шарлатаны; он показывает, как повсюду, от Шотландии до Антиохии, они собирают пожертвования для своих лазаретов, с колокольчиком, подвязанным на шее у коня, и из всего собранного ни единого су не дают церквям. В каждом лазарете по пятнадцать послушников, толстых и жирных, владеющих одни пятьюстами, другие — тысячею марок; они торгуют и даже занимаются ростовщичеством; у них жены и дети, и «ими населена, — говорит Гио, — вся страна»; они выгодно выдают замуж своих дочерей. Что же до св. Антония, то он заботит их не больше, чем прошлогодний снег. Наконец, дело доходит до плотника Дюрана, основателя братства «белых капюшонов», или «капюшонов Пюи-ан-Веле», о чем мы прочитали выше в полупоэтической истории, и он также становится жертвой безжалостной критики. Гио считает его жуликом и шутком, который, попросту сколачивая себе состояние, продавал знаки отличия братства легковверным людям. «Он сумел хорошо провести свой народ — обманул почти двести тысяч».

Таков дерзкий бенедиктинец. Впрочем, он не щадит и белое духовенство. Приходские священники, каноники, епископы, архиепископы — все подвергаются тщательному разбору. Он

обвиняет прелатов в стяжании денег и почестей, спекуляции церковными ценностями, в гордыне и алчности. Но его сатира становится особенно неистовой и даже злобной, когда он принимается за кардиналов и Папу. И это показывает, до какой степени ожесточенности постепенно довела умы продажность Святого престола и его представителей. Припомним цитировавшиеся выше слова монаха-хрониста по поводу кардинала Талона, посланника Иннокентия III: «Galo legatus multus exasperavit». Гио де Провен лишь перефразирует лиможского монаха, когда говорит о Риме и римлянах: «Ах, Рим, Рим! Когда прекратишь ты уничтожать людей! Ведь ты постоянно убиваешь нас. Христианство отступает, все погибает и приходит в смятение, когда появляются кардиналы. Они грядут, охваченные вожделением и алчностью, исполненные симонией, безрассудно забыв веру и религию. Они продают Бога и Его Матерь, все попирая и все пожирая. Что делают они с золотом и серебром, увозимым по ту сторону гор? Если бы еще они тратили его на дороги, лазареты и мосты!». Гио не осмеливается обвинять самого Папу в соучастии в ограблении христианского мира; но он упрекает его в том, что тот закрывает глаза и допускает подобное. Он советует герцогам, принцам и королям не позволять подчинить себя Риму — совет, которому Филипп Август и его знать не замедлят последовать, если уже не последовали, ибо именно в 1205 г. король и знатные французские бароны выразили протест в виде скрепленного печатями послания против вымогательств и злоупотреблений властей Святого престола. И поэт заканчивает таким проклятием: «Рим высасывает нас и пожирает; Рим все разрушает и убивает; Рим — источник лукавства, источник всех дурных пороков. Это садок, полный нечисти. Почему мир не набросится на римлян, вместо того чтобы идти воевать с греками?».

Мы видим, что Гио несколько не хватил через край. Во времена Лютера о Риме и папстве будут говорить то же самое.

С горечью де Провен говорит о политике; он добряк и хитрец, когда справедливо и несправедливо обрушивается на некоторые социальные категории и различные занятия. Старый трувер, он исполнен уважения к королям и знатым баронам — с гордостью перечисляет длинный список всех тех, с кем познакомился во время своих странствий, однако возвещает, что нынешние государи много мельче тех, кто жил во времена его молодости — они не держат таких блестящих советов, как некогда, они больше не

умеют быть щедрыми. Впрочем, это общее место в речах всех труверов. И потом, сеньоры совсем уж неправы, покровительствуя евреям и привлекая их на свои земли. Гио ненавидит евреев, как и все подобные ему, но особо он упрекает государей, использующих этих ростовщиков и извлекающих выгоду из их операций, вместо того чтобы выставить их вон: вероятно, это намек на поведение Филиппа Августа и многих правителей феодальных владений, особенно графов Шампанских.

Любопытная вещь: будучи монахом, Гио де Провен не слишком суров к женщине. Он говорит, что она временами лжива, легкомысленна, как ветер, часто меняет свои решения и в один день забывает то, что любила семь лет. Но все это простительно. Для него женщина — загадка, которая его пугает, тайна, в которую не стоит вникать: «Самые мудрые заблуждались, осуждая и порицая женщину. У нее никогда не было хозяина. И кто может похвастать, что знает ее? Когда ее глаза плачут, ее сердце смеется; она очень мало думает о том, что говорит. Я вспоминаю Соломона, Константина и Самсона, которых провели женщины, и воистину я скорее бы пришел к познанию Солнца и Луны, этих двух чудес, нежели к выяснению того, что такое женщина. Есть люди, изучающие астрономию, некромантию, геометрию, законы, медицину, теологию, музыку. Но я никогда не видел, чтобы кто-то, ежели он не безумец, избирал в качестве предмета изучения женщину».

Гио удовлетворяется тем, что в конце своей поэмы нападает на теологов, «devins», как он их называет. Он расхваливает теологию, «искусство, венчающее душу, искусство, всеми почитаемое», но мало ценит тех, кто ее изучает. У них хорошо подвешен язык, но думают они только о том, как получить доходы; указывая праведный путь другим, они сами не служат примером. Что же касается профессоров права, легистов, то они помышляют лишь о крючкотворстве, мошенничестве, равно защищают в суде как зло, так и добро, и делают все, чтобы получить хорошие прибыли. Наконец, доходит очередь и до «fisiciens», то есть лекарей, на которых наш монах, кажется, имеет личный повод жаловаться, ибо он осыпает их насмешками, ставшими позднее традиционными. «Они убивают огромное число больных и до изнеможения изыскивают болезни у всех; я попадал в их руки, но сторонюсь их общества, когда чувствую себя хорошо. Позор тому, кто отдается им во власть!». И он высмеивает их лекарства:

«Я бы предпочел жирного каплуна, чем все их коробки», считая, что те, кто выходит из Монпелье, продают свои настойки слишком дорого. Впрочем, он признает, что, ежели есть плохие лекари, то существуют и очень хорошие, умеющие ободрить больных: «Когда человек страшится смерти, он нуждается в великом утешении», и благодаря скорее доверию, которое они внушают, нежели их снадобьям, происходит выздоровление. «Когда я заблеваю, — заключает Гио, и этим заканчивается его «Библия», — я позволяю приводить их ко мне, ибо их присутствие благотворно влияет на меня; но когда болезнь отступает, я бы пожелал, чтобы галера увезла их со всей их „физикой“ прямо в Салоники, подалее, чтобы их никогда больше не видеть».

Этот монах интересен и тем, что сообщает нам о самом себе, и тем, что говорит о других. Настоящий бюргерский ум: у него насмешливое здравомыслие горожанина, для которого всякий избыток — уже недостаток, и он шутками мстит за себя монашеской скуке.

В этом Гио де Провен немного походит на своего современника, овернского монаха, известного в провансальской литературе под именем монаха Монтодона. Так его и следует называть, поскольку мы не знаем его имени: Монтодон — приорство, которое он возглавлял. Необыкновенный монах! Образчик тех, кто проводит свою жизнь вне монастыря и возвращается туда лишь затем, чтобы отдохнуть от мирских треволнений. К тому же он последний в роду владельцев замка Вик-сюр-Сер в Оверни. Его отец совсем молодым был заключен в соседнем аббатстве Сен-Жеро д'Орийяк; аббат доверил ему приорство Монтодон. Но наш монах был поэтом своеобразным и язвительным; ленники области оспаривали его друг у друга, и слава о нем не замедлила распространиться в Оверни. Он вел жизнь трубадура, продолжая носить монашеские одежды, и обошел из замка в замок все южные провинции — по его словам, он повидал Перигор, Лимузен, Керси, Руэрг, Жеводан, Прованс, Тулузен, Гасконь, Пуату, Ангумуа, Форе и даже Испанию, принимая участие во всех рыцарских праздниках, и получив даже в качестве судьи приз — ястреба — на торжественном состязании в Пюи-ан-Веле. Как воспринимал аббат Орийяка столь немонашеский образ жизни своего подчиненного? По-видимому, он не слишком осмеливался что-то возражать, поскольку монтодонский монах время от времени возвращался в свое приорство, куда передавал подарки, которыми

его осыпали. Под конец он получил приорство Вильяфранка в Руссильоне, на земле своего друга, арагонского короля Альфонса II, и последний, добавляет провансальская биография, «наказал монаху Монтодона есть мясо, принимать дам, петь и слагать стихи».

Вот все, что мы знаем о жизни монаха Монтодона, и из этого следует, что такой монах вовсе не был образцовым. Впрочем, это заметно и по его стихотворениям, многие куплеты которых совершенно непереводимы: слова их не только на латыни, но и на провансальском абсолютно непристойны, а монах из Монтодона — как раз из тех трубадуров, которые охотнее всего презирают приличия. Как и все его собратья, он сочиняет любовные песни, обращенные к даме сердца, но сейчас нас больше всего интересуют не они. Этот монах прежде всего сатирик, и его талант особенно раскрывается в сирвентах. В одной из них он говорит о бедах всех трубадуров своего времени, включая себя самого. Он упоминает себя в третьем лице, называясь «лжемонахом Монтодона» (исключительно точное выражение), монахом, ссорящимся со всеми, оставившим Бога и монастырь ради застольных удовольствий, стихи и песни которого хороши лишь для того, чтобы развеять их по ветру. Вместе с тем он, по-видимому, испытывает некоторые сомнения, так как в одном из своих отрывков пытается оправдаться в том, что стал столь нерадивым монахом, и доказать, что сам Бог позволяет такое поведение:

Однажды я очутился в раю, оттого что был весел и радостен и очень любил Господа, коему все повинуется — земля, море, равнины и горы. И Бог мне сказал: «Монах, зачем ты пришел сюда и как ты вернешься в Монтодон, где у тебя много друзей?» — «Господи, я оставался в монастыре год или два, что стоило мне потери дружбы баронов; но Ты единственный, кого я любил и кому хотел бы служить». — «Монах, — отвечает Бог, — я не думаю, чтобы ты Мне доставил удовольствие, затворившись в аббатстве. Зачем прекращать войны и песни? Я предпочитаю видеть тебя поющим и смеющимся. Государи становятся при этом щедрее, и приорство Монтодон только выиграет от этого».

Вот так монах Монтодона заранее извинял себя за нарушение устава.

Вместе с тем далеко не все стихотворения доносят до нас его идеи и чувства так же хорошо, как у Гио де Провена его «Библия»,

ибо они немногочисленны, а крайняя лаконичность стиля делает их смысл неясным. Многие отрывки он посвятил насмешкам над женщинами, которые красятся, и немного натянуто шутит, что святые в раю возбуждают против них процесс, ибо те полностью завладели румянами, белилами и тушью, так что ничего не осталось для раскрашивания церковных изображений и статуй. Ряд других стихотворений относится к жанру, почти единственным представителем которого в провансальской литературе является монах Монтодона, жанру «тоски» (enneg). Он состоит из перечисления всего, что поэт не любит или что наводит на него тоску. Стихи могли бы открыть нам горизонты вкусов или предпочтений монтодонского монаха, хотя и в негативной форме, если бы там обнаружились некоторые наблюдения морального плана, интересные с психологической точки зрения, но это не совсем так. Судите по частичному переводу песни: «Что наводит на меня тоску, так это хороший рассказчик, оказывающий дурные услуги; человек, который постоянно жаждет смерти своего ближнего; лошадь, которую тянут под уздцы; знатный человек, слишком гордо несущий свой щит, не получивший ни единого удара; бородатый кюре или монах; клеветник с отточенным кинжалом. Чего я не люблю, так это скучающей дамы, бедной и гордой одновременно; мужа, слишком любящего свою жену; рыцарей, которые важничают за пределами своей страны, но коих дома толкуют, как в ступке. Что мне не нравится, так это плохая ловчая птица, мало кушанья в большом котле и много воды в стакане вина, встреча с хромым или слепым на своем пути. Не люблю я также и плохо зажаренное жесткое мясо, священника, что лжет и нарушает клятву, старуху дурных нравов. Мне не нравится скакать в гололед и есть без огня в холод». И так далее. Это перечисление неприятных вещей в целом достаточно банально и мало сообщает нам о внутренних и личных чувствах автора. Другая песня, которая могла бы служить парой предыдущей, написана на противоположную тему: монах составляет скучный перечень приятных ему вещей. «Мне очень нравятся шутки и веселость, красивые поступки, щедрость, подвиги, отважная и куртуазная дама, умеющая одарить добрым отдыхом. Очень нравится мне видеть человека богатого и щедрого, спать, когда дует ветер и гремит гром, и иметь мясистого лосося на обед. Люблю также находиться летом близ источника или ручья, когда луга свежи и зеленеют, и щебечут птицы. Очень нравится мне

быть рядом с хорошим товарищем, снова чувствовать ласки моей милой и видеть несчастными своих врагов».

Все это, надо признать, не слишком по-монашески; приор Монтодона в своих вкусах не поднимается выше довольно заурядной посредственности, присущей большинству знатных людей его страны и эпохи. Но, во всяком случае, он довольно хорошо представляет тип монаха поневоле, многочисленную тогда категорию сыновей феодалов, которых отцы осудили на посвященную жизнь и которые по возможности старались не принуждать себя к выполнению обязанностей, избранных ими не по доброй воле.

ГЛАВА VII. МОНАШЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Эпоха Филиппа Августа была не самым благоприятным в истории Средневековья периодом для основания новых аббатств. Начиная с середины XII в. пыл частных лиц и феодальных государств к основанию подобных учреждений в известной степени охладел: уже выросли грандиозные здания бенедиктинских общин, и Франция задолго до Филиппа Августа покрылась сетью монастырей; иными словами, прежнее монашеское движение, заставлявшее по призыву могущественных реформаторов времен борьбы за инвеституру как по волшебству вырастать обители, сельские монашеские общины, деревенские и городские монастыри, — движение это прекратилось, и плодотворный период созидания закончился. Но, с другой стороны, в четыре последних года правления Филиппа Августа начнет распространяться монашество особого рода — монашество нищенствующих орденов, одарившее Францию Людовика VIII, Людовика Святого и Филиппа Красивого массой доминиканских и францисканских монастырей и церквей.

Нельзя сказать, чтобы между 1180 и 1220 гг. не основывались монастыри. Вера, хотя и менее горячая, чем в XI и XII вв., продолжала оказывать влияние, и верующие, все еще уверенные в действенной силе монастырских учреждений, не переставали созидать пристанища для монахов и обеспечивать их существование дарами. Возьмем любую провинцию, например, Мен. В одной только области мы находим в правление Филиппа Августа четыре новооснованных монастыря, из которых три значительных: в 1188 г. сеньор д'Ассе создает Шампанское аббатство для белых монахов-цистерцианцев; в 1189 г. Бернар, сеньор Ферте, основывает аббатство Пелис, населенное черными братьями; в 1204 г. благодаря щедротам знатного барона Жуэла III, сеньора Майеннского, возникает аббатство Фонтен-Даниэль; наконец, в 1218 г. Рауль де Бомон основывает новый монастырь Луэ, зависящий от аббатства Кутюр в Ле-Мане.

Перенесемся на небольшое расстояние от Парижа, во французский Вексен. Здесь близ дороги, ведущей из Шомона в Три, недалеко от Жизора и его феодальной крепости, в приветливой долине еще заметно обширное строение, оставшееся от женского

монастыря, сооруженного при Людовике XIII и Людовике XIV, — аббатства Гомерфонтен, где хоронили сеньоров Шомон-ан-Вексен. Цистерцианское аббатство было основано в 1207 г. Гуго де Шомоном, самым могущественным сеньором округи, и акт об основании дошел до нас. Вот его основные статьи: «Я, Гуго де Шомон, с согласия моей жены Петрониллы, моих сыновей Жана, Жака и других, во имя спасения моей души, души моей жены, моего отца Талона и матери Матильды, во спасение душ всех моих предков и наследников предоставляю следующее дарение...». Первые строки отражают религиозные побуждения основателя — этот владелец замка думает не только о себе и о своем благополучии в мире ином, но и о благополучии всех своих близких и даже о своем будущем потомстве, ибо хочет обеспечить всем им райское блаженство. И кому же он подносит этот дар? «Богу, — говорит он, — и монахиням цистерцианского ордена». Он отдает им землю Гомерфонтена с прилегающим фруктовым садом, дабы они несли службу Господу, Пречистой Деве, св. Иоанну Крестителю, св. Иакову, св. Евстахию и всем святым. Таким образом, Гуго де Шомон не довольствуется одним патроном для основанного аббатства, как чаще всего случалось при аналогичных обстоятельствах: гораздо лучшая гарантия — покровительство многочисленных, поименно названных святых; даритель призывает даже покровительство всех святых в целом (*omnium sanctorum*). Далее следуют распоряжения, дополняющие основное положение о дарении:

Я отдаю названным монахиням десятую часть угрей в моих садках Гомерфонтена и Латенвиля, каждый год по сто су в течение десяти лет, дабы позволить им строить монастырь, и постоянную ренту в три мюида зерна с моей гомерфонтенской мельницы.

Будущность монахинь обеспечена; но они стремятся предусмотреть в хартии меры предосторожности: «Если вышеназванная мельница будет разрушена, сгорит или не будет больше работать, мы — я и мои наследники — обязуемся поставлять эти три мюида зерна, забирая их с других мельниц». Таков смысл хартии об организации аббатства Гомерфонтен, подписанной основателем в 1207 г. в присутствии руанского каноника, соседнего аббата и многих других свидетелей. Но, надо полагать, первое дарение показалось недостаточным, ибо двумя годами

позднее Гуго де Шомон совершает в пользу нового аббатства еще один акт щедрости: помимо дома и сада в Гомерфонтене, он дарует им два соседних сада, лес, право рыбной ловли один день в году, двадцать су ренты с чинша Шомона, виноградник и десятину с какой-то местности. Потом от семьи Шомон и других соседних семей поступают дополнительные пожалования: в 1210 г. — от двух пришлых крестьян, в 1212 г. — двадцать два морга земли; в 1213 г. — земля и десять парижских су чинша; в 1218 г. — десятая часть леса; в 1219 г. — три морга земли; в 1220 г. — рента в два мюида зерна; в 1223 г. — дом в Гомерфонтене. Мы видим, как постепенно образуется аббатский домен. Дарения из других мест продолжали накапливаться в течение всего XIII в. Они состояли не только из земель, лесов, доходов в зерне или деньгах: в 1252 г. графиня Булонская делает монахиням Гомерфонтена подарок — ренту на черный день в пятьсот сельдей. Вот из каких соображений и на каких условиях основывали аббатства во времена Филиппа Августа. И речь здесь идет только о маленькой общине монахинь, скромном дочернем доме могущественного цистерцианского аббатства: ее домен и права распространяются лишь на весьма ограниченный район, расположенный вокруг строений и монастырской церкви. Но каким бы — малым или великим — не было монашеское заведение, чувства, вдохновлявшие основателей и благодетелей, и средства, использовавшиеся для создания монастыря и увеличения его домена, совершенно одинаковы.

Верующие не только основывают новые обители, но и продолжают обогащать — правда, с меньшим рвением, чем прежде — уже существующие. С 1164 по 1201 гг. Клерво, аббатство св. Бернара, получило, то есть в среднем немногим более двадцати пяти в год. С 1201 по 1242 гг. цифра начинает снижаться: она составляет 522, что дает в среднем чуть больше тринадцати. В Волюизане, одном из самых старых аббатств цистерцианского ордена, основанном в 1127 г., на 114 хартий, содержащихся в картулярии между 1180 и 1213 гг., 60 упоминают пожертвования, сделанные монахами, что доказывает, что христианский пыл, если и уменьшился в силе, все-таки не совсем угас. Здесь мы также видим, как расширялся монашеский домен и росла год от года казна. Они получают всякие виды собственности и доходов: земли, леса, луга, виноградники; чинши или ренты в деньгах; ренты натурой — вином, зерном, овсом, ячменем,

стадами, вплоть до железа и угля; права на выпас, на помол, на добычу угля, юрисдикционные права. Короче говоря, монахов обогащают и всячески заботятся об их существовании.

Какие же побуждения двигали жертвователями? В сущности, всегда одни и те же. Вот дама, одаривающая Волюизан «ради спасения своей души, души своего мужа, детей и предков»; другие делают подношения «во искупление своих грехов», третьи — «оттого, что уезжают в крестовый поход». В 1216 г. один знатный человек, «собираясь отбыть в поход против альбигойцев» и следуя совету своих друзей, составил в присутствии священника завещание с вручением заботы о своей душе, и священник принуждает его отдать этому аббатству шесть участков земли и три сетье пшеницы из доходов с некой местности. Надо сказать, что многие из этих даров входят в силу только после смерти: они сделаны *post mortem* жертвователя. Но монах терпелив, он умеет ждать, когда-нибудь он все равно вступит во владение.

Известна пословица: у кого земля, у того и война. За правление Филиппа Августа аббатство Волюизан выдержало не менее четырех судебных разбирательств: процессы против соседних церковных учреждений, против соперничающих епархий; против частных лиц, в особенности тех, кто пострадал от узаконенного родительского дара и отказывался отдавать часть своего наследства.

Одно из таких столкновений, в 1209 г., особенно любопытно. Аббатство Волюизан в судебном порядке преследовалось аббатством Параклет: обе общины оспаривали наследство одного священника по имени Жирар. Этот священник являлся духовником аббатисы и монахинь Параклет и был предан земле на кладбище Волюизана. Поэтому монахи сочли позволительным забрать себе все принадлежавшие усопшему вещи, в особенности одежды, размеченный псалтырь и сумму в тридцать су провенской монетой. Но аббатиса Параклет обратилась в суд; вынесение решения по делу было поручено высшей властью двум третейским судьям, и монахам Волюизана пришлось возвратить взятое. В целом, дела, которые они возбуждали против других религиозных общин, могли оборачиваться не в их пользу; но когда они имели дело с частными лицами-мирянами, то почти всегда выигрывали тяжбу; часто не происходило даже судебных прений, ибо в Средние века долго раздумывали, прежде чем судиться с аббатством — ведь это означало судиться со святым, реликвиями

которого владел монастырь, а стало быть, и с самим Богом. Христианин, заботящийся о спасении своей души, в конечном счете почти всегда отказывался от своих притязаний, или же монахи за небольшую сумму добивались отказа от иска.

У аббатств был и другой источник обогащения — владение приходскими церквями. В 1185 г. епископ Труа Манассия, детально перечисляя приходские доходы, получаемые в его епархии аббатством Монтье-ан-Дер (Верхняя Марна), пишет братии: «У вас в Росне есть право назначать приходского священника. Каждое воскресенье он получает в качестве приношения деньги, но прибыль от всех прочих публичных месс идет вам. На церемонии вознесения молитвы после родов женщин все, что кладут на поднос, остается ему, остальное же вам. Три дня в неделю, по понедельникам, четвергам и субботам, если священник служит мессу для частных лиц, приносимые деньги предназначаются ему. Он получает также доход с исповеди и с подношений брачующихся. Но он не имеет никаких прав на десятину — она принадлежит вам. Из денег, принесенных в качестве милостыни, священник получает 12 денье, излишек должен делиться поровну между ним и вами». Те же детали приведены для каждой из двадцати других церквей, принадлежавших монахам Монтье-ан-Дер только в диоцезе Труа; очевидно, что, помимо вознаграждения за требы, которое они делили с приходским священником, монахам принадлежала либо десятинная целиком, либо большая часть ее, то есть самый значительный приходской доход. Это были легкие деньги, поскольку всю работу выполнял священник, а аббатство брало на себя труд лишь положить деньги в карман. Так будет на протяжении всего Средневековья и всего «старого режима».

Хотелось бы знать — неужто монахи принимали столько приносимых им даров и милостынь в деньгах и недвижимости, не заботясь об их происхождении и не спрашивая себя, честно ли приобрел жертвователю оставляемое им имущество. Весьма вероятно, что подобная щепетильность не обременяла монахов того времени, по тому простому соображению, что значительная масса верующих считала дар святому или Богу делом благочестивым, самим по себе оправдывающим все. Не важно, чист был или нет источник щедрости: в момент одаривания церкви даже бесчестно приобретенным имуществом грех искупался.

Письмо, которое некий Симон Намюрский адресовал в первых годах XIII в. Анри де Виллье в ответ на вопрос по этому деликатному поводу, вводит нас в мир чувств и морали монахов того времени. Симон начинает, как всегда, со ссылки на авторитет одного из отцов Церкви, св. Иеронима, сказавшего: «Постережемся получать что-либо из рук тех, кто обогатился слезами бедных, ибо не должно, чтобы нас причисляли к вора́м, и не след, чтобы о нас говорили: „Видеть вора — то же самое, что убежать с ним (*si videbas furem, currebas cum eo*)“». Итак, заключает Симон, что бы сказали о монахах, если бы они принимали без разбора из любых рук? Существует четыре вида имущества, из которого нельзя вносить пожертвования: добытое симонией, ростовщицеством, воровством и разбоем. Положим, ростовщик желает сделать вклад в монастырь. Надо сначала его предупредить, чтобы он возвратил то, что несправедливо приобрел. Именно так сказал Товий Анне, когда ему принесли агнца: «Смотри, чтобы сие не было от вора». Но если ростовщик или вор отвечает: «Я не знаю, откуда появилось у меня это добро и кому я должен его возвратить», что делать тогда? Симон Намюрский не колеблется: «В этом случае нужно предложить ему отдать это Церкви, и тогда монахи с позволения епископа смогут принять добро». Это распространяется на случай, когда жертвователю владеет только несправедливо нажитым имуществом. Но бывает, что его собственность — смешанного характера (*mixta bona*), и одно досталось честно, а другое бесчестно. Именно тут находят свое применение тонкости схоластической казуистики: в случае смешанной собственности, говорит Симон, монахи могут принимать пожертвования всегда; они исходят из предположения, что подносимый предмет принадлежит к честно нажитому имению, потому что узнать обратное невозможно.

Другая рекомендация монахам — не покупать землю или собственность, если прошел слух, что продавец пользуется ею не по праву, например, когда ее оспаривают наследники или когда известно, что ее могли бы оспорить на вполне законном основании, если наследники осмелятся предъявить требования. И здесь казуист продолжает демонстрировать изощренность. Предположим, говорит он, что ростовщик владеет несправедливо приобретенной землей: могут ли купить ее монахи, допуская, что ростовщик не знает, кому он мог бы ее вернуть? По этому пункту существует два противоположных мнения.

Одни говорят, что монастырю позволено получить эту землю в качестве пожертвования, ежели ростовщик желает поднести ее в дар, но покупать ее у него запрещено. К чему подобные различия? А к тому, что ростовщик передает ее Церкви посредством дара, но не продажи. Иные утверждают, что монахи (даже в подобном случае) могут ее покупать, но, добавляет Симон, «это кажется мне неприемлемым». Здесь его письмо резко обрывается; нам недостает конца документа, и очень жаль: хотелось бы увидеть, каковы пределы этой изошренной мысли по столь важному и сложному вопросу, как законность монашеских приобретений.

Изучая картулярии аббатств той эпохи, все еще наполненные договорами о дарениях и покупках, очень трудно поверить, что монахи, приобретая каждое из них, предпринимали труды по расследованиям и героически отклоняли щедроты сомнительного происхождения. Их постоянно видят ведущими тяжбы против наследников; они выигрывают процессы или заключают полюбовные соглашения, но в конечном счете почти всегда вступают во владение предметами спора. Однако справедливости ради следует заметить, что в эпоху Филиппа Августа церковную власть начали тревожить некоторые скандалы. Один статут генерального капитула цистерцианского ордена в 1183 г. запрещает монахам принимать дары, исходящие от индивидуально отлученных лиц. А другой статут того же капитула в 1201 г. воспрещает получать пожертвования из рук тех, кто неприкрыто занимается ростовщичеством. Хотелось бы знать, в какой мере соблюдались эти предписания. Наивысшая щедрость для верующих того времени — отдать в монастырь самого себя или члена своей семьи с частью имения или целой вотчиной. Дары такого рода, очень частые в эпоху раннего феодализма, в X и XI вв., при Филиппе Августе стали гораздо менее обыденными. Вера тогда была уже не столь горячей, и люди больше не решались так легко, как прежде, передавать Церкви и святому покровителю свою собственность и личную независимость. Тем не менее такие дарения продолжали происходить, так как из них еще привлекали религиозную или просто материальную выгоду: одни уходили, чтобы стать монахами и жить посвященной жизнью, обеспечивающей им вечное блаженство; другие вступали в аббатство, продолжая оставаться мирянами, чтобы пользоваться относительной безопасностью, связанной с принадлежностью к

Церкви, и получать надежную пищу, кров и непосредственное покровительство монахов.

Так, например, в первые годы XIII в. мы видим целую семью из отца, дочери и бабки, приносящих в дар аббатству св. Винcentия Майского самих себя и треть своей вотчины. Две других трети они продают тому же монашескому учреждению за сумму в двадцать два ливра манской монетой. Но это не просто бескорыстное пожертвование. Вступающая семья требует взамен от аббата годовой и пожизненной ренты в двадцать су; натуральной ренты в пятнадцать сетье зерна — семь рожью и восемь ячменем; пользования арпаном виноградника в добром состоянии, землей и лесом, которыми она может располагать исключительно в собственных целях. После смерти отца монахи будут выплачивать не более половины ренты в двадцать су и заберут назад половину виноградника, земли и леса, о которых только что говорилось. После смерти дочери и бабки они возьмут две другие четверти и не будут больше ничего платить. Здесь жертвователи — в сущности, продавцы: они заключают что-то вроде страховой сделки на случай войны и голода, пожизненно устривая себя и свое имущество. Это финансовая операция, одновременно выгодная и частным лицам, которым социальные смуты не позволяют больше жить независимо, и монашеской общине, помимо прочего, в конечном счете навсегда вступающей во владение доменом.

Чаще всего случалось, что мужчина или женщина вступали в монастырь, дабы облачиться в монашеское одеяние и вести монастырскую жизнь. Так, глава дома отдает в монахи сына, дочь или брата, что в высшей степени упрощает семейные обязанности. Подобных документов достаточно. Вот знатный человек, Гуго де Тьебомениль, отдающий в аббатство От-Сель своего сына Ульриха. Но любой монах должен принести с собой взнос — в монастырь не вступают с пустыми руками. Гуго передает часть своего аллода Лашер. Некоторое время спустя он сам становится монахом и приносит другую часть своего аллода. Наконец, через несколько лет его жена в свою очередь обращается к монашеской жизни и отдает Церкви то, что осталось от общей вотчины. Вот вам семья, заключенная в монастырь, и домен, навсегда потерянный для мирского общества. Это происходило в первые годы правления Филиппа Августа. В 1194 г. на другом конце Франции мелкий пиренейский дворянин Реймон Бернар из Эспарроса

отсылает в аббатство Эскаль-Дье своего сына Бернара, «дабы служил он там как монах», как гласит хартия, а вместе с ним отдает и все, чем он владеет в приходе Марзероль. То же самое происходит в совершенно другом месте. В 1193 г. землевладелец из Вексена отдает монахам Мелана два виноградника и два арпана земли, чтобы его юный брат смог вступить в монастырь. И жертвователем появляется в аббатской церкви с ребенком; он кладет на алтарь св. Никезия канделябр — символ дара; приор общины, с согласия собратьев, жалуется дарителю «братство», то есть присоединение к духовным заслугам монастыря; тот взамен обещает монахам, что на склоне жизни или даже раньше, ежели он возымеет таковое желание, вступит в их монастырь «со своей собственностью».

Нам неизвестно, было ли сдержано обещание в этом частном случае; но, вне сомнения, именно в эпоху Филиппа Августа многие, предчувствуя надвигающуюся тяжкую болезнь и близкую кончину, облачались в монашеское одеяние, становясь монахами, и тем самым обогащали аббатства. В сознании Средневекового человека это был самый верный способ уладить свои счета с Богом.

Тяготы семейных обязанностей в эпоху, когда семьи во Франции насчитывали много детей, трудности с наделением сыновей и дочерей землей, способной позволить им занять почетное положение, потребности морального порядка, толкавшие в монастыри жаждавших покоя и умерщвления плоти верующих, раскаявшихся грешников или просто богобоязненных людей, трепетавших пред смертью при мысли об аде, в который верили все — этого уже достаточно, чтобы объяснить, почему с такой легкостью заполнялись бесчисленные монастыри и приорства Франции времен Филиппа Августа. Но следует учитывать и другое побуждение: потребность избежать жизненных невзгод во времена небезопасные как для имущества, так и для людей, когда сама знать не всегда была уверена в завтрашнем хлебе. По этому поводу в «Диалогах» цистерцианского монаха Цезария Гейстербахского, написавшего свой труд в 1221 г., есть любопытная страница. Автор приводит сочиненный им диалог монаха и новicia:

МОНАХ. Мы часто и постоянно видим людей богатых и знатных, например, рыцарей и горожан, вступающих в наш орден, дабы избежать нужды, предпочтя по необходимости послужить Богу богатством, нежели переносить среди своих

родственников и знакомых бедность. Человек, который занимал в мире почетное положение, рассказывал мне, как он вступил в монастырь: «Конечно, — добавил он, — если бы я преуспел в делах, я никогда бы не дошел до того, чтобы вступить в орден». Отсюда я понял, что он не пожелал следовать за своим отцом или братом, когда те вступили в монастырь, а промотал имущество, оставленное ему родителем, и лишь тогда явился, прикрывая покровом набожности приведшую его нужду.

НОВИЦИЙ. Нет нужды приводить много примеров, ибо мы видим, как множество людей, особенно послушников, вступает в орден из тех же соображений. Но счастливы владеющие богатством и презревшие его ради любви к Иисусу Христу!

Наконец, следует присоединить к этим различным категориям добровольных или вынужденных монахов всех обделенных в этом мире, где увечья или физические недостатки не позволяли вести нормальную жизнь. Когда у отца появлялись плохо сложенные дети, он отдавал их в клирики или в монахи, так что Церкви приходилось защищаться, дабы не стать необъятным «двором чудес»: она требовала от своих священников, каноников и особенно епископов определенного состояния здоровья и эстетического совершенства и противилась допущению в священническую корпорацию лиц чересчур немощного телосложения или вызывающих насмешки. Во времена, когда телесная сила была в такой чести, а физическая красота столь ценилась, знатью, нельзя было, чтобы у приближенных к Богу был смешной или отталкивающий вид. Под конец, исходя из этого, были выработаны основные принципы, часто жестокие, но необходимые. К монахам Церковь была менее требовательной, так как теоретически последние должны были входить в соприкосновение с миром как можно меньше, и увечья, спрятанные в монастырских кельях, не рисковали вызвать насмешку или скандал. Таким образом, монастыри становились естественным пристанищем для множества людей, которые по соображениям физического порядка не могли бы вести тяжкую жизнь рыцаря, и множества незамужних девиц. Некоторые аббатства решались допускать подобные вещи. Один из современников Филиппа Августа, Пьер Мирме, возвысился в 1161 г. до сана аббата и получил в управление аббатство Андр. «Войдя в монастырь, — пишет местный хронист, — он попятился от ужаса перед уродством паствы, коей

он призван был руководить. Иные монахи были хромы, другие кривы, косы или слепы, третьи однуруки». Следовало как-то реагировать на это, и в течение тридцати двух лет, покуда он был аббатом, Пьер Мирме отказывал во вступлении в свой монастырь всякому лицу с каким-либо физическим недостатком. Возможно, он впадал в другую крайность.

Благодаря щедротам верующих, земельным и денежным пожертвованиям монахи богатели, используя эти богатства в первую очередь для того, чтобы сделать свою обитель достойной святого, реликвиями которого они обладали и который им обеспечивал столько милостыни, то есть обогатить алтарь ценными предметами и возвести прекрасные здания в современном вкусе. Во всяком случае, именно так подходили к делу старинные бенедиктинские конгрегации, особенно в обширной монастырской империи Ключи.

У цистерцианцев принципы иные. Основатель Клерво, святой Бернар, с крайней строгостью упразднил в церквах своего ордена все, что воздействует на взор и чувства, все, что может отвлечь монахов от созерцания и молитв: никаких мозаик, цветных витражей, настенной живописи, скульптуры; оставлен только крест, и, опять-таки, нежелательны большие золоченые или посеребренные кресты. Запрещены украшения из шелка, даже во время великих праздников. Та же простота и во внешнем убранстве — не разрешены каменные башенки; их следует сооружать из дерева и ограниченных размеров. Дозволены исключительно маленькие колокола. Вспоминается знаменитое заявление св. Бернара, где он осуждает приверженность ключников к украшению храмов и использованию искусства для службы Богу и святым: «Церковь блистает в своих стенах и пренебрегает своими бедняками. Она золотит камни и оставляет нагими детей. Деньгами нищих чаруют взоры богача. К чему лепные изображения, изваянные или нарисованные предметы? Все это душист набожность и напоминает иудейские церемонии. Произведения искусства суть идолы, отвращающие от Бога, они способны возбуждать благочестие лишь слабых и мирских душ».

Так можно было говорить в начале XII в., в пылу религиозной реформы и состязания орденов в умерщвлении плоти и аскетизме. Но в эпоху Филиппа Августа вкус к прекрасным сооружениям и роскошь культовых церемоний развились настолько, что цистерцианцы начали поддаваться заразительному примеру.

В 1192 г. генеральному капитулу Сито приходится напоминать своим аббатам о соблюдении устава и воспрепятствовать сооружению чересчур пышных церквей. В 1182 г. он приказал уничтожить в течение двух лет все разрисованные витражи, установленные вопреки предписаниям основателя. В 1213 г. капитул снова запрещает всякую живопись, кроме образа Христа. Статут 1183 г. не позволяет аббатам и монахам носить шелковые ризы. Но, несмотря на все запреты, устав соблюдали все меньше и меньше, и клюнийская идея, провозглашавшая, что для служения Богу нет ничего излишне прекрасного или пышного, в конце концов овладевает всеми.

Добрый аббат, образцовый аббат, которого хвалят монастырские хронисты и о ком больше всего говорят, — это тот, кто посвятил большую часть времени, усилий и денег приумножению собственности аббатства и починке или сооружению зданий. Большинство настоятелей были тогда одержимы страстью к строительству, и впоследствии о них напишут именно как о выдающихся строителях. Откроем, например, «Историю Сен-Флорана в Сомюре». Вот посмертное восхваление шестнадцатого аббата, Менье, скончавшегося в 1203 г.; несколько строк посвящено его нравственным качествам, а затем следует основное: «Он приобрел много имущества; он возвел множество зданий, церковные врата, трапезную, лазарет, приемную; это он заботливо начал и самоотверженно закончил стену, окружающую наши виноградники. Да спасет Сын Всевышнего этого праведного аббата!». Преемник Менье, семнадцатый аббат Мишель Сомюрский (1203–1220 гг.), был еще более замечательным человеком: «Из мирского Бог послал ему такую милость, что не было подобного ему строителя зданий. Именно ему обязаны мы нашей новой большой залой, большей частью наших домов и мельницами, которые он повелел соорудить вопреки воле жителей Сомюра. Это он обогатил нашу церковь ризами, епитрахиями, накидками, стихарями, шелковыми рубахами стоимостью в пятьсот ливров. Под конец жизни он построил приемную аббата — шедевр изысканности, с прекрасными трехпроемными окнами. Наконец, именно он велел привезти из Шартра приобретенные втридорога великолепные колокола для башни».

Все похвалы походят друг на друга, ибо устремления одни и те же, и монахи особо пекутся о материальных интересах своей общины. Прочитаем, к примеру, отрывок из хроники аббатства

св. Марциала в Лиможе, относящийся к современнику Филиппа Августа, двадцатому аббату Иземберу:

Это был очень мягкий и спокойный человек, умевший нравиться властям. В молодости он поначалу руководил приорством Рюффека. Там он соорудил церковь, монастырь, дома, все мастерские и целую стену, от самого фундамента. И еще он обставил приорство так, что там, где двое монахов с трудом добывали себе пропитание, смогло жить их семь. В самом аббатстве монастырь походит на королевский дворец. Благодаря этим приобретениям приорство Берне приносит нам ежегодно четыреста су. Из этой суммы он взял десять ливров, чтобы увеличить средства, выделяемые на одевание монахам, дополнительные обеды братиям по понедельникам, следующим за вторым воскресеньем после Пасхи. Кладбищенская капелла тоже была построена и освящена его заботами; наконец, это он построил кладовую близ капеллы Пречистой Девы. На это он потратил в несколько приемов бесконечно много денег. Благодаря доходам, коими он обогатил аббатство, двести бедняков получают обеды в помещении для раздачи милостыни, триста в хлебопекарне, сами же братья — в трапезной.

Уметь добывать деньги и тратить большую часть их на служение Богу, бедным и удобства для монахов — вот наилучшее средство того времени остаться в памяти людей и спасти душу в мире ином. Самым важным событием в аббатском управлении, составляющим целую эпоху в монастырских анналах, является сооружение церкви. Аббатская церковь — это большая рака, накрывающая малую, ту, что заключает реликвии покровителя аббатства; и чем больше привлекает она поклонения, тем больше жертвований и денег паломников. Монахи заинтересованы в том, чтобы их церковь была как можно выше, ибо деньги, затраченные на ее сооружение, как в мирском, так и в духовном отношении хорошо помещены. И это объясняет нам, почему современники Филиппа Августа наблюдали, как по всей Франции вырастают церкви аббатств столь же роскошные, как и соборы.

К югу от Луары романский стиль рождает две прекрасных монастырских церкви — св. Юлиана Бриудского и Святого Креста в Бордо; но большая часть их находится на севере — аббатство Валь, церковь Лонпон (Эн), хоры Монтье-ан-Дер, церковь Сент-Ивед в Брене, церковь Сен-Пьер-ле-Виф в Сансе, аббатство Уркам,

церковь аббатства Сен-Матье-дю-Финистер и чудо Мон-Сен-Мишеля в готическом стиле.

Последнее сооружение, обязанное своим появлением четырем аббатам: Роберу де Торини, Журдену, Раулю Дезилю и Тома де Шамбру, современникам Филиппа Августа и Людовика VIII, — шедевр монастырского искусства. Оно состоит из двух групп многоэтажных зданий. На западе — кладовая (1204–1212 гг.), превосходящая высотой великолепный капитульный зал, называемый «Рыцарским» (1215–1220 гг.), со своими четырьмя нефами на стрельчатых перекрещивающихся арках и изваянных замках свода, с колоннами, заканчивающимися богатыми капителями, и двумя каминами с широкими пирамидальными колпаками; наверху же — монастырь, заверченный лишь под конец правления Людовика Святого, одна из жемчужин готического искусства, в котором все создано, чтобы очаровывать: изящество аркатур и столбиков, расположенных в два ряда, бесконечно разнообразная роскошь стоящих вдоль галерей скульптур. На востоке находится законченная в 1218 г. церковь, особенно величественная благодаря своему двойному нефу, двум широким окнам и высоким сводам, покоящимся на просто украшенных и очень строгих колоннах. Весь этот ансамбль строений, размещенных на вершине неприступной скалы, опирается на необычайно мощную стену семидесяти метров в длину и от сорока до пятидесяти метров в высоту. Так что это аббатство — почти крепость, что свидетельствует и о том, что окружающая его местность изобиловала опасностями.

Существует и церковь черных монахов Сен-Виктора Марсельского, отстроенная в 1200 г. С двумя башнями, похожими на донжоны, папертью и стеной, сложенной из огромных, не скрепленных раствором, блоков пелагического вида, четырьмя толстыми выступами прямоугольной апсиды, редкими и высоко расположенными окнами она создана, чтобы выдерживать осады. История монахов Сен-Виктора и в самом деле наполнена войнами и сражениями с горожанами, графами и феодалами провинции.

Подобные случаи отнюдь не редки в эту эпоху. Во всех провинциях, где нет могущественного и покорного королю знатного барона, способного создать органы правопорядка, постоянно царит анархия, и монах, как и все, подвергается нападениям и обязан защищаться, если не хочет быть обобранным.

Хронист Жоффруа, приор Вижуа, относящегося к св. Марциалу в Лиможе, рассказал о событиях, очевидцем которых он был в течение полутора лет, с 1182 по 1183 гг.; и вот какие, по его словам, насилия и вымогательства претерпели в течение столь краткого времени монастыри Лимузена. В это можно поверить — он не преувеличивает и даже не слишком возмущается: сдается, он привык к этим сценам войны и беспорядка. В ноябре 1182 г. монастырь приорства Шале разрушен родственником виконта Кастийона; монахи разбежались, воины завладели реликвиями св. Ансильда и перевезли их в замок своего предводителя, дабы святой ему покровительствовал. В феврале 1183 г. лиможские горожане пользуются начавшейся войной между английским королем Генрихом II Плантагенетом и его старшим сыном Генрихом Молодым, чтобы излить свою злобу на монахов св. Марциала. Они опустошают великолепные сады аббатства, разрушают принадлежавшие ему пять или шесть маленьких церквей, сжигают колокольни собора, другой его крупной собственности, разрушают башню колокольни, стены, мастерские, саму церковь. Через несколько дней шайка наемных солдат захватывает двух монахов аббатства Пьер-Бюфье и утаскивает их полуголыми, рассчитывая на выкуп; наемный проходимец из англичан делает, говорит хронист, своим ремеслом похищение монахов и продажу их по восемнадцать су. В марте 1183 г. сын английского короля Генрих Молодой захватывает аббатство св. Марциала и изгоняет оттуда всех монахов, даже новичиев и детей-школяров; должностным лицам, таким, как церковному старосте, регенту певчих, младшему певчому, прево аббатства, пришлось провести ночь на улице. «Кто бы поверил, — добавляет Жоффруа из Вижуа, — что у сих деяний не было многочисленных свидетелей?». На следующий день Генрих Молодой приказывает передать ему все сокровища святилища, алтарей, золотые статуи, чаши, крест, раки. Это лишь заем: он дает им расписку, скрепленную своей печатью. Но все эти богатства были пущены на продажу или отданы в залог, чтобы заплатить воинам, и к монахам, естественно, больше не вернулись. В мае месяце тот же принц снова отбирает силой казну Гранмона и казну аббатства Короны; он также обирает монастыри Далона и Обазина. В октябре 1183 г. приорству Вижуа угрожает шайка солдат — монахи увозят, дабы переправить в надежное место, наиболее ценные предметы. Несколько дней спустя, в свою очередь, разграблено

другое приорство св. Марциала, Сен-Парду д'Арне, и монахам приходится выкупать свое имущество за 650 су; люди приорства уведены в плен и содержатся в нем до тех пор, покуда приор не вносит в качестве выкупа требуемую сумму. В Сен-Жиро д'Орийяк главарь шайки облагает монастырь налогом в 15 тысяч су. На этом можно остановиться. Данное перечисление достаточно показательно, ибо охватывает период только в двенадцать месяцев; отсюда мы заключаем, что жить в эпоху Филиппа Августа в монастырях центральной Франции было несладко.

Можно утверждать, что то же самое происходило во всех регионах, становившихся театром военных действий между королем и баронами; и там часто разражалась война на горе крестьянам и монахам, ее главным жертвам. Монастыри, ввиду своих богатств, непреодолимо влекли солдат, и набожность того времени нисколько не мешала грабить их и даже сжигать — святотатство бесспорное, но, в общем, легко искупаемое пожертвованием или паломничеством. Это тема, на которую можно было бы говорить очень долго, и мы скоро к ней вернемся, пока же констатируем, что в феодальной среде, где не переставала свирепствовать война, аббатства, даже укрепленные, не являлись надежным убежищем, и там, как и везде, приходилось бороться за свою жизнь и имущество.

Но и множество других причин мешало предаваться монашескому призванию молитвы и труда даже в условиях мира и порядка, порой наступавших. Самого беглого взгляда, брошенного на документы, достаточно, чтобы вскрыть основные виды болезней, изводивших тогда монастырское духовенство во всех концах Франции и во всех конгрегациях: в плане светском общины монахов и монахинь плохо управлялись и обрастали долгами почти до полного разорения; внутренние разногласия волновали и существенным образом ослабляли их; наконец, в них не соблюдался больше устав — там происходили разного рода скандалы, и церковная власть почитала своей обязанностью постоянно вмешиваться, дабы принуждать монахов к выполнению долга, внедряя, добровольно или силой, реформы. В материальном положении, как и в нравственном состоянии монастырей, тоже хватало признаков упадка; и этот упадок орденов, старинной бенедиктинской системы, действительно одна из характерных черт истории французской церкви и Франции в эпоху Филиппа Августа.

Для общин, как и для частных лиц, финансовый вопрос, вопрос бюджета, был во все времена жизненно важным; история Средних веков приводит много доказательств тому. Только два примера: в XIII в. исчезновение французских коммун, столь жизнеспособных сообществ северной Франции, было следствием плохой финансовой организации, невозможности справиться с расходами и честно выполнять свои обязательства. Многие из них закончили банкротством, которым воспользовалась королевская власть. Кроме того, денежный вопрос будет диктовать всю внутреннюю и внешнюю политику монархии в правление Филиппа Красивого и его первых преемников, занимая, впрочем, значительное, хотя и недостаточно отмеченное место уже в заботах Филиппа Августа. Но не только короли и горожане страдали от затруднений в средствах: изучая жизнь светских феодалов, мы увидим, что многие благородные семьи, чрезвычайно обремененные долгами, разоренные ростовщиками, вынуждены были закладывать или продавать, дабы выполнять свои обязательства и поддерживать свое общественное положение, даже родовое поместье, разрываемое таким образом на клочки.

Сама Церковь не избежала этого всеобщего бедствия, и особенно страдали от него монастыри. Немецкий монах Цезарий Гейстербахский по этому поводу приводит в своих «Диалогах» любопытный рассказ: «Однажды ростовщик дал под залог денежную сумму одному келарю нашего ордена. Последний поместил ее в надежное место с монастырскими деньгами. Позднее ростовщик потребовал свой вклад. Келарь открыл сундук и не нашел ни денег ростовщика, ни денег аббатства. Замки были не тронуты. Печати на мешках не разбиты: не было оснований подозревать воровство. Решили, что деньги ростовщика поглотили деньги монастыря».

Аллегория прозрачна и с избытком подтверждается фактами. Так, в 1196 г. аббатство Сен-Бенинь в Дижоне одалживает у еврея по имени Вален сумму в 1700 ливров из 65% годовых. Аббатство в течение одиннадцати лет не могло ничего заплатить, так что по истечении срока долг 1700 ливров возрос до 9825 ливров. В 1207 г. графине Шампанской пришлось взять на себя долги монахов Сен-Бениня, а в 1222 г. герцогиня Бургундская Алиса расплатилась с евреем по имени Саламин, который также являлся кредитором аббатства Сен-Бенинь и одновременно аббатства Сен-Сен. Дабы удовлетворить кредиторов и своих поручителей,

дающих средства, Сен-Бенинь вынужден был продать значительную часть своей собственности в Бургундии. В 1220 г. аббатство Сен-Лу в Труа расписывается в том, что должно одному еврею из Дамьера 450 провенских ливров; в качестве гарантии оно оставляет ему целую деревню Молен в Об, в которой предоставляет пожизненную ренту. В Вердене немногим позднее 1197 г. по уши в долгах было аббатство Сен-Ван, и хронист рассказывает об этом следующую историю. В монастыре только что сменился аббат — по просьбе графини де Бар, Агнессы, для руководства Сен-Ваном избрали клюнийского монаха по имени Стефан. Однажды, когда новый аббат встретился с графиней, последняя спросила его, удалось ли вырвать разросшийся терновый куст, в котором завязло аббатство по причине плохого финансового положения. «Наши долги? — ответил аббат. — Их заплатят с помощью красной рубахи святого Вана: я полностью доверяю ему». Он хотел сказать, что аббатство добудет деньги при помощи реликвий святого, которому было посвящено; в самом деле, это было одним из средств, которые использовали задолжавшие монастыри для расплаты по долгам. Хронист возмущается ответом аббата, который считает циничным, и добавляет: «Подобная дерзость была наказана небесами. На глазах находившихся там дам и баронов аббат внезапно пал, разбитый параличом. Он принялся биться в ярости и рвать себя ногтями и с этого дня потерял речь. Графиня отдала приказ унести его и положить на простое ложе».

Этот хронист воспринимал дела в трагическом свете. Но были и другие регионы Франции, где не относились дурно к монахам, видя, как они выколачивают деньги с помощью реликвий своего святого покровителя.

И впрямь, перенесемся в лиможский монастырь св. Марциала. Здесь тоже монастырь и приорство изнемогают под бременем долгов: в 1213 г. ризничий должен 1000 су, аббат — больше 20.000. В 1214 г. долги св. Марциала достигли более 40.000 су. «В подобной ситуации, — говорит хронист Бернар Итье, — Церковь воистину в опасности». В 1216 г. аббат лично должен 20.000 су. «Вот уже двадцать лет, — добавляет хронист, — ростовщики выколачивают из наших аббатств огромные суммы и хвастаются тем, что будут получать их и впредь». В 1220 г. аббатство было настолько обременено долгами и так обеднело, что аббату Раймунду Гослену пришлось сложить свои полномочия. К счастью,

некоторое время спустя начал распространяться слух о чудесах, происходящих на могиле св. Марциала, и в монастырь потекло столько денег, что аббат смог избавить своих монахов от большей части их долгов. Нежданное чудо случилось весьма кстати.

На другом конце Франции, в Провансе, в еще более критическом положении в 1185 г. находилось марсельское аббатство Сен-Виктор. Оно должно было 80.000 су марсельским евреям и очутилось перед необходимостью передать им некоторое количество своей собственности, включая деревни и церкви. Церкви — евреям! Епископ Антиба, дабы избежать скандала, счел своим долгом самому откупиться от кредиторов, выдав им наличными половину суммы долга, и мы обнаруживаем в хартии Сен-Виктора хартию, по которой аббатство в покрытие издержек епископа оставляет ему замки и все доходы с ризниц. И повсюду та же картина. В клюнийском приорстве Шарите-сюр-Луар в 1209 г. приору Жоффруа, обремененному долгами и обязанностями службы, приходится продать за 10.000 турецких ливров тамплиерам важную сеньорию Ленвиль близ Санлиса. А к 1200 г. аббат Сен-Жермен д'Осер Рауль вынужден продать золото и драгоценные камни, украшавшие раку св. Германа. Сами святые обираются теми, кому поручено им служить. Не было года, когда монахи не закладывали бы у ростовщиков, почти всегда — евреев, золотые и серебряные украшения алтарей, чаши, кресты, вплоть до священнических облачений. Учитывая отношение Средневековых людей к евреям, понятна скандальность происходившего, не считая того, что совокупные долги часто доводили монастыри до настоящего разорения. В конечном счете монахи разбрелись, а аббатство, лишенное средств к существованию — ибо все было продано — исчезало.

Не подлежит сомнению, что большое количество монастырей, прекращающих свое существование к концу Средневековья, не выдержало именно финансовых затруднений. Основатели цистерцианского ордена предприняли самые серьезные меры, чтобы избежать катастроф; но, надо думать, их преемникам удалось помешать цистерцианским аббатам влезать в долги не больше, нежели заставить соблюдать устав, запрещающий приобретение недвижимости, ибо в конце XII в. генеральный капитул Сито почти ежегодно затрагивает эту тему. В 1181 г. в седьмом статуте говорится: «Воистину есть от чего покраснеть от стыда, когда видят кое-кого из наших братьев,

вводящих в долг свою обитель, чтобы купить вина». В 1182 г.: «Долги возрастают в огромных размерах, и это становится явной погубелью для многих наших общин. Всякой обители, имеющей долг более пятидесяти марок, мы запрещаем покупать земли и возводить новые строения». Статут 1184 г. позволяет аббатам, обремененным непосильными долгами, продавать движимое имущество и даже, в случае крайней необходимости, — недвижимое, вплоть до выдачи долговых обязательств. В 1188 г. — новое запрещение покупать землю и заниматься строительством, но запреты остаются бессильными, и два года спустя после кончины Филиппа Августа мы увидим, как в самом аббатстве Сито, резиденции ордена, которому следовало бы служить примером, положение становится настолько отчаянным, что вся конгрегация вынуждена прийти ему на помощь, предоставив денежные средства.

Что же делают монахи со своими деньгами? Бесспорно, их наиболее солидные траты, как мы знаем, заключались в покупке земли и особенно в новом строительстве. Но следует также признать, что у них имелись и тяжкие обязанности. Прежде всего монахи были призваны щедро творить милостыню и давать приют больным, путешественникам, паломникам и нищим. Одна из их неукоснительных забот — кормить бедняков, одевать их и даже предоставлять временное пристанище. Во всяком крупном аббатстве есть две важные службы: раздача милостыни и гостеприимство, и два специальных должностных лица, несущих эти послушания. В цистерцианском ордене раздатчик милостыни назывался *привратником* (*portaries*), и в его келье, расположенной близ монастырских ворот, всегда должны были храниться хлеба, приготовленные для раздачи прохожим и нуждавшимся. Цезарий Гейстербахский утверждает, что в 1217 г. был день, когда милостыню у дверей его аббатства получили пятнадцать тысяч бедняков. Все дни до жатвы, в которые дозволялось скромное, забивали быка, жаривали его с овощами и оделяли пищей бедных. В постные дни мясо исключалось и раздавались только овощи. Раздачи хлеба были столь значительны, что аббат боялся, как бы его закрома не опустели еще до нового урожая, и рекомендовал брату-пекарю делать хлебы поменьше. «Но, — говорит ему брат-пекарь, — в печь я их ставлю маленькими, а выходят они из нее большими». Вот так чудо! И Цезарий добавляет: «Они видели, что муки в мешках становится больше».

Вторая, весьма дорогостоящая обязанность возлагалась на монахов как вассалов короны и сеньора провинции или как подданных местного архиерея и Папы. Под предлогом крестового похода, на неотложные нужды Церкви или просто для пополнения королевской или папской казны аббатствам следовало выплачивать большие суммы, и их жестоко эксплуатировали. Напомним, что говорили некоторые монахи, вроде Бернара Итье или Гио де Провена, о способностях римлян, то есть папства, его кардиналов и представителей, в этой сфере. Злоупотребления и вымогательство курии с конца XII в. приняли такие размеры, что генеральный капитул Сито не смог удержаться, чтобы публично не пожаловаться и не принять меры к их пресечению. В статутах 1193 г. седьмая статья гласит: «Следует уведомить Папу, что Григорий, в сане кардинала Святого Ангела, требует от аббатов нашего ордена новых податей, прецедентов которым до настоящего времени не было». И генеральный капитул наказывает аббатов, давших легату деньги, днем покаяния на хлебе и воде.

Что же касается требований королевского фиска, то достаточно почитать хрониста Ригора, описывающего, как в 1189 г. Филипп Август повел себя с аббатством Сен-Дени. Главой его тогда был Гийом де Гап. В тот год король потребовал, чтобы монахи Сен-Дени выделили ему тысячу марок серебром — очень крупную сумму — а аббат не повиновался. «Однажды, — говорит Ригор, — король, проезжая через Сен-Дени по нуждам королевства, остановился в аббатстве, как в своих личных покоях. Но аббат, предупрежденный о приезде короля и страшно напуганный, поторопился созвать братьев на капитул и тотчас же попросил освободить его от должности». Вот несколько строк, красноречиво свидетельствующих — надо было либо слагать с себя сан, либо платить.

Мы видим, что аббат не всегда нес ответственность за плачевное состояние финансов своей общины: он должен был беспрестанно бороться против вымогательств вышестоящих лиц, часто неправых и неразумных, и бороться зачастую безуспешно. Но когда, к довершению несчастий, глава монастыря оказывался плохим управителем, человеком небрежным и расточительным, дело доходило до полного разорения. Большой недостаток устава св. Бенедикта состоит в том, что он предоставлял аббату почти абсолютную светскую власть над монастырем. Ему обязаны были безусловно повиноваться монахи, ему же принадлежали

все права. Он — суверен учреждения, называемый господином (dominus). Правда, в качестве противовеса этой почти автократической власти устав наказывает ему советоваться с собранием братьев — капитулом: теоретически аббат обязан учитывать мнение братии, но на деле очень часто его власть безгранична и бесконтрольна, он управляет имуществом общины, как ему вздумается, не отдавая отчета в своем руководстве представителям монахов, находящихся под его началом. Когда это подобие монархических прерогатив попадает в руки честного и дисциплинированного человека, дела общины не страдают и даже могут процветать; но когда аббат слаб, лишен высоких личных достоинств или стремится лишь к удовлетворению своих страстей и алчности, долги обители возрастают и все рушится. Вот почему на соборах того времени аббаты всегда являются объектом самых настойчивых, самых строгих предписаний. То, что им запрещено делать, например, положениями Парижского собора 1213 г., позволяет нам узнать, что же они творили. Следующее перечисление говорит само за себя:

1. Аббаты не должны выполнять функции адвокатов и судей.
2. Они не должны возить за собой многочисленную охрану и да не держат подле себя слишком юную прислугу.
3. Они не имеют право передавать имущество монастыря своим родственникам.
4. Да не позволят они входить в монастырские ворота молодым женщинам.
5. Они не должны отбирать приорства у тех, кто туда назначен, дабы передать их лицам из своей семьи.
6. Два раза в год настоятели должны получать счета от должностных лиц аббатства и приорств.
7. Они не имеют права решать важные дела и одалживать крупные суммы без учета мнения семи старейших монахов, избранных для этого случая капитулом.

Вот совершенно очевидная попытка ограничить власть аббата в том, что касается светского управления, и заменить монархию абсолютную монархией конституционной.

8. Аббаты не должны продавать приорства.

9. Наконец, строго запрещается аббатам и приорам преследовать монахов, предложивших на капитуле какие-либо меры, направленные на реформу обители.

В 1216 г. на соборе в Сансе церковным властям вновь пришлось приказать аббатам и приорам отдать своим капитулам отчет за все годы по цифрам расходов и состоянию средств общины. Тот же собор воспрещает им брать займы, превышающие определенную сумму, и в особенности занимать у евреев. Подобные предписания будут возобновляться почти каждый год на всех синодах епископов, которые состоятся в XII столетии, что является доказательством их совершенного несоблюдения. И когда во времена Людовика Святого архиепископ Руанский составит дневник своих пастырских посещений и отметит нарушения, совершенные во всех поднадзорных ему монашеских учреждениях, то на каждой странице этого дневника будут встречаться слова *non computat*, то есть — этот аббат не отчитался перед капитулом; очевидно, аббаты даже сами не знают, до какой суммы доходят долги их общины. Вещь маловероятная, но факт: эти администраторы не считают и не планируют траты.

Когда соборы и епископы ничего не добиваются, вмешиваются Папы и навязывают монастырям, грозящим разорением, реформу. Именно так поступил, например, папа Целестин III в 1195 г., чтобы спасти от разорения марсельское аббатство Сен-Виктор. Папский указ давал аббату право смещать нерадивых приоров. Он потребовал от всех приорств аббатства выплаты коллективной подати, предназначенной для помощи самому аббатству и уменьшения его долгов. Кроме того, Папа приказал приорам регулярно выплачивать в обычной форме обязательный налог аббату. Одной из наиболее распространенных причин плачевного финансового состояния монастырей было как раз то, что подчиненные приорства отказывались участвовать в расходах аббатства и производить ежегодную выплату части своих поступлений. Приорам строго воспрещалось продавать свою недвижимость и брать в долг больше ста су без согласия аббата и вменялось в обязанность каждый год приезжать для отчета на генеральном капитуле. Рекомендовалось ограничить постоянные расходы по оказанию гостеприимства, а аббату и великим приорам не взимать незаконных поборов с приорств. Наконец, сам аббат лишался права одалживать более тысячи

су без согласия своего капитула, да и вообще все важные дела ему запрещалось решать, не выслушав мнения капитула или его большей части. По этому указу о реформе можно судить и о прочих — все они похожи друг на друга, а самое их количество и частое повторение доказывают, что зло было велико и искоренить злоупотребления было весьма трудно. Но просто установить новые правила мало — надо добиться их выполнения.

Несмотря на действия соборов и Пап, на монастырский мир очень часто обрушивались настоящие бедствия. Полностью разоренные аббатства запирали свои ворота и прекращали существование. Дабы упредить подобные скандалы, Церковь в те времена нередко наказывала вышедших из повиновения и нарушивших свой долг аббатов, временно отстраняя и даже смещая их. В 1205 г. Робера, аббата Кутюра, большого монастыря в Ле-Мане, отрешили от должности за позорную растрату монастырских средств. Двумя годами ранее Папа поступил так же с Арно, аббатом монастыря св. Михаила в Кюкса, что в Руссильоне. Последний — типичнейший нерадивый аббат. Мало того, что он забросил имения своего монастыря и обратил в руины монастырские строения — он уступил, заложил или продал большую часть земель и доходов общины, так что аббатство вконец обнищало. Светскому сеньору Руссильона, арагонскому королю Педро II, пришлось вмешаться лично и принять решение, объявившее продажи, совершенные аббатом Арно, недействительными и подлежащими выкупу по цене, устанавливаемой судьями, избранными самим королем. Сегодня подобная мера кажется нам несколько деспотичной, но в те времена, когда речь заходила об интересах Церкви и ее имения — собственности Бога и святых, священной и неотчуждаемой — частные договоренности и право отдельных лиц не принимались в расчет.

Да будет позволено нам в заключение привести письмо Этьена де Турне архиепископу Реймскому, относящееся к разорившемуся монастырю Бредеен, — оно позволяет вникнуть в суть дела, а инцидент, о котором в нем рассказывается, далеко не единичен, нечто подобное случалось тогда повсюду и довольно часто. Могущественным аббатствам не давали погибнуть, но малые, не получая помощи, тихо исчезали сами по себе:

Мы отправились в монастырь Бредеен, дабы собрать там наш синод, но каково было наше изумление, какая грустная картина для Церкви, какой позор перед иноземцами! Нам говорили, что

это аббатство всегда насчитывает двенадцать постоянных насельников для регулярного проведения служб, что бедных там кормят, несчастных утешают, а паломникам дают приют. Мы приехали — и что же мы увидели? Здания в руинах, никаких звуков монашеской службы, повсюду тишина и запустение, ни одного инок для богослужения в святом месте. Как будто мы оказались в пустыне; поговаривали, что есть жалкая лачуга то ли в винограднике, то ли на тыквенном поле. А ведь аббатство владело большим имением, богатыми десятинами! Но почти все было заложено или продано, а саму несчастную церковь охранял лишь одинокий священник. Прихожане вздыхали и горестно жаловались. Они говорят, что церковь была основана и обогащена приношениями их предков, и продолжают требовать того, чего уже нет.

И как же поступает в такой ситуации епископ? Он накладывает интердикт на эту жалкую (*lascrumbabilem*) церковь, запрещает проводить там службу и возбраняет прихожанам платить десятину и подносить какие-либо дары, покуда все монахи и приор не вернутся туда. Неизвестно, насколько действенной оказалась эта мера — в переписке Этьена больше ничего об этом не говорится; но не исключено, что запустение стало окончательным. Аббатство Бредеен пополнило список разоренных и исчезнувших монастырей.

* * *

Другое зло, терзавшее монашеский мир, — раздоры. В обителях покоя и молитвы свирепствовали неповиновение, открытые мятежи и внутренняя борьба.

В 1212 г. клюнийский аббат приказывает одному из членов своего ордена, ведущему себя неподобающе, Жоффрау де Донзи, приору Шарите, явиться на генеральный капитул. Жоффрау отказался и послал к аббату монаха, заявившего, что его приор обращается по этому поводу к Папе. Аббат принял решение ехать в Шарите самому, дабы вернуть монахов на стезю долга. Но едва он со своей свитой переступил порог приорства, как его встретили градом камней с колокольни. Конь был серьезно ранен, а всадник, избитый до полусмерти камнями, «дрожащий всеми членами и мертвенно-бледный», как говорится в рассказывающем об этом случае послании Иннокентия III, был вынужден

укрыться у одного горожанина. Воины приора заняли все высокие части зданий приорства, организовали дозоры и заперли ворота города. С восставшими пришлось вести переговоры.

Встреча представителей генерального капитула с Жоффруа де Донзи состоялась у ворот приорства, куда последний явился, окруженный монахами с огромными палками. Приор заявил, что не признает капеллана капитула и его выговоры. «Он считает, что ответствен в духовном плане только перед Папой, а в светском — перед графом Неверским, под покровительством которого находится приорство. Он не примет никакого мирного предложения или соглашения, покуда аббат не покинет город».

Капитул отлучил его со всеми его соучастниками, отстранил от должности и заменил одним клюнийским монахом. Но чтобы реализовать подобные меры, пришлось прибегнуть к помощи Филиппа Августа, приказавшего графу Неверскому взять приорство силой.

В статутах генерального капитула Сито часто поднимается вопрос о заговорах монахов против своих настоятелей. Капитул 1183 г. приравнивает заговорщиков к ворам и поджигателям и объявляет их подлежащими отлучению. Статут 1191 г. объявляет, что зачинщики будут изгнаны из аббатства и переведены в другое учреждение ордена, где их еженедельно будут подвергать бичеванию и содержать один день в неделю на хлебе и воде. Глава марсельской конгрегации Сен-Виктора также с великим трудом удерживал под своим началом нижестоящие аббатства или приорства, всегда готовые от него отделиться. Мятежи были столь часты, что в 1218 г. каждого инока, поручая ему управление приорством, обязывали принести следующую клятву: «Клянусь на святом Евангелии Господнем в ваших руках, сеньор аббат, что с сегодняшнего дня я буду верным и послушным вам и вашим преемникам, аббатам Сен-Виктора, и буду верно отправлять свою должность, получаемую от вас. Когда бы вам ни было угодно, следуя мнению старейшин монастыря, лишить меня должности, клянусь ни в чем сему не противиться и безоговорочно передать в ваши руки приорство со всем, что от него зависит».

Случаются даже трагедии. В 1186 г. монах убил аббата цистерцианского монастыря Труа-Фонтен. В 1210 г. каноники Саля, близ Рошешуара, перерезали горло своему приору, когда тот вставал к заутрене. В том же году был отравлен аббат Фонгомболя. В 1216 г. братья убили одного из монахов аббатства Деоль-

История аббатства Сен-Ван в Вердене в конце XII в. являет собой целый ряд мятежей и принудительных сложений с себя сана; история аббатства Синон, обремененного долгами, не менее назидательна. В Тюлле в 1210 г. монахи разделились на две мятежных группировки, каждая из которых избрала своего аббата, и война их привела к разрушению монастыря. Подобное же чуть было не случилось в монастыре св. Марциала в Лиможе, где в 1216 г. посох оспаривало три аббата.

Обостряло ситуацию и то, что монахи в распрях между собой или в мятежах против аббатов прибегали к поддержке чужеземцев. Они обращались с жалобами на аббата к высшим церковным властям: епископу, архиепископу, Папе, и даже порой, противно всем каноническим установлениям, к властям мирским. Переписка Этьена де Турне не оставляет на этот счет никаких сомнений. В ней повествуется, как черные каноники Сен-Жан-де-Виня в Суассоне затевают открытую борьбу против своего аббата Гуго. Эти каноники, посланные руководить тем, что называли «приорство-курия», жили как приходские священники, что весьма мало располагало к соблюдению устава. Аббат Сен-Жан-де-Виня хотел сохранить свою власть над этими канониками-кюре: он намеревался оставить за собой право сменять их, отзывая и возвращать в аббатство всякий раз, как найдет это уместным. Но это не входило в расчеты каноников, и против своего начальства они обращаются за поддержкой к епископу Суассонскому. Потом дело передается в римскую курию. Аббат и епископ начинают тяжбу, но в Риме, как всегда, процедура тянется до бесконечности; потеряв надежду увидеть ее завершение, стороны передают свое дело третьей стороне, которые высказываются в пользу аббата. Этьен де Турне написал по этому поводу взволнованное послание Папе, в котором сурово осуждал каноников-кюре за стяжательство, что запрещено их уставом, и использование денег для подкупа епархиальных властей и расположения епископа в свою пользу.

В аббатстве Сент-Аман в Турне монахи пожаловались на своего аббата архиепископу Реймскому и отказались повиноваться. Архиепископ велел Этьену де Турне провести расследование, и последний отчитывается о выполнении поручения следующими словами: «По вашему приказу, отец мой, я прибыл в Сент-Аман, где встретил очень нелюбезных монахов. Сии мятежники упорствуют в бунте и, возможно, помрут нераскаянными. Им

не в чем упрекнуть своего аббата — это человек образованный, целомудренный, сдержанный и миролюбивый. На что же они жалуются? На то, что он более склонен к экономии, нежели к мотовству, на то, что пальцевой азбуки¹ им недостаточно для того, чтобы передать слова «бобы», «сыр» или «яйцо». Ну и предлог! Этьен добавляет, что решил наказать зачинщиков бунта, переводя их временно в другой монастырь с запрещением выходить из него под угрозой отлучения. Но мятежники послушались его не больше, чем своего аббата, и нашли возможность отпущения своих грехов у архиепископа Реймского, на что с негодованием сетует епископ Турне.

Со столь же горячей жалобой он обращается к епископу Буржскому, который поддерживал монахов Сен-Сатюра, монастыря в Берри, в конфликте с их аббатом. Едва аббат давал понять, что собирается призвать братию к порядку и соблюдению устава, как те жаловались архиепископу. И последний настолько верил их лжи, говорит Этьен, что предписал аббату не наказывать строго ни одного монаха, пока не закончится судебное разбирательство по делу тех, кто обратился к епископскому правосудию. Но Этьен де Турне совершенно справедливо замечает архиепископу, что подобный приказ — катастрофа для монастырского духовенства. Теперь в аббатствах нет неукоснительного послушания, а царит беспорядок, разложение и хаос во всем. Он умоляет архиепископа вернуть аббату Сен-Сатюра право, освященное уставом св. Бенедикта и соборными канонами: строго наказывать проступки этих монахов, назначать, сменять и отзывать должностных лиц, находящихся под его властью.

Еще в письмах Этьена де Турне содержится история некоего Николя из монастыря св. Мартина в Туре. Тот, вечно враждуя со своим аббатством, в один прекрасный день бежал из обители, украв печать общины, изготовил подложные письма против всех, кто его обвинял, и, вооруженный этими документами, отправился в Рим жаловаться. Этьену пришлось писать Папе, дабы предостеречь его от наветов беглого монаха, отчего в начале письма у него и вырываются слова о всеобщем зле, от которого страдал весь монашеский мир: «Стало очень частым и привычным делом, когда в наших святых обителях оказываются сыны

¹Язык, аналогичный языку наших глухонемых; его использовали монахи, потому что устав св. Бенедикта запрещал им разговаривать. (Прим. авт.)

раздора и неповиновения, любящие суды и споры, сеющие ненависть между братьями, коим любо возвращать скандалы и способствовать губящим нас междоусобным распрям, делаая из нас предмет насмешек для иноземцев».

Когда аббат — человек малопочтенный, мот, он обычно ладит с такими монахами, подстрекая их против немощных стариков, и, поддерживаемый таким образом наиболее сильной и беспокойной группировкой общины, растрачивает имущество аббатства. Факты подобного рода нередки; в частности, нам известно, опять же от Этьена де Турне, об аббате св. Мартина в Туре по имени Жан, который пользовался этим средством, провоцируя самые ужасные скандалы. Архиепископу Реймскому и турецкому епископу пришлось строго наказать его. Аббат Жан под угрозой отлучения безропотно подчинился, исповедался в своих грехах и подписал пергамент, дав на Евангелии следующие обязательства: «Обещаю вечно хранить целомудрие, регулярно присутствовать на службах, есть в трапезной с монахами, спать с ними в дортуаре, давать обеды в своих покоях лишь для уважаемых гостей, брать с собой, когда мне понадобится представлять интересы монастыря вне его стен, пожилых и скромных братьев, в отношении которых не могут пойти бесчестящие слухи; не позволять ни одному монаху выходить без сопровождения, если того не требует настоятельная необходимость, а особенно — не допускать, чтобы молодые монахи покидали аббатство для посещения представлений, рынка, мест светских развлечений; наконец, не принимать никакого решения, не посоветовавшись предварительно с собранием шести монахов, назначенных епископом из числа старейших братьев». Этот ряд обещаний дает полное представление о поведении некоторых настоятелей аббатств.

Сообщенных в письмах Этьена де Турне фактов достаточно, чтобы пролить свет на внутренний порок, дезорганизующий и разлагающий старинные бенедиктинские конгрегации: склонность монастырского сообщества отвергать власть своих начальников, аббатов, и опираться в сопротивлении им на внешние власти. Но лучше всего показывает, насколько глубоко укоренилось зло, междоусобная война, разразившаяся тогда в ордене Гранмона и продлившаяся около семидесяти лет.

Орден Великой Горы в Лимузене, основанный в 1073 г. Этьеном де Мюре, имел изначально один из самых строгих уставов.

Как цистерцианцы и картезианцы, монахи Гранмона, на первый взгляд, доходили до крайней степени аскетизма. Одной из характерных черт их устава была абсолютная изолированность монахов, стремление уклониться от любого контакта с миром, избежать всякого беспокойства и забот мирского порядка, дабы погрузиться исключительно в молитву и преимущественно духовные труды. Еще основатель ордена пожелал, чтобы забота о материальных интересах была поручена только братьям-послушникам, то есть мирским братьям, обязанным обеспечивать существование и ухаживать за монахами настоящими. Последние должны были целиком посвятить себя духовной жизни. Намерение превосходное, и первое время по основании все шло хорошо. Но когда на протяжении XII в. орден, осыпанный дарами королей, знатных баронов и верующих Англии и Франции, значительно разбогател денежно и территориально, а монахи Великой Горы все еще не могли ничем заниматься и даже не имели права писать письма и составлять акты, пришлось значительно увеличить число братьев-послушников для управления имуществом. К началу правления Филиппа Августа орден Гранмона представлял собой любопытный феномен — монашескую корпорацию, состоящую из малого числа монахов и управляющую бенефициями при помощи двадцатикратно превышающей ее по численности корпорации светских управляющих. Монахи ничего не желали знать и не знали о материальном состоянии своих монастырей; послушники, принадлежащие к ордену лишь внешне, напротив, держали в руках все деньги, все домены, всю власть. И вот последние, имея за собой численное преимущество и материальное могущество, совершенно естественно пришли к мысли, что представляют сам орден и фактическое управление конгрегацией, а стало быть, должность генерального приора — главы центральной обители Гранмона и должности отдельных приоров в дочерних общинах должны принадлежать им. Как выразались писатели того времени, особенно поэт Гио де Провен, был ниспровергнут естественный порядок вещей. Монашеская община, возглавляемая и руководимая послушниками-мирянами, становилась, по часто приводимому в связи с этим сравнению, телегой перед лошадей.

Столкновение церковного и светского элементов ордена стало неизбежным. Война разразилась в 1185 г. из-за избрания генерального приора, когда у монахов был свой кандидат,

а послушники выдвинули на эту должность другого. Раскол продлился три года, и потрясение, оказавшееся его следствием, задело все обители ордена. Во всех монастырях Гранмона братья-миряне лишали монахов владений, заключали их в кельи, едва давая им что-то для пропитания, дурно обращались с ними и даже без колебаний изгоняли. Какой скандал! Епископы, короли, Папы посредничали, пытались положить этому конец и установить мир между враждующими собратьями, но едва посредники отворачивались, как борьба возобновлялась еще сильнее и все начиналось заново.

В 1188 г. в результате напряженных усилий папства и правительства Филиппа Августа уже казалось, что договорились об окончательном мире. Папа Климент III аннулировал избрание двух генеральных приоров, оспаривавших управление орденом, и заставил избрать третьего, которому большая часть гранмонцев поклялась повиноваться, возобновил орденские привилегии и одобрил устав. Со своей стороны, французский король узаконил своим личным подтверждением достигнутое соглашение: перед ним предстали главы двух партий и обменялись друг с другом поцелуем мира. Но двумя годами позже война в ордене вспыхнула снова — повсюду возобновилось насилие и изгнание монахов послушниками. Монахи воззвали к Риму, где их дело стало изучаться с обычной медлительностью. Папство, которое сразу же должно было энергичными мерами положить конец спору, прибегало к уверткам и бездействовало по очень простой причине, о которой нам косвенно сообщает одна фраза Этьена де Турне из письма, адресованного Папе. Не монахи Гранмона, а послушники располагали деньгами. И они сами похвалялись, что с их помощью проваливают все начинания своих противников: «Они не полагаются на правосудие, а связывают все надежды — и сами говорят это всем, кто хочет слушать — со своими денежными щедротами и подкупом, коим широко пользуются».

Тем не менее беспорядки приняли такой размах, что капетингское правительство сочло должным вмешаться во второй раз. Прежде чем отбыть в крестовый поход, Филипп Август в 1190 г., употребив угрозы и просьбы, отправил монахов и послушников Гранмона в Сен-Дени, дабы принудить их соблюдать мир. Но едва он уехал, как ссоры возобновились, в то время как представители обеих группировок судились в Риме пред

нерешительным и беспомощным Святым престолом. Именно тогда Этьен де Турне, по соглашению с аббатами Сен-Дени, Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Виктора, написал в 1191 г. Папе письмо, в котором сообщал о бесчинствах послушников и плачевном положении притесняемых монахов, угрожая Риму гневом короля Франции.

Это не привело ни к чему — папство, даже в лице Иннокентия III, не осмеливалось положить конец запутанному делу. В 1214 г. в ордене Великой Горы продолжали сражаться, а Папа все еще получал от монахов жалобные письма:

Кем мы станем скоро, жалкими бедняками, какие мы есмь, предметом насмешек и презрения для всех, кто знает нас, попавших в жестокое рабство к мирянам? Мы не перестаем взывать и жаловаться, но никто не слышит наших криков; мы выставляем напоказ наши страдания, но никто не приходит к нам на помощь. Нет больше пророков в Израиле! Моисей умер для нас, а его последователь не продолжает его трудов. Иисус Навин неверен своему народу: он заключил союз с чужеземцем; он позволил развратить себя и ведет против нас тяжбу, мы не видим в народе предводителя, ниспосланного Богом, способного освободить нас от послушников. Они угнетают нас невероятным образом... разрушают обители нашего ордена, преступают монашеские уставы, транжируют имущество общины и раздают его мирянам из своих семей или своим друзьям... Они поднимают на нас свою крепкую руку, угрожая расколоть череп, ежели мы попытаемся сопротивляться каким бы то ни было их притязаниям, а чтобы нас наказать, бросают нечистоты в нашу еду. Они отняли все наше мирское имущество, да еще и стремятся распоряжаться нами в сфере духовной... Мы не закончим, если станем перечислять ряд тяжких оскорблений, клевет, угроз, самоуправств, жертвами которых мы явились со стороны сих лжебратий, особенно в этом году. О Святой Отец, мы посылаем к тебе подателями сего письма наших достойных братьев, людей с доброй репутацией, верных и богобоязненных. Ты можешь точно узнать от них то, что было бы слишком долго излагать тебе письменно — они беспристрастные свидетели дел, которые тебе откроют. Припадаем к стопам Твоего Святейшества; просим и благочестиво умоляем тебя, ежели есть в тебе какое-то чувство жалости, внемли чаяниям наших братьев. В

тебе наша надежда; с твоим водворением на престоле святого Петра единственно в тебе наше прибежище. Спаси нас, Владыко, от господства сих варваров, от услужения этим мирянам, которым мы столь долго вынуждены подчиняться, быть может, в наказание за грехи наши. Ежели твоя поддержка покинет нас, кто поможет нам? После тебя мы не видим никого, к кому могли бы прибегнуть. Положи же конец нашей тягбе, еще никем не разрешенной окончательным образом. Наше письмо и так уже слишком длинно и могло бы тебя утомить; на этом мы заканчиваем, мы, твои смиренные и презренные слуги, претерпевшие сверх всякой меры и глубоко встревоженные. Владыко, сжался над нами.

Средневековые Папы зачастую обладали более широким умом, более возвышенной и доступной чувствам человечности и справедливости душой, чем те, кто их представлял. Они были лучше своих кардиналов и легатов: это относится, например, к папе Григорию VII, гораздо менее непреклонному и жестокому, нежели те, кто действовал от его имени, и может быть отнесено также к Иннокентию III, которого часто предавали его же представители. Гранмонский кризис усугубили странные действия посланных во Францию кардиналов и особенно — легата Робера де Курсона. Он выказал такое пристрастие к послушникам, что последние воспользовались этим, чтобы вновь приняться за свои бесчинства. Избиваемые, покрытые ранами, изгоняемые из своих монастырей, монахи обращались ко всем, от легата до Папы. Робер де Курсон дал им отпор, отстранив их генерального приора и объявив их апелляцию лишеной законной силы. На сей раз Иннокентий III выразил неодобрение своему уполномоченному в весьма горячих словах: «Воистину, мы поражены тобой, узнав о твоём невероятном поведении. Человек, наделенный разумом, не осмелился бы действовать подобным образом. По какому праву ты взял на себя функции судьи по нашим апелляциям? Какой умный и скромный человек позволил бы себе вынести против приора Гранмона, после его законно поданной апелляции, приговор об отстранении от должности? Как посмел ты своей единоличной властью отпускать грехи этим мятежным послушникам и освобождать их от повиновения своим вышестоящим?» Папа заканчивает тем, что аннулирует решения своего легата и поручает архиепископу Буржскому позаботиться о

выполнении принятых совершенно справедливых решений относительно приора Гранмона.

Это письмо Иннокентия III было датировано мартом 1214 г., но не возымело большого действия, ибо и два года спустя, в 1216 г., орден Великой Горы все еще оставался жертвой междоусобной войны, а тот же Папа писал архиепископам Буржскому, Сансскому и Турскому, приказывая им наказать тех, кто восстал против генерального приора и установлений конгрегации. Смута продолжалась до середины XIII столетия.

ГЛАВА VIII. ЖЕСТОКИЙ И РАЗБОЙНЫЙ ФЕОДАЛЬНЫЙ МИР

Если рассматривать феодальный мир, исключив его верхушку, о которой мы поговорим позже, то привычки и нравы благородного сословия на протяжении XII в. в целом оставались неизменными. Почти повсюду владелец замка был грубым и хищным солдафоном — он воюет, сражается на турнирах, проводит мирное время в охоте, разоряет себя мотовством, душит поборами крестьян, грабит соседние замки и разоряет церковные владения.

В начале XIII в. монахи аббатства Сен-Мартен-дю-Канижу составили нескончаемый список преступлений, совершенных русильонским кастеляном Поном дю Берне. Сей знатный муж был настоящим разбойником:

Он разрушил нашу изгородь и увел одиннадцать коров. Ночью он вторгся в наши владения Берне и срубил фруктовые деревья. На следующий день он схватил и привязал в лесу двух наших слуг, отобрав у них три су и десять денье. В тот же день на нашей ферме Эга он снял с Бернара из Моссе рубаху, штаны и башмаки. В другой раз он убил двух коров и ранил четырех на ферме Коль-де-Жу и унес все найденные им сыры. А однажды он заставил людей Риалья откупиться за пятнадцать су, и они были в таком ужасе, что отдались под покровительство Пьера Дюмоле посредством единовременной уплаты пятнадцати су и ежегодной ренты в один ливр воском. В Эгли он захватил пятьдесят пять баранов, осла и троих детей, которых соизволил отпустить только за выкуп в сто су, забрал одежду, рубахи и сыры; он вторично отобрал у Пьера из Риалья рубаху, у Бофиса — ремень и нож, у Пьера Амана — две накидки, шубу и скатерть... И, поклявшись вместе со своим отцом в церкви Святой Марии Вернеской, что оставит в покое аббатство, он похитил у наших людей в Авидане восемь су и семь кур и принудил нас откупить берег Одилона, проданный нам его отцом... Он увел у нас из Берне скот, более пятисот баранов, и захватил четырех человек, которым, к счастью, удалось бежать. Затем он схватил двух людей из Одилона, потребовав с них выкуп в пятнадцать су, и один из них все еще в плену.

Этот Пон дю Берне просто тиранил местное население, однако и феодалы более высокого ранга в той же горной области вели себя точно так же, разве что их поле деятельности было шире, а добыча значительней. Один из самых любопытных документов, касающихся этой темы, — завещание графа Руссильонского Гинара от 1172 г., то есть незадолго до начала правления Филиппа Августа. В нем отражается весь феодальный мир, сознающий в смертный час в своих грехах и старающийся их искупить, возместив ущерб своим жертвам. Почти все статьи завещания составлены по одной и той же формуле. Вот наиболее выразительные из них:

Церкви и жителям Палестра за убытки, причиненные мною, я возвращаю 2000 мельгорьянских су.

Людям Сере за злодеяния, от коих они претерпели, — 1000 мельгорьянских су.

Людям Канде, у которых я увел их скот, я возвращаю 100 мельгорьянских су.

Пьеру Мартену, перпиньянскому купцу, за ущерб, нанесенный ему одним вором, я возвращаю 150 мельгорьянских су».

Очевидно, граф Гинар поимел из украденного свою долю.

Людям Виллемолака — 1000 су, жителям Каномала — 300 су, людяи Морея — 500 су, людяи Булона — 500 су, людяи Доманова — 1000 су, жителям Божи — 100 су...

Это далеко не полный перечень. Но вот точная и недвусмысленная исповедь:

За грабеж Пона де Навага в той мере, в какой участвовал в этом я (*pro parte atrocini Pontii de Navaga quam ego habui*), я возвращаю 1000 мельгорьянских су и хочу, чтобы сверх этой суммы раздали бедным 100 новых рубрах.

Более ясно признаться в том, что граф Гинар Руссильонский был причастен к доходам воровской шайки, невозможно. Маловероятно, чтобы эти руссильонские сеньоры, документы о которых к нам случайно попали, были и впрямь исключены из правил. Мы не говорим, что так поступала вся знать их края — ибо достойные люди существовали во все времена и во всех странах — но такими были многие представители их сословия. Перенесемся в другие концы Франции, и мы увидим ту же

картину. В Берри в 1209 г. сеньор де Деоль, а в 1219 г. — сеньор де Сюлли уличены в ограблении купцов, и Филиппу Августу пришлось вмешаться и сурово их наказать. Знатные бароны, феодальные властители грабят не меньше, чем простые владельцы замков. Виконт Лиможа Ги V не стеснялся посылать своих воинов на рынки за товаром, не платя за него, и велел бросать в темницу тех, кто пытался оказывать сопротивление. Герцог Бургундский Гуго III, вечно не сводивший концы с концами, на деле — тоже обычный разбойник с большой дороги: он грабит французских и фламандских купцов, проезжающих через его владения, что стало одной из причин, заставивших Филиппа Августа в 1186 г. предпринять поход в Бургундию.

Один из знатнейших сеньоров своего времени, знаменитый Рено де Даммартен, граф Булонский, личный враг французского короля, тот, кто больше всех потрудился над созданием коалиции, разбитой при Бувине, во всех других отношениях был отъявленным разбойником. Его нынешний биограф г-н Анри Мало попытался облагородить эту личность, представляя его прежде всего воплощением феодальной розни, неприятия знатью централизованной монархии. Он показал, что этот барон, борясь против королевской власти, в конечном счете выполнял свой долг и сражался за независимость своей земли, желая остаться ее хозяином. Все это так, и мы, в конце концов, понимаем графа Булонского, получавшего деньги от англичан и немцев, дабы противостоять Филиппу Августу и создавать ему повсюду врагов. Национальная идея, или понятие родины, по отношению к которой существуют обязанности, едва была выражена и в XVII в. у крупных сеньоров времени Людовика XIV и принца Конде, тем более нечего искать ее в сознании знатного феодала при Филиппе Августе; но г-ну Мало следовало бы признать, что его герой, «красивый, храбрый, сильный, умный и образованный», не довольствовался значимостью своей роли, но прибавлял к ней доходы от вооруженного грабежа, грубое вымогательство у крестьян, купцов и горожан. «С самого начала правления Рене Булонского, — признает г-н Мало, — за ним прочно утвердилась слава любителя денег, раздобывавшего их несколько грубоватыми средствами. Правда, надо признать, что если он их и любил, то лишь для того, чтобы убедить в законности его поступков обираемых им людей. А посему каждый старался по мере сил защититься от него, и мы видим, что все население

почитает благоразумным укрыть свои ценности: таковы жители Кале, доверившие свои богатства монахам Андре в 1191 г.». И г-н Мало сам сообщает нам о некоторых из этих «несколько грубоватых» средств, которые использовал Рено Булонский, наполняя свой кошелек. Он показывает нам, как тот уводит в плен толпы окрестных монахов, захватывает убранный в риги зерно, присваивает пришедшиеся ему по вкусу их леса, пахотные земли и болота. Сообщается и о другом «подвиге» графа, имевшем громкий отголосок в 1190 г. Бывший канцлер Ричарда Львиное Сердце, епископ Гийом де Лоншам, изгнанный из Англии, приезжает искать убежища на французской земле и высаживается на булонских берегах. Но едва он вступает в эту страну, как на него обрушивается со своим отрядом граф Рено, отбирает лошадей, поклажу, священные сосуды из его часовни, стаскивает с него даже епископскую мантию и только затем разрешает продолжать путь. Инцидент наделал много шума. Архиепископ Реймский сурово отчитал молодого графа Булонского, требуя возвращения похищенного, и отлучил вора. Но это ни к чему не привело. «Рено, — пишет г-н Мало, — выслушал упреки, но ничего не возвратил, даже епископской мантии». Таков человек, называемый его биографом «типичным знатным французским феодальным сеньором конца XII — начала XIII века». И когда Мало немного ниже добавляет: «В эту эпоху самый ничтожный обладатель кольчуги, самый мелкий владелец какой-нибудь башни уже в силу этого чувствовал себя вправе грабить и убивать людей, оказавшихся в пределах досягаемости его меча», и подтверждает эту общую фразу примерами, заимствованными в графствах Гинском и Булонском, где феодальный разбой был ужасающим, то он провозглашает ту же правду, которую можно было бы отнести почти ко всей Франции.

Сами современники признавали это. Трубадур Ги раут де Борнель, писавший в начале XIII в., сожалеет о разбойных поведках, недостойных воина: «Когда-то я видел, как бароны в красивых доспехах устраивали турниры и участвовали в них, и было слышно, как долго говорили о тех, кто нанес прекраснейшие удары. Ныне честь состоит в воровстве быков, овец и баранов. Ах! Позор тому, кто является пред дамой рыцарем, который собственной рукой гонит стада блеющих баранов или грабит церкви и прихожан». Другой современник и трубадур, провансалец Бертран д'Аламанон, сочиняет то, что называют тенсоной, сатирическим

диспутом, с намерением посмеяться над сеньором Ги, бывшим разбойником, который остепенился и стал поэтом, и говорит ему: «Друг Гион, я очарован твоим здравомыслием, ибо ты стремишься овладеть всяким ремеслом. Ты, долго бывший разбойником с большой дороги, теперь, как я слышал, возвысился до роли сержанта. А после похищения быков, овец и баранов ты стал жонглером и исполняешь стихи и песни. Этак ты взойдешь к великим почестям».

Только что процитированный Гираут де Борнель имел тем больше оснований жаловаться на разбой сеньоров, что сам пал его жертвой. Эти люди не уважали даже поэтов. Однажды, когда Гираут, проходя через горы Наварры, возвращался от кастильского двора, где его тепло приняли и осыпали подарками, наваррский король Санчо Сильный велел своим воинам обогнать его.

Феодалный мир продолжал жить грабежом; он разбойничал, обирал купцов и путников, взимал с крестьян и горожан фьефа незаконные поборы и чрезвычайные пошлины, и подобные вещи происходили повсюду. К разбою вооруженному он добавил обирание арендаторов и зависимых крестьян, воровство сеньориальных служащих. Вне сомнений, во многих местах подобные бесчинства за столетие уменьшились; некоторые города, бурги и даже деревни получили или купили гарантии, хартию, контракт. Сеньор, наконец, начал понимать, что средство извлечения денег из своего фьефа заключается не в опустошении его вымогательствами и превращении в пустыню. Однако далеко не везде знать мыслила таким образом, и если существовало множество мест, огражденных от самоуправства надлежащим способом оформленными актами, то гораздо больше было тех, у кого таковых свобод не было и которые сеньор обирал как хотел. Города нашли способ защиты, но как сопротивляться деревням? Собственность и жизнь крестьян в мирное время были не в большей безопасности, чем во время войны.

В связи с этим нужно обратиться к смелой обвинительной речи против феодальных вымогательств знаменитого проповедника Жака де Витри, адресовавшего свои обличения князьям и рыцарям, *proceres et milites*: «Все, что крестьянин собирает за год упорным трудом, рыцарь, благородный человек, пожирает в час. Не довольствуясь платой воинам за счет крестьян, не довольствуясь своими доходами и ежегодным чиншем, взимаемым со

своих подданных, он еще обирает их незаконными податями и тяжкими поборами. Бедняка изматывают, выколачивая из него плоды его трудов и пота многих лет».

Особенно осуждает проповедник пресловутое право «мертвой руки». Он яростно восстает против знати, ворующей наследство покойников, имущество вдов и сирот: «Отец умер, а сеньор уводит у несчастных детей корову, которая могла бы их прокормить. Люди, пользующиеся правом мертвой руки — убийцы, ибо они обрекают сироту на голодную смерть; они подобны червям, поедающим трупы». В другом месте он сравнивает знать с волками, а их приспешников и служителей — с вороньем: «Подобно тому как волки и шакалы пожирают падаль, а вокруг каркают вороны, дожидаясь своего участия в пиршестве, так обирают своих людей бароны и рыцари, а прево, сборщики налогов и прочее адское воронье радуется возможности подобрать остатки». И метафоры, все более и более выразительные, сменяют друг друга: «Сии сеньоры, не работающие и живущие трудами бедняка, походят на грязных паразитов, вгрызающихся в мясо, точащих его и питающихся тем, что служит им убежищем». «Прево не менее алчны, чем их хозяева: они душат поборами и душимы в свою очередь. Их называют пиявками, ибо они высасывают кровь нищих и извергают ее сеньорам, более могущественным, чем они». Какую только форму не принимает эксплуатация бедного народа сеньорами и их присными! Они изыскивают средства обложить налогами буквально все, и Жак де Витри, дабы развлечь своих слушателей и привлечь их внимание, рассказывает следующий анекдот:

Однажды один бальи, служащий какого-то графа, желая угодить своему хозяину, говорит ему: «Сеньор, если вы изволите мне поверить, я предоставлю вам возможность зарабатывать каждый год определенную сумму денег». — «Охотно», — отвечает граф. «Позвольте же мне, сеньор, продавать солнце на всей протяженности вашего фьефа». — «Как, — отвечает граф, — можно продавать солнце Господа?» — «Очень просто: многие ваши люди отбеливают полотно и оставляют его сушиться на солнце. Даже если они будут давать вам только по 12 денье за каждый кусок полотна, вы заработаете много денег». И вот так сей дурной слуга подвигнул своего сеньора к продаже солнечных лучей.

Жак де Витри неистощим, рассуждая на тему фискальных способностей могущественных людей и нищеты угнетаемых; он чувствует, что именно здесь коренится глубокое зло феодального общества, и пытается припугнуть виновных: «Вы были прожорливыми волками, — говорит он им, — а посему скоро завоюете в аду». Но для тех, кого недостаточно пугает перспектива вечных мук, у него есть другой, по-человечески более близкий, основанный на опыте аргумент: «Великим следует полюбить малых; пускай поберегутся внушать к себе ненависть. Не след презирать обездоленных: ежели они могут прийти нам на помощь, то так же точно могут и причинить нам зло. Вам известно, что многие сервы убили своих хозяев и сожгли их дома».

Ни один проповедник или обличитель этого периода Средневековья не обрисовал с большей точностью печальные последствия алчности благородного сословия и не клеймил феодальный разбой в более суровых выражениях. Витри сумел пойти дальше и, поговорив о жажде денег — главном пороке знати, показал нам ее страсть к сражениям и кровожадные инстинкты, хорошо объясняемые привычкой к грабежам и длительным войнам. В этом заключается вторая общая и отличительная черта феодального мира. И здесь, как во всем остальном, история доказывает, что проповедники нисколько не преувеличивали.

Вот, например, мелкий перигорский феодал Бернар де Каюзак, о котором рассказывает хронист Петр из Во-де-Серне. Настоящий зверь:

Его жизнь проходит в грабежах и разрушении церквей, в нападениях на паломников, в притеснении вдов и бедняков. Особенно нравится ему калечить беззащитных. В одном монастыре черных монахов Сарла обнаружили сто пятьдесят мужчин и женщин, которым он повелел отрубить руки и ноги и выколоть глаза. Жена этого сеньора, такая же жестокая, как и он, помогала ему в пытках. Самой ей доставляло удовольствие мучить бедных женщин. Она приказывала отрезать им груди и вырывать ногти, чтобы они не могли работать.

Другой пример:

Один из военных товарищей Симона де Монфора, рыцарь Фуко, даже возмущался жестокостям, творимым воинами. Всякий пленник, не имевший средств заплатить сто су за свой

выкуп, был обречен на смерть. Его бросали в подземелье и оставляли погибать от голода. Иногда Симон де Монфор повелевал притаскивать их полумертвых и бросал на глазах у всех в выгребную яму. Рассказывают, что из одной из своих последних экспедиций он возвратился с двумя пленными, отцом и сыном. Он заставил отца собственными руками повесить сына.

Чтобы узнать, до чего могла доходить любовь к войне и побищам, понять, каким удовольствием и настоящей потребностью было для баронов той эпохи грабить, жечь и убивать, достаточно ознакомиться хотя бы с жизнью и произведениями трубадура Бертрана де Борна. Этот поэт также был человеком знатным и владельцем замка; он провел всю жизнь, сражаясь и, главное, побуждая сражаться других. Он любил войну ради ее самой, ибо ему нравилось видеть сталкивающиеся друг с другом полчища и льющуюся кровь, но главным образом — потому, что на войне захватывали добычу и принцам приходилось проявлять щедрость к сражавшимся за них рыцарям. Знаменитая сирвента, принадлежность которой Бертрану де Борну, правда, оспаривается, «Любо мне в веселое время Пасхи, когда распускаются листья и цветы...» — настоящий гимн войне, где есть такая весьма известная строфа:

Говорю вам, что не могу ни есть, ни пить, ни спать, если не слышу, как кричат со всех сторон «Вперед!», не слышу ржания испуганных коней, сбросивших всадников, не слышу криков «На помощь, на помощь!» и не вижу, как воины падают на траву, спотыкаясь о рвы, малые и большие, и не вижу мертвых, пронзенных копьями, украшенными флажками.

Если это стихотворение и не принадлежит его перу (авторство его не доказано), то оно вполне в его духе, о чем свидетельствует отрывок, по отношению к которому авторство де Борна никогда не оспаривалось:

Вот и настало приятное время года, когда пристанут наши корабли, когда приедет король Ричард, веселый и доблестный, как никогда. И тогда мы увидим, как сыплется золото и серебро, как прибывают на зависть врагам заново отстроенные катапульты... как рушатся стены, как оседают и падают башни, как враги отведывают темницы и цепей. Я люблю смешение голубых и алых щитов, разноцветных знамен и штандартов, палаток и богатых

шатров, натянутых на равнине, треснувшие копья, пробитые щиты, расколотые шлемы, наносимые и получаемые удары.

Этот человек не приемлет перемирий, заключаемых баронами, и насмехается над теми, кто живет в мире. «Они как плохой металл, — говорит он, — из которого, как ни переплавляй и ни обрабатывай его, ничего не сделаешь; даже шпора не заставит их пуститься вскачь или рысью». И в другом месте: «Я сломал о них больше тысячи стрекал, так и не заставив ни одного пойти галопом или рысью; среди них нет никого, кого можно было бы не спеша постричь, побрить или подковать на четыре копыта». «Они исполнены отваги, — пишет также трубадур, — с наступлением зимы, но теряют свою храбрость весной, когда приходит время действовать». Чтобы угодить Бертрану, бойне следовало бы длиться вечно; едва она прекращается, как он меланхолически пишет: «Достоинство и честь мертвы. Есть королевства, но нет больше королей; есть графства, но нет больше графов; существуют мощные замки, но нет у них владельцев. Еще можно увидеть прекрасных дам и красивые одежды, и хорошо причесанных людей; но где храбрецы из песен? Ричард — это лев, но король Филипп кажется мне ягненком».

Ричард Львиное Сердце и впрямь был во вкусе трубадура, но делать из Филиппа Августа ягненка, потому что он любил лишь войну, приносящую плоды — это уж слишком. Думается, провинция, где жил наш автор — Лимузен и соседние с Перигором и Ангумуа края — были тем уголком Франции, где феодалы были всего неспокойнее, сражались с большим ожесточением, как между собой, так и против своего сюзерена. Вековечный бич войны свирепствовал там с особой силой, а значит, воистину трудно заслужить одобрение Бертрана де Борна. Тем не менее в его стихотворениях упоение резней выражено далеко не самым кровавым образом. Авторы некоторых жест, современники Филиппа Августа, по крайней мере в последних редакциях таких поэм, как поэма о Лотарингцах или о Жираре Руссильонском, сумели его превзойти. Их герои доходят до крайней степени жестокости. В «Песни о Гарене Лотарингском» герцог Бегон, вырвав собственными руками внутренности поверженного врага, бросает их в лицо Гийому Монклену со следующими словами: «На, вассал, бери сердце своего друга — можешь посолить его и изжарить». Да и сам Гарен пред нами разрывает тело Гийома де

Бланкафлора: «Он вынул у него сердце, легкие и печень. Эрно, его товарищ, хватает сердце, разрубает на четыре куска, и оба они разбрасывают на дороге эти еще трепещущие клочья плоти». После битвы благородных пленников сохраняют, чтобы получить за них выкуп; но поскольку с пленников низшей категории — лучников, арбалетчиков, войсковой прислуги — взять нечего, их убивают или калечат, чтобы сделать непригодными к службе. «Песнь о Жираре Руссильонском» не оставляет никаких сомнений на сей счет: «Жирар со своими устраивают резню; они сохранили живыми 280 человек, владельцев замков, которых поделили между собой». И ниже: «Бургундцы коварны и жестоки. У нас нет ни сержанта, ни арбалетчика, которых они не лишили бы руки или ноги». Поэт, по-видимому, не одобряет подобные жестокости; но в жизни от них никто не воздерживается, даже король: «Клянусь головой, — говорит Карл Мартелл, — меня, Фульк, не заботят ваши слова, и я смеюсь над вашими угрозами. Какого бы рыцаря я ни захватил, я предам его позору и отрежу нос и уши. Если это сержант или купец, он лишится руки или ноги». Из другого отрывка мы узнаем, что в королевский дворец приезжает тридцать сержантов, все — изуродованные: «У каждого была отрублена нога или рука или выколот глаз. В таком виде они предстали перед королем и сказали ему: „Сир, это на твоей службе мы были так искалечены“».

Известна степень ценности исторических сведений, содержащихся в жестах. Даже в описании войны и рассказах о сражениях поэт не мог удержаться от того, чтобы не вводить детали, взятые целиком из области своей фантазии, или не исказить правду безмерными преувеличениями. Когда, к примеру, войска короля или знатных баронов сходятся в грандиозных сражениях, всеобщей свалке, битвах, где огромное множество людей — сотни тысяч — выстраиваются рядами и режут друг другу горло, то понимаешь, что воображение далеко увлекло поэта. Ведь в исторической действительности, как показывают войны Капетингов и Плантагенетов, войско, напротив, мало-численно, крупномасштабные сражения, а не стычки, исключительно редки. Окончательной развязки, как правило, избегают, не осмеливаясь одолеть противника единым ударом; его хотят уничтожить лишь по частям, так как много чаще знать берет или отдает выкуп, чем убивает друг друга. То же относится и к геркулесовой силе героев поэм, где рыцари одним ударом меча

отсекают руки, ноги и головы, разрезают противника надвое, с удивительной легкостью разрубая шлем, голову и грудь; и когда мы видим, с какой невероятной силой сопротивляются такие раненые — пронзенные, искалеченные, с разрубленным черепом удерживающиеся в седле и продолжающие сражаться как ни в чем не бывало — очевидно, что фантазия автора достигает здесь наивысшего предела.

Но при всех преувеличениях подобного рода эти рассказы о войнах и сражениях содержат, надо признать, множество подробностей, заимствованных из реальной жизни. Поэту не нужно из всех сил напрягать воображение — достаточно посмотреть на происходящее вокруг него. То, что говорится о жестокости воинов, об истреблении бесполезных пленников, полностью подтверждается историческими документами. Сообщения о вырезании крестьян и об ужасающих опустошениях, совершаемых на вражеской земле, — самая что ни на есть истинная правда. Ибо война в ту эпоху — это прежде всего разрушение и грабеж. Задача состоит в том, чтобы причинить как можно больше ущерба противнику, сжигая деревни и уничтожая крестьян, являющихся его собственностью и источником дохода. Авторы жест лишь выводят на сцену то, что на каждой странице упоминают хроники. Именно горожанин, монах и крестьянин расплачиваются за издержки феодальных войн. «Песнь о Жираре Руссильонском» в этом аспекте весьма поучительна. Один из героев поэмы, говоря о противнике, восклицает: «Он может пойти на нас, как вероломный трус. Он вырубит наши виноградники и деревья, разрушит наши стены и садки, уничтожит наши водоемы». И в другом месте: «Он видит, как более сильный наступает на него, вырубает его виноградники, выкорчевывает деревья, разоряет землю, превращая ее в пустыню; он видит, как приступом захватывают его замки, разрушают стены, засыпают колодцы, захватывают в плен или убивают его людей».

И вот в чем состоит победа предводителя одной из сторон: «До самого Беоля он не оставил в живых ни одного доброго рыцаря, не пощадил ни церковной казны, ни раки, ни кадила, ни креста, ни священного сосуда; все, что он отбирает, он отдает своим соратникам. Он так свиреп, что поднимает руку на человека только затем, чтобы убить, повесить или искалечить».

В «Песни о Лотарингцах» мы обнаруживаем еще более детальное описание прохождения войска по вражеской стране.

Трогаются в путь. Гонцы и поджигатели становятся впереди; за ними следуют фуражиры, собирающие добычу и везущие ее длинными обозами. Начинается полное смятение. Крестьяне, едва возвратившись в деревню, с громкими криками обращаются вспять; пастухи собирают скот и гонят его к соседнему лесу в надежде спасти. Поджигатели окружают деревни, где уже побывали, разграбив их, фуражиры; потерявшие голову жители сгорают заживо или же уводятся со связанными руками, присоединенные к добыче. Гремит набатный колокол, страх, постепенно распространяясь, охватывает всех. Видны сверкающие повсюду шлемы, развевающиеся штандарты, скачущие по равнине рыцари. Тут отбирают деньги, там уводят быков, ослов и стада. Валит дым, вздымается пламя, крестьяне и пастухи, обезумев, разбегаются в разные стороны.

Там, где проходят рыцари, не остается ничего:

В городах, бургах, на хуторах больше не видно ни вращающихся мельниц, ни дымящих очагов; петухи перестали петь, а собаки лаять. Сквозь дома и меж камней церковных полов проросла трава, ибо священники оставили службу Богу, и на земле валяются разбитые распятия. Паломнику можно шагать шесть дней, не встретив никого, кто бы подал ему ломоть хлеба и каплю вина. Свободные больше не судятся со своими соседями, ибо на месте старинных деревень выросли кустарник и терновник.

* * *

Превратить вражескую землю в пустыню — вот цель ведущего войну сеньора; и знать не прекращает воевать. Войны идут повсюду, ибо это занятие и ремесло знатного человека, и сам он прежде всего воин, предводитель отряда с соответствующими вкусами и привычками. Он не только любит войну, он живет ею. Вся его молодость проходит в подготовке к ней; вырастая, он посвящается в рыцари и ведет войну так долго, как только позволяют ему силы, до самой старости. Его дом — казарма, крепость, замок, служащий оружием нападения и защиты. Когда же по чистой случайности он пребывает в мире, то и тогда стремится предаваться войне воображаемой, сражаясь на турнирах, ибо мы увидим, что турнир — уменьшенная копия войны, дополнительная возможность сражения и получения добычи. Впрочем,

несмотря на относительный прогресс общей культуры, невзирая на усилия духовенства, королей и некоторых знатных сеньоров, ставших государственными мужами, война практически на всей территории Франции была почти постоянным бедствием и нормальным состоянием тогдашнего общества.

Этот чудовищный и парадоксальный факт воспринимается с некоторым трудом. При нынешних миролюбивых привычках и нравах, в условиях опеки собственности и личности со стороны государства очень трудно вообразить себе страну вроде Франции времен Филиппа Августа, разделенную на провинции, жители которых представляли собой множество маленьких народов, враждебно настроенных по отношению друг к другу; сами провинции подразделялись на множество сеньорий или фьефов, обладатели которых не прекращали воевать; не только бароны, но и владельцы небольших замков вели замкнутый образ жизни, были вечно заняты враждой со своими сюзеренами, себе подобными или своими подданными; к этому надо добавить соперничество города с городом, деревни с деревней, равнины с равниной, войны между соседями, которые в те времена, кажется, самопроизвольно зарождаются даже от самого различия территорий с их обычаями. Как же в подобном хаосе, среди такой вражды мог существовать простой народ? Как крестьяне, столько терпевшие уже от лихоимства сеньориальной эксплуатации и природных бедствий, сопротивлялись каждодневным потрясениям, первыми жертвами которых они были? К тому же эти люди еще и трудились в условиях опустошений и грабежа точно так же, как жили посреди чумы и голода; и следует признать, что у знати всегда доставало крестьян для издевательств и угнетения и хижин для поджога.

Можно было бы рассматривать одну провинцию за другой, неизменно убеждаясь в реальности бесчисленных войн, сталкивавшихся между собой феодалов и другие классы общества. Но для многих регионов отсутствуют точные и представительные исторические сведения, а поэтому полный и скрупулезный перечень подобных сцен опустошения невозможен; во всяком случае, он был бы бесконечным. По крайней мере, можно выделить некоторые характерные черты и события, произведшие наибольшее впечатление на современников и отозвавшиеся в хартиях и хрониках. Можно выделить самые общие типы феодальных войн, если полагать с определенной уверенностью, что

все, происходившее в некоторых провинциях, происходило и в других, а воинственные и грабительские инстинкты рыцарского сословия порождали везде одно и то же зло. Разумеется, здесь не идет речь о великих событиях политической истории, приведших, например, к борьбе капетингского короля с Плантагенетами или могущественными феодалами. Мы ни в коей мере не забываем, что войны и завоевания Филиппа Августа предавали огню и крови значительную часть Франции на протяжении почти всего его правления по крайней мере до 1214 г., до окончательной победы при Бувине. Но под этим первым слоем исторических войн находятся другие, располагавшиеся на различных уровнях феодальной иерархии, несметное число частных соперничеств, мелких разрушений и сражений местного масштаба, в которых были заинтересованы лишь местные феодалы, но которые были не менее губительны для крестьянина.

Война повсюду, и прежде всего — в лоне сеньориальных семейств. Вопросы наследства и преемственности, разрешаемые сегодня гражданским правосудием, приводили тогда чаще всего к вооруженной борьбе. Когда старший сын сеньора, законный наследник фьефа, вступал в возраст ношения рыцарских доспехов, он требовал часть своего домена и сеньориальных доходов, ибо ему нужны были деньги на развлечения, друзей, чтобы блистать на турнирах. Иногда даже он добивался определенно-го приобщения к сеньориальной власти, права пользования печатью сеньории для узаконения своих актов, а также участия в верховной власти отца в качестве соправителя в ожидании всего наследства. Некоторые отцы соглашались на подобный аванс и добровольно предоставляли молодому рыцарю домены и даже участие в управлении; другие выделяли деньги или землю, сохраняя сеньорию исключительно за собой; третьи не желали ни от чего отказываться при жизни и не давали ничего. В этом случае сын, подталкиваемый «дурными советчиками», начинал открытую войну со своим отцом, и фьеф на долгие годы оказывался в пламени пожара. К примеру, именно этим объясняется длительная ссора, восстановившая друг против друга в конце правления Людовика VII и начале царствования Филиппа Августа двух сеньоров Божоле, Умбера III — отца и Умбера IV — сына. Нам неизвестны детали этой семейной распри; лишь из решения третейского суда архиепископа Лионского, в 1184 г. положившего ей конец, известно, что она стала сущим разорением для

Божоле и Лионне. В самом деле, вот какие выражения употребляет арбитр: «Среди всех несчастий, свалившихся на наш край, на первое место следует поставить эту бурю (*tempestat illa*), непримиримую борьбу, которую вели друг против друга Юмбер де Божё и его сын и конец которой уже отчаивались положить». В 1184 г., однако, воюющие стороны договорились и поклялись в мире на реликвиях в Лионе. И тогда, говорится в документе, «отец принял сына как наследника по рождению и дал ему клятву в этом пред всеми присутствовавшими. В свою очередь сын принес ему оммаж. Так через наше [архиепископа] посредничество молодой Юмбер вернул отцу большую часть сеньории, на которую уже было наложил руку». Однако отец получил ее почти полностью разграбленной наследным владельцем.

В хронике Ламбера Ардрского, посвященной маленьким гинским и ардрским сеньориям Артуа, читаем, как молодой Арнуль, сын гинского графа Бодузена II, получает в 1181 г. рыцарский меч. Едва оказавшись обладателем звания воина, сын начинает требовать наследства: «У Арнуля был советник, Филипп де Монгарден, которого он держал подле себя вопреки воле отца, графа Гинского. Сей советник не переставал подстрекать молодого человека потребовать город Ардр и имущество, переходившее к нему от матери. По этому поводу между отцом и сыном тянулись длинные переговоры и частые встречи. Графу Гинскому не нравилось поведение сына, но, чтобы его усмирить, потребовалось вмешательство фландрского графа Филиппа Эльзасского. Молодой Арнуль после долгих переговоров получил местности Ардра и Колвида, но лишь с частью их угодий».

Тут разлад между отцом и сыном, владельцем фьефа и признанным наследником, кажется, не привел к войне; во всяком случае, хронист не говорит о ней, но мы видим, что это едва не произошло. Недоверие обладателя сеньории к своему наследнику было тогда свойственно всем; оно обнаруживается как на верхних, так и на нижних ступенях феодальной лестницы. Известно, как могущественный властитель державы Плантагенетов повел себя со своим старшим сыном Генрихом Молодым, а потом и с Ричардом Львиное Сердце. Мы также знаем, что Филипп Август тоже не хотел давать своему сыну Людовику, будущему Людовику VIII, бывшему, однако, образцовым сыном, графство Артуа, сеньором которого наследный принц считался по матери. Людовик никогда не носил титул сеньора или

графа Артуа и не имел своей канцелярии — его акты заверяли должностные лица его отца. Всегда ревниво относившийся к своей власти, Филипп Август не переставал присматривать за сыном и держать его под опекой до конца своей жизни, и тому было уже больше тридцати лет, когда он стал королем по титулу. «Сын мой, ты никогда не причинил мне огорчения», — сказал Людовику Филипп на смертном одре. Правда, старый король принял такие меры предосторожности, что его наследнику было бы трудно причинить ему серьезные неприятности. Но мы только что видели, что в большинстве случаев это были обоснованные предосторожности и что молодые рыцари, алчные, как и их отцы, стремились всеми силами ускорить получение наследства.

Между сыновьями и матерями возникали трудности другого рода, ибо после смерти владельца фьефа наследник был обязан выделить вдове определенную часть земель и замков во владение, изымая их тем самым из своей прямой власти. Именно по такому поводу в 1220 г. разразилась война между вдовой графа Гинского Арнуля II и его сыном Бодуэном III. Она продлилась три года; мать и сын в конечном счете заключили мир — «после многочисленных раздоров (*post multiplices discordias*)», как говорит Ардрская хроника, и, несомненно, за этими тремя словами скрывается множество грабежей и убийств.

Не лучше договариваются между собой и братья, особенно когда одним фьефом или доменом, к несчастью, должен владеть один человек. Так было в краях, где право старшинства не устанавливалось строго, что становилось новым источником бесконечных войн. Перенесемся в Лимузен, в начало правления Филиппа Августа: там борются два брата за обладание замком Аутафорт, руины которого и поныне возвышаются над деревней Бельгард, что в Дордони, на берегу озера в центре Борнского леса. Этот замок был грозной крепостью, но сеньория Борн, где находилась главная резиденция, имела весьма незначительное положение. Трубадур Бертран де Борн и его брат Константин де Борн, обосновавшиеся в Аутафорте, жили там поначалу, как кажется, в добром согласии. Но потом между ними возникли раздоры — они столкнулись и старались изгнать друг друга из родительского манора, обладать которым единолично желал каждый. Если послушать Бертрана де Борна, вина целиком ложится на его брата, не желавшего довольствоваться своей частью:

Я поделиться чем богат
До пол-денье последних рад,
Но если кто мне скажет: «Мало!»,
Будь этот хоть кузен, хоть брат,
Тотчас даров лишу нахала.

Бертран и в самом деле под конец одержал верх, а изгнанный Константин отправился жаловаться их сюзеренам, виконту Лиможскому и герцогу Аквитанскому Ричарду Львиное Сердце. Тогда, говорит Бертран, распря приняла широкий размах, а земля Аутафорта подверглась опустошениям:

Всю жизнь я только то и знал,
Что дрался, бился, фехтовал;
Везде, куда ни брошу взгляд,
Луг смят, двор выжжен, срублен сад,
Вместо лесов — лесоповалы,
Враги — кто храбр, кто трусоват —
В войне со мною все удалы.

Не слишком верится, чтобы Бертран де Борн так защищался, как он утверждает, ибо замок Аутафорт, несмотря на свое очень сильное положение, сдался Ричарду, прибывшему в 1183 г. для его осады, без единого штурма. Константин де Борн возвратился в замок. Но немного спустя король Генрих II все же преподнес Аутафорт в дар трубадуру, и тот больше из него не уезжал.

Закон первородства был средством избежать войн между братьями; бароны подкрепляли эту меру безопасности, с детства посвящая своих младших отпрысков для церковной карьеры. Но когда права наследника не были бесспорными, когда наследниками фьефа оставались только родственники по боковой или женской линии, когда можно было усомниться в их правах или противопоставить различные принципы наследования — потомков, родственников по боковой линии и принцип представительства, тогда начиналось соперничество и разражалась война за наследство. Наследственные распри в рассматриваемую эпоху происходили во многих частях феодальной Франции, но самой знаменитой из них, самой длительной и разрушительной была борьба за графство Шампанское, оспаривавшееся графом де Бриенном у графини Бланки Шампанской и ее младшего сына Тибо IV. Распря продлилась четырнадцать лет, с 1213 по 1227 гг.; военные действия, как следствие ее, распространились не только

на Шампань, но и на часть Бургундии, Иль-де-Франса и Лотарингии; в нее оказались вовлечены Папа, французский король, император и множество французских, бельгийских и немецких баронов. Это столкновение породило не только огромное число мелких войн и местных опустошений, но и две настоящих битвы, став предметом чрезвычайно сложных дипломатических переговоров и бесконечных судебных тяжб пред всеми возможными властями. Наконец, оно полностью расстроило феодальные связи, и вассалы переходили от одной соперничающей стороны к другой, исходя из собственных интересов, меняя сюзерена и оммаж с поистине забавной беззастенчивостью. В качестве доказательства приведем лишь одно, совершенно типичное, письмо, адресованное неким шампанским кастеляном графине Бланке: «Бланке, графине, и Тибо, ее сыну, привет. Я, сеньор де Сексфонтен, уведомляю вас настоящим письмом, что некогда был вашим вассалом и вассалом Тибо, вашего сына. Но ныне только что объявился наследник, имеющий более обоснованные права и требующий от меня оммажа, и меж нами уже установилась вассальная связь, в силу которой я никогда его не покину. Знайте же, что я перешел на сторону законного наследника и не являюсь больше вашим вассалом».

Вот чем на практике оборачивался знаменитый закон о феодальном вассалитете — основа всей системы держаний, государственного здания, которое представляется таким строгим и гармонично упорядоченным в юридических теориях XIII в. На деле же подобная вассально-сеньориальная связь была до прискорбия хрупка и непрочна; ее может разрушить пустяк, и достаточно было соперничества из-за любого пожалования или земельного дарения, удачно поднесенных денег, чтобы вассал сменил сюзерена и передал свой оммаж и действительную службу другой персоне.

Таким образом, к войнам родственников добавлялись войны вассалов с сюзеренами, не менее опустошительные и частые. Они наполняют всю историю Франции, ибо вассальные распри включают и борьбу Филиппа Августа против Плантагенетов и графов Фландрских, и ссоры самих Плантагенетов с баронами своих континентальных владений. Кроме того, они захлестывают и провинции, ибо во Франции того времени не было региона, который не стал бы театром военных действий вассала или лиги вассалов с сюзереном фьефа. Ссоры и вооруженные стычки

являются фактически сутью жизни сеньора. Примеров подобного рода столько, что ни к чему доказывать очевидное, составлявшее каждодневную и нормальную жизнь наших владельцев замков и баронов. Не следует обольщаться видимостью — для вассалов сюзерен по сути враг; его уважают, когда он силен, и отказывают в службе или даже нападают, когда он слабеет. Сюзерен же, со своей стороны, уважает вассальную связь не больше. Вот анекдот на эту тему, заимствованный из сборника доминиканца Этьена де Бурбона:

Около 1190 г. жил в диоцезе один виконт, имевший множество замков и башен. Уверенный в своих крепостях, он подстерегал всякий случай, ему представлявшийся, чтобы грабить богатых путешественников, и жил со своими людьми с награбленного. И все-таки однажды, то ли боясь короля Франции, то ли по собственному убеждению, он предпринял паломничество в Святую землю и доверил земли и замки своему сеньору Жирару, графу Маконскому. Последний пообещал выдать замуж дочь виконта за своего сына Гийома, уже соправителя графства Маконского. Однако сеньор и не собирался держать слово. Он сохранил за собой земли своего вассала, а дочь его выдал замуж за одного из своих рыцарей. И тщетно наследники виконта обращались к королю — их отказались слушать.

Что до самого виконта, то, лишенный всего, он умер от нужды и голода, когда собирался нанять судно в Генуе. Очевидно, что сюзерен стоил вассала, и вероломство первого было на уровне аморальности второго.

Мы еще не закончили обзор различных видов войн, этой постоянной болезни феодального сословия. Были еще и войны сеньоров с их собственными должностными лицами, служащими сеньории. Слово «служащий» вызывает представление об относительно старательном, преданном агенте, повинующемся и привязанном собственными интересами к дому и делам исполняющего его услуги государства. Но не так было в Средние века. Сеньориальный служащий — сам мелкий кастелян, так же жадный до денег и земли, как и сеньор, и всячески стремящийся к независимости. Мы видели, что Жак де Витри говорил о феодальном служащем: пиявка, которой хозяин время от времени режет горло — операция трудная и часто насильственная. История доказывает, что проповедник не преувеличивал. Посмотрим, что

происходило в 1203 г. в графстве Булонском. Сенешалем графа Рено де Даммартена являлся некий Эсташ Монах, плут, которого постигнет самая необычайная участь. Граф предупредил, чтобы сенешаль сохранил для него подати, взимаемые с управляемой им земли, и вызвал его для отчета. Эсташ, опасаясь очутиться в темнице, укрылся в большом булонском лесу. Рено же конфисковал имущество своего управляющего и сжег его имения. Эсташ не остался в долгу и при помощи свечей поджег две мельницы, причем именно в тот день, когда граф праздновал свадьбу одного из своих фаворитов. Между сенешалем и его сеньором началась ожесточенная война. Эсташ убивал коней графа и калечил его слуг. Однажды его схватили и бросили в темницу, но он сбегал и, пройдя через ущелье, отправился предлагать свои услуги Иоанну Безземельному и англичанам.

Наконец — ибо материал неисчерпаем, а надо заканчивать — войнами знати не всегда двигал лишь материальный интерес: при таком пылком темпераменте, при крайней обидчивости этих людей, у которых грубость в крови, а гнев тут же выплескивается наружу, достаточно пустяка — жеста, слова, непристойной шутки, чтобы началась вражда, переходящая в бесконечную вендетту. Сбор вассалов в войско или ко двору сюзерена являлся, в частности, поводом для ссор, часто серьезных и сопровождавшихся кровавыми стычками по возвращении в их владения. В жесте о Гарене Лотарингском мы находим весьма выразительную картину бурных ссор между баронами при королевском дворе на глазах у самого короля. Несмотря на запрещение сюзерена, рыцари с обеих сторон — лотарингской и бордоской — сбиваются в кучу и, бросая друг другу в лицо самые грязные оскорбления, переходят к драке.

Гарен наносит сильный удар кулаком по голове Фромону, и тот, оглушенный, падает на землю. Тогда бордосцы покидают свои места и бросаются на помощь своему сеньору. Образуется настоящая свалка: все таскают друг друга за волосы, пускают в ход ноги, кулаки и зубы, и все пред глазами короля, которого никто не хочет слушать. Но в момент высшего накала потасовки граф Ардрский спускается по ступеням и бежит в свое жилище. У изголовья постели он хватает стальной клинок, возвращается во дворец, закрывает все выходы из него и появляется перед лотарингцами, оледеневшими от ужаса. Пятнадцать рыцарей падают, смертельно раненные.

С лотарингской стороны появляется Эрне Орлеанский, который в свою очередь набрасывается на бордосцев.

И тогда началась настоящая бойня. Рыцари наперебой преследуют бордосцев, пронзенных, искалеченных, изрубленных. Раненые прячутся под столами в надежде спастись. Тщетные усилия: их настигают, вытаскивают из укрытия и приканчивают.

Это сражение при королевском дворе стало отправной точкой длительной войны между бордосцами и лотарингцами, о многочисленных событиях которой повествует эпопея. Очевидно, жонглер дал волю своей фантазии, но в целом он лишь сгустил краски исторической реальности. В 1197 г. двор Филиппа Августа располагался в Компьене. Возник спор между графом Булонским Рено де Даммартенем и Гуго, графом де Сен-Полем. Они обменялись оскорблениями, Гуго де Сен-Поль в кровь разбил лицо Рено, тот вытащил нож и кинулся на нападавшего. Король и придворные вовремя их растащили, но граф Булонский горько упрекал Филиппа Августа в том, что тот помешал ему отомстить за себя, и в этом заключалась одна из претензий, впервые заставившая его присоединиться к врагам короля.

* * *

Если феодалы так часто сражаются друг с другом, то не больший мир царит между ними и остальным обществом. Междоусобные войны многочисленны, как и войны социальные. В Средние века социальные группы очерчены гораздо резче, классовая ненависть бесконечно более горяча и стойка, чем в Новое время. С одной стороны, страсти тогда были сильнее, нравы грубее, а с другой — различные социальные группы были разделены более высокими и труднопреодолимыми барьерами. Знатный человек испытывал к простолюдину, то есть (мы берем это слово в наиболее понятном смысле) серву, крестьянину, работнику, горожанину безграничную антипатию и глубокое презрение. Можно легко привести сотню отрывков из жест, где это презрение выплескивается в ярких и образных выражениях. Порой говорится о простолюдинах, которым удалось покинуть свое сословие и вступить в воинское сообщество, достичь рыцарского звания; но поэт никогда не забывает в связи с этим вложить в уста своих благородных персонажей негодующие протесты. Разумеется, в реальной жизни превращение простолюдина в рыцаря уже

иногда случалось, особенно у французов Юга, где пропасть между сословиями была менее глубока; но в целом это редкость и исключение из правил. Знатный человек рассматривал всякого простолюдина — зависимого либо более или менее свободного, члена городской общины — как низшее существо, которое можно обирать и убивать без зазрения совести. Поучительными в связи с этим являются многие эпизоды Альбигойских войн. Не только религиозный пыл вдохновлял рыцарей крестового похода на борьбу против впавших в ересь горожан, но и презрительное отвращение этой северной знати к простолюдину, существование которого в их глазах совершенно никчемно. Этим, например, объясняются ужасы разграбления Марманда в 1218 г. «Крестоносцы, — говорит историограф Филиппа Августа, — перебили всех горожан с женщинами и малыми детьми, всех жителей, числом до пяти тысяч». Но они пощадили графа Астарака, руководившего защитой города, и всю знать, участвовавшую в ней. Правда, если знатный человек ненавидел горожанина и безжалостно давил его, то последний при случае воздавал ему тем же. В том же 1218 г. Гийом де Бо, принц Оранский, попал в руки жителей Авиньона, сочувствовавших альбигойцам. Горожане живьем содрали с него кожу, а затем порубили тело на куски.

Кажется, между знатью и Церковью должны были быть менее враждебные отношения. Ведь феодальный мир поставлял Церкви часть ее членов; многие аббаты, каноники, епископы принадлежали к знатным фамилиям, большое число прелатов, как мы видели, вело дворянский образ жизни, почти как в замке: они ездили на охоту и на войну, окружали себя рыцарями и воинами. Феодалы и духовенство в целом составляли привилегированный класс общества — класс земельных собственников. Между знатью и клириками, вернее, между светскими и духовными сеньорами было много общего, в частности, те и другие эксплуатировали низших одинаково жестоко. И тем не менее они не только не понимали друг друга, но и часто воевали. Вражда дворянина и священника в ту эпоху (и, можно сказать, во все периоды Средневековья) — один из самых бесспорных и очевидных фактов социальной истории. Феодалы как собственники и суверены завидовали духовенству, оспаривавшему у них права, доходы, десятины, патронаж над приходами. Они завидовали его землям и средствам, сосредоточенным в руках клириков благодаря набожности верующих. Нуждающаяся и транжириющая

знать не любит церковников, соперничающих с ними в обладании собственностью, деньгами и бесконечно обогащающихся, ибо Церковь постоянно копит и никогда не продает, разве что очень неохотно. Бароны и владельцы замков рассматривали церковную сеньорию как неисчерпаемый источник добычи и проводили жизнь в разграблении земель монастырей, каноников, епископов, в общем, всех тех, кто не защищался или защищался недостаточно умело. Духовный сеньор оберегал как мог свое имущество, путем обращения к Папе, королю или герцогу, при помощи отлучения или с оружием в руках. Нет во Франции Филиппа Августа уголка, где бы знатный и клирик не боролись друг с другом. Короче говоря, для знати духовенство всегда было заманчивой добычей: это соперник и враг.

В этом нет никакого преувеличения, подобный вывод вытекает из бесчисленных исторических фактов, относящихся ко всем французским провинциям без исключения. Правдивость их в точности подкрепляется данными латинских источников и литературы на народном языке, сочинениями проповедников и церковных обличителей нравов, равно как и поэмами, составленными жонглерами на потеху рыцарям и владельцам замков. Спросим сначала у Церкви, что же она думает и что говорит о феодалах. К ним она настроена враждебно по двум главным причинам: прежде всего потому, что сама по своему существу олицетворяет принцип мира и общественного согласия, в отличие от знати; а затем, и в особенности, потому, что она является постоянной жертвой феодальной агрессии и разбоя. Она защищает от них бедняков по своему долгу, но прежде всего себя, свои права, собственность, богатства, беспрестанно находящиеся под угрозой. И этого достаточно, чтобы объяснить горечь и даже жестокость некоторых слов, исходящих из уст людей Церкви.

Остроумный архидьякон Петр Блуаский, современник Генриха II и Филиппа Августа, произнес необыкновенно горячую обличительную речь против феодалов и всего воинского сословия своего времени в целом. Кажется, никогда клирик не отзывался так дурно о войне. Одно из писем Петра адресовано его другу архидьякону, племянники которого были рыцарями и дерзко выражались в адрес духовенства.

Я не смог больше вынести, — говорит Петр своему адресату, — раздутого самодовольства ваших племянников: эти молодые люди осмелились превозносить военное сословие над

церковным, клевета на нас, противопоставляя нам свой образ жизни и деятельности. Допустим, наше ремесло в упадке, но и их ремесло в этом отношении не более возвышенно. Им неизвестно, кто такие рыцари и что такое рыцарство, иначе они отступили бы пред духовенством и держали бы свой дерзкий язык за зубами сообразно их возрасту. Рыцарский порядок сегодня! Да ведь он — сама беспорядочность! Кого в военных отрядах считают самыми сильными и достойными уважения? Того, кто больше всех говорит гнусностей, грубо оскорбляет служителей Божьих, хуже всего обращается с ними, кто менее всех почитает Церковь... С тех пор как ваши племянники переняли образ жизни своих соратников по оружию, они приобрели отвратительные замашки. Чем стало ныне военное искусство, столь хорошо изложенное Вегецием и столькими другими авторами? Его больше не существует; ныне это — искусство предаваться всяческому бесчинству и вести безалаберную жизнь. Некогда воины клятвенно обязывались защищать государство, не бежать с поля битвы, жертвовать собой ради общественного интереса. И ныне наши рыцари получают свой меч из рук священника, чтобы почитать сынов Церкви, служить своим оружием защите священства, покровительству бедным, преследованию злодеев и спасению отечества. Но на деле они поступают совершенно наоборот. Едва они опояшутся мечом, как набрасываются на Распятие Господне, на наследие Христово. Они обирают и грабят подданных Церкви, третируют нищих с беспримерной жестокостью, стремясь в горе другого обрести удовлетворение своих ненасытных appetitов и необычайного сладострастия. Святой Лука рассказал нам, как солдаты, подойдя к святому Иоанну Крестителю, задали ему такой вопрос: «Учитель, а мы, что же будет с нами?» — «Вы, — ответил святой, — уважайте имущество другого, не причиняйте вреда своему ближнему и довольствуйтесь своим жалованьем». Наши нынешние солдаты, которым бы использовать свою силу против врагов креста и Христа, употребляют ее для состязания в распутстве и пьянстве, проводя свое время в ничегонеделании, чахнут в гульбе; беспутной и грязной жизнью они бесчестят свое имя и ремесло.

Мы не можем привести письмо целиком, потому что, следуя обычаю своего времени, Петр Блуаский в каждой строке уходит

от темы, цитируя Священное Писание и светских авторов. Подкрепляя свои высказывания множеством текстов, он напоминает, каким был римский солдат, говорит о его воздержанности, стойкости, трудолюбии, и сравнение с современным рыцарем далеко не в пользу последнего. Сатира становится все более и более ядовитой:

Сегодня наши воины погрязли в наслаждениях. Посмотрите, как они выступают в поход: разве их вьючные лошади нагружены оружием, копьями и мечами? Да ничуть не бывало; в избытке — вином, сырами и вертелами для жарки мяса. Можно подумать, что они отправляются пировать, а не сражаться. Они несут великолепные позолоченные щиты, надеясь привезти их назад в целости. На их доспехах и седлах изображены сцены битвы, и этого им вполне достаточно — других они видеть не хотят.

Наш архидьякон считает, что рыцари даже и не храбры: они отважны только с беззащитными, особенно с клириками. Вот главное, за что Петр Блуаский их не любит.

Ах! Они весьма горазды похищать наши десятины, неуважительно относиться к Церкви и духовенству, смеяться над отлучением, не боясь Бога, издеваться над священниками, отбирать у Церкви то, что даровано ей щедротами их отцов! Они забывают, что Бог сказал Своим служителям: «Кто презирает вас, тот презирает Меня, и кто ранит вас, тот ранит зеницу ока Моего».

Не более щадят феодалов священнослужители в проповедях. С высоты кафедр они высказывают им в лицо самую жестокую правду. В одной проповеди, адресованной знати, Жак де Витри Сурово упрекает ее за отношение к духовенству. Сначала он осуждает равнодушие знати к богослужению:

Некогда они набожно торопились прийти услышать слово Божие. Ныне же очень мало тех, кто бы пожелал сесть с бедными и сирыми у ног духовных наставников. У них только одно на уме — нажать на священника и вынудить его поскорее закончить мессу. По завершении ее они торопятся усесться за настоящий стол, тот, за которым едят и пьют, и уж за ним-то они остаются долго, не скучая. Ах, конечно же, тут они не спят, как спят или дремлют в церкви подле духовного престола, наводящего на них скуку.

У Жака де Витри есть теория сословий и их предполагаемых функций. Мир, по его словам, — это огромное тело, все члены которого находятся во взаимном подчинении до самой своей общей кончины. Клирики и прелаты — глаза этого тела, ибо они наставляют нас на путь спасения, указывают его и служат нам проводниками. Бароны и рыцари — его руки: Богом им вменена защита церковного имущества, покровительство слабым, ограждение бедняков от притеснений и грабежа; они должны следить за тем, чтобы царили мир и правосудие и не было насилия. Именно для этого они созданы, и именно поэтому Провидение наделило их доходами, дабы они не взымали незаконных поборов со своих подданных и не обирали их. Наконец, мелкий люд (*minores*), простые миряне образуют ноги социального тела, являясь его низшей частью; они должны поддерживать и содержать своим трудом глаза и руки в добром состоянии. Отсюда ясно, что рыцарский орден не выполняет своего земного предназначения: руки такого социального тела подобны рукам впавшего в ярость безумца — ими пользуются, чтобы выкалывать глаза и ломать ноги. Вместо защиты бедных знает обирает и притесняет их, вместо покровительства Церкви — она преследует ее.

Ожесточение, вызываемое у клириков насилиями со стороны знати, жертвами которых они постоянно становились, доходило до того, что они высказывали суждения, несовместимые со здравым смыслом или, по крайней мере, поразительно смелые. Орто в 1886 г. обнаружил в манускриптах Национальной библиотеки трактат по каноническому праву, написанный одним клириком, современником Филиппа Августа. Этот клирик был, по его словам, английским каноником Робером де Курсоном, ставшим позднее кардиналом и легатом папы Иннокентия III. Автор малоизвестного трактата обладает весьма радикальным умом, он осуждает многие злоупотребления, особенно привычку Церкви принимать дарения из любых рук, не беспокоясь о происхождении состояния, нажитого жертвователем; он даже против даров раскаявшихся грешников. Этот сочинитель тоже имеет социальную, а вернее — чуть ли не социалистическую теорию, совершенно необычную для эпохи Средневековья. Он призывает общество подавлять всех, кто не трудится, причем не только знать, живущую со своей сеньории, не только грабителей, но даже горожан — «капиталистов», занимающихся ростовщичеством, то

есть торговлей деньгами, как это понимали в Средние века, или банковскими операциями. Вот переведенный буквально отрывок, где излагается эта любопытная теория:

Зло, от которого мы страдаем, не исчезнет, если не предпринять следующие меры: созвать общее собрание из всех епископов и суверенов под председательством сеньора Папы; и тогда прелаты и государи должны приказать под страхом отлучения и гражданского осуждения каждому заниматься трудом, либо духовным, либо физическим, чтобы всякий человек ел хлеб, заработанный собственным трудом, следуя слову апостола: «Кто не работает, да не ест». Таким образом мы избавимся от бездельников, а также исчезнут ростовщики и разбойники.

Кто же тогда останется в христианском мире? Священники и трудящиеся — те, кто живет заработком от своих духовных или физических трудов. «Никогда, — говорит Оро, — ни в одном месте, ни в одной книге не было написано ничего более нелепого и абсурдного». На самом же деле — много шума из ничего. Ведь перед нами всего лишь отвлеченные мечтания клирика — человека, жаждущего большего, большей справедливости в этом мире, не любящего банкиров, ибо Церковь того времени осуждает ростовщика и его доходы, а также ненавидящего праздных и творящих зло феодалов — знать, которую он объединяет в единое целое термином, характеризующим разбойников — *raptores*, то есть люди, живущие грабежом. Это слово вполне подводит итог идеям и злобе Церкви как главной жертвы феодальных бесчинств.

* * *

Было бы интересно узнать, что же, в свою очередь, думали и говорили о духовенстве феодалы. Однако это намного труднее. По понятным причинам знать почти не писала; дошедшие же до нас записи являются монастырскими хрониками, то есть церковными, а не феодальными архивами. Таким образом, с полной и прямой уверенностью мы можем знать только мнение клириков, часто выражаемое в их переписке, проповедях и литературных произведениях. Что же касается мнения феодалов о Церкви, то оно доступно нам лишь косвенным образом.

Прежде всего мы можем судить о нем уже по самому их поведению по отношению к духовенству. Неопровержимо доказано,

что владельцы замков проводили жизнь в разграблении церковных доменов, в беспощадной войне с аббатствами, капитулами и епархиями, где персоне священника оказывалось не больше уважения, чем его собственности; что они с удовольствием отбирали церковные сокровища и даже не стеснялись сжигать монастыри и церкви, отделиваясь потом покаянием. Вне сомнений, подобные люди должны были испытывать к прелатам и монахам весьма ограниченное уважение и симпатию. Конечно, нельзя отрицать наличие у этих вояк религиозного чувства — оно проявляется во внешнем отправлении культа, почитании реликвий, основании аббатств, паломничествах к святым местам и ненависти к еретикам. Но религиозное чувство знати обострялось преимущественно во время болезни или с приближением смерти — это была вера, вызванная угрызениями совести и страхом, вера неустойчивая, весьма хорошо уживающаяся в обычное время с недостатком уважения к святым предметам и лицам священнического сана.

Впрочем, обратимся к жестам. За отсутствием письменных свидетельств, оставленных самой знатью, они являются единственными документами, выражающими непосредственно ее мнения. Автор эпопеи подобного жанра, написанной для знати, именно ее и выводит на сцену, разделяя, понятно, полностью ее суждения и предрассудки. Он взирает на мир глазами воина, глубоко презирающего все невоинственное, уважающего и понимающего только военные дела, беспокойную жизнь лагерей и замков. Одним словом, в жесте преобладает подчеркнутый и оживляющий ее феодальный дух, дух грубости и насилия, враждебный к простолюдину, дерзкий и мятежный даже по отношению к королю и, добавим, пренебрежительный к духовенству. Ибо — отметим бесспорный факт — в эпопеях вроде «Гарена Лотарингского» или «Жирара Руссильонского» Церковь — могущественная в Средние века власть — играет приниженную и неприметную роль. Клирики и монахи годятся лишь на то, чтобы служить капелланами или секретарями баронов, которым они читают и составляют письма, или чтобы подбирать павших на полях сражений, перевязывать раненых, служить мессы тем, кто им платит. Рыцари используют этих клириков, особенно монахов, но испытывают к ним весьма небольшое уважение. Один из героев «Песни о Жираре» — Одилон — обращаясь к своим воинам, объявляет им, что «ежели отыщется среди них трус, я отправлю

его в монахи, в монастырь». В «Песни об Эрве де Меце» один из рыцарей восклицает: «Всем этим жирным монахам, всем этим каноникам, священникам и аббатам следовало бы стать воинами. Ах! Вот если бы король отдал их мне!». Нередко поэт ставит клириков в щекотливое положение. В «Гарене Лотарингском» и в «Жираре» монахи зачастую исполняют обязанности послов — что иногда неприятно и не всегда безопасно.

Однажды Жирар Руссильонский, пытаясь унять гнев короля Карла Мартелла, своего врага, посылает к нему послом приора монастыря Сен-Совер. «Монах, — говорит Жирар своему посланнику, — вы отправитесь к монсеньеру королю Карлу Мартеллу и смиренно попросите его вернуть мне его доверие и дружбу». Монах торопится выполнить поручение; «никогда доселе не знал он такого страха, какой пришлось ему испытать». И вот он — перед королем, который спрашивает его имя: «Сир, мое имя отец Бурмон. Меня к вам послал Жирар, ваш вассал». — «Да как осмелился ты приехать?!» — «Сир, Жирар издалека прислал меня к вам. Он прибудет, дабы полностью оправдаться перед вами, подчинившись решению ваших людей и баронов, хотя бы вы и повелели его судить». — «Его оправдание! Очень оно мне нужно! Я не оставлю ему и пяди земли, а что до вас, монах, берущийся за подобное поручение, то я спрашиваю себя, какому бы позорному наказанию вас сейчас подвергнуть?». Услыхавшему такие слова монаху захотелось очутиться как можно дальше. «Не своей силой, — продолжал король, — Жирар разбил меня, ибо если бы меня не захватили врасплох, его бы схватили и убили, и не спасло бы его никакое убежище, каким бы надежным оно ни было — ни предместье, ни город, ни замок, ни тем более простой фруктовый сад. Но именно вы, сир монах, заплатите за него: я вас сейчас...».

Мы не знаем, чем угрожал монаху Карл Мартелл. Поэт лишь добавляет как припев: «и монах, услыхав эти слова, очень захотел уехать оттуда». Монах видит, что Карл гневается, слышит его угрозы и опасается за свою жизнь. Но если бы Карл покарал его, он никуда не двинулся бы оттуда, — рассказывает он, уже будучи пожилым и исполненным мудрости человеком. Во имя Господа он просит у короля разрешения удалиться. «Я хотел бы, — говорит он, — вернуться к своим обязанностям». — «Монах, — продолжает король, — клянусь тебе Иисусом на небе, что, если ты поддерживаешь Жирара Руссильонского, я велю наихудшим

слугам моего дома повесить тебя как мошенника». И монах, слыша эти слова, не говорит «нет», но стремится оказаться подальше от Карла. «Монах, как осмелились вы явиться ко мне? Лучше бы вам было оставаться в своем монастыре служить мессы или в своей обители — читать книги, молиться за умерших и служить Богу, нежели везти мне послания Жирара. Если бы не страх перед Богом и вечными муками, я бы вам не позавидовал...». Новая угроза! Приор, слыша, как обсуждают его участь, не знал, что и сказать. Он взял за руку своего слугу и, взобравшись в седло на крыльце, отправился в путь без оглядки и не останавливался, пока не добрался до Жирара. Граф спросил его, чего тот добился. «Не торопите меня, — говорит монах, — ибо я слишком устал. Я хочу сначала войти в монастырь, позвонить в колокол, потом прочитав «Отче наш» и молитву святому Фоме, дабы возблагодарить его за свое спасение из рук Карла Мартелла. Уж вы договаривайтесь с ним, как хотите, но послom у вас я больше не буду никогда».

В «Песни о Гарене» один из баронов велит двум монахам явиться ко двору короля. Он подкупает их, чтобы заставить лже-свидетельствовать, и одного из этих несчастных избивает до полусмерти рыцарь противной стороны. Здесь монах хуже чем смешон — он отвратителен.

С большей осторожностью жонглеры обращаются с архиепископами и епископами, которые сами являются знатными сеньорами и частью феодального мира. И все же в «Песни об Эрве де Меце» епископат предстает эгоистичным, алчным, скупым и отказывающимся выделять средства для защиты королевства. Когда король просит архиепископа Реймского — самое высокое церковное лицо во Франции — помочь деньгами в войне против сарацин, прелат заявляет, что не даст и гроша. Тогда один из баронов восклицает: «Тут надобны другие слова. В Галлии двадцать тысяч рыцарей, печами и мельницами которых пользуются священники. Пускай задумаются об этом, ибо, клянусь Господом, дела примут иной оборот». Но архиепископ упорствует в своем отказе. «Мы клирики, — говорит он, — наш долг — служить Богу. Мы будем молить, чтобы Он даровал вам победу и защитил от смерти. А вам, рыцарям, Бог приказал приходить на помощь священникам и покровительствовать святой Церкви. К чему же эти слова? Призываю в свидетели святого Дионисия, вы не получите от нас ни одного анжуйского су».

Что же касается главы Церкви — Папы, то феодальной эпохее, написанной современниками Филиппа Августа, никак нельзя было полностью умолчать о персоне, управлявшей в ту эпоху всем христианским миром и отдававшей приказания королям, как смиреннейшим из подданных. Папа занимает свое место в жестах, но место на заднем плане, весьма незначительное по сравнению с тем, какое он занимал в реальной жизни. Понтифику даже не принадлежит Рим, он — едва ли суверен, это скорее второстепенный персонаж, появляющийся в свите императора или французского короля, где он выглядит не более чем знатным владельцем замка. Прочтем первые стихи «Жирана Руссильонского»: «Это случилось на Троицу веселой весной; Карл собрал свой двор в Реймсе. Там было много храбрых сердцем; был там и Папа с проповедью». Ниже Папа участвует в посольстве, направленном Калом Мартеллом в Константинополь, как простой епископ. Поэт, несомненно, наделяет его некоторым моральным авторитетом и властью над епископами и баронами, делая из него первого советника французского короля: «Это был священник, много знавший и говоривший мудро и кстати». В «Песни о Гарене» Папа — миротворец, старающийся, правда, безуспешно, унять феодальные страсти, напоминая баронам об их первом долге — примириться, чтобы вместе выступить против врагов веры. Здесь, очевидно, обнаруживаются некоторые черты близости к исторической достоверности, но в целом рыцарская эпика незаслуженно умалила и принизила великую фигуру церковного главы, возвышавшегося в Средние века.

В общем, феодальный ум презирает священника — миролюбивого и ленивого, он питает неприязнь к Церкви, проповедующей добродетели, противоположные рыцарским достоинствам. А кроме того, знатный человек завидует ее богатствам, чувствуя себя как бы обделенным всем тем, что дано клирику. Именно это наивно и прямолинейно выразил автор «Эрве де Меца» в начале своей поэмы: «Ныне, когда достойный муж заболевает и ложится в постель с мыслью о смерти, он не смотрит ни на своих сыновей, ни на племянников, ни на кузенов — он велит привести черных монахов из ордена святого Бенедикта и отдает им все, чем владеет в землях, рентах, очагах и мельницах. Миряне от этого беднеют, клирики же все богатеют».

Но знать и клирики не ограничивались взаимообличениями. Борьба между ними была делом настолько привычным и

повседневным, что занимала значительное, порой первостепенное место в исторических документах. Внимание хронистов она привлекала как одно из наиболее характерных проявлений беспокойной жизни Средневековья, одно из типичных форм социального беспорядка, или, если угодно, социальной враждебности.

Бражда светских и церковных сеньоров разгорелась во всех провинциях и почти во всех округах. Ибо не было во Франции города, где бы граф не соперничал и не конфликтовал с епископом или капитулом; а в Средние века от столкновения до применения силы всегда недалеко. Не было деревни, в которой донжон замка не представлял бы угрозы соседнему монастырю. От верха и до низа всей феодальной лестницы мы видим одно и то же: владельцы замков стараются отобрать у клириков их земли, доходы, права, людей или, по крайней мере, живут грабежом церковных имений и сокровищ, собранных в святых местах благочестием верующих. В низших слоях рыцарского сообщества нуждающийся дворянин считает, что клирик и монах чрезмерно богаты, и нападает на них, обирая. В высших сферах знатные бароны жалуются, что их политический и судебный авторитет ущемлен церковными трибуналами и светской властью прелатов, и сражаются с духовными властями, чтобы ограничить их распространение. Не следует рассматривать эту борьбу излишне узко и ограниченно. Бесспорно, документы свидетельствуют о широчайшем и повсеместном разбое, которому предаются на церковных землях знатные и мелкие сеньоры, но в конфликтах барона и епископа, как и в стычке горожанина с клириком, следует видеть также и первое проявление оппозиции мирского духа, первые протесты гражданской власти против религиозного авторитета. Внизу мы наблюдаем «подвиги» владельца замка, силой проникающего в амбар и кладовые монахов, грабящего их сервов, похищающего их скот и возвращающегося к себе после набегов. Наверху же — знатные французские сеньоры, сплотившиеся вокруг Филиппа Августа (как, например, в 1205 году), чтобы воспротивиться распространению церковной юрисдикции и ограничить политические и финансовые притязания папской власти. В обоих случаях — война с Церковью, но второй представляет для нас больший интерес.

Церковь защищается, зачастую успешно, от всевозможных нападений. Не следует думать, исходя из жалоб проповедника

Жака де Витри, что Церковь всегда была безоружной и безропной жертвой феодального насилия. Она обороняется и при помощи светской власти, коей обладает, и призывая на помощь короля и Папу, и посредством отлучения. В начале XIII века оружие отлучения не настолько притупилось, как иногда любят утверждать. Сеньоры того времени уже, разумеется, легче переносили отлучения и интердикты. Они уже привыкли к ним по-немногу и сопротивляются много лет, прежде чем покориться, но на большом количестве примеров известно, что в конечном счете они приносили повинную. Все еще горячо верующий, барон мог вынести личное отлучение, но заставить своих подданных смириться с интердиктом было много труднее. И ежели знать привыкала к анафемам, то в том была определенная доля вины самой Церкви, обрушивавшей их сверх всякой меры. В своих внутренних конфликтах церковники отлучали и друг друга по далеко не всегда серьезным мотивам, но под предлогом защиты от мирян они прямо-таки злоупотребляли этим оружием. В каждый год правления Филиппа Августа мало кто из крупных сеньоров не понес наказания в виде интердикта или отлучения. Достаточно просмотреть хроники, епископскую переписку, особенно переписку Пап, картулярии епархий или аббатств: в них только и говорится, что об отлученных баронах, земли которых находятся под интердиктом. Список их бесконечен — в него входят все или почти все французские сеньоры, не исключая короля, герцогов и владетельных графов. Прежде всего, это доказывает немыслимое число преступлений и насилий феодалов, но равным образом и слишком легкое отношение Церкви к отлучениям, что пришлось признать и Папам, обязав духовные власти соблюдать большую умеренность.

Приведем один пример. Вне сомнения, графы Шампанские в конце XII и начале XIII века принадлежали к числу баронов, лучше других поддерживавших порядок в своей сеньории и выказывавших наибольшее почтение Церкви, ее представителям и имуществу. Графиня Бланка Наваррская и ее сын Тибо IV, долго состоявший под ее опекой, не были ни гонителями Церкви, ни ее опустошителями. Тем не менее нам известно по крайней мере семь случаев отлучения или интердикта, наложенных на графскую семью шампанскими епископами. Достаточно было ареста имущества любого подданного аббатства или капитула должностными лицами графа, чтобы последнего постигла церковная

кара. Дело зашло так далеко, что Иннокентию III пришлось призвать многих шампанских епископов поуменшить наложение анафем и интердиктов на владельцев фьефов и их подданных, на города и деревни. Гонорий III даже отменил отлучение, наложенное на графиню Бланку аббатом Сен-Дени.

Злоупотребления были. Но они хорошо объяснимы раздражением и ожесточением церковных властей против непрекращающихся нападений знати. Когда речь идет о каких-нибудь графе и епископе, то есть о двух знатных баронах, стороны можно считать равными. Но что делать и какое иное оружие, кроме отлучения, можно употребить, если нападающий носит кольчугу и, окруженный своей ватагой, недосыгаемый в своей башне, набрасывается на одинокий монастырь? Такое случалось постоянно, и именно монах обычно делался жертвой как мелких, так и крупных феодалов, для которых война с монахами становилась одним из главных занятий.

Если мы пожелаем составить себе представление о регулярности, с которой семейство владельца замка или даже представителя самой мелкой знати нападало на местный монастырь, то следовало бы обратиться к картуляриям, вроде картулярия аббатства Сент-Ави, что возле Орлеана. Здешний сеньориальный дом *Boelli*, или Буайо (в самом имени нет ничего аристократического), в течение многих поколений, передавая традицию от отца к сыну, борется с монахами аббатства. Последние в 1183 г. жаловались, что Жослен Буайо взымает с крестьян их деревни Сери незаконные поборы и оскорбляет их. С этим насельники монастыря обращаются к епископу Орлеанскому. Он тоже может немного и препровождает их к верховному сеньору области — Тибо V, графу Блуаскому. Граф принимает под свое покровительство жителей Сери, но не даром, а ценой ежегодной ренты в два сетые овса с дома, вносимых в Блуа. В Средние века у несчастных крестьян не было выбора, и малым, чтобы не дать проглотить себя, приходилось отрезать лопоту великим. Гарантии опять-таки часто были иллюзорными. Надо думать, защита графа Блуаского не возымела большого эффекта, так как в 1198 г. посланцы Сери снова жаловались на сеньоров Фуше и Филиппа Буайо, помешавших им приехать, переворочить и перевезти на телегах сено со своих лугов. В 1217 г. конфликт осложнился. Глава семьи Буайо Амелен был тогда каноником в Ле-Мане. Но прежде всего он был владельцем и сеньором, а потому не меньшим

врагом монахам Сент-Ави. Буайо потребовал, чтобы люди Сери ворошили сено на его лугах, перевозили его в его ригу в Божанси и туда же сносили жерди для его виноградников; поставляли дрова на Рождество; постоянно доставляли яйца или трех куриц и выплачивали подати два раза в год (что было уже явным прогрессом, поскольку его предок Жослен взимал их, сколько хотел). Наконец, Амелен требовал высшей и низшей юрисдикции над деревней. Неспособный защитить своих людей, аббат Сент-Ави снова обратился к епископу Орлеанскому, договорившемуся с Амеленом Буайо о прекращении боевых действий. Последний отказался от всех своих прав за двадцать ливров, выплачиваемых наличными. Но не все члены этой ужасной семьи примкнули к соглашению. Один из них, по имени Рено, наложил руку на какую-то собственность людей Сент-Ави и самого аббатства и отказывался вернуть захваченное. В 1219 г. его отлучили от Церкви, и он оставался под отлучением пять лет. Это наказание пришлось ужесточить, и сохранилось распоряжение, разосланное в связи с этим от имени епископа Орлеанского настоятелям всех приходов диоцеза. «По воскресным и праздничным дням, — пишет он, — после того, как отзвонят колокола и зажгут свечи, вы будете возвещать об отлучении рекомого Рено, и считайте находящимися под интердиктом всех тех, кто хотя бы самую малость торговал с ним». Из долгой войны между монахами Сент-Ави и семьей Буайо мы привели только эпизоды, относящиеся по времени к правлению Филиппа Августа; но она началась много раньше и закончится спустя много лет после кончины короля. Средневековые суды, конфликты и войны длились столетиями, передаваясь по наследству из поколения в поколение, ибо, несмотря на перемирия, каждая из сторон держалась за свои требования и не отказывалась от того, что считала своим правом.

То, что происходило в этом уголке орлеанского Боса, совершалось повсюду, где противостояли друг другу сеньор и аббат, и насилия часто бывали даже более серьезными. В 1187 г. сеньор Шатору Рауль, собрав сильное войско, сжег деревни аббатства Деоль, убивая их жителей и изгоняя монахов из многих их приорств. Спустя десять лет его преемник Андре де Шовиньи был отлучен за подобные же насилия по отношению к этому аббатству. В Бурбонне новый сеньор Ги де Дампьер Бурбонский не оставлял в покое приора Сен-Пурсена, захватывая его фьефы и домены,

грабя его фермы и даже совершая насилия над самим приором и его монахами. Наследующий ему сын Аршамбо продолжал обращаться с монахами, как с врагами. Аббату Турню, которому подчинялся Сен-Пурсен, пришлось обратиться за помощью к Филиппу Августу. В ланских и реймских землях монастыри, как и аббатства святого Мартина Ланского в Сини, буквально растаскиваются тьмой феодалов, сеньоров Куси, Пьерпона, Розуа, Рюмини, Шато-Порсиан, Ретель. В акте от 1203 г. фигурирует Роже де Розуа, исповедующийся в своих провинностях и признающийся в том, что часто отбирал у монахов зерно и скот. Когда однажды монахи оказали сопротивление, в лесу завязалась кровопролитная битва между людьми графа Шато-Порсиана и братьями-послушниками аббатства Сини. В Шампани сеньоры Жуанвиля пребывали в скрытой борьбе с аббатами Монтье-ан-Дер и Сент-Урбана; в Провансе сеньоры де Кастелян — с монахами святого Виктора Марсельского. То же самое происходило в Вандоме, где аббаты Троицы терпели с самого основания аббатства, то есть с середины XI в., постоянные гонения графов Вандомских. Граф Жан I вынудил монахов покинуть аббатство и в течение четырнадцати месяцев укрываться в одном из приорств. Граф пребывал отлученным три года, когда в один прекрасный день 1180 г. его увидели босым, входящим в монастырь испрашивать прощение у аббата. Это было точное повторение сцены, имевшей место немногим менее ста лет раньше, когда дед графа Жана, Жоффруа-Журден, также вынудивший вандомского аббата удалиться в изгнание, принес в переполненном соборе публичное покаяние. Можно также отметить, что сын Жана I Бушар, бывший в графстве Вандомском соправителем, соперничал в жестокости со своим отцом, так немилосердно облагая поборами и вымогательствами подданных аббатства, что английский король Генрих II счел своим долгом вмешаться и заставил Бушара возратить добычу. Алчность к монастырскому добру была у феодалов стойкой, неумемной страстью, передававшейся по наследству.

Нам редко известна в деталях история этих грабежей, история войн между донжоном и аббатством. Но одному монаху, Гуго из Пуатье, пришла, однако, хорошая мысль рассказать эпизоды вековой борьбы, которую вело знаменитое аббатство Везле против графов Неверских, своих постоянных и неутомимых гонителей — борьбы типичной, длившейся почти все XI столетие и

почти каждый год провоцировавшей вмешательство Пап, епископов и королей Франции. Никакой духовной или светской власти так никогда и не удалось полностью разоружить сеньора и защитить аббата. К несчастью, эта история, рассказанная Гуго де Пуатье, столь поучительная и драматическая, завершается задолго до кончины Людовика VII. Для эпохи же Филиппа Августа у нас есть лишь письма папы Иннокентия III, правда, весьма красноречивые. Одно из них приоткрывает картину того, что произошло в 1211 и 1212 годах между графом Неверским Эрве де Донзи и Готье, аббатом Везле, и именно по ним мы можем представить себе постоянство феодальной вражды и разного рода притеснения, которым подвергались монахи.

Первоначальная причина бесконечного конфликта заключалась в том, что аббатство Везле хотело зависеть лишь от Папы и не быть обязанным никакой службой, ни денежной, ни иной другой, графам Неверским. Графы же, напротив, утверждали, что они официально были поверенными, хранителями, естественными патронами аббатства, а потому монахи обязаны нести повинности по отношению к ним, прежде всего кормить их и их рыцарей, когда те появлялись в аббатстве, иными словами, предоставлять им то, что люди Средневековья называли «пристанище и помощь» (*le gîte et la procuration*). Как только Готье был избран аббатом в 1207 г., он стал подвергаться со стороны графа Эрве де Донзи тем же притеснениям, что и все его предшественники.

Эрве начал с того, что потребовал от всякого вновь назначаемого аббата Везле плату за право избрания. Готье отказался признать это требование, но, чтобы успокоить врага, как собаку, которой бросают кость, он преподнес в дар графу пятьсот ливров. Граф, посчитавший дар недостаточным, изыскал новые способы для вымогательства. Он обязал аббатство заплатить девятьсот ливров одному горожанину Бержа, хотя монастырь ничего не был тому должен, под предлогом того, что граф выступал гарантом долга. Некий еврей, обращенный в христианство и принявший крещение, дал аббатству сто ливров. Затем он вернулся к иудаизму, «как пес к своей блевотине», по выражению Папы. Эрве де Донзи принудил аббатство передать ему сто ливров этого еврея-еретика. Граф часто посылал своих людей забирать вьючный скот и повозки аббатства и его подданных, используя их при перевозке припасов в свои замки. Вместо того,

чтобы возвращать взятое, он держал их у себя по три недели, а то и больше. Граф позволял слугам рубить по своему выбору лес аббатства, принимал у себя и укрывал преступников, грабивших монастырское добро, и призывал монахов на свой суд, хотя по своим привилегиям они не были подвластны никакому светскому суду. Под многочисленными предложениями военным отрядам было велено охранять пути и дороги, ведущие к аббатству, так что монахи не могли получать ни воды, ни леса, в которых нуждались. Во время сбора винограда граф мешал людям монастыря собирать виноград и продавать урожай, а также захватывал повозки, перевозившие в аббатство провизию, вино и прочие предметы первой необходимости. В конце концов аббат пожаловался Филиппу Августу. Французский король отдал приказ Эрве воздержаться от подобных бесчинств. Внешне тот подчинился, но враждебные действия продолжались, ибо он перестал вредить непосредственно сам, но попустительствовал всем врагам монастыря.

Уже говорилось, что земля графа Неверского была открыта для снующих туда-сюда воровских шаек, одна из которых была как-то захвачена в загородном доме с добычей, отобранной у монахов. На какое-то время преступники установили вокруг Везле блокаду, так что монахи и люди из монастыря не могли больше безопасно покидать обитель. Вассал графа Эрве, рыцарь Жослен, обладывал монахов незаконными поборами, уводил у них лошадей и забирал все, что находил нужным; он дошел даже до того, что совершил набег на одно из приорств аббатства и присвоил его угоды. Аббат обратился к графу, но тот, хотя и мог бы единым словом положить конец злодеяниям Жослена и прочих разбойников, ничего не предпринял, дабы их унять. Впрочем, он и сам захватил приорство Дорнеси и в течение шести месяцев получал доходы от него, мешая монахам даже собирать десятину. Монахи приорства, совершенно лишившиеся средств к существованию, вероятно, все покинули бы свой монастырь, если бы граф, вняв добрым советам, не вернул того, что им принадлежало. В домине Аскона, другом владении аббатства, сын прево по имени Жан решил, игнорируя монахов, стать наследником отца и сделать таким образом превотство наследственным. Вместо того, чтобы воспротивиться таковому беззаконию, граф ему поспособствовал и приказал аббату предстать с сыном прево, вопреки прерогативам Церкви, перед светским судом.

Таковы факты, исходя из которых аббатство Везле не переставало требовать правосудия и возмещения ущерба у графа Неверского. Но тот был глух. Однажды, когда жалобы ему наскучили, он пригрозил бросить в пруд приора монастыря и его свиту. Пришлось половине братии аббатства отправиться в Невер добиваться решающей встречи с графом. Они простерлись перед ним ниц и смиренно изложили свою просьбу, он же отказался рассматривать ее. Тогда монахи упростили советников оказать воздействие на сеньора, чтобы попытаться заключить мир, хотя бы и тяжкий. После долгих переговоров советники ответили, что аббатство получит благоволение графа, если только монахи и везлейские горожане выплатят ему тысячу ливров провенской монетой. «Да это же разорение нашей общины!» — воскликнули монахи. Горожане Везле, напуганные перспективой уплаты подобной суммы, заявили аббату, что ежели он немедленно не обратится в Рим, моля Папу о заступничестве, то все они покинут Везле и укроются в городах французского короля. Был послан настоятельный призыв к епископам, архиепископам, знатым баронам королевства, герцогу Бургундскому и самому Филиппу Августу. Все эти лица мольбой и угрозами принуждали графа Неверского прекратить преследование аббатства, возместить причиненный ему ущерб и взять монахов и горожан под свое покровительство, поскольку в этом состоит его долг. Эрве де Донзи не слушал ничего.

Тем временем аббат, будучи уже не в состоянии выносить все это, решил сам обратиться в Рим к папе Иннокентию III с жалобой. Едва он уехал, как насилия удвоились. Стояла осень 1211 г., время сбора винограда. Горожане Везле и монахи рассчитывали, что смогут собрать его вовремя. Внезапно появились солдаты графа и прогнали сборщиков из виноградников, рассыпав по земле уже собранное, ранив людей аббатства, уведя или убив монастырских лошадей. Ущерб аббатства составил пятьсот ливров, а убытки горожан — более трех тысяч марок; кроме того, слуги Эрве разнесли на куски мельницу одного прево аббатства и забрали оттуда жернов и оснастку.

Вновь вмешавшийся Филипп Август пригрозил графу Неверскому карами, если тот не остановится. Граф на некоторое время принял это к сведению. Заметим, однако, что французский король назначил цену своему вмешательству. Весь доход от наконец завершеного сбора винограда в Везле предназначался

королевской казне. Однако Иннокентий III тоже встревожился: письмом от 13 ноября 1211 г. он поручил епископу Парижскому и легату Роберу де Курсону отлучить графа Неверского от Церкви и при необходимости наложить интердикт на его домены, если французскому королю не удастся в течение двух месяцев заставить его подписать мир с аббатством.

Все вышеприведенные подробности достаточно наглядно подчеркивают упорство сеньоров, их страсть к добыче и сильнейшие трудности, с которыми приходилось сталкиваться, заставляя их отдать захваченное. И в самом деле, никто ничего не мог поделаться. Сам король Филипп Август добивался лишь видимости сатисфакции, повинования на несколько дней. И вот на сцене появляется Папа со своими отлучениями — добьется ли он большего? Угроза отлучения, исходящая от самого главы Церкви, была делом нешуточным. Тем не менее и она не произвела никакого эффекта, ибо Эрве де Донзи дал себя отлучить и оставался под отлучением до конца 1213 г. Вовсе не отлучение заставило его покориться и заключить мир с враждебным монастырем. Чтобы обуздать этого упрямяца, пришлось употребить дипломатию и использовать против него иное оружие. Сейчас мы увидим, сколь разнообразны его запасы имела в своем распоряжении папская курия.

Эрве де Донзи, сеньор Жиана, стал графом Неверским в 1199 г. вследствие брака с Матильдой, наследницей старой графской фамилии. Этот брак состоялся при посредничестве Филиппа Августа, потребовавшего себе в качестве комиссионных (слово вульгарное, но точное по смыслу) замок и город Жиан. Как и у всех баронов, у Эрве были соперники и враги. Они-то и обнаружили, что наследница, на которой он женился, состояла с ним в четвертой степени родства, а известно, что в ту эпоху Церковь с трудом разрешала подобные браки, если не имела особых причин их допускать. В 1205 г. по прямому доносу герцога Бургундского Иннокентий III приказал произвести расследование по поводу родства Эрве и Матильды — бесспорно, чистая формальность, ничего за собой не повлекшая, ибо вплоть до 1212 г. не обнаруживается больше никаких следов процедуры по расторжению их брака. Но в июне 1212 г., после везлейского кризиса и отлучения графа Неверского от Церкви, Иннокентий III весьма кстати вспомнил, что повелел начать расследование, и приказал его возобновить. Это болезненно задело графа, так как при

расторжении брака Матильда забрала бы все свое приданое, то есть графство Неверское, а Эрве де Донзи, лишенный всего, переходил в категорию мелких сеньоров. И тогда случилось то, что и предвидел Папа: едва поверенный в делах, посланный графом в римскую курию защищать его интересы, узнал, что во Францию отправлен приказ о расследовании, как предстал перед Иннокентием III «охваченный глубокой печалью, — говорится в папском письме, — и смиренно молил нас, представляя нам всевозможные ручательства, отозвать приказ о расследовании; он пообещал от имени графа, что аббатство Везле не будет больше подвергаться никаким притеснениям». Иннокентий приказал своим уполномоченным отложить процедуру расследования, как только граф Неверский согласится подписать мир и дать монахам и Церкви разумное удовлетворение.

Мирный договор был продиктован самим Папой. 12 апреля 1213 г. он вынес решение, по которому граф Неверский мог появляться в монастыре Везле только два раза в год — на Пасху и в день праздника Марии Магдалины, и тогда монахи были обязаны давать ему ввиду его полномочий лишь компенсацию в сто ливров. Со своей стороны, аббат должен прекратить любые жалобы по поводу понесенных убытков, за исключением десятин Дорнеси, за которые графу присудили выдать компенсацию. Наконец, это соглашение утверждалось французским королем. Только на этих условиях с графа Неверского было снято отлучение.

Эрве де Донзи покорился. Но оставался вопрос, волновавший его больше всего — вопрос законности его брака. Иннокентий III дал еще некоторое время сему дамоклову мечу повисеть над головой знатного феодала. Последнему пришлось спешно обратиться к Папе с письмом, в котором он объяснял, что его брак продолжался на глазах у Церкви (*in conspectu ecclesiae*) тринадцать лет и Матильда принесла ему дочь, и что, наконец, к нему можно и снизойти, поскольку он принял крест в защиту Святой земли. 20 декабря 1213 г. он получил папское прощение, объявившее его брак навсегда неоспоримым. Вот что требовалось сделать, чтобы заставить феодального сеньора уважать аббатство. Правда, нельзя категорически утверждать, что, подписав мир и получив прощение, граф Неверский не возобновил через некоторое время своих привычек к грабежу и насилию по отношению к везлейским монахам.

Соблазн был слишком силен, а добыча — чересчур легкодоступна. Поэтому феодалам не составляло большого труда терроризировать и обирать монастыри, одиноко стоящие в деревнях или окруженные лишь простым бургом. Наверное, вести войну с духовенством в городах — больших населенных центрах — было не так удобно; но там, однако, бароны получали возможность действовать в согласии с горожанами, для которых монах или каноник тоже были врагами. Капитулы соборов, эти богатые и могущественные общины клириков, обитавших в наглухо запертых и укрепленных монастырях, вызывали, как и аббатства, алчность мирян, и здесь тоже происходили постоянные войны, зачастую весьма ожесточенные, ибо в них вовлекалось окрестное население.

В таком городе, как, например, Шартр, капитул собора Богоматери и граф Шартрский конфликтовали на протяжении всего Средневековья. Слуги сеньора, поддерживаемые горожанами, не переставали изводить каноников, нередко провоцируя серьезные инциденты. В 1194 г. графиня Шартрская повелела схватить одного из слуг капитула, заключить в темницу и отобрать все его имущество. В 1207 г. ее люди пожелали забрать женщину и двоих мужчин из людей капитула, и спор пришлось вынести на суд короля. В 1210 г. должностные лица графа задержали и бросили в узилище клирика из хора собора Богоматери; капитул, защищаясь, наложил интердикт на весь город. Несколько месяцев спустя вспыхивает грандиозный мятеж: под угрозой собор, а дом декана забросан камнями и изрешечен ударами кирки. Филиппу Августу пришлось лично приехать восстанавливать порядок и наказывать виновных, соучастниками которых были сеньориальные служащие. Во многих городах, где есть капитулы, происходит то же самое — судебные тяжбы и сражения между феодалами и клириками, насилия над монастырями, ограбление и разрушение домов каноников; и счастье еще тем, кто не пострадал лично!

В 1217 г. ланский капитул, жертва травли и грабежей графа Ретеля, сообщил об этом в римскую курию. Папа повелел отлучить графа. Тот в течение двух лет пренебрегал анафемой, и наконец Гонорий III решился предпринять против Ретеля более серьезные меры. Интердикт был наложен на все его земли, все места его пребывания, а вассалы были освобождены от клятвы верности на все время, пока он остается под бременем отлучения.

«И ежели виновный будет продолжать упорствовать в своем мятеже, пусть остерегается, — пишет Папа, — чтобы не оказаться отлученным как еретик». За год до этого тот же капитул уже был объектом еще более серьезного посягательства, вызвавшего скандал во всей Франции. Ангерран, сеньор де Куси, захватил декана ланской церкви Адама де Курландона и держал его в темнице больше года. Отлучение, интердикт, мольбы, угрозы, вмешательство архиепископа Реймского и французского короля — все было употреблено для освобождения пленника. Только в 1218 г. Ангерран де Куси решился испросить прощения и дать удовлетворение капитулу.

Таким образом, война с канониками дополняла войну с аббатами. Мы уже не говорим о стычках с приходскими священниками, о которых документы времен Филиппа Августа не сообщают. Возможно, они были не столь часты по той простой причине, что владелец замка, патрон или даже собственник приходской церкви (полный или частичный), мог водворять в нее служителей по собственному выбору и беспрепятственно накладывать руку на десятины. Как же простому кюре, не назначенному сеньором, оказать сопротивление? Во всяком случае, возможности обороняться у него не было, и Церковь поневоле закрывала глаза на эти жертвы низшего ранга. Порой монастырям и капитулам удавалось защититься самим, и удачнее всего, когда им покровительствовали епископы, короли или Папы. Уже приводились многочисленные примеры вмешательства великого понтифика, и надо признать всю значительность роли, которую брал на себя Рим, защищая монахов и каноников против лихоимства и насилия феодалов. Но Папа не мог поспеть всюду, действовать одновременно и при всех обстоятельствах: он был очень далеко и чаще всего обладал только моральным авторитетом для противостояния смутьянам. Французский король, как мы видели, также исполнял свой традиционный долг защитника церквей; но он редко делал это бескорыстно, да и его операции по наведению порядка проводились спорадически. Бароны, которых он пытался приструнить, вырывая из их рук монастырь, на полном основании могли бы напомнить ему, что он и сам не всегда подавал лучший пример. «Однажды, — пишет историограф Филиппа Августа Ригор, — король, проезжая по делам королевства через Сен-Дени, расположился в аббатстве, как в собственных покоях (*sicut in propria camera sua*). Аббат Сен-Дени Гийом де Гап

был охвачен превеликим ужасом (*nimio timore percussus*), ибо король потребовал от него сумму в тысячу марок серебром. Собрав своих братьев на капитул, Гийом сложил свои полномочия аббата». Вот как король Франции покровительствовал самому королевскому из аббатств! На всех ступенях сеньориальной иерархии использовались одни и те же средства, чтобы поставить в прямую зависимость монастырскую и соборную церковь — грабежи, насилия, вымогательства. Сколько случаев с сеньорами, запуганными или подавленными королевскими воинами или отлучениями Пап, сколько убийств, пожаров и воровства, совершенных на церковной земле, осталось неизвестными и безнаказанными!

На эту тему имеется показательный документ, пространно повествующий о действиях феодалов — статуты Тульского синода, собранного 8 мая 1192 г. епископом Тульским Эдом де Водемоном. Вот первые его статьи:

Запрещается под страхом анафемы проводить церковную службу во всяком месте, куда принесли, хотя бы и ночью, предметы, похищенные в церквях, или у священников. — Похитители и укрыватели сих предметов отлучаются. — Эти запреты и анафемы относятся и к принцам, и к знатым баронам, если они сами были виновниками этих краж. — Отлучение виновных сеньоров будет оглашаться по воскресеньям во всех храмах епархии. — Лица, давшие грабителям приют, также подлежат отлучению. — Анафема должна накладываться на любого человека, злоупотребившего своим положением и властью, дабы отбирать у монастырей их повозки и лошадей. Если же, невзирая на отлучение, принц или знатный сеньор велит провести богослужение, отслуживший священник будет также отлучен от Церкви и навсегда лишен своего сана.

Выразиться яснее о роли грабежей в жизни крупных и мелких феодалов невозможно, как и о том, насколько недейственным было главное церковное оружие — отлучение, призванное внушать страх и уважение.

Епископам приходилось защищаться самим. В те времена они боролись с феодалами повсюду: граф Осерский сражается против епископа Осерского, герцог Нормандский — против архиепископа Руанского, герцог Бретонский — против епископа Нантского, граф Овернский — против епископа Клермонского,

граф Роде — против епископа Роде, граф Форе — против архиепископа Лионского, граф Арманьяк — против архиепископа Ошского, граф Фуа — против епископа Уржельского, граф Суассонский — против епископа Суассонского, виконт Полиньяк — против епископа Ле-Пюи, верденская знать — против епископа Верденского. Зло одинаково во всех французских областях.

Это, далеко не полное, перечисление наглядно показывает, что конфликты между двумя властями — всеобщее явление. Бесспорно, причины и характер их повсюду разнятся: здесь — простые акты грабежей, там — борьба за суверенитет; тут — вражда глухая и бесконечная, там — война жестокая и беспощадная. Но результаты — повсюду одни и те же: ограбление деревень, драки и стычки в городах, беспрестанно обрушиваемые отлучения и интердикты, ожесточение и месть феодалов, не отступающих даже перед убийством.

Перенесемся в Беарн 1212–1215 гг. — времен борьбы Филиппа Августа против большой коалиции, распавшейся при Бувине. Виконт Гастон VI Беарнский пребывает в ссоре с епископом Олоронским Бернардом де Морлаасом. Кроме того, его подозревают в покровительстве альбигойцам. Наемники, настоящие бандиты, захватили кафедральную церковь Пресвятой Девы Марии Олоронской и совершали там всяческие преступления, швыряя оземь освященные гостии, одеваясь забавы ради в епископские облачения, «проповедуя» и служа даже подобие мессы. Гастон VI оставляет безнаказанными такие святотатства; он чинит насилие духовенству, снискав всеобщую репутацию гонителя церквей. В 1213 г. Вабрский собор объявляет виконта отлученным от Церкви, а его подданных — свободными от клятвы верности. Только два года спустя, в 1215 г., с него снимут отлучение. Гастон Беарнский покорился и принес публичное покаяние перед епископом, оставив нам свидетельство поражения, собственноручно им составленное:

Знайτε все в настоящем и будущем, что я, Гастон, виконт Беарнский, по наущению Сатаны виновен во многих преступлениях по отношению к церкви Святой Марии Олоронской. Я причинил многий ущерб как сей кафедральной церкви, так и подданным епископа. Ввиду этого и из-за множества других совершенных мною преступлений на меня накладывали многочисленные церковные отлучения. Я же долго упорствовал в

противлении. Наконец, милость Божия снизошла на меня, и я решил повиноваться и настойчиво молил сеньора Бернара де Морлааса, епископа названной церкви, дабы снял он анафемы, которым меня подвергли, и наложил покаяние, мною заслуженное. Он поднял все приговоры об отлучении, вынесенные мне. Хотя мои преступления бесчисленны и вещи, похищенные у Церкви, неисчислимы, я тем не менее, дабы возместить Церкви ее потери, передаю ей всех людей и все права, которыми я обладаю в городе святой Марии Олоронской.

Здесь епископ легко восторжествовал над феодальной властью, но только оттого, что ему благоприятствовали исключительные обстоятельства. Альбигойцы и их сторонники только что потерпели поражение в битве при Мюре. Юг оказывается в руках Симона де Монфора и католических епископов. Средиземноморским сеньорам, которые, подобно Гастону Беарнскому, являлись одновременно гонителями церквей и пособниками ереси, приходится уступить силе и волей-неволей покаяться, если они не хотят лишиться своих владений в пользу предводителей крестового похода.

На севере и в центре Франции воевать с епископами менее опасно. Перейдем к Оверни, дикому краю, где хищное феодальное общество имело обыкновение не только грабить монастыри, но и сражаться с епископами Клермона и Ле-Пюи. Ниже мы поговорим о драме, залившей кровью епархию Ле-Пюи. Епархия же Клермона была ареной извечной борьбы между епископами и графами Овернскими. Она длилась с начала XII века — епископ, постоянно обираемый и истязаемый своим соперником, избегал темниц и еще худшей опасности, лишь призывая на помощь французского короля. Король Людовик VI, а затем и Людовик VII захватывали Овернь, принуждали графа покориться, восстанавливали епископа на его престоле и в его доменах; но, едва они уходили, как прелат и барон возобновляли войну. Вражда была тем более ожесточенной и яростной, ибо епископ и граф принадлежали часто к одному и тому же семейству. Случалось, что в Овернском доме старший сын наследовал графство, а младший — епископство. Что такое вражда между братьями, известно. В эпоху Филиппа Августа такое случалось не раз: Робер I, епископ Клермонский, и Ги II, граф Овернский, два брата, открыто боролись в течение восемнадцати лет, с 1197 по 1215 гг. — борьба,

во время которой граф был вечно отлучен, а епископ — постоянно в темнице.

Нельзя не признать, что если граф Овернский и был разбойником, то и в епископе Клермонском не было ровным счетом ничего от миротворца, мягкого и христиански-терпимого. Окопавшись в своих мощных замках Лезу и Мозен, он тоже жил как главарь шайки. Кто же больше виноват из этих двух братьев-врагов? Если верить графу Овернскому, то вражду начал епископ; и возникает вопрос, кто из двоих был самым воинственным и упорным. В 1198 г. граф пишет папе Иннокентию III, моля его о заступничестве против епископа (воистину, мир перевернулся!), и это покровительство он покупает наперед, отдавая римской Церкви замок Уссон, только что им возведенный:

Молю Вас защитить меня от моего брата Робера, епископа Клермонского. С бандами наемников и баронов он с полным презрением всяческого права опустошает мою землю, принося на нее пожары, убийства и разбой. Припадаю к стопам Вашего Святейшества и умоляю Вас велеть прекратить эти насилия и аннулировать приговор об отлучении, который он, кроме всего прочего, наложил на мою землю.

Граф Овернский прибегал к поддержке Папы, потому что епископ по традиции взывал ко французскому королю. Борьба дополнялась еще и притязаниями, выдвинутыми Англией и Францией на сюзеренитет над Овернью: епископ стоял за Капетингов, а граф — за Плантагенетов. Это затягивало и осложняло конфликт.

Затишья в борьбе между двумя братьями не бывали долгими. После видимости примирения в 1201 г. война возобновилась в 1206, причем еще яростнее и ожесточеннее, чем когда-либо. Епископ был брошен графом в темницу в третий раз. Граф снова был отлучен, но отомстил за себя разграблением церковного имущества, в частности, взяв приступом аббатство Мозак, одно из тех, которые обогатил сам епископ. Он обидел и разогнал монахов, разрушил их постройки, забрал казну, а самое главное — похитил реликвии святого Отремуана, перевезя их в один из своих замков. Грандиозный скандал! Епископ в темнице, аббатство, находящееся под покровительством короля Франции, ограблено и разрушено! Из всех церковных центров Оверни доносится до Филиппа Августа громкий вопль негодования. Король наконец

решает серьезно вмешаться в распри двух непримиримых братьев. Но вмешивается не в качестве беспристрастного судьи, как поступал его отец Людовик VII и дед Людовик VI. Филипп Август вмешивается, чтобы присвоить предмет тяжбы и наложить руку на графство Овернь, которого он давно жаждал. В 1210 г. с большим войском прибывают глава его наемников Кадок и королевский вассал Ги де Дампьер. Они осаждают замки Риом и Турнель, берут один за другим двадцать донжонов графа Ги, захватывают бесчисленное количество пленников, в том числе самого графского сына, и в три года завершают это трудное завоевание. Когда французы вступили в знаменитую крепость Турнель, взметнувшуюся на вулканической скале и считавшуюся неприступной, то обнаружили там огромное количество жертвенников, реликвариев, священнических одежд и прочих ценных предметов, добытых ограблением Мозака и всех аббатств края.

Последнее слово осталось за Церковью: епископ Клермонский восторжествовал, но ценой разрушения своей семьи и независимости провинции. Графство Овернское было навеки разделено: французский король, обосновавшийся в Риоме, занял большую его часть, а графу Ги II, лишенному своей вотчины, пришлось укрыться в соседней провинции, где он мог поразмышлять на досуге о превратностях судьбы, случающихся тогда, когда светская власть не хочет жить в добром согласии с властью церковной.

Одновременно то же самое пришлось испытать и другим баронам. Война с епископатом с особой жестокостью разразилась в Бретани. Но между Ги II, графом Овернским, и Пьером де Дре, графом Бретонским, была большая разница — разница между типичным горским царьком, бедным и алчным, и главой государства, сюзереном и сувереном огромной провинции, независимой по традициям и даже местоположению. Пьер де Дре был цельной личностью с железным характером, он выработал законченный политический план. Он стремился стать хозяином Бретани, подобным французскому королю в своем капетингском домене, а значит, подавить все местные феодальные власти, как светские, так и церковные. На этом основании он и заслужил прозвище Моклерк (дурной клирик), ибо провел жизнь в сражениях с Церковью, более могущественной в Бретани, чем где бы то ни было. В этом краю приходское духовенство взимало, помимо десятины, чрезвычайный оброк «*tierçage*» (налог на

треть движимого имущества) и «*past nuptial*» (разрешение на брак). Епископы пользовались королевскими правами и старались по возможности не признавать сюзеренитет графа. Так что с 1217 г. Пьер де Дре начинает ожесточенную борьбу с епископом Нантским. Он дозволяет своим служащим грабить и жечь епископские дома, захватывать земли и доходы, брать в плен священников, дурно обходиться с ними и даже мучить. Епископ и его капитул, вынужденные покинуть Бретань, искали убежища в соседних диоцезах.

Многokrратно отлучаемый своей жертвой, Пьер де Дре не обращает внимания даже на Папу. Гонорий III в 1218 г. укоряет его за преступления и призывает остановиться и воздержаться от «сих смертных грехов, которые, ежели он не раскается, повлекут за собой полное отлучение». То, что он продолжает сопротивляться под угрозой отлучения, вызывает подозрение в ереси. Во всяком случае, если он будет упорствовать в своих бесчинствах, апостолическая власть сама наложит отлучение, а понадобится, так пойдет и на освобождение его подданных и вассалов от клятвы верности. «Раскрой глаза, — говорит ему Папа, заканчивая, — и поберегись угодить в сеть, из которой тебе больше не выбраться». Отлучение и интердикт будут сняты лишь после полного подчинения графа, 28 января 1220 г. Навязанные ему условия были суровыми: он возвращал все захваченное, отказывался от своих людей и обещал их сам наказать, возмещал ущерб всем епископским подданным, пострадавшим от насилий войны, отказывался принимать их оммаж и, наконец, обязывался вернуть епископа Нантского и его церковь к тому состоянию, в котором они пребывали до начала военных действий.

Средневековые люди легко смирились с унижениями поражения и публичного покаяния, ибо никто тогда не видел стыда в смирении пред Церковью, хотя, впрочем, и не привык соблюдать договоры, в силу которых поступался своими правами; через несколько лет Пьер де Дре возобновит борьбу, на сей раз с большей ловкостью, напористо вовлекая всех светских сеньоров своего герцогства в кампанию против привилегий и юрисдикции епископов.

Но высшей степени жестокости и дикости война графа и епископа достигла в другой области феодальной Франции. Граф Осерский и Тоннерский Пьер де Куртене, родственник Филиппа Августа, являл собой тип вспыльчивого, грубого, совершенно

лишенного чувства меры и осторожности дворянина. Ему противостоял епископ Осерский Гуго де Нуайе, тоже знатный человек, нрава чересчур хитрого, весьма привязанный к своим мирским интересам и решительно настроенный не склоняться ни перед феодалами, ни даже перед королем, короче говоря — непримиримый Божий слуга во всеоружии в прямом смысле слова. Этим двум людям было суждено постоянно сталкиваться, и было ясно, что их взаимоотношения станут непременно конфликтными и острыми.

Достаточно сказать, что из-за их вражды город Осер почти пятнадцать лет будет оставаться под интердиктом, и нужно представить себе, до какого судорожного и взрывоопасного состояния доходил в Средние века город, пораженный отлучением, какое потрясение умов и социальной жизни влекла эта мера, чтобы понять всю серьезность положения: закрытие церквей, запрещение подачи таинств в течение столь продолжительного периода. Самое большее, что разрешалось, и то в виде исключения, это крестить детей и причащать больных. Эта критическая ситуация с течением времени становилась опасной, ибо то тут, то там в области начала появляться ересь, особенно в Невере и Шарите, где, правда, сожгли кое-каких еретиков, но позволить населению и впредь обходиться без таинств и литургии было нельзя. Гуго де Нуайе и его капитул ввиду отъявленного ожесточения графа Осерского пришли к следующей системе: всякий раз, когда отлученный граф намеревался въехать в город, колокола большой осерской церкви звонили во всю мочь, дабы предупредить жителей и духовенство. Тотчас храмы закрывались, церковные службы прерывались, город погружался в траур. Когда же граф уезжал — новый звон колоколов, храмы снова открывались (однако не для людей и слуг Пьера де Куртене) и возобновлялась нормальная жизнь. Так что понятно, каким тягостным и неловким был подобный прием для графа Осерского. «Он не мог, — говорит хронист, — вступить или выйти из принадлежащего ему города без великого смятения, и прежде всего не осмеливался долго в нем оставаться из-за ропота населения». Епископ нашел превосходное средство изгнать графа из его столицы.

Гнев такого вспыльчивого человека, как Пьер де Куртене, время от времени проявлялся в актах мщениа. Однажды он разрушил до основания епископскую церковь святого Адриана. В

другой раз — велел выколоть глаза одному из вассалов епископа. Граф подвергал разграблению домены Церкви. В 1203 г. он проживал в своем городе, подпадавшем из-за него под бремя интердикта. Духовенство отказало в погребении маленького ребенка. Мать, крича и плача, принесла жалобу Пьеру де Куртене. Он же с особой изощренностью приказывает своим людям взять с собой трупик ребенка, вломиться в епископский дворец и захоронить младенца в опочивальне епископа, подле его кровати. Гуго де Нуайе объявляет своему врагу новую анафему. Пьер в отместку изгоняет из Осера владыку и его каноников, говоря, что поступает так по велению Филиппа Августа, врагом которого был Гуго де Нуайе. Французский король, также претерпевший от неуживчивого прелата, и в самом деле поддержал графа Осерского, своего родственника. Положение становилось серьезным, назревал скандал. Иннокентий III написал Пьеру де Куртене и Филиппу Августу угрожающие письма. Граф посмеялся над ними и продолжил свои преследования. Однажды он даже позабавился, притворившись, что хочет примириться с Церковью и принести публичное покаяние. Он пригласил епископа, декана капитула, архидьякона, регента певчих и прочих капитулярных чинов возвратиться в Осер, чтобы принять его покаяние. Довольные клирики покинули свои пригородные дома, в которых укрывались, и направились в город; но в пути они узнали, что граф Осерский, и не помышлявший о примирении, отправил свои шайки их преследовать. Духовенство поспешило повернуть назад и вместо того, чтобы остановиться в одном приорстве, как они поначалу намеревались, они двинулись другой дорогой. Видимо, их вовремя предупредили, ибо вскоре воины графа напали на это приорство, разбили ворота ударами палиц и как бешеные обыскали все кельи, так и не найдя там людей, за которыми гнались.

Епископ уразумел, что даже дома в деревне ненадежны, и укрылся в монастыре Понтини. Пьер приказал аббату Понтини выставить вон своего гостя и угрожал монастырю в случае отказа отдать его на разграбление солдатам. Тогда Гуго де Нуайе решается вообще бежать из своего диоцеза. На сей раз папа Иннокентий теряет терпение. Он пишет Филиппу Августу, что, ежели тот не заставит графа Осерского подчиниться и не возвратит епископа в его резиденцию, то сам будет считаться ответственным и пострадает за преступления своего вассала. «Не вынуждайте меня, — говорит он, — опустить на вас карающую

длань и берегитесь, как бы, издеваясь над таким известным своим суровым преследованием еретиков епископом, как этот, вы тем самым не стали выглядеть пособником ереси».

Подобный упрек оказался слишком сильным ударом для Филиппа Августа. Кроме того, в самом разгаре была борьба против Иоанна Безземельного и приготовления к завоеванию Нормандии: для короля не время было вступать в конфликт с Церковью. Пьеру де Куртене, располагавшему только своими силами, пришлось в 1204 г. капитулировать и пообещать, на сей раз всерьез, смириться перед епископом Осерским и архиепископами Буржским и Санским. Требования же епископа превзошли все, что только можно было себе представить. Осерский хронист говорит нам, что церемония публичного покаяния привлекла в город многочисленное духовенство, и это понятно. Представление было необычайным: граф Осерский, босой, в одной рубашке, вошел в епископский дворец, направился в его личные покои и собственными руками вырыл труп захороненного несколько месяцев назад ребенка, «уже разложившегося и распространяющего зловоние». Он перенес эти останки на собственных плечах из дворца на кладбище, где их окончательно и предали земле. «И это ради своего спасения, — добавляет хронист, — унизился он так пред Богом — Богом, умеющим заставить склонить голову и шею королей».

Но на этом месть епископа не закончилась. Первым советником у Пьера де Куртене и исполнителем его дел был знатный человек из Осера по имени Пьер де Курсон, ненавидимый духовенством, знавшим, что это он был советником графа и подстрекал того к борьбе с Церковью. Долго Гуго де Нуайе не мог добраться до этого человека, укрываемого по милости и покровительству хозяина. Но настал день, когда Пьер де Курсон впал в немилость, и епископ Осерский поспешил этим воспользоваться. Он повелел задержать его, заковать в цепи, с обнаженной головой посадить на телегу (тот был полностью лыс) и так провезти по всем городам и площадям Осера в сопровождении освистывающей его толпы.

Подобного размаха достигала война между графами и епископами в Осере. А после смерти Гуго де Нуайе она возобновилась. Пьер де Куртене оказался не в лучших отношениях и с новым епископом Гийомом де Сеньеле, также не отличавшимся кротким характером, что доказывают и его многочисленные конфликты

с Филиппом Августом. Неизвестно, что такое могло произойти, чтобы графу Осерскому пришлось в один прекрасный день покинуть страну и отправиться отстаивать свои права на латинский трон Константинополя. И тут мы находим в «Хронике епископов Осерских» прелюбопытную страницу, показывающую нам, до какой степени алчность к церковному имуществу и ненависть к епископской власти охватили знать этой области. Когда в 1220 г. епископ Гийом де Сеньеле покинул Осер, дабы вступить во владение парижской резиденцией, куда его перевели, отъезд сей стал для знатных и мелких феодалов Осерской провинции чем-то вроде сигнала к грандиозному грабежу. Бароны и владельцы замков набросились на приходских священников. Эрве де Донзи, граф Неверский, этот гонитель монахов, о чем свидетельствует борьба его с везлейским аббатством, вступает с оружием в руках в Осер, и большинство горожан, опасаясь его жестокостей и бесчинств, разбегается. Ничтожнейшие сеньоры захватывают епископские домены, грабят города, берут выкупы и убивают крестьян. В самом Осере уже в опасности даже соборный капитул. Декана увел один дворянин и перевез в замок на берегу Соны, где долго держал в плену. Однажды утром, когда каноники занимались службой, на них набросился отряд рыцарей с обнаженными мечами и преследовал их вплоть до церкви, серьезно ранив одного и растоптав копытами коней другого.

Подобные инциденты происходили почти повсюду; они придавали войне знати с духовенством достаточно драматичный характер. Но ярость борьбы и всеобщее ожесточение могли заходить и дальше. Убийство аббатов и даже епископов отлученной знатью — дело нередкое. В 1181 и 1207 гг. один за другим умерли жестокой смертью два епископа, убитые сеньорами, с которыми они воевали. В 1211 г. Жоффруа Бельван, аббат святого Петра в Кютюре, на Мене, убит Амеленом де Фенем, который оспаривал у него семюрский фьеф. Во искупление этого преступления Амелен передал монахам ренту в десять манских су, отопление очагов и освободил аббатство от всякого оммажа. В общем он дешево отделался. В 1219 г. сеньор Сен-Мишеля в Ланской области по имени Жиль избавляется подобным же способом от аббата Сен-Мишеля, с которым боролся. Убийство совершено в самом монастыре, а приказавшему его совершить было едва пятнадцать лет. Сначала он пообещал отправиться сражаться с альбигойцами, потом — совершить путешествие в Рим, где Папа

наложит на него наказание: поститься в течение четырнадцати лет по пятницам на хлебе и воде, а если не сможет соблюдать пост, то кормить трех бедняков, подвергать себя публичному бичеванию три раза в год, в день торжественной процессии, и назначить навечно в аббатство Сен-Мишель священника, обязанного молиться за душу его жертвы. В 1222 г. сын виконта д'Обюссона убивает приора Феллетена — приорства, зависевшего от святого Марциала Лиможского. А в 1220 г. происходит самый большой скандал того времени. Увлекательнейшие страницы могли бы быть написаны о беспокойной и трагической жизни и борьбе епископов Ле-Пюи в XII и XIII вв. против несговорчивых феодалов, их окружавших, — сеньоров де Монтло, де Меркер, де Рошбарон — сборища грабителей, жаждавших своей доли доходов от паломничеств к Пюиской Богоматери и беспрестанно споривших с отрезанными в своей кафедральной церкви от всего мира, на вершине Пюи, аббатами о светском суверенитете над Веле и, особенно, о таможенных поступлениях. В 1220 г. епископ Робер де Мен, ведущий против своих вассалов, благородных и горожан, ожесточенную войну, отравлявшую все его существование, был убит неким рыцарем, на которого он наложил отлучение. Определенно — ужасная эпоха, когда лучше было не иметь врагов!

ГЛАВА IX. ЗНАТЬ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Воевал ли благородный человек ради себя или ради своего сюзерена, на свои средства или на чужие, он, как мы видели, по своим вкусам, привычкам и потребностям был воином, редко остававшимся без дела. Однако в бесконечной череде войн возникали и промежутки мира и бездействия, особенно зимой. На что же тратил он свое время, когда прекращал грабить, жечь и убивать на вражеской земле?

Любимым было тогда одно, совсем не мирное, занятие: дабы отдохнуть, продолжая набивать руку, рыцарь сражался на турнирах².

В исторической поэме о Вильгельме Маршале рассказы о турнирах занимают три тысячи стихов из двадцати. Автор описывает пятнадцать турниров, следовавших в отдельные годы в краях Шартра и Перша один за другим. И говорил он еще только о самых известных и лишь о тех, в которых принимал участие его герой. Он сам признает, по какой причине не упоминает их все: «Я не знаю обо всех происходящих турнирах — о них можно узнать с превеликим трудом, ибо почти каждые две недели сражались то в одном, то в другом месте».

Каждые две недели — турнир! Частота подобных тренировок удостоверена другими источниками того времени — Ламбером из Ардра, показывающим нам графов Гинских и сеньоров Ардрских, которые участвуют в турнирах, впадая ради них в безумные траты; Жильбером де Моном, прекрасно осведомляющим нас о жизни лотарингских и бельгийских сеньоров. По его словам, всякое посвящение в рыцари, всякая пышная свадьба почти неизбежно должны были сопровождаться турниром, на котором молодые бароны демонстрировали свои способности и получали боевое крещение. Все это в точности подтверждается «Песней о Гарене Лотарингском»: «Сир, — говорит королю Пипину посол

² Турнир назывался на латыни современников Филиппа Августа *tomeamentum*, *gugum* или *hastiludium*. *Tomeamentum* или *гугум* — потому что эта военная игра, это упражнение происходило внутри ристалища, образованного изгородью круглой или прямоугольной формы. *Hastiludium* — оттого, что удары копья (*hasta*) играли главную роль — копьё было преимущественно благородным оружием.

графа Фромона, — граф прислал меня просить вас устроить завтра утром турнир. Его сын Фромонден — новопосвященный рыцарь, и отец желает видеть, способен ли он к военной службе». Непосредственным поводом для обоих турниров под стенами Бордо, описываемых в этой «Песни», был смотр рыцарства.

Но к чему такое изобилие турниров? Дело в том, что турнир был настоящей школой войны: упражняясь в желанных и подчиненных определенным правилам сражениях, воины практиковались в ведении оборонительных и наступательных боев, заполнявших всю жизнь дворянина. Во всяком случае, современники именно этим оправдывают турнир. Достаточно процитировать хорошо известный отрывок из английского хрониста Роджера Хоудена:

Рыцарь не может блистать на войне, ежели он не подготовился к ней на турнирах. Нужно, чтобы он видел, как льется его кровь, слышал, как трещат под ударами кулака его зубы, пусть его сбросят на землю, чтобы он почувствовал тяжесть тела своего неприятеля, да чтобы, двадцать раз выбитый из седла, он бы двадцать раз оправился от падений, еще более, чем когда-либо, готовый ринуться в бой. Только тогда он сумеет безбоязненно участвовать в жестоких войнах с надеждой выйти победителем.

Был ли подобный институт общим для феодального строя всей Европы? Вовсе нет. Во времена Филиппа Августа не сомневались, что турниры — главным образом французский обычай. по-нашему — мода, которая, правда, быстро распространилась в соседних странах. Английские хронисты совершенно уверены в этом: они называют турниры «сражениями на французский манер» (*conflictus gallici*); и в самом деле, поэма о Вильгельме Маршале показывает, как во Францию для участия в турнирах все время прибывают англичане и фламандцы. Бесспорно, именно поэтому Вильгельм Маршал, перворазрядный турнирный боец, все-таки признает превосходство французов: «Прежде всего я назову французов. Они по праву должны стоять первыми из-за своей гордости и храбрости и славы их страны». Это ценное признание в устах англичанина. По словам некоторых авторов того времени, Ричард Львиное Сердце якобы первым ввел в Англии обычай проводить турниры, дабы отобрать у французов то бесспорное превосходство, которое им давали их тренировки. И англичане настолько увлеклись турнирами, что Ричард, весьма

практичный, несмотря на свои рыцарские замашки, финансист, обрел средство извлекать доходы, введя плату для рыцарей, вступавших на ристалище.

Как бы то ни было, но институт турнира — французский или нет по происхождению — во Франции процветал более, чем где-либо, и чтобы составить об этом точное представление, следует почитать описания и детали его, в которые с явным удовольствием вдается биограф Вильгельма Маршала.

Прежде всего видно, что турнир, собственно говоря, не отличался от войны, обладая ее существенными чертами, за исключением разве что систематического грабежа деревень и массового истребления крестьян. Знать вооружалась на турнир точно так же, как на настоящую войну, и если чаще всего они стремились на него, дабы извлечь пользу из захваченных пленных, то подчас им случалось также ранить или убивать друг друга. Когда в 1208 г. Филипп Август решил посвятить в рыцари своего сына Людовика, чтобы, так сказать, придать ему веса в собственных глазах, то из предосторожности он заставил его подписать некоторые обязательства, в том числе — никогда не принимать участия в турнирах. Принцу Людовику, будущему Людовику VIII, пришлось довольствоваться лишь посещением турниров, проводимых близ его резиденции, и присутствовать на них в качестве простого зрителя, в черепнике на голове — головном уборе простого воина, дабы ему не вздумалось выйти на ристалище и преломить копьё. Зачем подобная предосторожность? Потому что Людовик был единственным наследником мужского пола, а жизнь наследного принца не должна подвергаться никакому риску.

И один из доводов, заставлявших Церковь запрещать эти турниры — то, что они на самом деле были очень опасны и порой смертельны для участников. Однако далеко не все турниры превращались в сражения. Существуют обстоятельства и страны, где турнир — лишь парад, военная прогулка по ристалищу, где гарцует разодетая, сопровождаемая герольдами знать. Таков турнир 1184 г., состоявшийся в Майнце в честь посвящения в рыцари сына Фридриха Барбароссы. Жильбер де Мои утверждает, что этот турнир был мирным (*gutum sine armis*). Рыцари, добавляет он, остались довольны этими торжествами, где с великой помпой несли щиты, копьё, знамена, где гнали лошадей, не нанося друг другу ударов. Однако такими были, возможно,

немецкие нравы, но не нравы французские: все турниры, описанные в поэме о Вильгельме Маршале, являются настоящими сражениями, где бьются всерьез и до крови.

Действительно, в этих схватках и речи нет о каких-то персональных поединках. Там встречается рыцарство многих провинций и на ристалище выходят целые армии, яростно атакуя друг друга. На турнир в Ланьи-на-Марне было приглашено более трех тысяч рыцарей, и биограф Вильгельма Маршала детально описывает построение столкнувшихся там отрядов французского, английского, фламандского, нормандского, анжуйского и бургундского войск. Именно здесь прорывалось наружу соперничество или, скорее, взаимная провинциальная озлобленность, игравшая столь большую роль в войнах того времени. Турнир, подобный турниру в Ланьи, который, принимая во внимание число сражавшихся, превратился в настоящую битву, в точности походит на финал реальной войны. С другой стороны, сравним рассказ об этом историческом турнире с рассказом о воображаемом турнире в Бордо, поведанным певцом Гарена Лотарингского, и мы признаем, что поэзия здесь только почерпнула свои сведения у истории:

Равнина кажется лесом блестящих шлемов, над которыми развеваются сверкающие знамена... Оба войска, стоящие друг против друга, начинают медленно сближаться, покуда не оказываются одно от другого на расстоянии полета стрелы. Кто первым станет атаковать, кто первым выступит из рядов? Это юный Фромонден. С прижатым к груди щитом выезжает он поразить одного рыцаря, выбивает его из седла, подъезжает ко второму, которого также опрокидывает. Копье его сломано, но он бьет обломком и снова нападает. Уже нарушен строй обоих отрядов — схватка становится всеобщей. Скрещиваются все копья, обломками их покрыта земля; вассалы рассеяны, испуганные лошади понесли, раненые издают ужасные крики; и не в одном месте, а в двадцати, сорока различных местах сталкиваются рыцари друг с другом, чтобы поразить или принять смерть. Ведомые Гийомом де Монкленом, Фромон и Бернар де Незиль из Бордо продолжают пробиваться вперед и наконец достигают отрядов Гарена. Герой долго сдерживает их натиск; пять раз он падает и снова садится на другого коня; горе тому, кто не уклонится от лезвия его меча! Первым же ударом

он сваливает фламандца Бодуэна, вторым — Бернара де Незиля; наконец, весь в поту, он отъезжает в сторону, куда никто не смеет за ним последовать. Там он может отстегнуть свой шлем и на мгновение передохнуть. Численно уступающие противнику, французы собрались оставить поле боя за бордосцами, когда им на помощь пришли анжуйцы, нормандцы и бретонцы; но все, что они могут сделать, это увести их под знаменем.

Единственное отличие этого турнира от турнира в Ланьи заключается в том, что последний, возможно, был не так кровопролитен. Во всяком случае, у биографа Вильгельма Маршала речь идет скорее о попавших в плен рыцарях, нежели о серьезно раненых или убитых:

Было видно, как распускают знамена: равнина настолько заполнена ими, что не видно земли. Стоял великий шум и перебранка, все старались изо всех сил наносить удары. Там вы услышали бы, как ломались копыя, устилая своими обломками землю, и лошади уже не могли ступать. Превеликая давка была на равнине. Каждый отряд воинов издавал свой боевой клич. Рыцари натягивали поводья и спешили на помощь друг другу.

Вскоре молодой английский король, старший сын Генриха II, подает знак к решающей схватке. Тогда начинается ожесточенная битва в виноградниках, во рвах, в густом лесу виноградных лоз. Видно, как валятся кони и падают растоптанные, раненые, убитые люди. Как всегда, отличается Вильгельм Маршал: все, до чего достает его меч, разрублено и рассечено; он пробивает щиты и коржит шлемы.

В эпосе о Лотарингцах мы видим, как по окончании турнира герои возвращаются с поля боя с добычей, то есть с пленниками, за которых собираются взять выкуп. Это — добыча дня, полезная и выгодная сторона турниров, отмеченная, в частности, в биографии Вильгельма Маршала. Рыцари отправляются на турниры, дабы заработать денег, и Вильгельм Маршал тоже участвует в турнирах, чтобы добыть себе лошадей, шлем и взять выкуп за пленных. В каком-то поединке «он заполучил двенадцать лошадей». Вильгельм объединился с храбрым соратником по имени Роджер де Гожи, и на пару они захватили бесчисленное количество пленников, учет которым вели их писцы. «И писцы в точности засвидетельствовали, что между Троицей и постом они захватили в плен сто три рыцаря, не считая лошадей и доспехов».

А сколько еще любопытных подробностей рассказано в поэме о Вильгельме Маршале! Визиты, наносимые рыцарями друг другу накануне турнира, где они весело беседуют за кувшином вина; Маршал, гонящийся в ночи по узким улочкам маленького городка за вором, укравшим его коня. У того же Маршала на турнире был так изрублен шлем, что после поединка он не смог его снять; пришлось идти к кузнецу и класть голову на наковальню, чтобы с помощью молота освободиться от злополучного шлема. Эти кровавые поединки, страстно обожаемые знатью, были выгодны всем. Гулящим девкам, стекавшимся на них, простому люду, любившему представления, торговцам, устраивавшим во-круг ристалища базарную площадь.

Одна только Церковь не любила турниры и использовала всю свою власть, чтобы им воспрепятствовать. Она осуждала их, как осуждала войну, и по тем же самым причинам. В конце XII века у нее появился особенно веский мотив противодействовать столь бесполезным развлечениям, в которых знать не щадила денег и крови, вместо того чтобы отдавать первое и второе за веру в походах во Святую землю. Турниры наносили вред крестоносному движению, и этого было уже достаточно, чтобы Церковь добивалась их упразднения. С начала XII в. усиливаются церковные запреты. На Латеранском соборе 1179 г. папа Александр III возобновил запрет своих предшественников и грозил анафемой организаторам турниров и сражающимся. Постановление этого собора называет турниры «празднествами, или отвратительными ярмарками, на которых рыцари имеют обыкновение назначать друг другу встречи, дабы показать свою доблесть и посражаться, празднествами, несущими смерть телу и погибель душе». Собор решает, что те, кто погибнет на турнире, будут лишены церковного погребения. Иннокентий III возобновляет эти запреты на Латеранском соборе 1215 г.; выступить против этого печально известного института приглашены церковные писатели. Современник Филиппа Августа, монах и историограф Цезарий Гейстербахский, говорит в своих «Диалогах»: «Неужто те, кто погибает на турнирах, тем самым отправляются в ад? Вопрос именно в этом, но он не возникает, когда спасает раскаяние». И автор рассказывает историю об одном испанском священнике, которому явились некие рыцари, убитые на турнирах, умоляя молиться за них, дабы спасти от геенны огненной. Другая легенда, правда, немного более поздняя, показывает

нам демонов, кружащихся в обличье грифов и воронов над ого-роженным полем, где лежат мертвыми шестьдесят турнирных бойцов, по большей части задохнувшихся в пыли. Со времени святого Бернара у церковных авторов находятся только слова порицания для обозначения турниров, «сих мерзких и прокля-тых празднеств».

В свою очередь, громы и молнии мечут с кафедр проповедни-ки. На эту тему пространно высказывается Жак де Витри:

Припоминаю, как я беседовал в день турнира с одним рыца-рем, часто бывавшим на них и приглашавшим туда много ге-рольдов и сочинителей историй. При этом он был достаточно верующим и не считал, что поступает дурно, предаваясь по-добному роду игры. Я начал ему доказывать, что с турнирами связаны семь смертных грехов: грех гордыни, очевидный сам по себе, поскольку эти нечестивые воины отправляются сра-жаться на турнире, дабы восхищать зрителей, хвастать своими подвигами и получать награду в виде суетной славы; грех зави-сти, ибо каждый завидует своим соратникам, видя, что те при-знаны более храбрыми в ратном деле, и изматывает себя, желая их опередить; у ненависти и гнева также широкий простор для деятельности, поскольку речь идет о сражении друг с другом, откуда люди выходят чаще всего смертельно ранеными.

Что же касается греха лености или уныния, из слов Жака де Витри видно, что проповедник в некотором затруднении; но он выходит из положения следующим образом:

Любители турниров настолько поглощены своим тщеслав-ным удовольствием, что ничего не делают для достижения ду-ховных благ, необходимых для собственного спасения; а что касается уныния, то у них оно часто проистекает оттого, что, не сумев восторжествовать над своими противниками, вынуж-денные порой даже постыдно бежать, они возвращаются весь-ма опечаленными.

Объяснение немного натянутое; но проповедник тут же оты-грывается на грехе скупости, или грабежа. Прежде всего, тур-нирные бойцы, говорит он, — это разбойники, ибо для них глав-ное — захватить самого противника или по крайней мере увести его коня; но, помимо этого, турниры всегда дают повод для гнус-ных грабежей — знать безжалостно обирает своих подданных;

в прочих же местах, где они проскачут, повсюду уничтожаются посевы и бедным крестьянам наносится неисчислимый ущерб. Очередь шестого смертного греха, чревоугодия. Нельзя отрицать того, что на турнирах он выставлен напоказ, так как по этому случаю рыцари приглашают друг друга пировать и растрчивают в бессмысленном пьянстве свое добро и даже имущество бедняков. Надо же! «Они вырезают широкие ремни из кожи других!». *Quidquid delirant reges plectuntur Achivi*. Наконец, сладострастие — разве турнирные бойцы не стараются прежде всего понравиться бесстыдным женщинам, пощеголять перед ними своей силой и своими подвигами? Они доходят даже до того, что носят их знаки, данные ими предметы. Именно по причине беспорядков и жестокостей, совершаемых на турнирах, из-за убийств и кровопролития Церковь приняла решение отказать в христианском погребении тем, кто нашел на них смерть.

Но ни проповедям подобного жанра, ни наводящим ужас легендам, ни обрушиваемым клириками анафемам не удалось оказать влияния на знать и помешать турнирам. Привычка и страсть к сражениям, мода, против которой бессилён любой законодатель, оставалась сильнее папского авторитета и соборов. Сама Церковь вынуждена была признать, что не смогла навязать свою волю рыцарям, и ей приходится беспрестанно отступать от суровых мер, выжидать, идти на соглашательство со злом, которое она так жаждала уничтожить. У нас есть совершенно определенное свидетельство этого в одном из писем Иннокентия III. Вот что произошло в 1207 г. в диоцезе Суассона.

Епископ Суассонский Нивелон Шерици, один из героев четвертого крестового похода, энергичный человек, под давлением папской власти возжелал организовать новое выступление в крестовый поход или по крайней мере в поход ради Латинской империи и, решив, что турниры, как всегда, нанесут ущерб его планам, с одобрения Папы отлучил всех турнирных бойцов. Поднялся ропот, протесты, возмущение большей части рыцарей, участвовавших в турнире в Лане. Они заявили, что раз с ними поступают подобным образом, то они отказываются принимать крест и не дадут ни гроша на нужды Святой земли. Нивелон, оказавшийся в затруднительном положении, испрашивает у папы Иннокентия дозволения временно смягчить строгость его собственной анафемы. Иннокентий III позволил это и счел необходимым разъяснить свое поведение архиепископу и епископам

турской провинции, а также, поскольку речь идет об окружном послании, вероятно, и предстоятелям других провинций:

В наши намерения не входит разрешать турниры, запрещенные нашими священными канонами. Но, поскольку нам показалось, что предпринятая нами мера тут же повлекла серьезные осложнения, мы позволили епископам смягчить решение об отлучении, как в отношении тех, кого оно уже коснулось, так и в отношении прочих.

Конечно, это было уступкой, но в Средние века Папы, даже слывшие самыми непреклонными, в том числе и сам Григорий VII, умели бесконечно лучше, нежели местное духовенство, приспособлять принципы к потребностям практики и настоящему моменту. Когда знатные люди, наказанные епископом Суассонским, узнали, что прощены, то обрадовались и решили, что каждый отправит в Святую землю некоторую сумму денег. Но обещать и сдержать обещание — разные вещи. Иннокентий III дал поручение архиепископу Турскому проследить за тем, чтобы эти рыцари, возвратившиеся в свои земли, в точности исполнили обещанное. Если же они откажутся от своих обязательств и не пожелают платить, их вразумят, отлучив снова, так что решение Латеранского собора относительно турниров ничуть не утратило своей действенности.

Из этого инцидента феодалы могли заключить, что если турниры формально и запрещены, то на деле легко добиться, чтобы церковные власти закрыли на них глаза. Как и многое другое в этом мире, все сводилось к деньгам. Не следует забывать, что участие французской знати в четвертом крестовом походе было решено на турнире в Экри-сюр-Эн. Церкви нелегко было завладеть знатью там, где она была сосредоточена в значительном количестве, а поэтому и турнир был узаконен и освящен — уже достаточно того, что на нем рыцари принимали крест.

* * *

Охота в бескрайних лесах, полных хищных зверей, — еще один род битвы, еще одна школа войны. Идея мира в сознании людей Средневековья естественно сочеталась с идеей охоты. Лучшее доказательство тому — отрывок из поэмы о Жираре Руссильонском: «Теперь для рыцарей настает длительный отдых: начинается благодатное время для собак, грифов, соколов,

сокольничих и ловчих». На другой странице той же поэмы король Карл Мартелл, переставший воевать со своими вассалами и сарацинами, говорит баронам: «Пойдемте поохотимся на реку или в лес — это лучше, чем сидеть дома». Наряду с турниром охота является основным времяпрепровождением, поэтому все обитатели замка — охотники. Знатная дама сопровождает своего мужа и скачет с ястребом на руке, она превосходно умеет выпустить птицу и возвратить ее, и успех охоты часто от нее зависит. Что же касается сына владельца замка или барона, то он с семи лет охотится с отцом и матерью, что является важной частью его физического воспитания.

Охота для рыцарей и баронов была не просто способом убить время; это — страсть, страсть неумная, часто доходящая до иступления, так что Церкви порой приходилось ее осуждать, и по многим причинам. Прежде всего: знатный человек, вечно рвущийся в лес, забывал обо всем, вплоть до церковной службы; а также и оттого, что жестокость законов, регламентировавших занятие охотой и делавших из сеньориальных лесов и дичи нечто священное и неприкосновенное, стала настоящей напастью. Крестьянин не имел права защитить себя и свой урожай от диких зверей. В 1199 г. жители острова Ре даже приняли решение покинуть его из-за ущерба, причиняемого им водившимися там в изобилии оленями. Дело дошло до того, что они не могли ни снять урожай, ни собрать виноград. Сеньором острова был Рауль де Молеон. Сопровождаемый плачущими жителями, к нему направился аббат монастыря Богоматери в Ре, умоляя отказаться от своего права охоты. Рауль согласился охотиться на острове только на зайцев и кроликов. Но феодалы ничего не давали просто так: крестьянам пришлось платить сеньору по десять су за каждую четверть собранного винограда и за каждое сetje пшеницы.

И что такое один знатный человек, поступивший своим правом охоты, если столько других отстаивало это право с ожесточенным упорством! Мы не можем сказать, было ли законодательство Филиппа Августа на сей счет таким же жестким, как у его современника, английского короля Генриха II: последний своим положением от 1184 г. снова ввел в силу лесные ордонасы своих предшественников, в силу которых всякому человеку, признанному виновным в том, что он охотился в королевских лесах, выкалывали глаза и уродовали конечности. Это позволило одному английскому хронисту, Вильгельму из Ньюборо,

сказать, что Генрих наказывал за убийство оленя столь же сурово, как и за убийство человека. Французский сеньор относился к этой статье столь же серьезно. Через несколько лет после смерти Филиппа Августа Ангерран де Кузи приказал повесить трех несчастных молодых людей, фламандских дворян, охотившихся в его домене. Но на сей раз король разгневался, бросил знатного барона в темницу и освободил только тогда, когда тот пообещал заплатить штраф в десять тысяч ливров и совершить паломничество в Святую землю.

Справедливости ради следует сказать, что охота для феодалов была не только удовольствием, школой верховой езды, подготовкой к войне, но и необходимым источником пропитания. Эти войны — от отца до сына охотники и отменные едоки — мало почитали мясо с бойни. Они питались преимущественно крупной дичиной, подаваемой кусками или в огромных пирогах. Если верить нашим старинным поэмам (ибо вышеназванные хронисты почти ничего на эту тему не сообщают), сытными трапезами феодалов были такие, где куски кабанятины и медвежатины чередуются с жарким из лебедей или павлинов, с доброй рыбой, выращенной в сеньориальных садках, запивавшимися щедрыми кубками вина, приправленного медом и пряностями.

В жестах того времени встречаются отрывки, дающие конкретное представление о том, чем была тогда охота и с какой пылкой страстью предавалась ей знать. Все начало поэмы о Гийоме Дольском посвящено описанию охоты, продолжающейся многие дни, с завтраками на траве, обязательно ее сопровождающими. Но с наибольшим обилием деталей охота описана в эпосе о Гарене Лотарингском. Прежде всего, вот картина домашней жизни сеньора в мирное время:

Герцог Бегон находился в замке Белен со своей женой, прекрасной Беатрисой, дочерью герцога Милона де Бре. Он целовал ее уста и лицо, а дама ему нежно улыбалась. В зале пред ними играли двое их детей: старшего звали Гареном, и было ему двенадцать лет; второму, Эрнандену, исполнилось только десять. Шестеро благородных юношей участвовали в их шалостях, играя, прыгая, смеясь и бегая взапуски. Герцог, глядя на них, начал вздыхать. Прекрасная Беатриса заметила это: «О чем вы думаете, сеньор Бегон, — говорит она, — вы, столь знатный, столь благородный, столь храбрый рыцарь? Разве вы не самый

богатый человек на свете? Золото и серебро наполняют ваши сундуки, меха — ваши гардеробы; у вас ястребы и соколы на жердях; в ваших стойлах — сильные вьючные лошади, парадные кони, мулы и ценные скакуны. Вы уничтожили всех своих врагов; отыщется ли в шести днях окрест Белена хоть один рыцарь, который не явился бы на наши суды? Отчего же вы охвачены тревогой?»

Что же с герцогом Бегоном? Мы догадываемся — он не сражается, а значит, скучает. Не имея возможности воевать, он желает отправиться на дальнюю охоту под предлогом посещения своего брата Гарена:

Мне принесли вести из лесов Павеля и Виконя, что в аллодах Сен-Бертена. В этих землях водится кабан, самый сильный, о каком я когда-либо слышал; я поохочусь на него, и ежели Богу будет угодно и я останусь в живых, я привезу оттуда его голову герцогу Гарену, чтобы доставить ему удовольствие.

Сказано — сделано.

Бегон велел нагрузить золотом и серебром десять вьючных лошадей, дабы быть уверенным, что встретит повсюду верную службу и добрый кров. Он берет с собой тридцать шесть рыцарей, добрых и мудрых ловчих, десять пар собак и пятнадцать слуг для устройства привалов.

Мы следуем за перипетиями этого путешествия: вот Бегон разместился в замке Валантен у Беренгария Серого, «самого богатого бюргера края». Герцог делится с ним своим намерением: «Мне рассказали о Павельском лесе и об огромном кабане, который там водится. Я решил поехать поохотиться на него и привезти оттуда его голову моему дражайшему брату, герцогу Гарену». «Сир, — отвечает хозяин, — я знаю, где отдыхает зверь и где его убежище. Завтра я могу отвести вас к его логову». Бегон, в восторге от таких слов, отстегивает соболий плащ, подбитый новым мехом, привезенный ему из славянских земель: «Держите, дорогой хозяин, вы поедете со мной». Беренгарий, поклонившись, принял дар и обернулся к своей жене. «Видите, какой прекрасный подарок, — сказал он ей, — весьма выгодно служить достойным мужам».

Когда занялся день, вошли камердинеры, прислуживающие герцогу; они подносят ему котту для охоты, узкие штаны,

подвязывают золотые шпоры. Бегон садится на породистого боевого скакуна, вешает на шею рог, зажимает в руке крепкую рогатину и уезжает с Риго и тридцатью шестью рыцарями, предшествуемый ловчими и двумя десятками собак. Так они, ведомые Беренгарием Серым, миновали Эко и въехали в Виконьский лес. Вскоре они очутились близ места, где укрывался кабан. Тотчас же залаяли и завизжали собаки. Их распустили, и они устремились через заросли к тропинкам, где вебрь взрыл землю. Один из слуг, состоящий при собаках, отпускает Бланшара — добрую гончую, подводит ее к герцогу, и тот гладит ее по спине, похлопывает легонько по голове и ушам, а затем пускает по следу. Бланшар исчезает и быстро добирается до логова зверя. Это было место меж двух стволов вырванных с корнем дубов, укрытое скалой и омываемое ручейком из соседнего источника. Кабан, едва слышав лай гончей, подскакивает, расставляет свои огромные копыта и, вместо того, чтобы обратиться в бегство, бросается на нее сам; подбежав к доброй гончей, он поддевает ее клыками и швыряет оземь замертво. Бегон не отдал бы Бланшара и за сто марок денье; едва перестав слышать его лай, он подбегает с рогатиной в руке, но было слишком поздно, хряк передохнул и убежал. Поодаль спешили рыцари и измерили отпечаток его копыта — оно было в пядь³ длины и ширины. «Настоящий дьявол! — говорили они. — Уж его-то ни с каким другим не перепутаешь!». Все снова вскочили на коней, продолжая охоту, и вскоре высокий лес огласился звуками их рогов и лаем собак.

Вебрь понимает, что ему не одолеть стольких врагов, и бежит прятаться к Годемону, своему лесному убежищу. Загнанный туда сворой, он делает то, что далеко не каждый кабан попытался бы сделать — оставляет убежище, выбегает в открытое поле, пересекает Павельский край, усеянный лесами и одинокими фермами, и проделывает таким образом, не останавливаясь ни на миг и не сделав ни одного крюка, добрых пятнадцать лье.

Кабан проделал пятнадцать лье по открытой равнине — одно из жонглерских преувеличений и своеобразных деталей, встречающихся даже в самых реалистических описаниях.

У лошадей не было больше сил преследовать его, ведь и самые выносливые из них выбиваются из сил, преодолевая пруды, болота, минуя мельницы; от усталости посреди трясины пал даже

³ Пядь (русская) равна 17,8 см. (Прим. выполнившего доработку.)

добрый конь Риго. Потом, на склоне дня, когда начался дождь, рыцари решили уехать с хозяином в Валантен. Там их ждала еда. Они сели за стол, все еще горячо сожалея о Бегоне, оставшемся в лесу.

Мы сказали, что герцог вскочил на арабского коня, подарок короля. На свете не было более неутомимого скакуна — когда все собаки легли, Босан выглядел таким же отдохнувшим, как и утром, когда выезжали из замка. И он гнался за стремительно убегающим вепрем. Бегон, видя, как измучены три его борзые, прижал их к себе и сжимал в объятиях, пока не увидел, что вместе с силами они вновь обрели и свой пыл. Мало-помалу к ним присоединились остальные собаки, так что он, наконец, смог их пустить по прогалине по следам кабана. Лес мгновенно наполнился яростным и многоголым лаем.

Так, гонимый от Виконя до Павеля и от Павеля до Гойера, хряк в конце концов присел под кустом на задние копыта, дожидаясь своих врагов. Сначала он освежился в луже, потом, подняв брови, вращая глазами и повернув рыло к собакам, издал рык, бросился и распорол им брюха, давая одну за другой. Уцелели только три борзые, бывшие при Бегоне, которым, как более юрким, удалось спастись от его страшных клыков. Подъезжает Бегон и видит, что все его собаки лежат мертвые одна подле другой. «О сын свиньи! — восклицает он, — ты, вспоровший сейчас животы моим собакам, оторвавший меня от моих людей и заведший теперь сам не знаю куда! Сейчас я возьму тебя!». Он спешивается. При вопле Бегона вепрь, подобно оперенной стреле, бросается на него через кусты и рытвины. Герцог, не сходя с места и выставив перед собой рогатину, дал ему подбежать и поразил в грудь. Оружие пронзило сердце и вышло через плечо. Смертельно пораженный, хряк дернулся, ослабел и упал, чтобы никогда уже не подняться. Бегон тут же вытаскивает рогатину из раны; оттуда хлынули потоки черной крови, которую начали лакать собаки. Напившись, они улеглись рядом с кабаном.

Вот законченная картина сеньориальной охоты во времена Филиппа Августа. Впрочем, приключение плохо обернулось для охотника. Одинокий и потерявшийся в лесу, он был убит лесниками, состоявшими на службе у одного из его врагов. Подобные случаи в реальной жизни были не такими уж редкими: у охоты, которой тогда предавались, были свои опасные стороны, меньшие, однако, нежели опасности, с которыми знать сталкивалась на турнирах.

* * *

Но охотиться все время невозможно. Измученный дворянин возвращался в донжон. Какими же были его развлечения на следующий день, если мир все еще продолжался? Их было по крайней мере два, являвшихся одновременно и суровыми учениями, и, опять-таки, подготовкой к войне. Это квинтина и поединок на копьях.

Квинтина — это манекен в кольчуге и со щитом, привязанный к верхушке столба. Для рыцаря игра заключалась в том, чтобы галопом на коне, с копьем наперевес налететь на столб и ударом копья пробить кольчугу или щит; иногда, дабы усложнить игру, выстраивали в ряд, один подле другого, несколько манекенов в доспехах, и их все следовало пронзить насквозь или свалить. Таково испытание, которому подвергались обычно новопосвященные рыцари на глазах у дам.

Что же касается поединка на копьях (*behourd*), то это — прямая подготовка к турнирам, разновидность поединка верхом. Рыцари становятся попарно и бросаются на своего партнера, стараясь пронзить копьем его щит. Игра порой довольно опасная, ибо возбужденные рыцари в пылу борьбы рисковали выйти за рамки развлечения, и это, видимо, происходило не раз, что доказывают первые же стихи «Песни о Жираре Руссильонском»:

Это случилось на Троицу, веселой весной. Собралось множество по-настоящему храбрых людей. Прибыл и произнес проповедь сам Папа. По окончании мессы король поднимается во дворец, устланный цветами. Снаружи Жирар и его родня сражаются с квинтинами и выполняют различные упражнения. Король узнает об этом и налагает запрет: он опасается, как бы от игр не перешли к ссорам.

Но вот более полное описание квинтины, позаимствованное из той же поэмы, в рассказе о женитьбе Фука:

В этот день он торжественно посвятил в рыцари сто человек, дав каждому боевого коня и доспехи. Он повелел поставить на окружающих Арсан лугах квинтину с новым щитом в крепкой и блестящей кольчуге. Юноши бросаются на него, а прочие устремляются посмотреть на них... Жирар увидел, что начинается ссора, и огорчился. Толпа подалась к квинтине. Была ранена сотня молодых людей — одни достигли цели,

другим не удалось, но никто не согнул и одного кольца кольчуги. Граф просит копьё, и Дрон подает ему копьё, которое носил Артур Корнуэльский, некогда сражавшийся в Бургундии. Граф пришпорил коня, вырвался из строя и ударил по щиту, отколов кусок с пролетавшую мимо перепелку. Затем он разбил и порубил щит под подбородником. И не было рыцаря, который захотел бы и смог когда-нибудь вступить с ним в борьбу.

Граф единым мощным ударом разрубил одно из креплений и разорвал другое, держа свой меч так крепко, как будто у него собирались его вырвать. И люди говорили: «Что за хватка! Уж если он воюет, то не для того, чтобы захватывать овец или коров; он беспощаден ко врагам и пустил им немало крови».

Правда, знатным людям этого времени были известны и более мирные способы времяпрепровождения. В загонах и ямах у них сидели дикие звери, чаще всего — кабаны и медведи, и сеньоры развлекались, стравливая их. В жару располагались во фруктовом саду, пили, играли в кости и шахматы и даже во что-то типа игры в триктрак. Или же приглашали жонглеров, песни и музыку которых слушали. Те составляли иногда целые оркестры. Музыкальные инструменты в ту эпоху были далеко не так примитивны. Использовались скрипки, арфы, контрабасы, рога, трубы, свирели (род кларнета), барабаны и литавры. Зимой в плохую погоду владелец замка греется у необъятного камина или, пользуясь вынужденным бездельем, заставляет ставить себе у огня банки и пускать кровь. Ибо эти грубые натуры нуждались в частых кровопусканиях: *minutio*, то есть кровопускание, производили почти каждый месяц, как мужчинам, так и женщинам. Когда злосчастная Ингебурга Датская была по приказу Филиппа Августа заключена в замок Этамп, одной из самых горьких жалоб, с которыми она обращалась в письмах к папе Иннокентию III, было то, что подле нее не оставили даже лекаря, чтобы регулярно отворять кровь.

Что касается игрушек дворянских детей, то и они носили отпечаток воинственных нравов своего времени — это были маленькие луки, арбалеты, из которых они забавы ради стреляли по птицам. Манускрипт конца XII в. сохранил нам изображение одной из их любимых игрушек, и она до странности походит на те, которыми и поныне играют дети, — две марионетки, приводимые в движение двумя скрещенными веревочками. Правда,

марионетки феодальные — то есть воины при полном вооружении, сражающиеся длинными мечами и со щитами в руках.

Наконец, у благородного человека есть еще одно развлечение, хотя и довольно дорогостоящее — приемы гостей в замке: паломников, проезжающих рыцарей и устройство в их честь празднеств. Феодал гостеприимен до самозабвения. Можно привести еще одно свидетельство героического эпоса, но у нас есть нечто лучшее — исторический документ, очерк жизни графа Гинского и сеньора Ардрского Бодуэна II, написанный священником Андре Ламбером. Этот граф правил с 1165 по 1205 гг. и в высшей степени обладал первейшим из феодальных достоинств — щедростью. Ему нравилось с пышностью принимать важных особ, проезжавших через его край — графов, герцогов, рыцарей, бюргеров, архиепископов, епископов, архидьяконов, аббатов, настоятелей, прево, деканов, священников, каноников и самых разных клириков. Каждый прием сопровождался роскошными пиршествами. Ардрский священник, составивший этот перечень, воспользовался случаем восславить своего хозяина, рассказав нам в деталях о торжественном приеме, устроенном графом архиепископу Реймскому Гийому Шампанскому, дяде Филиппа Августа, когда тот в 1176 г. проезжал через Ардр, направляясь в Англию на могилу святого Томаса Бекета. Особенно чудесным был пир: сменялись бесчисленные блюда, текли рекой кипрские и греческие вина, приправленные, по обычаю времени, специями. С оттенком пренебрежения хронист замечает, что французы попросили чистой воды, чтобы немного ослабить крепость подаваемых напитков. Но граф Гинский, всегда верный своим привычкам кутилы, потихоньку отдал приказ наполнить кувшины превосходным белым осерским вином, которое клирики из свиты архиепископа приняли за воду и доверчиво выпили. Обман тут же был замечен, и архиепископ чуть было не разгневался. Он призвал графа и попросил у него кувшин воды. Бодуэн, улыбаясь, вышел якобы для того, чтобы исполнить его просьбу; но перед прислугой он вдоволь порезвился, сбросив и растоптав ногами все сосуды для воды, какие только нашел. Затем он возвратился в пиршественный зал оказать почести архиепископу и выглядел, говорит хронист, ужасно веселым, притворяясь пьяным перед молодыми людьми и гостями, которые и сами выпили сверх всякой меры. Обезоруженному такой веселостью

Гийому Шампанскому пришлось примириться со всеми выходящими графа.

Мы можем рассматривать этого весельчака как образец довольно миролюбивого сеньора с характером домоседа. Его воинственные наклонности, похоже, ограничивались возведением замков. Не видно, чтобы он много сражался или хотя бы покинул свой фьеф ради паломничества в Святую землю. Он довольствовался окружением своих подданных и вассалов и творил им добрый суд. К тому же граф обладал более чувствительной душой, нежели это бывает обычно у ему подобных. Когда его жена Кристина Ардрская умерла родами, он так скорбел по ней, что едва не лишился рассудка. В течение многих дней он никого не узнавал, говорит ардрский летописец, и лекари не разрешали к нему подходить. Однако он пришел в себя и даже довольно скоро утешился, поскольку его история утверждает, что по истечении траура он стал отцом многочисленных детей.

И вправду, ардрский священник рисует его таким, каким он был — с достоинствами и недостатками. К примеру, он упрекает графа за неумеренную страсть к охоте: «Этот сеньор, — пишет он, — охотнее слушал рог ловчего, нежели колокол капеллана, и получал больше удовольствия, выпуская сокола и радуясь подвигам птицы, чем слыша молитву священников». К тому же автор не скрывает, что его хозяин был самым великим «ветреником», которого когда-либо видели «со времен Давида и Соломона», и что тут «сам Юпитер не мог с ним сравниться». Назвав имена кое-кого из его внебрачных детей, он добавляет: «Поскольку точного числа их я не знаю и сам отец не знает всех по именам, я воздержусь говорить о них больше. Пожелав их перечислить, я опасаясь наскучить читателю». Хронист же соседнего края, ардрского аббатства, осведомлен лучше, сообщая нам, что при погребении Бодуэна II присутствовали тридцать три его законных и внебрачных ребенка.

ГЛАВА X. СЕНЬОРИАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РЫЦАРСТВА

Война, турниры, охота, приемы, оказываемые первому встречному, — все это стоит очень дорого. Чтобы вести подобный образ жизни, необходимо душить ужасными поборами своих подданных и захватывать у врага большую добычу; но даже при этом не удастся свести концы с концами. Именно в этом заключается одна из основных и характерных черт феодальной жизни: знать, малая и великая, вечно без денег, вечно нуждается и легко идет на всевозможные финансовые уловки, постоянно обременена долгами и часто становится жертвой разного рода ростовщиков. Это, в частности, объясняет, помимо побудительной склонности, ее алчность и привычку к разбою. Печальный заколдованный круг! Феодалы воруют, грабят и убивают, потому что нуждаются в деньгах, потому что военные предприятия стоят дорого и приносят недостаточно средств. Не будучи по крайней мере Филиппом Августом или Генрихом Плантагенетом с их широкомасштабными военными действиями и обширными завоеваниями, трудно вести должный образ жизни. Сеньориальный бюджет в эту эпоху — бюджет преимущественно дефицитный.

Большая часть важных актов внутренней политики герцога Гуго III Бургундского объясняется тем же безденежьем и необходимостью выколачивания средств. Он отдает в ущерб герцогской власти графство Лангрское епископу Лангра, потому что должен ему огромную сумму. Чтобы получить пятьсот ливров, он освобождает от обязанностей военной службы жителей Дижона; его щедроты по отношению к бургундским горожанам не имеют иной причины. И его сын Эд III поступает так же: дабы раздобыть денег, он продает и закладывает права и домены герцогства монастырям и городским коммунаам. Мы видим, например, что в 1203 г. он одалживает шестьдесят ливров у каноников Бона только на три месяца (дело было в декабре) и обещает вернуть деньги в первые дни карнавала.

Мелкие сеньоры Бургундии, виконты и владельцы замков, так же обременены долгами, как и их герцог. Особенно нужна им звонкая монета при отъезде в крестовый поход, и они

закладывают свои доходы или сам фьеф у монахов или евреев, ибо если христианин не хочет или не может одолжить, евреи всегда тут как тут. В 1189 г., накануне третьего крестового похода, Андре де Модем закладывает за шестьдесят ливров свой фьеф Модемскому аббатству. Робер де Рисей закладывает свое владение Сини за десять ливров, Жирар, сеньор Аньера, уступает за десять ливров и корову свою землю аббатству Жюйи. В 1203 г., во время четвертого крестового похода, сеньору де Ньюи приходится заложить свои домены: он умирает, и его вдова с сыном не соглашаются продавать свою вотчину, чтобы выплатить долг евреям. Виконт Дижона Гийом де Шамплит одалживает триста ливров у одного итальянского банкира, ломбардца, как тогда говорили, Пьеро Капитули, под доходы своей земли Шамплит. Но выплачивать проценты он может не больше размера основного долга. Кредиторы требуют, чтобы графиня Шампанская забрала его домены. Пришлось вмешаться герцогу Бургундскому Эду III и выкупить землю своего вассала, заняв самому у евреев требуемую сумму под поручительство.

Все крупные бароны Франции в таком же крайнем положении. Даже графы Шампанские, для которых шампанские ярмарки всегда были настоящим золотым дном. Когда граф Генрих II отъезжал в Палестину, он одолжил денег у десяти банкиров — с ними рассчитался лишь после его смерти его наследник Тибо III. Едва прибыв в Святую землю, Генрих оказался в столь стеснительном положении, «что много раз ему случалось, — говорит его историограф Арбуа де Жюбенвиль, — вставать утром, не зная, что люди его дома и он сам будут есть днем». Неоднократно приходилось ему отдавать имущество своим поставщикам, которые даже в Шампани отказывались давать ему что-либо в кредит. Графиня Бланка Шампанская и особенно ее сын Тибо IV, сочинитель песен, также попали в руки ростовщиков — христиан и евреев. Христиане тогда давали в долг на два месяца, евреи — на неделю. Последние, требовавшие три процента в неделю, вынуждены были удовлетвориться двумя по ордонансу 1206 г., изданному сообща графиней Шампанской и Филиппом Августом. Наконец, было решено, что евреи будут давать в долг только из сорока трех процентов годовых, без взимания процентов с процентов. При такого рода правилах понятно, что финансовое положение графов Шампанских постоянно осложнялось, и в мае 1223 г. граф Тибо IV дошел до того, что взял золотой алтарь

и большой золотой крест из церкви святого Стефана в Труа, чтобы заложить их в аббатстве Сен-Дени. Монахи Сен-Дени одолжили ему две тысячи парижских ливров. Двадцать семь лет спустя, в 1252 г., они все еще не были выплачены.

Все это — не единичные факты: в прочих французских областях положение феодалов было таким же. Вечно без денег, для их добывания они использовали те законные средства, которые лишь усиливали их нищету. Граф де Сен-Поль Гуго Кандавен, отбывший в четвертый крестовый поход, пишет в 1204 г. одному из своих друзей, рассказывая ему о взятии Константинополя. Но прежде всего говорит о своих домашних делах, заботу о которых ему доверил:

Я весьма признателен вам за то, что вы так хорошо присматриваете за моей землей. Довожу до вашего сведения, что со времени моего отъезда я ровным счетом ничего не получил и жил с того, что удавалось мне достать, так что накануне сдачи Константинополя мы все были доведены до крайней нужды. Мне пришлось продать свой плащ, чтобы купить хлеба, но я сохранил своих коней и доспехи. Со времени победы я пребываю в добром здравии и уважаем всеми. Тем не менее я не могу отделаться от беспокойства за доходы с моей земли, ибо, ежели Бог даст мне возможность вернуться к себе, я окажусь в больших долгах и мне, конечно, придется расплачиваться из средств моей сеньории.

Далеко не все подобные сеньоры столь озабочены расчетом с кредиторами. Большая часть их перекладывает на своих преемников и наследников хлопоты по уплате долгов; другие попросту отказываются расплачиваться или даже пытаются избавиться от своих кредиторов весьма аристократическими способами — насилием, пинками или темницей. Но и такой прием не всегда удается.

Интересно констатировать, что Церковь, выполнявшая столько различных функций в Средневековом обществе, еще и обязана, кроме того, обеспечивать выполнение договоров о займе. Она обрушивается на несчастного и упорствующего должника. Церковное отлучение имело тогда результатом арест или долговую тюрьму. Приведем лишь два примера. Граф Шампанский Тибо IV, отказавшийся платить трем банкирам, один из которых — еврей, был отлучен, а Шампань попала под интердикт. Тот же

барон, срочно нуждаясь в деньгах, занимает значительную сумму у трех римских банкиров, братьев из семейства Ильперини. Он упорно не хочет отдавать долга, невзирая на неоднократные просьбы кредиторов и настоятельные требования Папы, часто приходившего итальянским банкирам на помощь. Тибо находит подобную настойчивость проявлением дурного тона. Он не только не платит, но, пользуясь пребыванием одного из братьев Ильперини в Шампани, велит схватить его, бросить в темницу, заковать в цепи и грозит повесить. Несчастному приходится выплатить своему должнику еще тысячу двести ливров, которые граф делит со своими советниками, тысячу ливров себе и двести — им. В ответ на жалобу римских банкиров Папа приказывает Тибо вернуть эти деньги и уплатить прежний долг. Он заявляет, что в случае противления он повелит отлучить графа и возвещать об этом по воскресным и праздничным дням во всех храмах графства при зажженных свечах и колокольном звоне. Тибо притворно подчиняется, своей грамотой признает долг и просит об отсрочке, иными словами, снова отказывается платить. Папа предупреждает его, что если долг не будет выплачен полностью, интердикт будет наложен на два самых крупных города графства, Провен и Бар-сюр-Об. Чем закончилось дело, неизвестно. Графу Шампанскому пришла в голову удачная мысль принять крест, а крестоносец становился почти святым. Папа смягчился, и вместо того, чтобы бороться с Тибо, снова пишет ему, взывая к его совести. Плохая гарантия для ростовщиков!

Не всегда Папы или епископы держали сторону заимодавцев. Когда кредитор — еврей, дела обстоят проще. Знатный барон не церемонится с евреями — когда их требования становятся назойливыми, он принимает постановление об их изгнании с перспективой позволить им вернуться за деньги или же, если он более терпеливого нрава, повелевает, чтобы им не платили процентов. Мелким феодалам хорошо известно это средство — ростовщик-еврей слишком на них нажимает? Они обращаются за поддержкой к сюзерену провинции, графу или герцогу. Принеся дары, они получают письмо вроде того, какое предоставил герцог Нормандский, король Англии, в 1199 г. жене сеньора Конша Роже IV де Тосни. Письмо восхитительно своей лаконичностью:

Король Англии, герцог Нормандский, Генриху де Грейяну.
Поручаем вам устроить, чтобы Констанция, дама Конша, была

освобождена, путем уплаты основной суммы, от долга в двадцать одну марку серебром, каковую сумму она должна Бенуа, еврею из Берне: мы не желаем, чтобы она платила проценты по этому долгу. Свидетелем был я сам, в Легле, 20 июня.

Поступать подобным образом с христианами было трудно, особенно когда эти христиане — монахи большого аббатства или члены мощной коммуны и тем более, если они сами принадлежат к рыцарскому сословию. В момент смерти Филиппа Августа в 1223 г. Амори, сын и преемник Симона де Монфора, герой Альбигойских войн, оказался из-за отсутствия денежных средств в критическом положении. Чтобы продолжать борьбу против графа Тулузского, он пообещал заплатить рыцарям северной Франции, но у него не было денег выплатить это жалованье, так что рыцари не нашли иного средства получить причитающееся, кроме как запереть своего военачальника и должника в надежном месте и потребовать от него сверх обещанной суммы прибавки в пять су в день. Тот же Амори настолько погряз в долгах, что вынужден был отдать в заложники своих родственников: дядю, Ги де Монфора, и множество других знатных людей держали пленниками в Амьене в обеспечение четырех тысяч ливров, которые завоеватель Лангедока задолжал купцам этого города. В этом и состоит причина, почему дом Монфоров, доведенный до банкротства, решил передать французскому королевскому дому права на завоеванный край.

Нет необходимости искать тип расточительного, обремененного долгами и готового на крайние средства дворянина непременно в рядах мелких феодалов. Такого можно найти везде, вплоть до королевской фамилии. Старший сын могущественного короля династии Плантагенетов Генриха II, тот, кого современники называли Генрихом Молодым или «молодым королем Англии», получал от своего отца, по словам лимузенского хрониста Жоффруа, приора Вижуа, ренту в полторы тысячи су на ежедневные расходы, а его жена Маргарита, со своей стороны, получала ежедневную ренту в пятьсот су. Хороший доход, говорит хронист; тем не менее его было недостаточно для молодого короля, расточительность которого не имела границ. У него был легион кредиторов, и когда в 1183 г. из зависти к брату, Ричарду Львиное Сердце, ему пришла злополучная мысль поссориться с отцом и начать против него войну, набрав шайки наемников,

Генрих из-за нищеты был вынужден вести себя как предводитель разбойников. Чтобы платить солдатам, он сначала берет у лиможских горожан принудительный заем в двадцать тысяч су. Затем он объявляется в аббатстве святого Марциала и также просит одолжить ему казну монахов. Он проникает в монастырь, изгоняет большую часть насельников и заставляет открыть ему сокровищницу. Там находились золотой престол из алтаря Гроба Господня с пятью золотыми статуэтками; золотой же престол большого алтаря с фигурами двенадцати апостолов, тоже золотыми; золотая чаша и серебряный сосуд прекраснейшей работы; кресты, реликварии и т. д. — общим весом в 52 марки золота и 103 марки серебра. Все эти ценные предметы были оценены, пишет с негодованием приор Вижуа, очевидец событий, в двадцать две тысячи су, то есть много ниже их стоимости, ибо не желали принимать в расчет ни мастерскую работу, ни золото, использованное для золочения серебряных предметов. Генрих Молодой увез сокровищницу, оставив монахам пергамент, скрепленный его печатью, в котором он признавал заем. Нет нужды говорить, что он никогда ничего не вернул. Несколько месяцев спустя он, смертельно раненый, умер в замке Мартелл в величайшей бедности. Аббату Юзерша пришлось оплатить расходы на его погребальную службу. Люди из дома принца умирали от голода. Чтобы прокормиться, они заложили все, вплоть до лошадей своего хозяина. Те, кто нес тело, падали от истощения, так что монахи Юзерша потрудились их накормить как следует. Один из приближенных молодого короля признался, что продал даже свои штаны, чтобы получить хлеб.

Долги и весьма затруднительное материальное положение этого законного наследника империи Плантагенетов известны нам и по поэме о Вильгельме Маршале, которая предоставляет на сей счет любопытные детали:

В замках, в городах, повсюду, куда он приезжал, Генрих Молодой нес такие великие расходы, что, когда речь заходила об отъезде, он не знал, как уехать. Нужно было столько раздать лошадей, одежд, продовольствия, что кредиторы набегали со всех сторон: у одного он брал триста ливров, у второго — сто, у третьего — двести. «Доходило до шестисот», — отмечали писцы. «Кто поручится за этот долг?» — «Сеньоры, сейчас денег нет, — отвечали люди принца, — но вам будет уплачено до

конца месяца». — «Хорошо, — говорили горожане, — если сам Маршал поручился за долг, тогда мы не будем ни о чем беспокоиться, как будто нам уже заплатили».

Возможно, подобное доверие было чрезмерным, ибо Вильгельм Маршал, граф Пемброк, близкий друг и преданный советник молодого короля, сам не был богат. Мы знаем, что ему приходилось охотиться за добычей на турнирах; порой он доходил до того, что грабил путешественников на больших дорогах. В одной из предыдущих глав уже описывался случай, когда он напал на монаха, похитившего женщину, и отнял у беглецов все деньги, бывшие при них, — акт разбоя, рассматриваемый биографом Маршала как весьма законная нежданная прибыль и шутка наилучшего вкуса.

Итак, Вильгельм пустился в путь, сопровождая тело несчастного Генриха к его отцу, королю Генриху II. Один из кредиторов принца, Санчо, возможно — баск или наваррец, был предводителем его наемников. Генрих Молодой был должен ему значительные суммы:

Он понял, что не сможет вернуть затраченное, если не воспользуется какой-нибудь хитростью. Он знал, что молодой король очень любил Вильгельма Маршала и доверял ему более, нежели кому-либо другому. Пришпорив коня, он подскочил к Маршалу и схватил его лошадь под уздцы: «Я вас захватил и увожу; маршал, идемте со мной». Тот спрашивает его, зачем. — «Зачем? Вам хорошо известно. Я хочу, чтобы вы вернули мне деньги, которые задолжал мне ваш сеньор». Маршал понял, что сила не на его стороне, и совсем не пытался сопротивляться. Санчо говорит ему: «Я не могу потерять то, что мне должны, поэтому я вас не отпущу, но я намерен пойти вам навстречу — я вас освобожу за сто марок». — «Сеньор, — отвечает Маршал, — о чем вы говорите? Такое соглашение меня обескураживает. Я лишь бедный дворянин, владеющий клочком земли. Я не ведаю, где найти такие деньги. Но знаете, как я поступлю? Я даю свое честное слово, что вернусь к вам в назначенный день как пленник и сяду в темницу». И Санчо говорит: «Разумеется, это ваше право, и я охотно предоставляю его вам, ибо вы честный рыцарь».

Подписав обязательство, Маршал продолжил свой путь и вскоре предстает перед английским королем Генрихом II,

которому передает тело его сына. Картина обретает некоторое величие:

Печальная правда была горькой для старого короля, ибо этого сына он любил больше всех. Но его сердце было исполнено такой твердости, что он никогда не выказывал волнения при вестях самых неприятных. Маршал, в совершенном гневе от такого подчеркнутого безразличия, принялся рассказывать ему, как заболел его сын, какие мучения он вынес и что он действительно раскаялся; с каким восхитительным терпением перенес он великую боль и великие горести. «Ах! Спаси его Господь!» — очень просто сказал отец, ибо печаль сжимала его сердце больше, чем он выказывал, скрывая свое великое горе. «Что мне делать, сир?» — продолжал Маршал. «Маршал, я могу сказать только одно: вы отправитесь с вашим сеньором и проводите его тело до Руана». — «Сир, — отвечает Маршал, — это невозможно: я дал слово сдать в плен Санчо, вы его хорошо знаете — это тот, кому ваш сын задолжал много денег. Но за сто марок он меня отпустит».

Тогда король позвал одного из своих приближенных, Жубера де Пресиньи: «Идите, найдите Санчо и от меня скажите ему, чтобы он предоставил отсрочку Маршалу в уплате ста марок». Жубер отправился вместе с Маршалом. Последний ехал в задумчивости. «Маршал, — говорит Жубер, — что так заботит вас?» Маршал отвечает: «Воистину, мне есть о чем подумать, коли это как-то помогает облегчить заботы: смерть моего сеньора, а потом — долг, которым я обременен и который наводит на меня великую тоску, ибо платить мне нечем. Так что у меня есть основание волноваться из-за этого». — «Маршал, — продолжает Жубер, — будете ли вы признательны тому, кто сумеет избавить вас от этой тревоги? Хорошо же! Уверю вас, что вы будете избавлены от своего долга». — «Дорогой сир, — отвечает Маршал, — я был бы весьма признателен тому, кто оказал бы мне сию услугу, ежели таковое счастье может со мной случиться». — «Позвольте же мне уладить ваше дело. У вас никогда не было этих денег и несправедливо, чтобы вы возвращали их. Перестаньте волноваться из-за них; я займусь этим делом и думаю, смогу довести его до хорошего конца».

Наши два попутчика приезжают к Санчо и приветствуют его от имени короля. Сеньор Жубер тут же говорит ему, что король

принял на себя заботу об уплате, требуемой от Маршала. «Вы говорите от имени короля?» — спрашивает наемник. «Конечно же». — «Тогда — решено». Оба рыцаря не мешкая прощаются и уходят. Немного позже Санчо едет к королю и спрашивает его об этих ста марках. Король решил, что наемник ошибся. «Какие сто марок, дорогой друг?» — говорит он. «Долг мне, сир, который вы взяли на себя, дабы освободить Маршала». — «Вам сказали глупость, — отвечает король, — я никогда не говорил ничего подобного и ничего не обещал; я велел испросить у вас лишь отсрочки». Санчо, сильно раздосадованный, стал клясться славой Господа: «Жубер заверил меня от вашего имени, что вам угодно взять на себя долг». Тотчас же послали за сеньором Жубером. «Как произошло, — говорит ему король, — что сей человек требует от меня деньги?» — «Сир, я вам охотно расскажу. В самом деле, я сказал ему, что вы, со своей стороны, примете долг на себя: вы сами мне это здесь сказали, и именно здесь я это услышал; и я ручаюсь за то, что утверждаю». Тогда король воскликнул: «Ладно! Дело будет улажено за мой счет: мой сын стоил мне много больше, и Богу угодно, чтобы мне еще раз пришлось потратиться на него». Его глаза печально закрылись, и полились слезы; но это было недолго.

В общем, молодой английский король со своими безумными тратами воплощал рыцарский идеал своего времени. В баронском и рыцарском сословии бюджетный дефицит и долги несколько не были позором; напротив, это был признак благородства: мотовство, за которое в XVIII в. сыновей семейства по королевскому указу заключали в тюрьму, а ныне назначают им судебную опеку, во времена Филиппа Августа было более чем шиком — добродетелью. Расхожее мировоззрение разделялось феодалами и в особенности поэтами и жонглерами, жившими за их счет. Это достоинство называлось «щедростью». Ее прославляли в тысячах строк жест. «Будь щедр ко всем, ибо чем больше ты отдашь, тем больше обретешь чести и станешь богаче. Тот, кто чрезмерно прижимист, не дворянин», — говорит автор «Дона Майенского». «Скупой король не стоит и денье», — читаем в «Ожье Датчанине». То же замечание и в «Песни о Гарене»: «Скупому государю нечего и землей владеть, от него лишь убытки и огорчения». Нечто вроде общего места у трубадуров и труверов — жаловаться, что сеньоры их времен уже не столь щедры,

как в минувшие столетия. Автор «Песни о крестовом походе против альбигойцев» Гийом де Тюдель говорит в начале своей поэмы о самом себе:

Мэтр Гийом написал эту песнь в Монтобране, где он оказался. О, если бы ему повезло и его бы одарили так же, как одарили стольких глупых жонглеров или проходимцев, и какой-нибудь достойный и учтивый человек дал бы ему лошадь или доброго бретонского коня, дабы легко было ездить по пескам, либо шелковую или бархатную одежду! Но, видно, мир так погряз во зле, что богатые люди, люди дурные, которые бы должны быть доблестны, не дают и пуговицы. Ну, да я не попрошу и грязного пепла из их очагов. Порази их Бог, создавший небо и воздух, и Его Матерь Святая Мария!

Не будем слишком порицать поэтов Средневековья: все поэты говорят одно и то же и во все времена. У них своя причина находить феодалов всегда недостаточно щедрыми — они ненасытны. На самом деле все знатные люди того времени — моты, которым общественное мнение не позволяло жить скаречно и которые с полнейшей беззаботностью воплощали в жизнь добродетель щедрости. Война для них являлась поводом к огромным тратам, и мы видели, что она не прекращалась. Но и мир не менее дорого стоит, ибо влечет за собой приемы и празднества, религиозные и военные праздники, браки и посвящения в рыцари. Ведь в феодальном мире нет праздников без продолжительных кутежей. раздачи одежд, мехов, денег и лошадей. Чем выше род, тем больше дают друзьям, вассалам, рассказчикам, первым встречным, так что деньги у наших рыцарей протекают сквозь пальцы и никогда не задерживаются.

Чтобы составить себе точное представление, чего стоила тогда барону война, следует прочитать подробную биографию, посвященную историографом Жильбером де Моном своему хозяину и сеньору, графу Эно Бодуэну V, тестю Филиппа Августа. Не проходило и года, чтобы этот сеньор не совершал многочисленных военных походов, почти всегда — за свой счет, либо в своих целях, либо по феодальному долгу, дабы выполнить вассальные обязательства. В этой хронике, столь важной для уточнения деталей, на каждой странице встречаются фразы вроде: «Граф Эно, отправившись на войну, побыв на ней и возвратясь, оставался пять недель в доспехах: его расходы составили 1850 марок

серебром в полновесной монете». Речь идет о походе, состоявшемся в декабре 1181 г. Но в 1182 г., после дня Богоявления, война возобновилась — короткое перемирие было сделано лишь на праздники Рождества, Нового года и Богоявления (Поклонения волхвов). Новая кампания продолжилась шесть недель, почти до Великого поста, и стоила графу 1600 марок серебром. Лето 1182 г. — небывалое дело — проходит для Бодуэна V без войны, но осенью он отправляется на турнир, и там с ним случается несчастье — покуда он был занят сражением, люди из Лувена, подданные герцога Брабантского, украли у него всю поклажу, одежды, повозки, тягловых животных и верховых коней. Разъяренный Бодуэн объявляет войну герцогу Брабантскому. Новая кампания предпринимается в октябре-ноябре 1182 г. — она прерывается законным перемирием до дня Богоявления 1183 г. Во время перемирия граф Эно отправляется на другой турнир, состоявшийся между Бреном и Суассоном. Там он не сражался, а довольствовался наймом рыцарей и наемников. В марте 1183 г. он воюет во Франции против Филиппа Августа на стороне Филиппа Эльзасского, графа Фландрского, своего свояка. Весной 1184 г. ему приходится выехать на сейм в Майнце, где Фридрих Барбаросса собирает всех князей империи и около семидесяти тысяч рыцарей. Каждый барон должен, следуя обычаю, состязаться там в роскоши и расточительности с прочими — кто приведет больше рыцарей под своим знаменем, разобьет больше палаток и самых богатых шатров на равнине и бросит больше денег и подарков простым воинам и жонглерам. По возвращении с этого разорительного праздника, в июле и августе 1184 г., граф Эно снова оказывается в состоянии войны — он выдерживает смертельную схватку с графом Фландрским и герцогом Брабантским, объединившимися, чтобы его сокрушить. Эта борьба продлится весь оставшийся год до Рождества. В 1185 г. — две новых войны: одна — против графа Фландрского, другая — против герцога Брабантского. И так до 1195 г., который стал последним годом его жизни. Бодуэн перестал воевать, подвергаться нападениям и нападать лишь потому, что смерть вынула из его рук оружие.

Как же могли эти люди выносить вечные переезды, огромную усталость, бесконечную борьбу, но главное — как они могли выдержать все это в денежном отношении? Их выносливость кажется безграничной, но их казна не была неисчерпаемой.

Военных ресурсов их собственного фьефа было недостаточно, чтобы так часто водить войска в поход; они прибегали к помощи наемных рыцарей, которых собирали издалека, отовсюду понемногу. В хронике Жильбера Мона есть любопытное место, указывающее, что именно давал в качестве платы граф Бодуэн некоторым своим помощникам: одному шестьсот ливров, которые выплатит деревня близ Валансьена; другому — четыреста ливров с брабантской деревни; третьему — землю во фьеф и двадцать ливров. Последний становится сеньором Белена, около Валансьена, с доходом в семьсот ливров; некоторые получают фьефы меньшего значения, дающие тридцать или двадцать ливров. Но выделением фьефов граф Эно не ограничивается. Нужно было время от времени делать подарки, дабы поддерживать рвение и преданность этого наемного рыцарства — лошадей, одежды, наличные деньги.

Сравним с вышеприведенным некоторые отрывки из поэмы о Жираре Руссильонском, и станет очевидно, что время, нравы, люди — те же. Поэт служит настоящим комментатором историка:

Жирар уселся под лавровым деревом и, позвав своего советника Фулька, велел принести золота и денег и привести мулов, парадных коней и скакунов, чтобы заплатить воинам. Он велел изготовить сто писем, скрепил их печатью и отправил рыцарей по всей земле. Кто хотел серебра, тому Жирар его давал. Скоро у него оказалось четыре тысячи солдат, направившихся к Дижону. Он отправил своих послов к бургундцам, до самых гор, к баварцам и немцам до Саксонии. Повсюду, где он узнавал о добром воине, он повелевал позвать его, давая ему обещания и богатые дары.

Дальше мы находим изложение теории обязательной расточительности, особенно в пользу бедных рыцарей; сеньору следует их поддерживать, как в мирное время, так и в военное:

Тогда молодые воины говорят: «Война закончена, больше не будет стычек, сраженных рыцарей, разбитых щитов». «Пускай никто не унывает от этого, — говорит Фульк (один из героев поэмы), — я по доброй воле дам им пищу и одежду, а то и больше». Фульк поговорил с Жираром и королем Карлом Мартеллом. «Теперь, — говорит он, — посмотрим, что каждый из вас, графов и знатных баронов, дает бедным рыцарям для поддержания их

существования. Приведите их, чтобы завербовать, как принято в стране, для защиты земли. И если есть богатые скупцы с вероломным сердцем, для которых поддержка и дары стоят слишком дорого, то пускай отберут у них фьеф и отдадут мужикам, ибо сокровище, оставленное про запас, не стоит и уголька».

Граф Бодуэн (вернемся к истории) был не из числа сих богатых скупцов, ибо, по словам Жильбера де Мона, вот что случилось:

Во время Пасхи 1186 г. он собирает в Моне, в своем замке, совет своих служителей и приближенных. Здесь доложили о состоянии его финансов. Оно было достаточно тревожным. Его личные расходы, издержки на помощь и плату рыцарям и сержантам достигли значительной цифры. Дефицит составлял сорок тысяч валансьенских ливров. Тогда граф Эно решился, скрепя сердце и стеною, использовать крайний источник. Он обложил чрезвычайными налогами жителей своего графства. За семь месяцев он собрал средства для уплаты почти всего своего долга».

Что за время, когда суверены могли использовать это удобное средство, чтобы почти мгновенно привести в равновесие свой бюджет! Достаточно было немного надавить, как на губку, на зависимый люд — крестьян или горожан. Но не все феодалы, особенно мелкие, обладали подобными источниками, а поэтому они продолжали обрастать долгами, копить дефициты, покуда им не приходилось продать свой фьеф. Они скрывались, отправляясь в крестовый поход: такое средство расчета было тогда в ходу.

* * *

Тем не менее хотелось бы иметь более точные сведения о финансовом положении благородного сословия и больше уверенности, но для этого потребовались бы подробные счета и бюджетные сметы. Особенно было бы интересно получить книгу поступлений и расходов одного из баронов, гордившихся тем, что швыряет деньги на ветер. К несчастью, для изучаемой нами эпохи документов такого рода почти не существует. Есть лишь счета дома Филиппа Августа за 1202 и 1203 гг., но он был далеко не мотом. Что же касается сеньориальных бюджетов, то мы обладаем отдельными счетами Бланки Наваррской, графини Шампанской, за 1217, 1218 и 1219 гг. Изучение этих счетов, какими бы

неполными и искаженными они ни были, поучительно, и из них можно сделать некоторые общие заключения, ибо жизнь короля или знатного барона той эпохи в общем не отличается от жизни обычного сеньора. На всех ступенях феодальной иерархии у знати были одни и те же инстинкты, одинаковые страсти и потребности; они черпали деньги почти из одних и тех же источников и тратили приблизительно одним и тем же образом.

Так, счета графини Бланки Шампанской прежде всего сообщают нам, что эта благородная дама, часто не имея наличности, брала займы. Счета содержат достаточно многочисленные упоминания о выплате процентов. Банкиры одалживали ей на довольно короткие сроки, как правило самое большее — на два месяца, и из 25% (относительно умеренная ставка, ставка христианских банкиров — евреи одалживали в то время обычно из 43% годовых). Но, поскольку ростовщичество было официально запрещено и особенно преследовалось Церковью, составитель счетов заботится о том, чтобы представить уплату такого огромного процента как компенсацию расходов, которые якобы понес заимодавец.

Как и все фьефы, графство Шампанское воюет, тем более что графине, в интересах своего младшего сына, молодого Тибо IV, приходится защищаться от опасного и озлобленного соперника, Эрара де Бриенна. Военные расходы занимают наибольшее место в счетах: приведение в состояние готовности крепостей Шампани и Бри, чистка рвов, починка городских стен. Изыскиваются деньги на оплату наемных рыцарей; посылаются продовольствие отрядам, находящимся в Васси. Некоторые суммы расходуются на перевод узников в более надежное место, на ремонт доспехов, на шпионов, на покупку лошадей и быков, посланных клермонскому войску и пропавших, и т. д. Не только сама война стоит денег — надо вести переговоры, содержать поверенных, послов, вести многочисленные процессы в Риме и Париже. Затем — подорожные расходы на адвокатов, легистов, простых посланников, отправляющихся в Италию, Испанию, к Филиппу Августу, дабы представлять там графиню и ее сына и защищать их интересы. И наконец, есть статья подарков, даров, милостыни и всевозможных расходов «на щедрость». Прежде всего — подарки политические: двести сыров из Бри, отправленных Филиппу Августу; комплект доспехов, посланных императору Фридриху II; тюки тканей и одежды, направляемых в

Рим, чтобы задобрить Папу или его кардиналов; в самой Шампани — постоянные дары деньгами, мехами и платьем для клириков, женщин, знати, а также милостыня вдовам или больным слугам и, разумеется, раздачи одежд только что посвященным рыцарям.

Счета Филиппа Августа, много более подробные, богаты интереснейшими сведениями. Военные расходы, естественно, и в них преобладают — это бюджет завоевателя. В каждой строке речь идет о плате рыцарям, пешим и конным сержантам, арбалетчикам, о покупке и перевозке снаряжения и провианта для войск и гарнизонов, о сооружении и починке башен, замков и стен. Затем идут расходы, относящиеся к псовой и соколиной охоте и охотничьему снаряжению, милостыня для церковных учреждений, жалование, выделяемое королевским служащим, одежды и меха королеве, наследному принцу и детям последнего, содержание гардероба самого короля, пенсии, предназначенные сеньорам и благородным дамам, и бесчисленные дарения деньгами и лошадьми лицам всех сословий. Общие раздачи одежды — *платья* (robes), как тогда говорили, — королевской семье и лицам из ее окружения обычно происходили по большим ежегодным праздникам, в Рождество, на Пасху и Троицу. По этим фрагментарным счетам, относящимся лишь к двум годам, трудно узнать, был ли бюджет Филиппа Августа сбалансирован лучше, чем у большей части крупных и мелких баронов. Мы полагаем, что относительно периода, предшествовавшего великим завоеваниям, то есть 1204 году — году захвата Нормандии, можно ответить отрицательно, ибо в течение этой первой половины правления историки отмечают жестокие поборы, налагавшиеся Филиппом Августом на некоторых епископов и аббатства. Одни, к примеру, монах Ригор, видят в них череду религиозных гонений, но это же попросту следствие бюджетного дефицита: король заполняет его, как может — вынужденными займами в церковной казне, а клирики сильнее или слабее сопротивляются. Подобной практике суждено было оставаться в течение всего «старого режима» монархической традицией: когда у королей не оставалось больше денег, они брали их добровольно или силой там, где они были — в кармане священников, что никогда не мешало рассматривать короля как старшего сына Церкви, а Церкви — быть наилучшей поддержкой монархии. Бароны же по мере возможности подражали королю.

* * *

Некоторые статьи королевских счетов за 1202–1203 гг. относятся, как и в бюджете графини Шампанской, к щедротам, проявляемым по отношению к новым рыцарям. Именно в этом состоит одна из характерных черт, освященный обычай, на котором теперь необходимо остановиться. Рыцарские празднества были, возможно, для французской знати причиной самых крупных расходов. Она охотно разорялась, чтобы продемонстрировать на них щедрость и роскошь, и в сообщениях об этом вновь историография и поэзия наилучшим образом согласуются.

Прежде всего историография. Хронист графства Гинского и сеньории Ардра, священник Ламбер, позволяет нам присутствовать на торжествах 1181 г., сопровождавших посвящение в рыцари молодого Арнуля, сына графа Бодуэна II. Церемония должна была состояться в день Троицы. Бодуэн созвал к своему двору сыновей, бастардов, всех друзей. Он сам посвятил своего старшего сына в рыцари, дав ему легкую пощечину или, скорее, ударив кулаком по затылку, что является главным символом посвящения. В этой важной церемонии нет и речи об участии Церкви. Если бы оно было, Ламбер бы об этом сказал, но это — празднество целиком феодальное, военное и светское, празднество в древних традициях. Торжество отмечалось веселым пиром, на котором подавали самые изысканные блюда и самые тонкие вина. Ардрский хронист, вспоминая сии блестящие пиры, в которых он и сам, вне сомнения, непосредственно участвовал, наивно восклицает, что благодаря им гости могли испытать предвкушение вечных радостей рая. Новопосвященный рыцарь, едва надевший доспехи, выходит в центр собрания, пригоршнями раздавая золото и драгоценности толпе домашней прислуги, мимам, рассказчикам, шутам и жонглерам, в избытке стекавшимся на такие празднества:

Он дает всем просящим, дабы благодарность к нему навсегда врезалась в их память. Он отдает все, чем владеет; он расточает до безрассудства, делая подарки малые и великие; он дает не только свое, но и то, что занял у других. Едва ли он что-то оставляет для самого себя.

На следующий день на улицах Ардра под колокольный звон проходит процессия. Монахи и священники распевают гимны Троице, возносят похвалы новопосвященному, и в окружении

народа, ревущего и прыгающего от радости, рыцарь совершает свое первое вступление в главный храм. «В течение двух лет, начиная с этого дня, — добавляет хроника, — Арнуль не переставал объезжать разные страны, участвуя во всех турнирах не без помощи своего отца», что, вне сомнения, означает основательные кровопускания из казны графа Гинского.

Следствием рыцарских празднеств было истощение средств молодого Арнуля. И он не выказал никакой щепетильности в выборе финансовых уловок. Несколько лет спустя после его посвящения короли Франции и Англии договариваются предпринять решительные меры для завоевания Святой земли. Вся знать принимает крест, а на тех, кто этого не делает, налагают общий налог, ставший известным под названием салатинной десятины. Арнуль принимает крест, как и многие французские сеньоры, и дает обет паломничества; но он не собирается идти на Иерусалим. Это практичный человек — он предпочитает оставаться в своем фьефе и вести веселую жизнь. Он изъясил наперед деньги десятины, но вместо того, чтобы потратить их на нужды крестового похода или хотя бы использовать на помощь бедным, он тратит их на самого себя. Бедный — это он: деньги на крестовый поход служат ему, чтобы блестяще выглядеть на турнирах, пировать, покупать дорогие одежды; а все, что у него остается, он раздает первым встречным. Расточительность возобновляется: одному он делает подарок в сто марок, другому — в сто ливров; одному дает серебряную чашу из своей капеллы, другому — серебряные дароносицы, третьему — столовое серебро. Улетучивается все — одежды, обивка, ковры; он отдает даже лошадей, приготовленных для похода в Святую землю.

Проявлять щедрость за счет крестового похода значит переходить границы, и добрый ардрский священник, несмотря на свое уважение к хозяевам, осмеливается квалифицировать подобный прием как «дерзостный» и «бесстыдный».

Рыцарство в хронике Жильбера де Мона предстает в таком же виде, с такими же неограниченными тратами. В 1184 г. майнцский сейм, возглавляемый императором Фридрихом Барбаросой, дает возможность для многочисленных воинских пожалований. Новопосвященные рыцари, их друзья и все высокородные сеньоры соперничают в мотовстве. «И не только, — говорит Жильбер, — чтобы воздать честь императору и его сыновьям, князья и прочие знатные люди истощают себя в щедрости, а

ради славы своего собственного имени». Пятью годами позднее граф Бодуэн V Эно отмечает в Шпейере посвящение сына в рыцари. Рыцари, клирики, слуги его двора в изобилии получают верховых лошадей, парадных коней, тяжеловозов, золото и серебро. Жонглеры также одарены. При французском королевском дворе при подобных обстоятельствах деньги текут рекой. В 1209 г. на большой ассамблее в Компьене посвящен в рыцари старший сын Филиппа Августа принц Людовик. «В святой день Троицы, — пишет хронист Гийом Бретонец, — Людовик получил из рук своего отца рыцарский пояс с такой торжественностью, при таком стечении знати королевства и великого множества людей, посреди такого обилия яств и подарков, что никогда до сего дня не видели ничего подобного». В этот же день рыцарями стали сто других юношей, как свидетельствует один английский летописец. Досадно, что Средневековье не оставило нам счетов расходов на посвящение в рыцари сына Филиппа Августа, в отличие, например, от счетов 1237 и 1267 гг. — расходов на посвящение в рыцари одного из братьев Людовика Святого и его сына Филиппа Смелого: из них уже можно было бы узнать подробный перечень королевских щедрот, денег, розданных жонглерам и менестрелям, лошадей, доспехов, подбитых горностаем и соболем одежд, золоченых поясов, пригоршней денег и украшений, поднесенных дамам, значительных трат, связанных с установкой шатров и приготовлением к торжественным пирам.

Если исторические тексты той эпохи не дают всех желаемых подробностей, касающихся церемоний посвящений и рыцарских праздников, то многое сообщают жесты того времени. В них часто описываются посвящения в рыцари и щедрость, их сопровождающая. Сведения жест в точности согласуются со сведениями хроник. Это, несомненно, один из аспектов, в которых феодальные поэты лишь описали действительность, бывшую у них перед глазами.

В «Песни о Гарене Лотарингском» содержится весьма краткий, но выразительный рассказ о посвящении в рыцари Бегона и Гарена. Бегон предстает перед королем Пипином.

«Сир, — говорит он, — мы вступили в возраст ношения доспехов — посвятите в рыцари моего брата Гарена, Фромона, Гийома и меня. Мы очень желаем этого». — «Я согласен», — отвечает король. И тут же, потребовав доспехи и дорогие одежды, он начинает посвящение в рыцари Гарена, затем Бегона,

Фромона и Гийома. Все богато наделялись мехами, и великий был праздник. Поев, король выходит из дворца. Новые рыцари показывают ему своих скакунов, берут щиты и долго состязаются в поединках на копьях. Бегон, щит которого разукрашен чистым золотом, налетал на противника со стремительной уверенностью взъерошенного сокола.

Дальше картина уточняется и одновременно дополняется. В самый разгар войны между двумя крупными соперничающими группировками, бордосцами и лотарингцами, под стенами Бордо в рыцари посвящается сын Фромона Фромонден. Дядья юноши, Бернар де Незиль и Бодуэн Фландрский, восхищаются его выправкой:

«Посмотрите-ка, — говорят они, — какой у нас храбрый племянник! Не попросить ли нам могущественного Фромона сделать его рыцарем?». — «Нет ничего лучше», — отвечает фламандец. Встав из-за стола, они отправляются за графом Фромоном. «Ваш сын, — говорит ему Бернар, — вырос, стал сильным и храбрым, широким в груди — не пришло ли время посвятить его в рыцари? Можно ли сомневаться, что он сумеет скрестить копьё и сразиться с нашими смертельными врагами лучше, чем кто-либо, и проживи вы хоть до дня Страшного суда, вы не увидите никого более достойного посвящения». — «Вот прекрасные слова, — отвечает Фромон, — но Фромонден еще слишком молод, чтобы выдержать груз доспехов». — «О, не говорите так, — возражает Бернар, — подумайте о том, что вы старитесь, волосы белеют и настает время отдыха; предайтесь же отдыху и предоставьте своему сыну заботу о продолжении войны». Фромон не может вынести этих слов и краснеет от гнева. «Вы бросаете мне вызов, сир Бернар, — говорит он, — и если вас послушать, то стариком я был уже в детстве. Тем не менее я еще достаточно хорошо вскакиваю на коня и не нуждаюсь ни в ком, чтобы защитить свои права. Завтра у нас будет великая битва, я вас на ней жду, и вот мои условия: тому из нас двоих, кто будет хуже сражаться, отрубят лезвием меча шпоры до самого каблука». — «Дорогой племянник, — говорит Бернар, — большое спасибо. Богу не угодно, чтобы я возжелал бросить вам вызов: я говорю так с добрым намерением и потому, что ваши друзья меня об этом попросили». — «Вы этого хотите? — говорит Фромон. — Ну ладно, я согласен».

Эта первая сцена, в которой сопротивление отца изображено столь живо, не относится к области чистой выдумки. Есть что-то очень человеческое в кокетстве рыцаря, не желающего отказываться от своих прав и оттягивающего насколько возможно посвящение в рыцари своего сына, потому что оно является для него признаком приближающейся старости и наступающего физического упадка. Кроме того, не следует забывать, что рыцарское достоинство дает молодому человеку совершеннолетие, свободу, приобщение к отцовской власти, вступление во владение частью будущего наследства: ничего удивительного, что отец колеблется и медлит, поскольку это для него отсрочка. Исторические факты подкрепляют то, что сообщает нам поэт: достаточно привести пример того же Филиппа Августа, весьма подозрительного отца, который сколь возможно долго откладывал вступление своего сына Людовика в ряды рыцарства. Людовик Французский стал рыцарем лишь в полных двадцать два года; и еще король, прежде чем согласиться на посвящение, принял всевозможные меры предосторожности, потребовав от своего сына по формальному договору, дошедшему до нас в регистрах канцелярии, строгих обещаний — использовать у себя на службе только рыцарей и сержантов, принесших клятву королю, никогда не одалживать денег у коммун и горожан без родительского позволения и даже владеть некоторыми сеньориями, доходы от которых оставались ему, лишь в качестве покорного вассала, у которого всегда можно отобрать бенефиций.

Фромон в «Песни о Гарене» не так долго сопротивлялся и не навязывал своему сыну кабальных условий. Вернемся к поэме. Рыцарство Фромондена решено. Юноша возвращается в дом. Наполняют водой пятьдесят ушатов. Это — рыцарская ванна, простая мера гигиены, из которой Церковь позднее сделает символическое очищение:

Первый ушат для благородного дворянина, другие — для молодых слуг, которых нужно вооружить вместе с ним. Камердинеры приносят платья и бархатные ткани; конюшие придерживают мулов, боевых и парадных коней, ценных лошадей. Фромон прислал своему сыну Босана, своего лучшего и любимого скакуна с седлом из Тулузы. Фромонден, чтобы сесть на него, вспрыгивает без стремян с земли с такой горячностью,

что промахивается и сталкивается с Бернаром де Незилем. «Ах, сир старик! — говорит он, смеясь, своему дяде, — будьте при мне, прошу вас». — «Конечно, — отвечает Бернар, — но при условии, что вы поступите так, как я хочу. Сблаговолите, пришпорив коня, оделить почестями благородных рыцарей, раздать бедным меха. Я не слишком многого хочу; настоящий государь возвышается, проявляя щедрость, а если скуп, каждый день причиняет ущерб другим». — «Я доставлю вам удовольствие», — отвечает Фромонден.

И тут же решают, что свои первые подвиги он явит на турнире, то есть в настоящей битве, в «Песни о Гарене» — еще более кровавой, чем в действительности.

Наступает день турнира. Хотя поэт определенно этого и не говорит, Фромон, несомненно, провел ночь в церковном бдении при доспехах, ибо нам показывают, как он возвращается домой, прослушав поутру мессу, и, поев и немного выпив, ложится в постель и засыпает.

Тем временем занимался прекрасный день и сверкало солнце. Граф Фромон первым покидает постель. Он приоткрывает маленькое окно, и свет нового дня бьет ему прямо в лицо. В один миг он обут и одет; он выходит из покоев при полном вооружении, требует коня и проезжает по всем кварталам города, будя рыцарей. Он приезжает в дом своего сына и находит юношу спящим в постели. Фромон зовет Бернара: «Посмотрите-ка на моего сына: ему бы расти и крепнуть, а надо надевать белую кольчугу». И, громким голосом: «Ну, Фромон, вставайте! Вы, прекрасный сир, не должны столько спать. Пора собираться на большой турнир». Сын вскакивает с постели, слышав его голос. Оруженосцы входят, чтобы обслужить его. Очень быстро он обувается и одевается. Граф Гийом де Монклен опоясывает его мечом на золотом кольце на виду у всех. «Добрый племянник, — говорит он ему, — я требую, чтобы ты не доверялся дурным юношам и забиякам. Ты станешь могущественным государем, если будешь жить долго. Будь всегда сильным и победоносным, страшным для всех своих врагов; дай многим достойным мужам меха — это к вящей чести». — «Все от Бога», — отвечает Фромонден. Тогда ему подводят дорогого коня: он легко вскакивает на него, и ему протягивают золоченый щит со львом.

Такова церемония посвящения и речи посвящающего, приблизительно выражающие рыцарскую мораль.

Далее мы встречаем другую сцену посвящения, но она носит комический характер. В самом деле, речь идет о пожаловании Риго, сына простолюдина Эрви, а для феодальных поэтов простолюдин может быть только смешным. Сей Риго, однако, весьма храбр и силен, он породнился с высокой знатью: именно поэтому его собираются посвятить в рыцари, в качестве исключения. Но этот мужлан груб и ничего не смыслит в обычаях:

Бегон говорит ему: «Вы станете рыцарем; подите только, немного помойтесь, потом вам подадут меха». — «К черту» — отвечает Риго, — ваши меха, если для этого надо мыться: я не свалился на землю или в болото. Я не знаю, что делать с мехами. У моего отца Эрви для меня вдоволь грубой шерстяной ткани». — «Но я обязан вас одеть», — говорит Бегон. Риго подают богатый плащ и шубу из горноста, ниспадающую с него и волочащуюся по земле больше, чем на фут. Риго находит это очень неудобным. Пришел стольник с ножом, чтобы прислуживать за столом рыцарям. Риго просит у него нож и отрезает полтора фута от шубы. «Что ты делаешь, дорогой сын, — говорит ему отец, — это же по обычаю новопосвященный рыцарь одевает волочащуюся одежду из меха». — «Глупый обычай! — изрекает Риго, — как же я могу в этой шубе с хвостом бегать и прыгать?» — «Клянусь головой, — говорит король, — он ведь прав». Тем временем Бегон просит меч Фробержа с золотой рукоятью и сам прицепляет его к поясу Риго. Потом он подымает ладонь и так сильно бьет по шее своего кузена, что тот едва не оказывается на земле. Разозлившись, Риго вытаскивает на полтора фута свой новый меч как будто бы для того, чтобы ударить им доброго рыцаря Бегона. Эрви, его отец, останавливает его: «Что ты хочешь делать, безумец? Это обычай — именно так посвящают в рыцари». — «Дурной обычай, — говорит Риго, — будь проклят тот, кто установил его первым!» Присутствующие начинают смеяться. Но отец продолжает: «Послушай меня: если ты не станешь блестящим и храбрым рыцарем, я попрошу Бога, распятого на кресте, чтобы Он не дал тебе прожить и дня». — «Если Он столь недостойный муж, — говорит Бегон, — то не нужен мне и замок Белен».

На этом гротескное посвящение заканчивается, но рассказ поучителен, поскольку содержит все подробности церемонии, которая была в ходу, включая удар рукой, возводящий в звание.

Последняя сцена подобного рода, представляемая нам поэмой — посвящение Жербера, сына Гарена: она самая полная, если не самая поэтичная из всех. Возводить Жербера в рыцарское достоинство должен сам император-король Пипин:

Король говорит бургундцу Обри: «Распорядитесь, чтобы вымыли молодого человека; потом мы дадим ему меха». Нагревают ванны; Жербер, вернувшись домой, садится в свою лохань, где остается некоторое время. Другие лохани достаются восьмидесяти молодым дворянам. Император, из любви к Гарену, всех их посвящает в рыцари — все делят с сияющими лицами меха, подарок королевы. Что до Жербера, то он получает ценное бархатное одеяние, отделанное золотыми цветами, красиво облегающее и обшитое горностаем: одно украшение стоило четыре марки золотом. Император велел принести из сокровищницы Сен-Дени кольчугу, старинную вещь одного короля, которого он сам убил.

Кольца были частыми, прочными, легкими и белыми, как цветок боярышника. На голове юноши зашнуровали вороненый шлем, и король опоясал его мечом, заключающим в рукояти зуб святого Фирмена. Подняв ладонь, чтобы опустить ему на шею, король говорит: «Рыцарь, будьте доблестны и храбры! Отриньте от себя всякое дурное дело!» — «Обещаю это», — отвечает Жербер. Привели ценного коня; узда и седло, украшенное золотом, стоили добрую тысячу парижских ливров. Жербер легко вскакивает на него, ему дарят изогнутый щит, украшенный золотым львенком. Он хватает копьё с золоченым флажком, пришпоривает коня и возвращается к императору. Как тогда на него смотрели, как рукоплескали дамы, девицы, горожане и мальчишки! «Вот он, — говорили они, — сможет хорошо править конем, командовать войском и противостоять своим врагам». Затем занялись посвящением в рыцари двадцати других юношей. Жербер дал им вороненые шлемы, белые кольчуги и рослых боевых коней. Представьте, что не жалели золота и серебра жонглерам и менестрелям, собравшимся, чтобы сделать праздник красивее.

Так облаченные, Жербер и его товарищи верхом возвращаются во дворец. Король принимает Жербера в объятия и целует в щеки и в уста. Приносят воду; все занимают места за столом, а поев и попив вдосталь, идут с королевой слушать вечерню в королевской часовне. Потом Жерберу пришлось вернуться в собор Богоматери, ибо туда отправляются на бдения все новопосвященные рыцари. Жербер остается там всю ночь. И когда настал день, новый рыцарь, после прослушанной мессы и поднесенного дара, поспешил возвратиться в свой дом.

Праздник оканчивается парадным обедом во дворце:

Король берет Жербера за руку и усаживает за стол рядом с собой. Понятно, что нет недостатка в журавлях, гусятах и жареных павлинах. Встав из-за стола, потребовали лошадей и выезжают из Парижа на копейный поединок. Королева, прекрасная и благородная обликом, пожелала последовать за ними в сопровождении десяти придворных дам. На Жербера, восседавшего на гордом и рослом скакуне, с копьем в деснице и с левой рукой, закрытой богатым щитом, смотрели все. Говорили, что его конь, доспехи и он сам составляют единое целое. Поединок закончился без ссор и распрей.

Таким образом, историки и поэты одинаково рисуют обряд рыцарского посвящения конца XII в. Величественная и пышная церемония, где знать давала волю своей безрассудной расточительности, триумф «щедрости». Рыцарское посвящение, совершаемое отцом или сюзереном, имеет предельно воинский и мирской характер. Символика в нем сведена к простейшему выражению, а мораль, заключенная в клятве, представляется совсем элементарной: от молодого воина просто требуется быть храбрым, страшным для врагов и щедрым к друзьям. Религиозный элемент ограничен бдением с доспехами в церкви и мессой, прослушанной поутру. Но в ней нет ни посвящения, проведенного священником или епископом, ни даже благословения меча, возлагаемого на алтарь. Это появится позднее, в продолжение и особенно в конце XIII в.

Позволяет ли это утверждать, что религиозная или священническая инвеститура в эпоху Филиппа Августа не сосуществует со всецело светским обрядом посвящения и в некоторых случаях не предпочитается? Нет; подобное утверждение было бы

неосторожным, и вот яркий пример церковного обряда, приведенный у историка.

В 1213 г. завоеватель Лангедока, христианнейший Симон де Монфор хочет посвятить в рыцари своего сына Амори. В тот момент, во время праздника св. Иоанна, он находится в Кастельнодари с двумя епископами — Орлеанским и Осерским. Монфор просит епископа Орлеанского: не будет ли тому угодно даровать его сыну рыцарское достоинство, опоясав его мечом. Епископ долго отказывается от этого, говорит хронист Петр из Во-де-Серне: он знал, что это значит пойти против обычая и что обычно только рыцарь мог посвящать в рыцари. Тем не менее под конец он согласился, покоренный настойчивостью графа и его друзей. Стояла сильная жара. Симон де Монфор повелел поставить просторные шатры на равнине за городом, слишком маленьким, чтобы вместить множество присутствовавших на церемонии. В назначенный день епископ Орлеанский отслужил мессу в шатре. Молодой Амори, которого держит за одну руку отец, а за другую — мать, подходит к алтарю; его родители обращаются к Господу и просят епископа посвятить рыцаря служению Христу. Тотчас же два прелата, стоя на коленях перед алтарем, опоясывают Амори мечом и начинают с великой набожностью петь гимн «Veni Creator». Хронист добавляет знаменательные слова: «Что за новая и необычная манера даровать рыцарство! Кто бы мог удержать слезы?». Этот обряд, возможно, не был таким необычным, как думал Петр из Во-де-Серне, ибо в одном ритуале римской церкви, записанном в начале XI в., уже присутствуют формулы епископской молитвы при посвящении в рыцари. Однако сами выражения хрониста хорошо доказывают, что во Франции посвящение епископом было не в обычае. Симон де Монфор ввел новшество: он положил начало чисто церковной традиции, приглашая Церковь завладеть рыцарством и сделать из него род священства. Весьма возможно, что подобный пример, поданный героем крестового похода против альбигойцев, подтолкнул великое множество благочестивейших семей воспользоваться таким способом.

ГЛАВА XI. ВЛАДЕЛИЦА ЗАМКА

Когда благородный француз посвящается в рыцари, то есть становится полноценным воином и владельцем фьефа, он женится. Его супруга часто приносит ему в приданое земли, замки или, по крайней мере, доходы. Для него это единственное средство, если он хочет быть соправителем в отцовской вотчине, в ожидании наследства латать дефицит своего бюджета, занимая промежуточное место между владельцами замков и суверенами. Данные рассуждения подводят нас к интереснейшему вопросу брака и более общей теме благородной женщины и владелицы замка в феодальной среде.

В конце XII в. феодальный режим признал полностью и окончательно за женщиной право наследовать фьеф и владеть сеньориями. Женщина наследует землю и власть, выходя из состояния полуприслуги, в котором так долго находилась во франкском обществе. Чтобы раскрепостить ее, христианство вело тяжелую борьбу с тогдашними нравами; феодализм заставил женщину сделать решительный шаг. С другой стороны, как глава монашеской общины, аббатиса или должностное лицо аббатства, благородная девица все чаще признается способной к наставлению душ. Так что в женской судьбе наступает очевидный прогресс, тесно связанный с успехом общей культуры. При разговоре об образованной знати и развитии куртуазности во времена Филиппа Августа прояснится, что эта культура в некоторых областях сеньориальной Франции пыталась поднять женщину до более высокого положения. Но следует признать, что образ жизни знати по большей части не вел к серьезным последствиям, которые угодно отмечать некоторым историкам. Когда, к примеру, мы читаем в одном сочинении Гизо по истории французской цивилизации, что жизнь в замке создала семейственность, поощряла домашние добродетели, позволяла расцвести чувствам благородной и тонкой учтивости, надо остерегаться безоговорочно принимать это утверждение на веру. Что такое замок прежде всего? Кордегардия, казарма; и никогда не видано было, чтобы казарма становилась благоприятным местом для развития моральных изысков и куртуазных чувств, основанных на должном уважении к женщине.

В подавляющем большинстве случаев владелица замка времен Филиппа Августа еще остается такой, как в предшествующие феодальные столетия — женщиной с грубым темпераментом, горячими страстями, с детства привыкшей к физической нагрузке, разделяющей удовольствия и опасности рыцарей своего окружения. Феодальная жизнь, чреватая неожиданностями и опасностями, требовала от нее суровой закалки души и тела, мужественного характера, почти мужских привычек. Она сопровождает своего отца или мужа на охоту; в военное время, если она вдова или ее муж в крестовом походе, она руководит защитой сеньории, а в мирное время не боится самых длинных и опасных паломничеств. Она даже может отправиться в крестовый поход. Так, сестра Филиппа Августа Маргарита Французская, ставшая вдовой дважды: первый раз — после смерти молодого английского короля Генриха, старшего сына Генриха II, потом — после смерти венгерского короля Белы III, пожелала в 1197 г. прийти на помощь крестоносцам, сражавшимся в Святой земле. Она продала свою вдовью часть и взяла на Восток, таким образом, самостоятельно добытые средства. Высадившись в Тире, куда ее прибыл встретить ее зять, граф Генрих Шампанский, она умерла восемь дней спустя после своего прибытия. Во Франции в 1218 г. разыгрывается интересное представление в графстве Шампанском. Война между графиней Шампанской Бланкой Наваррской, опекушкой своего младшего сына Тибо IV, и их соперником Эрамом де Бриенном была в разгаре. Бланка лично возглавляла свои отряды, руководя военными действиями. Она захватывает Лотарингию, мимоходом сжигая Нанси, и идет на воссоединение с армией императора Фридриха II в его лагерь. Позднее она сама командует рыцарями, вступает в настоящие битвы, сражения с врагом в сомкнутых боевых порядках в окрестностях Жуанвила или Шато-Вилена и одерживает победу.

Как же воспитывались эти молодые девушки, призванные стать столь энергичными женщинами? Исторические документы той эпохи не сообщают об этом. Хронисты говорят о женщинах из среды военной аристократии, только чтобы рассказать об их браках, разводах или, с генеалогической точки зрения, детях и потомстве. Женщины занимают место во всеобщей или локальной истории, лишь поскольку они приносят в приданое или передают фьефы, активно способствуя посредством заключения или расторжения союзов перемещению земель и сеньорий.

С другой стороны, о них редко говорится и в епископской переписке: самое большее мы находим в произведениях некоторых церковных авторов письма вроде того, что теолог Адам де Персень писал одной благородной даме, Матильде Блуаской, графине Перша. Она просила у него изложения правил поведения, дабы жить в миру по-христиански — аббат де Персень дает ей превосходные религиозные и моральные предписания, советуя, кроме того, сторониться азартных игр, не тратить время на шахматы и не искать удовольствия в непристойных фарсах рассказчиков; он рекомендует ей также быть умеренной в нарядах и смеется над платьями с длинными шлейфами, сравнивая носящих их дам с лисицами, самым красивым украшением которых является хвост. Из одной детали этого письма можно было бы заключить, что владелицы замков были веселыми: мы знаем это и по жестам, часто показывающим их занятыми бесконечными партиями в кости или шахматы.

Если верить проповедникам и монахам, авторам более или менее сатирических трактатов о нравственности, у женщин было много и других недостатков. Наименьший из них заключался в кокетстве, транжирстве, разорении своих мужей, в ношении накладных волос, в том, что они красятся и щеголяют моды ради в платьях со шлейфами. Авторы проповедей не перестают метать громы и молнии против чрезмерной длины шлейфов у платьев, дьявольской выдумки, как они говорят. Но все это банально и слишком малохарактерно: здесь нет ничего, что было бы присуще исключительно Средним векам. Что же до более серьезных упреков, то следует знать, до какой степени можно доверять заявлениям проповедников — в соответствии со своим ремеслом они все видят в черном цвете, чрезмерно преувеличивают человеческие слабости и озабочены скорее тем, чтобы больнее ударить, нежели справедливостью. Можно ли доверять и сатирам монахов? Монахи часто были людьми пессимистичными, готовыми клеветать на все мирское и главное — привыкшими рассматривать женщину как существо порочное и нечистое, которое погубило и всегда будет губить род человеческий. Во всяком случае, в церковной литературе мы находим лишь неопределенные общие места. Она нападает на женщину саму по себе, без различия социального положения, и было бы очень трудно почерпнуть оттуда точные, подробные сведения о жизни женщин, рождающихся и живущих в замках.

В поэмах чисто рыцарского характера, где все внимание уделено воину, играющему первую роль, роль женщины принесена в жертву. Девушка чаще всего появляется лишь для того, чтобы выполнить по отношению к рыцарю, который является гостем ее отца, обязанности гостеприимства, весьма широко понимаемые. На нее возложена обязанность принять его, снять доспехи, приготовить ему покои, постель, приготовить ванну и даже (на сей счет у нас есть множество неопровержимых фактов, особенно в «Жираре Руссильонском») сделать массаж, чтобы помочь ему уснуть. Средневековые следуют принимать таким, какое оно есть, с его наивными нравами. Это общество было много свободнее, нежели наше, как в словах, так и в действиях: и да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает!

По жестам также видно, что именно девушки обычно делают первый шаг в любви к рыцарям отцовского манера. Последние походят на Ипполита из греческого мифа: они помышляют только о войне и охоте. Девушки находят их красивыми и говорят им об этом без малейшей неловкости — так они объясняются в любви. Удивительно и то, что их авансы порой весьма неблагоприятно принимаются. Конечно, авторы жест, жонглеры, которые поют, чтобы развлекать баронов после питья, были слишком грубы, чтобы рассуждать о деликатнейших вещах. Их наблюдения за поведением и нравами женщины высокого происхождения не могли ни отличаться большой глубиной, ни браться в наилучших источниках. Разве во все времена писатели не были склонны подавать как выражение общей морали различные скандальные дела или крайние случаи, к которым они преимущественно и обращались? Какое представление составит иностранец о французской буржуазии, если будет знакомиться с ней только по книгам наших модных романистов?

Так что не следует судить в целом о благородных девицах эпохи, нас занимающей, по жестам. Яснее всего можно понять из этих рассказов то, что сами эти авторы испытывали очень ограниченное, очень малое уважение к женщине, и это оттого, что в действительности в феодальных кругах она рассматривалась лишь как существо низшее, о коем позволено злословить и дурно обращаться с ним. Правда, в этих поэмах замужняя женщина в общем предстает перед нами в более благоприятном свете, чем девушка, что весьма необычно. В эпосе о Гарене Лотарингском, в «Жираре Руссильонском» владелица замка, законная жена

барона, — особа обычно добродетельная, любящая своего мужа, верная и преданная ему. Например, нам показывают Беатрису, супругу герцога Бегона, которая, будучи похищенной негодяем, отчаянно сопротивляется и говорит похитителю: «Я позволю себя скорее сжечь, зажарить, чем дам тебе приблизиться ко мне». Жена Жирара Руссильонского графиня Берта — образец супружеской верности. Но, с другой стороны, жонглеры и поэты не испытывают никаких угрызений совести, показывая нам, как высокородные женщины, даже королевы, подвергаются оскорблениям и грубостям рыцарей.

В «Песни о Гарене» жене короля Пипина, Бланшефлер, приходится вырывать из рук предводителя бордосцев Бернара де Незиля несчастного посла, отправленного к королю противной стороной, которого Бернар собирался поколотить перед всем двором, на глазах у суверена. «Вам место было бы в лесу, — добавляет она в негодовании, — чтобы грабить там паломников и разбойничать на больших дорогах». — «Молчать! Безумная и распутная женщина, — отвечает разъяренный Бернар, — король был не в своем уме, когда связался с тобой. Злая смерть тому, кто устроил твой брак. От него будет только позор и бесчестье!» — «Вы лжете, — продолжает королева, — вор, убийца, негодяй, клятвопреступник! Король не должен был бы позволять вам более показываться при его дворе». Затем, после этого потока оскорблений, вся в слезах, она скрывается в своих покоях. Вместо того, чтобы вступить и защитить свою жену, король безмолвствует. Поэт настроен с очевидной предвзятостью, заставляя его играть неприметную, почти смешную роль. За честь королевы мстит герой «Песни» Гарен. Он приезжает во дворец в тот момент, когда королева выходит из своей комнаты. Лотарингец смотрит на нее и видит ее прекрасные глаза покрасневшими от слез: «Прекрасная королева, — говорит он, — кто посмел дать вам повод для расстройства? Клянусь Богом живым, любой под небесами, исключая короля, моего сеньора, осмелюсь он вас обидеть, станет моим смертельным врагом. Кто же вас оскорбил?». — «Сир, — отвечает Бланшефлер, — этот негодяй, разбойник Бернар де Незиль оскорбил меня перед королем!». Гарен тотчас же, оттолкнув всех, подходит к Бернару, хватает его за волосы, швыряет на землю под ноги, выбивает четыре зуба и оставляет, исцарапав грудь шпорами.

Если верить жонглерам, авторам или исполнителям поэм, которые сами были мужьями, в феодальном мире не стеснялись дурно обходиться со своими женами. Достаточно было неугодного слова или просьбы. В «Гарене» королева Бланшефлер настаивает пред королем, чтобы он высказался в пользу лотарингской стороны. «Король услышал, и гнев разлился по его лицу: он поднял кулак и ударил королеву по носу так, что брызнуло четыре капли крови». И дама говорит: «Премного вам благодарна. Когда вам будет угодно, можете повторить». Можно было бы привести другие сцены такого же рода — всегда кулаком в лицо; это становится почти общим местом. В других местах феодальные поэты горячо упрекают рыцаря, который идет за советом к женщине, и приписывают своим героям слова такого рода: «Дама, уберите отсюда и ступайте со своими служанками в свои расписанные и золоченые покои есть и пить; займитесь крашением шелка — вот ваше дело. А мое — разить стальным мечом».

Следует признать, что подобная манера обращения с женщинами как с существами второго сорта, грубое с ними обхождение, когда их резко отсылают на женскую половину, является результатом фантазии, которая, во всяком случае, сильно преувеличивает реальную действительность. Не говоря о романах куртуазного жанра, принадлежащих к циклу «Круглого стола», к которым мы обратимся позднее, есть другие поэмы, современные Филиппу Августу, вроде «Песни о Гийоме Дольском», где женщина и даже девица играет очень выгодную роль. В этой поэме действие разворачивается так, что выявляется храбрость и ловкость девицы Льеноры, сестры Гийома Дольского: она побеждает клевету, жертвой которой стала, и получает награду за свою добродетель, вступив в брак с императором. Правда, «Песнь о Гийоме Дольском» не принадлежит к бретонскому циклу и хотя прославляет рыцарскую храбрость и турниры, но, строго говоря, не проникнута феодальным и воинственным духом, вдохновляющим эпопеи. Это промежуточный жанр, занимающий место между чисто военной поэмой и авантюрным романом, романом любовным, следующим моде некоторых сеньориальных дворов, более учтивых и галантных, чем прочие.

Можно сделать вывод, что даже в эпоху Филиппа Августа куртуазный дух, благосклонный к женщинам, лишь в исключительных случаях проявлялся в феодальных кругах и что в подавляющем большинстве сеньорий и замков сохранялось старое отношение,

отношение неуважительное и грубое, если угодно, показанное в преувеличенном виде в большей части жест. Не следует поддаваться иллюзии любовных теорий трубадуров Юга и некоторых труверов Фландрии и Шампани: чувства, которые они выражали, были, мы думаем, чувствами элиты, чрезвычайно малой части рыцарей и баронов, опережавших свой век. Большая же часть феодалов иначе понимала отношения с женщиной: та оставалась низшим существом, а потому третировалась отцами и мужьями. Это же доказывают и исторические сочинения, где и суверены, и мелкие сеньоры ведут себя с одинаковой жестокостью и одинаковым отсутствием почтительности и куртуазности. Генрих Анжуйский, английский король, государь империи Плантагенетов, находит, что его жена, знаменитая Алиенора Аквитанская, стесняет его как в развлечениях, так и в политике по отношению к сыновьям, и отправляет ее в заключение на долгие годы. С другой стороны, известно, как грубо повел себя Филипп Август с несчастной Ингебургой Датской, которую покинул на второй день после свадьбы; мы знаем, что он держал ее узницей поначалу в каких-то монастырях, потом заключил в башню Этамп, где она также оставалась очень долго. Если верить жалобам жертвы, ее муж, не довольствуясь тем, что заставил ее терпеть суровое заточение, даже не выдавал достаточно еды и одежды. Можно ли предположить в качестве объяснения такой отвратительной жестокости, что Филипп Август и Генрих II были людьми с особо бесчеловечными характерами, бессердечными политиками? Но ведь простые бароны поступали так же как. В 1191 г. мы видим, как один сеньор графства Бургундского, Гоше де Сален, дурно обходится со своей женой, Матильдой Бурбонской, и бросает ее в темницу. К счастью для нее, ей удалось бежать и укрыться у своих родителей. Вне сомнения, в этих фактах нет ничего необычного: они попросту доказывают, что, невзирая на все теоретические учтивости поэтов, Средневековье даже конца XII в. на практике было еще слишком жестоким к женщине, какой бы высокородной она ни была, и что рыцарское правило — почитать слабый пол — не было готово к воплощению в жизнь.

* * *

Это станет еще ясней, если обратиться к феодальным бракам. Поэтические источники и источники исторические замечательно согласуются в этом вопросе. Давно уже сказано: брак между

знатными людьми есть прежде всего, в соответствии с нравами и обычаями эпохи, союз двух сеньорий. Сеньор женится, чтобы увеличить свой фьеф, а также произвести на свет сыновей, способных его защитить; в его глазах женщина представляет прежде всего землю и замок.

Первым следствием сей совершенно своеобразной концепции является тот факт, что супругу избирает отец или суверен. Сердце же новобрачной никто не спрашивает. Феодальная наследница безучастно принимает рыцаря или барона, который ей предназначен. В некотором роде она включена во фьеф или замок и составляет часть недвижимости, переходя вместе с землей к тому, кто должен владеть этой землей, и ее согласие мало что значит. Девушка, сирота или вдова не может противиться отцу, держащему сеньорию, или сюзерену, который в иных случаях полностью располагает ею. Как всегда, феодальный обычай проявляется в связи с этим в жестах с захватывающей выразительностью. Мы видим, как короли раздают своим приверженцам фьефы и женщин, представляющих их, как если бы речь шла исключительно о неодушевленных предметах. Достаточно привести несколько весьма любопытных страниц из поэмы о Лотарингцах.

Король Тьерри Морьенский говорит герцогу Гарену:

«Свободный и благородный дворянин, сильнее любить вас я бы не сумел, ибо вы сохранили мне эту землю. Прежде чем умру, я желаю расплатиться с вами: вот моя дочурка, Бланшефлер светлоликая; я отдаю ее вам». Девочке было только восемь с половиной лет, но она была уже самой красивой из всех в этой стране. «Берите ее, сеньор Гарен, и вместе с ней вы получите мой фьеф». — «Сир, — отвечал Гарен, — я возьму ее при условии, что этому не воспротивится император Пипин».

И Гарен идет к императору Пипину.

«Прежде чем покинуть сей мир, — говорит он ему, — король Тьерри велел позвать меня и отдал мне свою дочь, а с ней и свой морьенский фьеф; я принял дар, государь, при условии, что вы будете благосклонны к этому», — «Я охотно позволяю», — отвечает Пипин.

Но тут встает другой вассал, Фромон, восклицающий с яростью в глазах:

«А я против сего дара. Сир, однажды вы охотились близ Санлиса, в Монмельянском лесу. Вам было угодно тогда отдать брату Гарена герцогство Гасконское. Одновременно вы пообещали

предоставить мне первую же свободную землю, какую я попрошу. Тому было больше сотни свидетелей. Морьен подходит мне, и я его требую». — «Вы заблуждаетесь, — говорит король. — То, что отец в смертный час дает своему ребенку с согласия своих вассалов, никто не имеет права отобрать. Как только ко мне вернется другой фьеф, каким бы большим он не был, я вам его предоставлю». — «Нет, — говорит Фромон, — к вам вернулся фьеф Морьена: я его требую и получу».

Разгорается спор между двумя баронами; они начинают оскорблять друг друга оскорблениями, потом переходят к рукоприкладству, и Гарен наносит Фромону сильный удар кулаком, «который его оглушил и свалил на пол». Это соперничество и драка кладут начало ожесточенной войне, заполняющей всю поэму, войне между лотарингцами и бордосцами.

В предшествующем отрывке речь идет о морьенском фьефе, но вовсе не о девушке, судьба которой с ним связана. Последняя не имеет никакого значения: она последует за владельцем фьефа, вот и все. Но вернемся к Фромону. Король Пипин отказывает ему в наследнице и фьефе Морьен. Но тем не менее тот хотел бы жениться; он отправляется к своему кузену графу Дре и рассказывает ему, что произошло при королевском дворе и как Гарен «дал ему кулаком по зубам»: «Вы были неправы, — говорит граф Дре, — так настаивая, чтобы овладеть Бланшефлер. Вы что, боитесь остаться без супруги? Да пожелай вы, и вместо одной будете иметь их десять. Я как раз только что интересовался одним прекрасным и выгодным браком для вас — с дамой Понтье Элиссаной, сестрой графа Бодуэна Фландрского. Ее муж недавно умер, у нее есть только маленький ребенок; с этим наследством вам ни один враг не будет страшен».

Фромон соглашается с перспективой такого наследства. Дре отправляется к Бодуэну и просит у него для Фромона руку его сестры: «Я охотно соглашаюсь, — отвечает Бодуэн. — Конечно, моя сестра — красивая и богатая дама: от океана до берегов Рейна нет никого, кого можно было бы с нею сравнить; но и граф Фромон богат владениями и друзьями». — «Теперь, — добавляет граф Дре, — не надо терять времени, длинные отсрочки редко бывают полезны: ибо, если император узнает, что земля Понтье вакантна, он отдаст вашу сестру первому попавшемуся малому со своей кухни, сумевшему поджарить ему павлина». — «Вы правы», — отвечает Бодуэн.

Здесь, наряду с преувеличением, для поэзии естественным, мы сталкиваемся и с исторической правдой: всесилием сюзерена, особенно могущественного короля, который может отдать кому хочет наследницу освободившегося фьефа. А вот как этот брак объявляется заинтересованной женщине.

Дре и Фромон прибыли во дворец графа Фландрского:

Бодуэн велит позвать свою сестру. Видя, что она входит, все встают, и каждый восхищается благородной гибкостью ее тела и красотой лица. Фламандец берет ее за руку: «Моя дорогая и прекрасная сестра, поговорим немного в стороне. Как вы чувствуете себя?» — «Очень хорошо, благодарение Богу». — «Ну и хорошо! Завтра у вас будет муж». — «Что вы говорите, братец? Я только что потеряла своего господина: и месяца не прошло, как его положили в гроб. У меня от него малый ребенок, который милостью Божией должен однажды стать богатым человеком; я должна думать, как уберечь его и приумножить его наследство. И что все скажут, ежели я так быстро найду другого господина?» — «И все-таки вы это сделаете, сестра моя. Тот, кого я вам даю, богаче вашего первого мужа; он молод и красив — это пфальцграф, сын Ардре, храбрый Фромон. Ардре только что умер, и амьенская земля, как и множество других, должны ему подчиниться». Когда дама услышала, что назвали Фромона, ее настроение сразу переменялось: «Сир брат, — говорит она, — я поступлю так, как вы желаете».

Отметим, что с ее стороны была слабая попытка сопротивления, но случайно предложенный супруг оказался небезразличен ей. Однако даже если бы было иначе, ей пришлось бы подчиниться: воля главы семьи или сюзерена безоговорочна. И кое-что так же любопытно, как и грубость, с которой навязан брак — быстрота его заключения:

Тотчас же Фламандец позвал Фромона: «Идите, идите, свободный и благородный рыцарь; и вы тоже, Дре, и все наши прочие друзья»; и, хватая правую руку дамы, он вкладывает ее перед всеми в руку Фромона. Не отложили даже на день, не ждали и часа, а сразу же отправились в монастырь. Клирики и священники были предупреждены. Молодые были благополучно благословлены и обручены. Свадьба была отпразднована во дворце с великолепием; на ней шутили, смеялись, по-разному

развлекались, потом же если у кого и было желание жаловаться, то не у графа Фромона.

Поэма продолжается рассказом о сражениях; и кажется, что автор полностью забыл юную Бланшефлер и ее жениха, герцога Гарена. Правда, ей только восемь с половиной лет, и она может подождать. Однако повествование возвращается к ней и излагает, как архиепископ Реймский дает совет императору Пипину не держать данное Гарену обещание отдать ему Бланшефлер, потому что, если Гарен женится, разъяренный Фромон перестанет быть вассалом короля, отчего может пристечь великая опасность:

«Как же вам угодно, чтобы я поступил?» — говорит король. «Чтобы вы сохранили девицу для себя. Вы оба молоды; у нее не меньше земли, чем у вас; вы не можете желать более почетного союза». — «Ах! вот замечательные слова! — отвечает король. — Но, сеньор архиепископ, уж не хотите ли вы подучить меня преступить клятву, обмануть тех, кто мне лучше всех служил?» — «Нет, — говорит архиепископ, — у меня не было этого и в мыслях. Но все может устроиться с честью: я знаю двух монахов, которые могут завтра поклясться, что Бланшефлер — родственница Гарену; их свидетельство запишут, и к полудню они будут разлучены». — «Коли так, — говорит король, — я собираюсь пойти посмотреть на девицу, и если она мне понравится, я стану ее мужем».

Надо полагать, что Бланшефлер между тем выросла, ибо король находит ее полностью в своем вкусе. Дела идут так, как задумал архиепископ: два монаха клянутся, что обрученные являются близкими родственниками; Гарен и Бланшефлер разлучены. Тогда король внезапно объявляет девушке, что он спешно желает на ней жениться:

«Я хочу сам жениться на вас». — «Дорогой сир, — отвечает она, — благодарю вас — вы оказываете мне великую честь; но беру в свидетели Бога, который никогда не лжет, что не ради чести стать королевой я не была отдана Гарену Лотарингскому. Гарен — единственный человек на свете, кого бы я любила больше всех. Однако, поскольку желания моего отца и мои не могут исполниться, я готова вам повиноваться».

Гарен попытался выразить недовольство, понося короля, но его брат бросается к нему:

«Эй, безрассудный лотарингец, что ты хочешь сказать? Оставь Бланшефлер: если ты хочешь жену, ты найдешь их десять, а не одну, и всех равных тебе по происхождению. Берите ее, сир, и пускай это будет к вашему счастью».

Так Пипин женился на прекрасной Бланшефлер. Свадьба была «великой и богатой». На торжественном пире Гарен служил стольником:

Он был прекрасен телом и лицом: на свете не сыскать было человека лучше сложенного и более куртуазного вида. Новая королева также принялась глядеть на него с большим удовольствием; ее глаза постоянно переходили от него к Пипину, и король казался ей меньше и тщедушнее. Ах! И надо же было ей приехать ко двору! Почему она не призвала Гарена в Морьен? Он бы стал ее мужем... Увы! Слишком поздно, и во всем она должна винить только саму себя!

На приведенных страницах — все составляющие феодального брака и все черты брачных нравов: наличие наследницы, благородной девушки, и фьефа; жених и невеста, где одна из сторон — еще ребенок; абсолютное право отца на дочь и сюзерена, особенно короля, на свою вассалку; вневещественный характер брака, рассматриваемого исключительно как союз двух состояний и двух земельных властей; почти полное непротивление и пассивная покорность женщины, с волей или сердцем которой не советуется — вот что ясно видно из поэтического повествования. Нельзя было бы сказать, что эти составляющие неизменны и что в эпопеях не встречаются эпизоды, где девушки, о чьем браке рассказывается, не восстают против унижающего их закона и не отказываются от претендентов, им навязываемых; но это исключения, лишь подтверждающие правило. Правила, обычаи, нравы прочно укоренены в обществе того времени: оставляя в стороне поэтически преувеличения, можно найти подтверждение тому и в исторических данных, элементах реальной жизни.

Нет необходимости глубоко изучать хроники, современные Филиппу Августу, чтобы установить, что обручение детей, еще находящихся в колыбели, и браки, действительно заключенные между девочками двенадцати и юношами четырнадцати лет (например, брак Бодуэна IV де Эно и Марии Шампанской в 1185 г.) совершенно обычны в сеньориальной истории. Можно также доказать на многочисленных примерах, что сеньориальные

браки были чаще всего результатом комбинаций, обговоренных между владельцами фьефов заранее, когда дети еще малы, и что эти матримониальные договоренности соблюдались или не соблюдались по воле случайности и необходимости в общей политике глав сеньорий. Для них мальчики и девочки — лишь фигуры на шахматной доске, так что индивидуальное согласие, собственные желания молодых людей из благородной семьи не существуют или приносятся в жертву политическим и материальным интересам дома. И здесь история, так же как и поэзия, показывает нам, что отцы и сюзерены — автократы, навязывающие свои решения. В связи с этим достаточно было бы привести многочисленные примеры того, как сам Филипп Август, женив своих вассалов или запрещая им жениться против его воли, пользовался своим абсолютным правом. В истории, как и в эпосах, девочек выдают замуж совсем юными, хотят они этого или нет, и не оставляют вдовам времени оплакать своего мужа, ибо нужно, чтобы во фьефе был мужчина; так что в феодальной любви чувство не занимает никакого места. Что же удивляться тогда крайней легкости разводов и быстрым переменам в жизни многих благородных дам?

По естественному положению вещей они сами привыкают менять хозяев. Иметь за жизнь трех или четырех мужей — для них почти минимум. Простейший мотив, малейший физический недостаток, обычная болезнь могут подтолкнуть мужчин к разводу; но документы позволяют утверждать, что многие разрывы были разводами по взаимному согласию. Тщетно пытается Церковь наложить свое вето; у нее столько дел, что она вынуждена закрывать на это глаза. И все же в католической среде принцип нерасторжимости брака должен был иметь силу закона. Но это простая видимость! Другое, весьма суровое церковное правило запрещало родственные союзы, даже при отдаленной степени родства, но и оно легко преступается при том темпераменте. Благодаря соучастию клириков браки разрушаются так же легко, как и заключаются.

Интенсивное перемещение женщин и фьефов внутри дворянского общества и, поскольку речь идет о Франции, в то время плодотворной, — множество детей, зачатых в разных браках, имели следующий любопытный результат: запутанное переплетение прав или претензий на сеньориальные домены. Мужья, носящие феодальные титулы по жене и даже сохраняющие их

после развода, а с другой стороны — наследники, приобщенные к родительской власти, титулирующиеся, как и их отцы, вызывали путаницу, оборачивавшуюся хаосом даже для современников.

Один из героев четвертого крестового похода Гийом де Шамплит женился в 1196 г. на Алисе, даме де ла Марш. Она умерла; не прошло и года, как Гийом снова женился, на Елизавете дю Мон-Сен-Жан, в свою очередь, вдове Эмона де Мариньи, от которого у нее было четыре сына. В 1200 г. Гийом и Елизавета развелись и снова вступили в браки в третий раз, Гийом — с Эсташи де Куртене, другой вдовой, а Елизавета — с Бертраном де Содоном. Последний также был вдовцом и имел от своей жены шестерых сыновей, не считая дочерей, коих можно не принимать в расчет! Гийом де Шамплит умер в 1210 г., а его вдова Эсташи вышла замуж в третий раз за Гийома, графа де Сансер. Она потеряла и третьего мужа. Вышла ли замуж за четвертого? Документы не говорят этого, но дело довольно обычное. По тому, что произошло только в одной семье в течение пятнадцати лет, можно судить о сложнейшей ситуации, существовавшей во всей Франции.

* * *

Еще лучшего понимания положения женщины и брака позволяют достичь некоторые эпизоды, где романтичность реальности порой превосходит фантазии романа.

Граф Булонский Матье Эльзасский, женатый трижды, умер в 1172 г., оставив только двух дочерей, Иду и Матильду. Иде, старшей, было лишь двенадцать лет, и до ее замужества ее дядя Филипп Эльзасский, граф Фландрский, на законных основаниях был введен в управление фьефом. Наследница же находилась не только под его опекой — она зависела и от верховного сюзерена сеньории, согласие которого на брак было необходимо. Однако над графством Булонским было три сюзеренитета — Фландрии, Англии и Франции. Людовик VII и Генрих Плантагенет требовали от Филиппа Эльзасского совета в выборе мужа. Сложное положение! Удовлетворить одного короля было лучшим средством вызвать недовольство другого. Опекун оказался в затруднении, оберегая фьеф наследницы. В двадцать лет, что было необычным, Ида еще не вышла замуж. Но это воздержание не могло длиться долго: вассалы и подданные графства Булонского не согласились бы оставаться без главы. Филипп Эльзасский в 1181 г. отдал свою племянницу за Герарда III, графа Гелдернского, лицо

тщательно выбранное, так как, не будучи ни вассалом Франции, ни вассалом Англии, он не внушал опасения ни одному из королей. Но графу не пришлось долго пользоваться ни наследницей, ни приданым. Через год он умер. Его вдова поторопилась покинуть Гелдерн и вернуться в Булонне, тайком увезя драгоценности и прочие ценные предметы, подаренные ей Герардом.

Все надо было начинать заново. Ида со своим наследством оставалась в центре внимания претендентов. В 1183 г. Филипп Эльзасский вновь выдает ее замуж в двадцать два года за немца Бертольда VI, шестидесятилетнего герцога Церингенского. Она последовала за мужем в его швабские княжества, снова оставляя Булонский край на управление графа Фландрского. В течение трех лет ее подданные ничего о ней не слышали, но в 1186 г. она вторично возвратилась к ним вдовой. Вопреки обычаю она сохраняла свободу четыре года. Хронист Ламбер Ардрский утверждает, что Ида якобы пользовалась ею нескромно («предаваясь всем наслаждениям и радостям»). Возможно, этот клирик и был сплетником, но никто лучше него не сообщает нам о матримониальных приключениях графини Булонской, вынуждая следовать его весьма пикантному рассказу.

Графство Булонское примыкало к графству Гинскому, и сын графа Гинского Арнуль, знатный человек приятной наружности, завсегда турниров, друг жонглеров и образованных людей, которым бросал золото без счета, произвел впечатление на молодую вдову. Он был предпочтительным кандидатом для Филиппа Эльзасского, державшего графство Гинское в тесном оммаже от фламандской сеньории. Ввиду этого он не нравился французскому королю, врагу графа Фландрского; Филипп Август рассматривал его и как соперника блестящего рыцаря Рено де Даммартена. Правда, Рено был женат, но в ту эпоху сей род препятствия никого не останавливал. Даммартен поторопился развестись со своей женой Марией Шатийонской и, став свободным, бросился вперед. Немного поздновато, надо признать, ибо Ида уже договорилась с Арнулем, который ей нравился и за которого она уже была просватана. Тем не менее она уступает настояниям своей кузины, королевы Французской Изабеллы де Эно, и соглашается вступить в переговоры с Рено де Даммартемом. В конечном итоге она отвечает, что если он получит согласие ее опекуна, она выйдет за него замуж.

Филипп Эльзасский категорически отказывается отдавать свою племянницу за родственника французского короля. Ввиду такого препятствия Ида обратилась к Арнулю Гинскому. У нее были с ним многочисленные тайные свидания, и она даже приезжала к нему в Ардр, чтобы присутствовать на заупокойной службе по одному из использовавшихся ею посланников. Арнуль из всех сил хотел ее удержать и обручиться безотлагательно. Она же дала ему понять, что это невозможно, и торжественно обещала вернуться. Но Рено, который развелся со своей женой, чтобы получить кое-что получше, не смирился с тем, что потерял все. Он подстерег графиню Булонскую и своего соперника и увидел, что надо попытаться счастья. С несколькими сообщниками он похищает Иду из замка, где она жила, и быстро увозит в Лотарингию, где заключает в предместье Риста. Насколько сопротивлялась жертва его похищения? Хотелось бы узнать от ардрского юре больше подробностей. Во всяком случае, из своего плена Ида отправила тайную весть Арнулю, жалуясь на насилие, которому она подверглась, и принося клятву стать его женой, если он придет ей на помощь. Арнуль не колебался и выехал с двумя рыцарями; но его подготовка потребовала времени. За это время Рено удалось покорить сердце узницы и получить ее прощение, да так, что она открыла ему весь заговор. Когда же Арнуль и его друзья прибыли в Верден, епископ этого города, коего Рено и Филипп Август переманили на свою сторону, велел задержать их, заковать в цепи и бросить в темницу. Рено смог совершенно беспрепятственно жениться на наследнице и вернулся с ней во Францию, чтобы вступить вместе с ней во владение графством Булонским. Покровительство Филиппа Августа никогда не было бесплатным. Новобрачному пришлось в 1192 г. подписать договор, по которому он объявлял себя вассалом короля за Булонне, уступал ему Лан с окрестностями и уплачивал семь тысяч ливров в качестве рельефа (налога на наследство).

Так знатная женщина становится добычей, которую оспаривают претенденты, вырывая у отца, опекуна, даже мужа! Современник Иды Булонской Этьен, граф де Сансер, похитил у сеньора де Тренеля наследницу, которую последний выдал всего лишь несколько дней назад замуж, и сделал ее первой женой. Вот применение к браку права сильнейшего, которое, не в обиду будь сказано юристам, есть основа феодального мира.

Надо ли говорить, что в южной Франции супружеский союз не был ни более прочным, ни более уважаемым? Булонский брак может составить пару браку в Монпелье.

Арагонский король Альфонс II попросил у византийского императора Мануила Комнина руку его дочери Евдокии. Она была ему обещана; принцесса двинулась в путь в Испанию. Но арагонец решил, что невеста очень задерживается, и мало поверил византийскому слову. Евдокия и греки ее свиты, прибывшие в Монпелье, узнали там странную новость: арагонский король, потеряв терпение, женился на дочери кастильского короля Санчо! Между тем император Мануил умер. Что оставалось делать его дочери, брошенной на произвол судьбы на другом краю Средиземноморья? Гильем VIII, сеньор Монпелье, предложил иноземке жениться на ней: союз с императорской семьей, возможные права на константинопольский трон — прекрасная мечта для барона мелкого масштаба! Евдокия, менее польщенная, заставила себя уговаривать, но потом, по настоянию королей Арагонского и Кастильского, уступила. Бракосочетание состоялось в 1181 г. при недвусмысленном условии, что первый ребенок, который родится от этого союза, мальчик или девочка, наследует сеньорию Монпелье.

Пять лет спустя Гильем VIII и Евдокия пресытились друг другом. Греческая принцесса была, судя по всему, неприятной, надменной, капризной и с причудами; у нее родилась только дочь; ее брат Алексей II только что был низложен, что покончило с притязаниями сеньора Монпелье. Последний наконец задумался о разводе с женой, тем паче что во время визита к Альфонсу II в Барселону его охватила любовь к родственнице арагонского короля Агнессе — «дабы иметь сына», как заявляет он в преамбуле своего брачного контракта.

Церковь нашла подобный способ бесцеремонным, а основным — недостаточным. Епископ Магелонский Жан де Монлор обратился с жалобой к Папе, который приказал сеньору Монпелье под страхом отлучения вновь принять Евдокию. Гильем тем не менее привозит в Монпелье Агнессу, а Евдокия, смирившись, уходит в Аньянский монастырь. Несмотря на папский интердикт, проходит семь лет, а Агнесса продолжает править, в то время как Гильем, ставший отцом многочисленных сыновей, упорно требует у Рима вместе с расторжением первого брака одобрения второго. Папа Целестин III наконец выносит в 1194 г.

канонический приговор, аннулирующий брак с Агнессой. Тщетно! Целестин уходит, а его преемник Иннокентий III, более расположенный к сеньору Монпелье, врагу альбигойцев и ереси, вместо того, чтобы строго наказать, берет его под свое покровительство. Демонстрируя ортодоксальность, Гильем VIII, вне сомнений, надеялся, что Папа закроет глаза на его незаконный союз с Агнессой и признает его сына законным. Иннокентий в самом деле подождал до 1202 г., чтобы окончательно осудить то, чего Церковь допускать не могла. Гильем умер некоторое время спустя, оставив свою сеньорию старшему из сыновей Агнессы, Гильему IX, и сказав другим монахам или каноникам: дочь Евдокии Мария лишена наследства в пользу детей мужского пола от второго брака, хотя она и была в силу договора законной наследницей фьефа.

Печальна судьба этой Марии! В двенадцать лет (в 1194 г.) отец и мачеха Агнесса, дабы избавиться от нее, выдали девочку замуж за виконта Марселя Баррала де Бо. Немного позже виконт умер, завещав своей жене состояние, добрую часть которого бесстыдно присвоили себе Гильем и Агнесса. В 1197 г. они вновь выдают замуж пятнадцатилетнюю вдову за графа Комменжа Бернара IV, известного распутника, уже избавившегося от двух законных жен. Он не замедлил развестись и с этой, как с предыдущими, несмотря на сопротивление Иннокентия III, дабы жениться на четвертой. И в довершение всех горестей, оставленная, она видит, как ее наследство похищает сын этой Агнессы, вытеснившей ее мать!

Тронутые непрерывной чередой невзгод, горожане Монпелье, добрые католики, не пожелали остаться под властью незаконнорожденного, осужденного Папой, и решили между собой признать право дочери Евдокии. Впрочем, они надеялись получить от нового хозяина полного признания своей коммуны. Наконец они решили дать Марии третьего супруга, способного ее защитить, и предложили ее арагонскому королю Педро II, чье вдовство сделало его свободным. Мария, вероятно, была довольно уродлива, но король поспешно схватился за уникальный шанс присоединить к Каталонии соседний фьеф, приносивший солидный доход. Так что 15 июня 1204 г. он женился на наследнице Монпелье, не подумав заставить ее аннулировать брак с графом Комменжем, и поклялся «на Святом Евангелии Господнем, что никогда не разлучится с Марией, не будет иметь другой

женщины, куда жив, и будет всегда ей верным». Непосредственное следствие — лишение сына Агнессы, бастарда Гильема IX, прав с передачей их, по всеобщему согласию жителей Монпелье, арагонскому королю Педро II.

Но, когда он вступил во владение сеньорией, его отношение к жене изменилось. Никогда клятва в супружеской верности так вопиюще не нарушалась. Вскоре король стал думать только о разводе и третировал бедную Марию, как Филипп Август Ингесбург. Следует почитать переписку Иннокентия III, чтобы составить себе представление об упорстве, проявленном арагонским королем в переговорах о расторжении его брака. Издевательства и всевозможные унижения, которым была подвергнута Мария, заставили ее покинуть Монпелье, чтобы укрыться в Риме подле своего единственного покровителя. Там она в 1213 г. и умерла, почитаемая как святая. Прошел слух, что это муж велел ее отравить. Наверняка весть о ее смерти оставила его совершенно равнодушным.

* * *

Проживали ли французские бароны у себя или в отдаленных колониях, созданных крестовым походом на Востоке, их привычки не менялись: феодальный режим, распространенный в результате завоевания, приводил повсюду к одним и тем же результатам.

В 1190 г., во время осады Акры, умерла королева Иерусалимская Сибилла со своими двумя дочерьми. Ги де Лузиньян, ее супруг, ввиду этого по закону лишался королевства, которое он держал от нее, а восемнадцатилетняя сестра Сибиллы Изабелла становилась титулованной наследницей. Однако последняя была замужем за знатным человеком невысокого происхождения Онфруа Торонским. Позволят ли этому мелкому сеньору, не имевшему ни вассалов, ни денег, надеть иерусалимскую корону? Крупные вассалы королевства и вдовствующая королева Мария Комнина решили, что надо просто развести Изабеллу с мужем, чтобы выдать за одного из героев крестового похода, маркиза Монферратского Конрада. Ситуация, обратная обычной: речь идет уже о том, чтобы ради политического интереса пожертвовать не женой, а мужем!

Так что Мария Комнина предписала архиепископу Пизанскому Альберу, легату Святого престола на Востоке, провозгласить

аннулирование брака, использовав в качестве мотива тот факт, что Изабелле было всего восемь лет, когда ее выдали замуж за Онфруа. Вызванный на суд легата, последний заявил, что действительно Изабелла стала его невестой в возрасте восьми лет, но по достижении совершеннолетия она подтвердила договоренность, и брак в течение трех лет существовал. Что противопоставить такому замечанию? По каноническому праву аргумент был весомым. Тут увидели, как встал один из баронов, присутствовавших на расследовании. «Правда состоит в том, — воскликнул он, — что королева Изабелла никогда не давала своего согласия на этот брак!». Это опровержение, согласно феодальному обычаю, должно было привести к судебному поединку. Но Онфруа лишился всех симпатий, отказавшись сражаться со своим оппонентом, из чего заключили, что он неправ, ибо не осмелился прибегнуть к Божьему суду.

Но необходимо было, чтобы Церковь аннулировала брак и чтобы Изабелла заявила, что никогда его не подписывала. Молодая женщина, любившая своего мужа, вначале отказалась сделать такое заявление. Она жила в резиденции в Акре в соседнем с Онфруа шатре. К ней явились многочисленные бароны, среди прочих — граф Шампанский, убеждая решиться на требуемую жертву. В случае сопротивления они намеревались употребить силу. Слыша шум из шатра своей жены, Онфруа сказал своему товарищу, шампанскому дворянину Гуго де Сен-Морису: «Сеньор Гуго, я очень боюсь, как бы те, кто находится с королевой, не принудили бы ее сказать какую-нибудь дьявольскую вещь». В этот момент вошел рыцарь: «Вон там, — воскликнул он, — уведят вашу жену!». Онфруа тут же выскочил и побежал к ней: «Мадам, — говорит он ей, — вы не последуете по пути, которым вас уведят, возвращайтесь ко мне». Изабелла ничего не ответила и с опущенной головой продолжала свой путь. Это было расставание физическое в ожидании разрыва формального.

С помощью неотступных просьб Изабеллу принудили смириться с новым союзом. Перед папским легатом она заявила, что со времени своего совершеннолетия никогда не жила добровольно с Онфруа Торонским. Тотчас же было объявлено об аннулировании брака. Когда бароны королевства Иерусалимского пришли принести ей клятву верности, Изабелла сказала им: «Вы силой разлучили меня с мужем; но я не желаю, чтобы он потерял свое имущество, которым владел до того, как женился

на мне. Я возвращаю ему Торон, Шатонеф и прочую собственность его предков». Правда, это было наименьшее, что можно было сделать.

Брак Конрада Монферратского и Изабеллы был заключен родственником Филиппа Августа, воинственным епископом Бове Филиппом де Дре. Но Онфруа не отступался: он жаловался всем встречным, требуя вернуть ему жену. У него было много приверженцев в низших слоях христианского войска. «Это преступление, — говорили они, — чтобы вот так, насильно, разлучать супругов». И некоторые прелаты независимого нрава, вроде архиепископа Кентерберийского, разделяли эту точку зрения. Баронам пришлось оправдываться, а один из них сказал Онфруа: «Сеньор, вы что же, хотите, чтобы мы все умерли с голода из-за вас? Лучше отдать королеву Изабеллу человеку стоящему и умеющему командовать войском, который дал бы нам получать дешево продовольствие». История умалчивает, склонился ли «разведенный» перед таким аргументом.

Два года спустя, 28 апреля 1192 г., Конрад Монферратский пал от руки ассасина, и Изабелла оказалась вдовой второго мужа при живом первом. Иерусалимским баронам ни на миг не пришла мысль спросить ее, не примет ли она снова Онфруа. Их выбор остановился на графе Шампанском Генрихе I, и после восьми дней вдовства (даже трех, по некоторым рассказам) Изабелла была выдана замуж за нового претендента. Хронисты, в зависимости от того, поддерживают ли они Филиппа Августа или Ричарда Львиное Сердце, рассказывают об этом факте по-разному, но согласны между собой в том, что Изабеллу пришлось принудить к этому союзу.

В сентябре 1197 г. Генрих Шампанский, иерусалимский король, стал в свою очередь жертвой трагического случая. Однажды он выпал, уж неизвестно как, из окна акрского замка и убится. Надо думать, что в конечном счете Изабелла полюбила этого мужа, ибо, узнав о случившемся, «она выбежала из замка с потерянным видом, издавая крики, царапая себе ногтями лицо и даже разорвав до пояса одежды, которые падали за ней лоскутами. В нескольких шагах оттуда она встретила людей, несших тело: она бросилась на останки своего супруга и покрыла их поцелуями».

Во имя Церкви и морали Иннокентий III приписал смерть Генриха Шампанского праведному Божиему гневу. «На

Востоке, — воскликнул он, — женщина была посредством низкого союза отдана одному за другим двум претендовавшим на нее супругам; и сии недозволенные браки получили согласие и даже публичное одобрение духовенства Сирии. Но Бог, дабы утрашить тех, кто вздумал бы последовать этому отвратительному примеру, разит мстью быстро и неумолимо!». Что могли еще анафемы епископов и Пап против нравов и алчности могущественных? Они никогда не мешали женщине быть игрушкой грубых прихотей хозяина или политических расчетов и интересов, не позволявших ей принадлежать самой себе.

Раз в браках того времени нет любви, то приходится искать ее в другом месте. Находят ли ее в супружеской неверности? Жесты в целом представляют замужнюю женщину добродетельной, очень привязанной и преданной своему мужу. Отсюда можно заключить, что в феодальном мире измена случалась нечасто. Но не будем слишком доверять заверениям писателей. Разве мы верим нынешним, утверждающим, будто супружеская измена — повсюду? Авторы наших старых эпоей, не показывающие ее вовсе, возможно, ближе к правде.

Заметим только, что сведения, представленные хронистами, моралистами и сатириками относительно добродетели владелиц замков, не во всем согласуются со сведениями поэтов, развлекавших шутками и льстивших баронам, их кормившим. И еще: Средневековье, дабы восполнить отсутствие любви в законных союзах между мужчинами и женщинами, выдумало изящное решение: дамы и кавалеры заключали вне брака, как мы сейчас увидим, мистические союзы, теоретически захватывавшие сердце и разум. Правда, история доказывает, что в большинстве случаев дело не ограничивалось чувствами и практика в конечном счете вносила изменения в теорию.

Горячий поклонник Средних веков Леон Готье вынужден был сам признать, что феодальный мир оказывал «прискорбное влияние» на брак и семейные связи. По предшествующим страницам мы можем судить о справедливости этого заключения.

ГЛАВА XII. КУРТУАЗНАЯ КУЛЬТУРА И КУРТУАЗНАЯ ЗНАТЬ

Несомненно, во времена Филиппа Августа большая часть французской знати была такой же, что и в эпоху первого крестового похода, однако ее элита уже проникается новыми идеями и чувствами. Появилась «куртуазность». Куртуазность — это вкус к духовным ценностям, уважение к женщине и к любви.

Куртуазность родилась в южной Франции. Трубадуры этого края привили знати, занятой войнами и грабежом, рыцарскую любовь и культ женщины. Северофранцузская эпопея знала только три стимула человеческих действий: религиозное чувство вкупе с ненавистью ко всему нехристианскому; феодальная верность, преданность сюзерену или предводителю войска; наконец, любовь к сражениям и добыче. Лирическая поэзия трубадуров воспевала войну с ее дикостью, которая еще обнаруживается у Бертрана де Берна. На закате XII в. в поэмах Юга появляется куртуазный сеньор, желающий прежде всего нравиться даме, которую он избрал единственной владычицей своих мыслей и поступков. Ему нужно заслужить ее любовь своею славой на войне или в крестовом походе и дворянскими достоинствами, добродетелями, свойственными знати. Эта куртуазная любовь несовместима с феодальным браком, продуктом голого интереса и политики. Избранная дама становится сюзереном рыцаря, который, став на колени и вложив свои сложенные ладони в ее, поклялся в преданности ей, в защите и верной службе до самой смерти, она же дала ему в знак посвящения перстень и поцелуй. Возможно, этот идеализированный брак иногда даже благословлялся священником. История доказывает, что при сеньориальных дворах Юга, по крайней мере наиболее учтивых и образованных, куртуазный брак практиковался на деле, и общественное мнение его поощряло.

Эпоха Людовика VII и Филиппа Августа воистину отмечена блестящим расцветом лирической поэзии трубадуров, столь интересной по многообразию своих форм, по вдохновению — немного робкому, но очень живому и изысканному, по тонкому анализу нравственных чувств. Контраст между грубым

героизмом «Песни о Гарене» и чисто психологической поэзией Бернарта Вентадорнского огромный. По словам последнего:

Немудрено, что я пою
Прекрасней всех певцов других:
Не запою, пока мой стих
Любовью светлой не вспою.
Я сердцем, волею, умом,
Душой и телом предан ей.
Не ведаю других путей,
Всевластной силой к ней влеком.

Я славу Донне воздаю
В словах правдивых и простых,
Но гибну от страданий злых
И непрестанно слезы лью.
В плену любви лежу ничком,
Тюремных не открыть дверей
Без сострадания ключей, —
А Донны нрав с ним не знаком.

Бледнея пред ее лицом,
Не скрою даже от чужих,
Что ног не чувствую своих,
Бессильным трепещу листом.
Когда пред Донною стою,
Я несмышлениша глупей,
Но есть и жалость у людей —
Щадят поверженных в бою!⁴

Поэзия воспевала двор графа Тулузского Раймона V, сеньора Монпелье Гийома VIII, графини Эрменгарды и виконта Эмери из Нарбонна, графов де Родез и сеньоров де Бо из Прованса. Не все поэты были крестьянскими сыновьями, как Бернарт Вентадорнский, или простыми жонглерами по профессии, как Пейре Видадь. Они были также и благородными владельцами замков, как Бертран де Борн, знатными баронами, как Раймбаут Оранжевский, королевскими сыновьями, как Альфонс Арагонский и Ричард Аквитанский. Из пятисот трубадуров, имена которых нам известны, по крайней мере половина, как представляется, принадлежала к благородному классу.

⁴ Пер. В. Дынник. Бернарт де Вентадорн. Песни. М.: Наука. 1979. С. 22–23.

Куртуазные обычаи довольно быстро распространились по Северной Испании и Северной Италии, странам, составлявшим единое духовное целое с Лангедоком, Провансом и Аквитанией. Постепенно они достигли французских областей севернее Луары, собственно Франции — места пребывания Капетингов, Нормандии и английских островов — домена Плантагенетов, наконец, Шампани и Фландрии.

Сама рыцарская эпопея наполняется нежностью новых чувств. В начале жесты, вроде «Песни о Жираре Руссильонском», празднуется мистический брак между Жираром и молодой принцессой, предназначенной королю Карлу Мартеллу. Поэма «Гийом Дольский» заменяет рассказы о сражениях описаниями охот, турниров, придворных развлечений, выдвигая на передний план любовь германского императора к прекрасной француженке. Авантюрные романы «артуровского» цикла, или цикла «Круглого стола», вытесняют в пользу Плантагенетов, Капетингов, фландрского и шампанского дворов воинственные песни типа «Гарена». Кретъен де Труа во времена правления Людовика VII и Рауль де Уденк при Филиппе Августе вводят в моду любовную эпопею, в которой верхушка рыцарства воплощает идеал доблести и галантности. В «Тристане и Изольде», «Эреке», «Клижесе», «Ланселоте», «Ивейне», «Персевале», «Мерожисе» герой добивается руки девушки с восторженным постоянством, которое торжествует над всеми препятствиями. Анализ чувств порой столь же тонок, как и в изысканнейших строках произведений трубадуров. Благородные слушатели этих романов (впрочем, столь же длинных, как и жесты) имели более тонкий ум и более изысканные чувства, чем их отцы. Они понимали идеальную любовь и интересовались внутренней сердечной борьбой.

Подражание трубадурам породило тогда французскую лирику; менестрели севера усвоили большую часть поэтических форм юга, таких, как песнь, тенсона или *прение сторон* и др. Эта более сочная литература заимствования, о которой свидетельствует столько современников Филиппа Августа — кастелян де Куси, Одфруа Аррасский, Конон Бетюнский, Гас-Брюле, Гуго де Берзе, Гуго д'Уази, Жан де Бриенн — вытесняла более оригинальный лирический жанр, яркий и зародившийся на территории самой северной Франции: мотет, рондо, лэ и пасторали XII в. Многие из этих поэтических подражателей принадлежали к

знати. В сеньориальном обществе, начавшем шлифоваться и облагораживаться, история открывала новые качества.

Прежде всего, дама в качестве образованной покровительницы литературы — не исключение в замках. Знатные дамы севера, похоже, соперничают со знаменитой графиней де Диа (Беатрисой Валентинуа), храброй и пылкой провансальской поэтессой: королева Алиенора Аквитанская, ее дочь Мария Французская, графиня Шампанская, вдохновительница Кретъена де Труа, Бланка Наваррская, мать Тибо Песенника, Иоланда Фландрская, которой посвящен роман «Гийом де Палерн», привлекали и воспламеняли поэтов. В Труа, в Провене, в Баре собираются блестящие кружки рыцарей и дам, где обсуждаются вопросы галантности и любовной казуистики. Около 1220 г. отсюда вышел кодекс куртуазной любви, изданный на латинском языке Андреем Капелланом. Решения «судов любви», которых он насчитал около двадцати, хотя и не имели никогда отношения к реальным фактам, не являются и целиком вымышленными: они свидетельствуют об особом умственном настрое, заключающемся в отказе от безнравственных теорий и предписаний в пользу смягчения общественных нравов и отношений.

Люди в высоких феодальных слоях приобретают вкус к развлечениям ума, ценят книги и писателей и сами начинают сочинять прозу или стихи. Графы Фландрские, Филипп Эльзасский, Бодуэн VIII и Бодуэн IX, первый латинский император, составляют «династию» образованных государей. Филипп Эльзасский передает Кретъену де Труа одну англо-нормандскую поэму, из коей последний извлечет свою знаменитую сказку о Персевале. Бодуэн VIII велит Николя де Санли перевести на французский язык прекрасную латинскую рукопись, которой владеет, — «Хронику Турпина». Особое пристрастие Бодуэн IX проявляет к истории и историкам: он велит собрать краткое изложение всех латинских хроник, относящихся к Западу, что-то вроде исторического свода, и приказывает перевести их на французский язык; окруженный жонглерами, которым он щедро платит, он и сам занимается поэзией, даже поэзией провансальской. В Оверни дофин Робер I собирает книги, составляет себе библиотеку, преимущественно из трудов, относящихся к еретическим сектам, что заставляет усомниться в его ортодоксальности.

Мелкие сеньоры подражают крупным. Один из первых Труверов, принесших на север лирическую поэзию юга —

камбрезийский дворянин Гуго д'Уази. Конон Бетюнский из Артуа в песни, посвященной им третьему крестовому походу, особым образом перемешивает любовные сожаления с религиозными чувствами, толкающими его в Святую землю. И крестоносец даже меньше думает о Боге, чем о своей даме:

Увы, Любовь, тоску разъединенья
Как претерплю с единственною той,
К кому стремлю любовь и преклоненье?
Господь да возвратит меня домой,
Хоть днесь от милой путь уводит мой!
Что молвлю? Мне ль забыть мое служенье?
Хоть тело за Христа вступает в бой,
Но сердце ей оставлю во владенье.
За Бога в Сирию иду в сраженье⁵...

«Песнь о Роланде» уже устарела, и яростный энтузиазм баронов первого крестового похода изрядно поутих.

Благородные воины XI и XII веков оставляли своим капелланам и монахам, сопровождавшим войско, заботу рассказать о подвигах христианского рыцарства, а вот крестоносцы времен Филиппа Августа сами пишут хорошей прозой, кратким и выразительным языком рассказ о великих событиях, в которых они участвовали: шампанский барон, сеньор Жоффруа де Виллардуэн, мелкий пикардийский рыцарь Робер де Клари, фламандский государь, ставший императором Константинополя — Генрих Валансьенский рассказали нам о четвертом крестовом походе.

Тип цивилизованного и как бы смягченного началом развития литературной культуры государя — Бодуэн II, граф Гинский, любопытный портрет которого, уже нами приводившийся, дает ардрский хронист Ламбер. Этот барон занимался не только своими собаками, соколами и сожителями; как и у его сюзеренов, графов Фландрских, у него были интеллектуальные вкусы. Он жил, окруженный клириками, учеными и теологами, которых очень любил и с которыми не переставал спорить:

Клирики обучили его большему, чем было нужно, и он проводил свое время, расспрашивая их, заставляя говорить и ставя в затруднение своими возражениями. Он спорил с магистрами

⁵ Пер. А. Парина. // Жоффруа де Виллардуэн. Взятие Константинополя. М.: Наука. 1984. С. 208.

искусств, с докторами теологии, да так, что собеседники с восхищением слушали его, восклицая: «Какой человек! Мы можем только осыпать его похвалами, ибо он говорит замечательные вещи. Но как он может до такой степени знать книги, не будучи ни клириком, ни ученым?»

Он велит приехать к нему одному из великих эрудитов края, Ландри де Вабену, поручает ему перевести на народный язык «Песнь Песней» и часто читать себе отрывки, «чтобы постичь ее мистический смысл». Другой ученый, Анфруа, перевел ему фрагменты из Евангелия и «Жития святого Антония»; ему объясняли эти тексты, и он их изучал. Мэтр Годфруа перевел для него на французский язык один латинский труд по физике. Солин, латинский грамматист, автор «Полигистора» (Polyhistor) — некой смеси наук, истории и географии, был переведен и прочитан в его присутствии одной фламандской знаменитостью, клириком Симоном Булонским, одним из авторов «Романа об Александре».

Биограф Бодуэна Гинского удивлен количеством манускриптов, собранных у графа в его библиотеке:

Там их было столько и он знал их так хорошо, что мог потягаться с Августином в теологии, с Дионисием Ареопагитом в философии, с Фалесом⁶ Милетским — в искусстве рассказывать забавные сказки. Он мог бы дать фору прославленным жонглерам в знании жест и фаблио. Библиотекарем у него был мирянин Азар д'Одреам, которого он сам обучил.

Наконец, работа, о природе которой хронист забыл высказаться, была составлена в ардрском замке по настоянию и даже на глазах графа клириком, магистром Готье Силаном:

Книга сия была названа его именем — Книга молчания⁷ и принесла ее автору признательность хозяина, который одарил его лошадьми и одеждами.

Даже преувеличенная, эта похвала небезразлична для историка. Феодалный мир проявляется здесь в новом виде. Из этого мы не будем заключать, что все знатные люди того времени собирались стать меценатами. Когда верхушка, частью по убеждению, частью из снобизма, покровительствовала ученым, обучаясь сама, и оказывала женщине (по крайней мере, в литературе)

⁶ Добрый клирик спутал Фалеса с Аристидом. (Прим. авт.)

⁷ Silence — молчание (фр.).

уважение, ей непривычное, множество владельцев замков продолжали любить войну и грабеж. Культурная элита и грубая, жестокая масса будут еще долго жить бок о бок. Но уже любопытно видеть, как часть феодального мира пытается порвать с традициями варварства и прикладывает усилия, чтобы измениться.

ГЛАВА XIII. КРЕСТЬЯНЕ И ГОРОЖАНЕ

В эпоху Филиппа Августа и в течение большей части Средневековья, до конца XIII в., социального вопроса не существовало в том смысле, что он не ставился никем и не волновал общественное мнение. Иначе и быть не могло. Мнение трудящихся классов, тех, кто мог бы добиваться изменений, не имело выразителей. Кроме того, необходимо учитывать, что Средние века в целом консервативны и принципиально не стремятся к прогрессу. Их самое общее и стойкое убеждение заключается в том, что всякое нововведение само по себе опасно, дурно, и следует держаться старого, всегда существовавшего. Средневековье привержено культуре традиции; оно опасается всего, что отступало бы от установленных обычаев или прав, и очень враждебно к переменам. Тем не менее мы, конечно, видим, как и в эту эпоху сервы и горожане стремятся освободиться и в особенности повысить свой социальный статус как мирными средствами, так и при помощи силы; но эта перемена, эволюция или революция, совершается низшими классами бессознательно, инстинктивно и вследствие необходимости, а не в силу принципа или рациональной концепции социальных нужд и прав обездоленных. Речь идет не о реализации теории или социальной идеи, а об удовлетворении частных интересов отдельного человека или жителей города. Каждый действует для себя и мало заботится о соседе, что, между прочим, объясняет, почему французские города, установившие у себя коммунальный режим, не объединились в большие городские федерации, как поступили когда-то города немецкие и итальянские.

Единственная социальная теория, признанная всеми, единственная социальная концепция, имевшая силу в Средневековой Франции — не теория прогресса или движения, а совсем напротив — концепция *status quo*. Она утверждает состояние вещей, установленное, как полагали, в незапамятные времена и подлежащее сохранению. Эту социальную теорию, освященную традицией и изложенную церковными публицистами, начиная с епископа Адальберона Ланского, современника Гуго Капета, и до проповедника Жака де Витри, современника Филиппа Августа, можно свести к следующему: в силу божественной воли

общество разделено на три класса или сословия, каждое из которых наделено своей собственной функцией, и все они необходимы для существования и деятельности социального тела: священники, коим поручено молиться и вести людей ко спасению; знать, на которую возложена миссия защиты народа от врагов с оружием в руках и установления правосудия и порядка; крестьянский люд и горожане, обязанные кормить своим трудом два высших сословия и удовлетворять все их нужды, как необходимые, так и те, что можно считать излишествами. Это в крайне общем виде. Порой, однако, духовенство видоизменяло формулу, придавая ей метафорический вид, какой, к примеру, мы находим у Иоанна Солсберийского или у Жака де Витри. Общество, по их мнению, устроено подобно человеческому телу: священники являются его головой и глазами, поскольку они — духовные вожди человечества; знать — это руки, которым поручено всех защищать; деревенский и городской люд составляют ноги — это основа, на которой зиждется все остальное.

Таков социальный порядок, установленный Провидением, а следовательно, необходимый и незыблемый. В нем нечего менять. И лишь в виде исключения смелые умы время от времени дерзают придумывать иной. Вспоминается цитированный выше проповедник начала XIII в., который хотел, чтобы общество избавилось от знати и горожан-предпринимателей: от знати как от разбойников, а от бюргерства — как от ростовщиков, потому что те и другие ничего не производят и в целом вредны, и оставило бы только священников и трудящихся, то есть тех, кто работает умственно и физически. Но это уже из области личной фантазии, чрезвычайно необычной. Общественному же мнению была известна только теория трех сословий — молящихся, сражающихся и тех, кто кормит и одевает два первых. Таким образом, все устроено гармонично, и Средневековье осуждает желающих эту гармонию нарушить: оно не понимает их и считает врагами общества. Только проповедникам и сатирикам дозволено время от времени говорить, что практика недостаточно соответствует теории; что три сословия не исполняют, как должно, свои обязанности; что священники слишком часто уклоняются от молитвы, пренебрегая службами и служа плохим примером; что военная знать вместо того, чтобы ограничиться борьбой с врагом, а внутри страны следить за правопорядком, думает лишь о сражениях и подавлении слабых; что, наконец, крестьяне очень плохо

платят десятину духовенству, а горожане слишком стремятся избавиться от сеньориального гнета и покушаются на права и собственность церковников. Со всей очевидностью приходилось признавать, что не все пружины социального организма работали, как следовало бы и как хотела бы теория, да и в феодальном и церковном мире не все было гладко. Но в Средние века не возникало мысли об изменении данных основ посягательством на иерархию, никто не заявлял, что народ, к примеру, не создан исключительно для того, чтобы трудиться на благо других. Все устроено хорошо, потому что устроено Богом! Пороки социального тела и изъяны в его функционировании проистекают единственно от человеческих слабостей или гордыни, и если бы каждый стремился добросовестно выполнять свою работу, ограничиваться своим делом и не старался покинуть свое сословие, все шло бы как нельзя лучше.

Первый и общий довод убеждает в том, что настоящее Средневековье, предшествовавшее XIV в., не знало социального вопроса и в принципе не занималось моральным и материальным улучшением положения низших слоев. Это подтверждает признанное всеми положение о необходимой и ниспосланной свыше незыблемости общества.

Другой довод — на него уже косвенно указывалось — заключается в единственности мнения привилегированных классов в качестве общественного мнения в Средние века. А привилегированные классы не только не понимали пользы перемен, но были равнодушны к печальной участи угнетаемых. И безразличными они оставались всегда. Они презирали крестьянина и горожанина, при этом эксплуатируя их; и само это презрение часто оборачивалось враждебностью. Пренебрежение, даже, мы бы сказали, отвращение землевладельцев и сеньоров к крестьянину и ремесленнику, труд которых позволял им жить, — вот одна из самых характерных черт Средневековья.

Для рыцаря и барона крестьянин — будь то серв или свободный — только объект извлечения дохода, материальная ценность: в мирное время его душат, как только могут, налогом и барщиной у себя, в военное время — грабят, топчут, режут или жгут на вражеской земле, дабы причинить противнику наибольший ущерб. Именно в этом и состоит война. Крестьянин является не более чем объектом сеньориальной эксплуатации, подлежащим у других уничтожению.

На горожанина также смотрят как на источник дохода. Его щадят немного больше, потому что он является членом сообщества, защищенного стенами; его труднее захватить, и ему легче удастся оборониться. С другой стороны, в продуктах его производства и торговли нуждаются. А еще — начинают понимать, что покровительство развитию городов представляет для сеньора интерес. Когда горожанин богат и у него нельзя отобрать деньги путем налога или грубой силы, их у него одалживают; его используют как банкира — банкира, которому платят плохо или совсем не платят. Это не мешает знатному человеку презирать горожанина, разграбляя и сжигая города, если война предоставляет такой случай.

Вот так феодалы смотрят на простолюдина и обращаются с ним; такова каждодневная реальность, и она с точностью отображена в литературе. Откроем любую жесту времен Филиппа Августа — и увидим в ней крестьянина и горожанина прежде всего в роли жертвы. Много раз описаны грабежи и пожары деревень и городов. И ни слова жалости к крестьянам, урожай и дома которых жгут, а самих сотнями убивают или уводят со связанными руками вместе со скотом; к женщинам, которых мучат солдаты, к пылающим городам, к обобранным купцам, к меньшему люду феодальных войск, ничего не стоящим пленникам, которых калечат или которым хладнокровно перерезают горло после битвы — все это нормально и по праву, все это естественный ход вещей.

Низшие классы не только жертвы: их выставляют на посмешище. Ясно, что для знатного человека простолюдин — существо низшее, в коем все достойно презрения и жизнь которого не принимается в расчет. В самой древней феодальной эпохее, «Песни о Роланде», и речи нет о каких-нибудь простых людях или предметах народного быта. Подобная человечность по отношению к низам и не может проявиться — ведь ее просто не существует. Начиная с середины XII в., когда сеньоры добровольно или по принуждению предоставили народу первые вольности и были основаны ранние коммуны, феодальным поэтам пришлось признать, что простолюдин существует; но они отводят ему ничтожное место и говорят о нем лишь для того, чтобы высмеять. И только в эпоху Филиппа Августа, скорее даже в начале XIII в., когда растет число свободных городов, а бюргеры становятся весьма значительными персонами, начинают меняться и взгляды, и

манера рассказывать о них. В большей части жест именно этого периода презрение к «простолюдину» все еще является расхожим чувством: оно выражается общим местом, клише, которых мы достаточно находим повсюду.

Было бы нетрудно процитировать сотни отрывков, где в самой грубой форме и во всех литературных жанрах проявляется феодальный дух. Простолюдин уже по традиции может быть даже физически неприятным на вид человеком, отличным от прочих. Иначе его и не представляют. Его изображают уродливым, отталкивающим и смешным. Посмотрите, как воинская поэма о Гарене Лотарингском представляет простолюдина Риго:

У него были огромные руки, мощные члены, глаза, отстоящие друг от друга на ширину руки, широкие плечи и грудь, совершенно взъерошенные волосы и черное как уголь лицо. Он по шесть месяцев не умывался, и лицо его не знало иной воды, кроме дождя.

Этот простолюдин, однако, в виде исключения, добрый воин, он породнился со знатью, а потому поэт к нему снисходит, отводя некоторую роль в сражениях. Он даже совершает такое количество подвигов, что, в отступление от правил, его в конечном счете посвящают в рыцари. Но он не такой рыцарь, как другие, и мы выше уже приводили грубую и смешную сцену, описывающую его посвящение, проводимое среди взрывов смеха всей знати.

Почти в таких же выражениях создан портрет простолюдина в другом месте: так, в прекрасной идиллии об Окассене и Николетт Окассен, заблудившись в лесу, вдруг сталкивается с крестьянином:

Он был огромным и на удивление уродливым и мерзким — большая приплюснутая голова чернее угольной ямы, в пядь расстояние между глазами, большие щеки, огромный плоский нос, толстые губы, красные как угли, длинные желтые страшные зубы. Он был обут в гетры и башмаки из бычьей кожи, одет в грубый плащ и опирался на толстую дубину.

Нравственный облик простолюдина отвечает внешнему. Он одновременно скотский и порочный. Его заставляют произносить глупейшие вещи. Автор «Чудес Богоматери» Готье де Куэнси, священник, говорит о крестьянах: «Насколько жестка их шевелюра, настолько глупа и голова, в которую ничему благому не

войти». «Да разве может простолюдин стать благородным и свободным?» — читаем мы в авантюрном романе «Коршун», написанном до 1204 г. В «Песни о Жираре Руссильонском» предатель, сдающий руссильонский замок королю Карлу Мартеллу, — неизбежно простолюдин по происхождению, и в связи с этим поэт не преминет заметить, что всегда опасно доверяться подобному отродью. Это общее место всех жест. В поэме о Жираре де Виане, как и во многих других, «простолюдин» является синонимом труса: «Будь проклят тот, кто первым стал лучником. Он сделался трусом, ибо не осмеливался подойти к врагу». Подобное презрение знати к пешим воинам, используемым в феодальных войсках, звучит по всякому поводу, как, например, в поэме о Гофрее: «Здесь добрых шестьдесят тысяч рыцарей, не считая пехоты, которую нечего принимать во внимание». Эта пехота, лучники, городское ополчение, охотно осмеиваемые поэтами, составляют презираемую и ничего не стоящую часть войска; их оттесняют на края поля, на пустыри, а если по ходу действия они мешают, рыцарство, не колеблясь, устремляется по их телам. Такая привычка существовала у знати в течение всего Средневековья, и задолго до великих сражений Столетней войны рыцарство смеялось и издевалось над пехотинцами.

Кажется, в авантюрных романах бретонского цикла, где знать представлена менее жестокой, менее грубой и говорящей языком куртуазности, чувство презрительной враждебности, объектом которого был простолюдин, должно бы проявляться в смягченной форме и выражаться с большей сдержанностью. Но и здесь тон существенно не меняется, и в поэмах Кретьена де Труа с его подражателями XIII в. толпа, будто перепуганное стадо, расступается перед рыцарями. В «Эреке» мы читаем:

Подъехал к месту — что такое?
Он плетку поднял над толпою
И крепко черни погрозил:
Народ раздался, пропустил⁸.

А в «Клижесе» дворянин говорит своему слуге:

Принадлежишь ты мне всецело.
Тебя могу отдать я в дар,

⁸ Пер. Н. Рыковой. Кретьен де Труа. Эрек и Энида. Клижес. М.: Наука. 1980. С. 29.

Продать я мог бы, как товар,
Тебя со всей семьей твоею.
Ты знаешь, я тобой владею⁹*

В романах куртуазного жанра общественное мнение и социальный порядок почти так же жестоки к крестьянам, как и в воинских поэмах.

Что же касается бюргера, городского жителя, то с ним обращаются не лучше, чем с жителем сельским. В глазах феодалов горожанин может быть только пьяницей, вором или ростовщиком. Именно так в «Песни об Эоле» нам преподносят мясника Аженеля и его жену Эрсант — две карикатуры, два злых языка, которых боятся и ненавидят:

Дама Эрсант, с огромным животом, сплетница, является женой мясника. Оба они уроженцы Бургундии. Когда они приехали в большой город Орлеан, у них не было и пяти су. Они были жалкими попрошайками, несчастными и умирающими с голода. Но вследствие своей бережливости, ссужая под проценты, они добились того, что через пять лет скопили состояние. У них в долгу две трети города; повсюду скупают они печи и мельницы и разоряют всех свободных людей.

Так, дама Эрсант, видя проезжающего мимо рыцаря Эоля, оскорбляет его посреди улицы, а рыцарь резко отвечает ей тем же набором оскорблений — «Вы безобразны, уродливы и бесстыдны...».

Феодальный поэт, желающий понравиться знати, описывает таким образом разбогатевшее бюргерство, которое возвысилось бережливостью и которому предстоит стать могущественной силой третьего сословия. И если вместо простолюдина по рождению возникает образ опустившегося дворянина, якшащегося со всяким сбродом и превратившегося в простолюдина от общения с чернью, то портрет выходит не более лестным. Все, что соприкасается с этим ничтожным классом, становится грязным. Один из комических персонажей «Песни о Гарене» — тип деклассированного человека: это гонец или посол Мануэль, прозванный «Куда-Пошлют» (Galopin или Tranchebise), естественно, весьма отрицательный герой, хотя и происходит из знатной семьи. Этот завсегда таверн любит только играть и пить и живет

⁹ Пер. В. Мнкушевича. Там же. С. 375.

среди распутников и распутниц. За ним приходят в трущобы сообщить, что герцог Бегон, его кузен, нуждается в нем и посылает за ним. «Это он-то мой кузен! — отвечает молодой бродяга. — Я не признаю его, ибо не нуждаюсь в таком богатом родственнике; я предпочитаю радоваться таверне, вину и сим распутницам вокруг меня, нежели обладать всеми графствами на земле». Тем не менее его убеждают поехать, оплатив его долги трактирщику. Кузен, герцог Бегон, спрашивает его: «Откуда ты, дорогой друг?». — «Из Клермона, сеньор; меня зовут Куда-Пошлют. Моим братом является граф Жослен; я даже старше него, и видя меня, в этом нельзя усомниться». — «Я разгневан, — отвечает Бегон. — Однако я признаю, что ты мой кузен, и, ежели ты образумишься, я посвящу тебя в рыцари и отдам твою часть Оверни». При этих словах Куда-Пошлют расхохотался и сказал: «Лучше я буду пить и слушать девушек, чем управлять графством, но скажите, что вам от меня угодно, а то я возвращусь к прохладному вину». Ему поручили посольство ко французскому королю в Орлеан; едва он выполняет поручение, как отправляется напрямик в таверну, где и проводит всю ночь. Дама Элоиза посылает за ним туда и говорит: «Откуда вы пришли, мой друг?». — «Из таверны, дама». — «Господи! Ну и ну! Да у меня здесь пятьсот бочек вина, которое вы можете пить в свое удовольствие». — «Клянусь судом святого Дионисия, — отвечает Мануэль, — я люблю вино, но также я люблю и компанию». Дама, услышав это, сказала смеясь: «Хорошо».

* * *

Мы узнали, каково мнение общества и феодалов. Остается выяснить отношение другого привилегированного класса, Церкви. В нем надо различать два течения: христианское и феодальное.

Христианское течение — вся совокупность представлений о семье, государстве и народе, вытекающих из самих начал христианства, которые Средневековое духовенство еще проповедует и от которых не может отказаться, несмотря на сильные изменения, кои претерпела ранняя религия в первые десять столетий после падения Римской империи. Еще существует церковная теория об изначальном равенстве людей, о их братском долге, о презрении к богатству и силе, о необходимости приходиться на помощь бедным и несчастным и защищать слабых от могущественных. Священники времен Филиппа Августа не могут окончательно забыть, что основатель их религии проповедовал

уважение к малым и сирым, превозносил бедность, заложив в целом демократические основы Своей церкви. Каково бы ни было расстояние, даже пропасть, отделявшие Церковь XII в. от Церкви первых трех христианских столетий, католическое духовенство не полностью лишилось евангельского духа.

В общем и целом Средневековый клир, какими бы аристократическими ни становились его высшие круги, еще рекрутировался изо всех слоев общества; он не отгораживался от низших классов. Посредством милостыни и гостеприимства он продолжал выполнять одну из самых высоких миссий — миссию помощи в человеческих бедах, ибо нес весь груз благотворительности.

Евангельскому духу еще удавалось полностью проявляться в значительной части монашеского духовенства, и именно он побуждал к религиозным реформам; разве не он в ту же эпоху Филиппа Августа породил Франциска Ассизского, апостола бедности и самоотречения, человека, захотевшего основать на милосердии, любви и человеческом единстве нечто вроде христианского коммунизма, прямо вдохновленного Евангелием и Христом, новую Церковь?

С другой стороны, следует признать, что Церкви часто приходилось отождествлять свое дело с делом угнетенных классов, ибо ее крестьяне и земли в первую очередь становились жертвами жестокости и алчности знати. Правда, защищая их, отлучая феодалов, создавая институты мира, она защищала саму себя и действовала в собственных интересах; но ведь по сути, борясь против притеснения и насилия, она оказывала услугу беднякам. Отсюда все негодующие филиппики против знати, живущей разбоем; отсюда и их красноречивые заклинания в защиту земледельца и ремесленника.

Но следует рассмотреть и иную сторону церковного мировоззрения и церковной жизни: есть другие теории и другие факты, доказывающие, что в действительности клирики Средневековья были столь же недоброжелательны к крестьянам и горожанам, как и люди меча. Именно феодальное течение превалирует в Церкви, организованной и иерархизированной по рангам священства, где преобладают чувства и поступки привилегированной церковной аристократии. Эта аристократия, владеющая значительной собственностью и огромным числом сервов, являлась благодаря своим сеньориям составной частью феодальной системы. Она желала сохранить свои права и доходы, ревностно

защищая их, и это ей тем более удается, что ее имущество неотчуждаемо. Она точно так же эксплуатирует низшие слои: никто еще не смог доказать, что церковные сервы находились в лучшем положении, чем сервы светских сеньоров. И уж абсолютно точно, что церковный серваж существовал гораздо дольше, чем серваж у знати и королей. Нашлись даже клирики, утверждавшие, что серваж не только законен и необходим, но является божественным установлением. Наконец, знаменитая теория трех сословий была разработана церковниками, в течение столетий воспроизводилась в их трудах и поддерживалась ими как выражение воли самого Бога и олицетворение общественного порядка.

Здесь достаточно процитировать страницу из трудов одного из самых умных и образованных прелатов, каких только знала Франция на исходе XII в., епископа, историка и философа Иоанна Солсберийского. Обнаруживается следующая метафора, сравнивающая общество с телом и его членами, о котором уже шла речь:

Я называю ногами государства тех, кто занимается скромным ремеслом, способствующим движению по земле государства и его членов. Таковы крестьяне, постоянно связанные с землей, ремесленники, обрабатывающие шерсть, дерево, железо или медь, те, кто доставляет нам пищу, изготавливает тысячу необходимых для жизни предметов. Для нижестоящих является долгом уважение к вышестоящим; но последние в свою очередь должны приходить на помощь тем, кто ниже их, и думать о средствах удовлетворения их нужд. Плутарх подает разумный совет — заботиться об обездоленных, то есть о той части народа, которая является самой многочисленной, и чтобы меньшинство всегда уступало большинству. Отсюда произошел институт магистратов, на коих возложена миссия защищать последнего из подданных от несправедливости, так, чтобы труд ремесленников доставлял государству хорошую обувь. Государство в некотором роде оказывается разутым, когда земледельцы и ремесленники терпят несправедливости. Более постыдного для тех, кто управляет магистратурами, нет. Когда большинство народа охвачено недовольством, страна походит на государя, пораженного подагрой.

Вот в каких выражениях говорит о социальном вопросе клир, когда он о нем высказывается; вот и все, что может сказать

епископ, чтобы напомнить привилегированным сословиям об их долге и посоветовать им не слишком притеснять бедный люд.

Наконец, в теории и на деле Церковь по-прежнему враждебна свободе бюргеров. Церковных сеньоров, освобождавших своих горожан, было намного меньше, чем сеньоров светских. Они равным образом неблагоприятны к свободе производства, учреждению независимых ремесленных корпораций: надо видеть, к примеру, какое длительное сопротивление оказала одна церковная сеньория, аббатство Сен-Мексан, отмене фискальных прав, ложившихся бременем на ремесленников его домена.

В общем, экономическая политика Церкви не более снисходительна, чем мирская: епископы и аббаты настолько всегда препятствовали коммунальному движению, что не следует удивляться почти повсеместной направленности последнего против клерикальной собственности и юрисдикции; самые же авторитетные церковные органы, говоря о горожанах коммун, использовали те же оскорбительные и злобные выражения, которыми пользовались и феодальные поэты. Для Жака де Витри все они — ростовщики, воры и, что еще хуже, еретики:

Эта отвратительная человеческая порода вся идет к своей гибели; никто из них не будет спасен, или очень немногие, — все они следуют широкими шагами прямо в ад. И впрямь, разве удастся им когда-либо искупить беззакония и насилия, в которых они повинны? Мы видим, как они, уже опаленные адским пламенем, бросаются уничтожать своих соседей, сжигать города и другие коммуны, как они преследуют других и радуются чужой смерти. Большая часть коммун ведет яростную войну: все, мужчины и женщины, радуются гибели своих врагов... Коммуна подобна льву, рвущему на части, о котором говорит Священное Писание, а также дракону, прячущемуся в море и подстерегающему вас, чтобы сожрать. Это животное, у которого хвост заканчивается острием, дабы поражать соседа и чужеземца, но многочисленные головы поднимаются одна против другой: ибо в одной и той же коммуне они то и дело завидуют друг другу, клеветают, выживают, обманывают, изводят друг друга. Вне ее — война, внутри — страх. Но более всего отвратительно в сих нынешних Вавилонах то, что во всех коммунах находят своих пособников, укрывателей, защитников и приверженцев ересь.

Мы сокращаем эту обвинительную речь: в ней смешаны истина и предубеждение, но она показывает настроения и отношение Церкви к одному из наиболее значительных успехов, достигнутых народными массами. Привилегированные классы действительно настроены враждебно к социальным переменам. Низшие слои могут рассчитывать для облегчения своей участи только на собственный труд и собственную энергию.

* * *

Но самое тяжелое и самое нищенское существование влачили крестьяне. Мы видели, насколько они незащитны против природных бедствий, разбоя и феодальных войн, как изнемогают под гнетом знати и церковных сеньоров — гнетом, утроенным и учетверенным, поскольку надо платить и служить одновременно непосредственному сеньору, высшему сюзеру провинции, приходскому священнику и его вышестоящим и, кроме того, терпеть вымогательства сеньориального служащего, прево, лесника, еще более придирчивых и алчных, чем хозяева фьефа. Если же крестьянин является сервом — а таких большинство в значительной части французских провинций начала XIII в., — то добавим сюда позор серважа, наследственного порока, унижительные и ненавистные поборы, невозможность законно вступить в брак, переехать, составить завещание согласно собственной воле. Даже при понимании этого наши представления о тяжести невзгод и нужде, с которыми боролся крестьянин, будут неполными.

Историки и хронисты сообщают нам о подобном плачевном положении лишь косвенно, бессознательно, не акцентируя его явно — в форме простого изложения эпизодов разбоя или результатов войны. Читая их, скорее угадываешь, чем ясно видишь несчастья и страдания, причиной которых стали ссоры или завоевания сеньоров и королей. Клирики, излагающие историю, не останавливаются на подробностях и вообще не находят сочувственного слова для жертв. Лишь в виде исключения трувер Бенуа де Сен-Мор, описавший французскими стихами историю герцогов Нормандских, приводит свидетельство печального положения класса, который трудится и выбивается из сил, чтобы содержать духовенство и знать:

Конечно, священники и рыцари обильно едят, лучше одеваются и обуваются; они живут спокойнее и в большей

безопасности, чем те, кто трудится и переносит столько бед и горестей. Именно те позволяют другим жить в мире, кормят их и содержат, и тем не менее именно они переносят самые сильные страдания, снега, дожди и ураганы. Они собственными руками обрабатывают землю, терпя великую нужду и голод. Они ведут тяжкую жизнь, бедные, страждущие и нищие. Воистину, без этой породы людей неизвестно, как могли бы существовать другие.

Проповедники в своих речах позволяют нам лучше узнать действительность; они описывают ее, часто подчеркивая все, что в ней есть жестокого, даже не столько руководствуясь стремлением к миру и милосердием, трогая аудиторию народными горестями, сколько чтобы доставить себе удовлетворение осуждением знати, воинского класса, врага Церкви и разорителя церковных земель. Клир, сам будучи жертвой рыцарского разбоя, защищает свое имущество и свое собственное дело, смело говоря о страданиях крестьян. Трудно, например, пойти дальше проповедника Жака де Витри с его проповедью, обращенной к властям и знати, когда он говорит им: «Вы — прожорливые волки, поэтому отправитесь выть в ад... Все, что крестьянин заработал за год тяжкого труда, сеньор тратит в один час». Витри не щадит угнетателей крестьян, «людей, которые незаконными поборами и налогами обирают и притесняют своих подданных, живя кровью и потом бедняков». С особой суровостью клеймит он хозяев, взимающих налог по праву «мертвой руки», этих «похитителей имущества умерших». Брать налог по праву «мертвой руки» — это же отбирать средства к существованию у вдовы и сироты! Это значит совершать преступление и, более того, святотатство, ибо эти люди оскорбляют души умерших. «Они поедают трупы подобно червям». Послушать проповедника, так феодалы не только дерут три шкуры с крестьянина, но при этом еще и смеются, отпуская жестокие шутки:

Многие говорят нам сегодня, когда мы упрекаем их в том, что они уводят корову у бедного крестьянина: «На что ему жаловаться, коли я ему оставил теленка, и сам он цел; я ведь не причинил ему зла, какое мог бы, если бы захотел. Я взял яйцо, но оставил ему перья». Поберегитесь же, братья мои, и не насмехайтесь над Господом. Эти крестьяне — ваши люди, и вы не должны ни притеснять их, ни злоупотреблять их службой.

Великие должны быть любезны к малым и не вызывать ненависти к себе. Не следует презирать обездоленных, ибо, если они могут оказать услугу, то также могут и представлять опасность.

Мудрые слова, но они никого не убеждают. Эти инвективы проповедника доказывают, по крайней мере, сколь глубоким было зло. «Повсюду, — говорит он, — видно, как сильный угнетает слабого, а большой пожирает малого». Здесь в миниатюре показана картина общества в Средние века.

Крестьянин — козел отпущения в этом обществе. Именно на него по большей части сваливаются беззакония, насилия, результаты беспорядка и всеобщей анархии. Поэтому кажется, что священник, обращаясь специально к этому классу несчастных, должен бы прежде всего произнести слова сочувствия, ободрения и утешения. С этой точки зрения интересно прочитать проповедь, которую Жак де Витри написал для земледельцев и ремесленников (*ad agricolas et operarios*). Но, читая ее, мы испытываем немалое разочарование. В ней нет никакого свидетельства сочувствия или симпатии, ни малейшего намека на бедствия сельских жителей. Проповедник просто начинает с того, что говорит им, какое доброе дело физический труд, ведь его вменяет в обязанность Священное Писание и без него государству не выжить. Он напоминает им, что из-за грехопадения Адама в наказание на его сыновей была возложена обязанность трудиться, и Господь сказал: «В поте лица твоего будешь добывать хлеб твой». Вне сомнений, он считает, что делает им великий комплимент, когда говорит: «Крестьянин, который трудится на земле с намерением нести это наказание, наложенное на человека Господом, заслуживает того же, что и священник, возносящий целый день в церкви молитвы или бдящий ночь до заутрени». И он заканчивает свою преамбулу следующим заявлением: «Я видал много бедных земледельцев, содержащих своим трудом жен и детей. Они больше трудятся, чем монахи в монастыре и клирики в своей церкви». Конечно же, подобное приравнение обездоленных землепашцев к духовенству уже было смелостью, за которую следует быть благодарным Жаку де Витри: таким образом он поднимал крестьянина в его собственных глазах.

Однако заметим, что он не жалеет его, не ищет теплых слов, способных ободрить в столь тяжелых условиях. Этот наставник душ в основном стремится исправлять недостатки, и его

проповедь — это сатира. И здесь он сразу находит больное место. Главный порок крестьян — корыстолюбие и жадность: вот что побуждает их совершать столько неправых поступков. Жак де Витри показывает им, как они губят свои души за клочок земли. Крестьянин заводит свой плуг на поле соседа, чтобы отрезать у него несколько борозд; подобное смещение границы позволяет и его скотине пастись там, где ей не положено. Он порицает всех крестьян за черствость, немилосердие сердца. Зачем запрещать нищим собирать остатки урожая в полях и виноградниках? Почему бы не дать неимущим малую часть от своего урожая, тем самым принеся ее Богу? Вместо того, чтобы подать милостыню, отдав свою старую одежду, они предпочитают ее сгноить. Когда же они нанимают батраков, то плохо обходятся с ними, не платят или задерживают плату. Но и у самих этих поденщиков нет совести: когда нанявший их крестьянин на месте, они торопятся и принимаются за работу, но когда он поворачивается спиной, они ничего не делают, *segnes sunt et otiosi*.

Однако не в этих упреках отражается то, что на самом деле волнует людей церкви больше всего. У них есть два других, суровых и много более серьезных упрека по отношению к крестьянину: прежде всего то, что он противится уплате десятины, а затем — что он не выполняет надлежащим образом свой религиозный долг. Например, он недостаточно почитает закон о воскресном отдыхе. Жаку де Витри приходится напоминать:

Берегитесь, как бы скупость не заставила вас работать по воскресеньям и в праздничные дни. В эту пору вы не должны выполнять сервильных повинностей, а обязаны трудиться лишь над спасением своей души. Вы не можете ни покупать, ни продавать, если только это не требуется вам в этот день на жизнь; а еще лучше вы поступите, ежели запасетесь покупками накануне. В праздничные дни не следует устраивать базаров, судебных разбирательств и заседаний судов. Даже животные должны отдохнуть, и их запрещается запрягать в воскресенье.

И проповедник добавляет поговорку, характеризующую эту эпоху:

Только если вам не удастся пахать и жать из-за врага, который всю неделю захватывает и убивает тружеников поля, тогда воскресенье остается вам для безопасного труда: ибо необходимость творит закон.

Но как узнать, какой день праздничный? Ведь их так много! А для этого, отвечает Жак де Витри, надо ходить всегда по воскресеньям в церковь: священники вам скажут, сколько праздников и какие следует отмечать. К несчастью, среди вас встречаются столь нерадивые, столь дикие, что редко заглядывают в церковь. Вот они-то и не ведают, когда наступают праздничные дни, и узнают о них только замечая, что на полях нет телег и не слышно треска срубаемых деревьев. Есть крестьяне, которые не только работают в праздничные дни, но, видя, как другие отправляются на мессу, пользуются этим, чтобы обокрасть отсутствующих: и, поскольку в полях и виноградниках нет никого, эти негодяи идут обирать виноградники и грабить сады своего ближнего.

Эти подробности о нравственности сельских жителей начала XIII в. весьма любопытны, но чего удивляться невысокому моральному уровню униженных серважем, каждодневным гнетом, вечным страхом людей? Священник, правда, очень свободных взглядов — тот, кто сочинил знаменитую поэму на латинском языке «Елена и Ганимед», в ту же эпоху заявил, что мужики, крестьяне являются лишь разновидностью скота (*rustici, qui pecudes possunt appellari*). Надо признать, что в отдельных случаях образ жизни и нравы несчастных отнюдь не могут поднять их в глазах господствующих классов. Сохранился интересный отрывок из трактата аббата Омона Филиппа Арвана о целомудрии клира, где он сообщает следующий факт:

В прошлом году некоторые из наших братьев были посланы в кое-какие области Фландрии, дабы защитить там интересы нашей Церкви. Дело было летом. Они увидели, что большая часть крестьян прогуливается туда-сюда по деревенским улицам и площадям совершенно без одежды, даже без штанов, чтобы не было так жарко. И вот, совсем голые, они занимались своими делами, не обращая никакого внимания ни на прохожих, ни на запрещения мэров. Когда наши братья с негодованием спросили их, почему они расхаживают обнаженными, как животные, они ответили: «Вы-то что? Вы нам не указ».

И аббат, вместо нравоучения, добавляет: «Меня удивляет не скотское бесстыдство сих мужиков, а целиком заслуживающая порицания терпимость тех, кто видит их и не мешает поступать подобным образом».

Очень надо было хозяевам земли и сеньории заботиться об образе жизни этого человеческого стада! Единственное, что их интересовало — служба и деньги, получаемые от него. Находящемуся на барщине и оброке предоставляли жить по-скотски, как ему хотелось: достаточно было, чтобы он справлялся со своими обязанностями. Большого от него не требовалось.

* * *

Непристойная и забавная, но весьма реалистическая литература, сказки и фаблио, является единственным, после проповедей, историческим источником, с определенной точностью сообщающим нам о материальном и моральном состоянии крестьянина. Все, что можно сказать, это то, что она к нему неблагоприятна — ведь это прежде всего литература городская, а горожане испытывали тогда к крестьянину то же презрение, что и феодалы. Так что рассказчики в основном подчеркивают физические и моральные уродства деревенских жителей. Прежде всего их показывают смешными и дурного телосложения. Вот как их отделяет автор фаблио об Алуле: «Один глаз у них косою, другой кривою и оба глядят в разные стороны; одна нога прямая, другая искривленная». Их неопрятность отталкивает. Один мужик, погонщик ослов, проезжает через Монпелье по улице Бакалейщиков мимо лавки, где слуги толкут в ступке душистые травы и пряности; вдохнув эти ароматы, к которым он не привык, крестьянин тут же падает в обморок. Дабы привести его в чувство, не находят ничего лучше, как поднести к его носу лопату навоза: погонщик приходит в себя, ибо тут он в своей стихии. Мораль же истории состоит в том, что «никто не должен выходить из своего естественного состояния». Позднее Рютбеф скажет в одном из своих фаблио, что дьяволу не нужны в аду крестьяне, потому что они очень плохо пахнут.

Насмешка в их адрес часто становится очень злой. Даже не допускается, чтобы им хотелось иметь хорошую пищу. «Говорят, что они едят чертополох, колючий кустарник, терновник и простую солому, а по воскресеньям сено. И будто бы видели, как они пасутся на равнинах вместе с рогатым скотом и ходят совсем голыми на четвереньках». Эти люди в высшей степени неприятны, вечно недовольны и злобны. «Все им не нравится, все вызывает досаду. Они бранят хорошую погоду и ненавидят дождь. Они отвращаются от Бога, если он не посылает им то, чего они

от него требуют». Их тупость переходит все границы, как, к примеру, тупость крестьянина из Байе, которого его жена приняла за мертвого. Они грубы и необузданны и обращаются со своими женами, как с вьючным скотом. Один из них таскает жену за волосы и бьет с удвоенной силой, не будучи в гневе, а просто из следующего соображения: «Надо, чтобы у нее было занятие, куда я буду в поле: бездельничая, она бы думала о дурном, а если я поью ее, она проплачет весь день, что позволит ей скоротать время, а вечером, по моему возвращению, она будет только нежнее». Впрочем, все это полностью согласуется с теорией авторов фаблю относительно женщины как существа низшего, которое можно бить и не кормить. Один рассказчик буквально так и говорит: «Бог создал женщину из ребра Адама; а кость не чувствует ударов и не нуждается в пище».

Тем не менее эти дикie натуры в некотором отношении интересны. Крестьянин фаблю не всегда бездеятелен: порой его изображают жизнерадостным, изворотливым, дерзким даже со знатью, простаком, который умеет отыгаться. Одна из таких сказок выводит на сцену сеньора, хлебосольного и гостеприимного; подобная щедрость приводит в ярость его алчного и ворчливого сенешаля, принимающего всех проходящих в предурном настроении. Он замечает уродливого грязного крестьянина, который не знает, где сесть, грубо бранит его и в конце концов дает ему затрещину, *buffe*, говоря: «Присядь на этот сундук (*buffet*)», ибо слово *buffe* имеет два значения. Тем временем сеньор предлагает автору наилучшего фарса в качестве вознаграждения платье красного сукна. Жонглеры и сказители начинают отпущать шутки и петь. Вдруг крестьянин, которому наконец удалось пообедать, подходит и закатывает крепкую затрещину сенешалю. Небывалый скандал! Сеньор задает грубияну вопрос. «Сеньор — отвечает тот, — послушайте меня. Только что, когда я сюда входил, мне повстречался ваш сенешаль. Он дал мне сильную пощечину, а потом злобно велел мне пойти и сесть на этот „шкаф“, заявив, что он мне его уступает. И вот теперь, когда я поел и попил, сир граф, что же мне остается делать, как не возратить ему его пощечину. И вы видите, что я готов отпустить ему еще одну, если этой недостаточно». Сеньор рассмеялся и пожаловал крестьянину награду.

Другой крестьянин, которого святой Петр отказывался впустить в рай под предлогом того, что рай не создан для ему

подобных, показывает, как хорошо подвешен его язык. Он горячо порицает апостола, упрекая его в твердости, превосходящей камень, и троекратном отречении от своего Учителя. Святой Павел, посланный образумить незаконно вторгшегося, был принят не лучше: крестьянин называет его страшным тираном и напоминает, что тот повелел забросать камнями святого Стефана. Наконец вмешивается сам Бог-Отец, и мужик, не смущаясь, излагает ему свое дело: «Покуда мое тело жило на этом свете, оно вело честную и чистую жизнь. Бедным я подавал хлеб и обогревал их у своего очага; я не отнимал у них ни штанов, ни рубахи. Я исповедовался по всем правилам и получал должным образом причастие. Тому, кто умер при подобных обстоятельствах, как говорили нам в церкви, Бог прощает все грехи. Вы не отступите от своих слов». — «Крестьянин, — сказал Бог, — жалею тебя: ты со своей защитительной речью заслужил себе рай; хорошую школу ты прошел и умеешь складно говорить».

Здесь крестьянин играет положительную роль. Он же герой и другого рассказа, озаглавленного «Констан дю Амель», в котором он сопротивляется всем деревенским властям и торжествует над теми, кто хочет его одурачить и посмеяться над ним. Еще нигде наши авторы не рассказывали более живо и точно о двойном и тройном притеснении, от которого деревенское население страдало повсюду. У некоего селянина, Констана дю Амеля, такая красивая и мудрая жена, что ее желают три местных самодура — кюре, прево и лесник. Однажды трое претендентов собираются в кабаке и, выпив, устраивают заговор, дабы заставить пасть ту, что им сопротивляется, и уничтожить ее мужа. И вот что за хитроумное средство придумывает приходской священник. Он начинает преследовать Констана и во время проповеди в заполненной церкви обвиняет его в женитьбе на собственной куме. Констана отлучают, выгоняют из храма, и анафема снимается лишь после уплаты суммы в семь ливров. В виде исторического комментария надо отметить, что одна из статей Руанского собора 1189 г. обвиняла приходских священников в скандальном злоупотреблении правом изгонять из церкви и лишать таинств прихожан, которые не нравились или тех, из кого клирики хотели извлечь пользу. Так что средство, употребленное нашим кюре из фаблио, было в обычае.

Прево, в свою очередь, вызывает несчастного крестьянина на свой суд, и тут происходит сцена, которая, по-видимому,

весьма часто имела место в исторической действительности. Прево начинает с приказа заковать мужика и угрожает ему еще худшей участью: «Вас повесят». Потом он говорит своему слуге Ключьяру: «Быстро ступай и скажи моему сеньору, что я схватил негодяя, кравшего его пшеницу». — «Ах, сир прево, — восклицает Констан, — спаси меня Бог, я не виновен». Прево отвечает: «Это пакля, которой ты хочешь заткнуть мне рот — по следу просыпанного краденого зерна дошли до самого твоего сада». — «Сеньор, — говорит крестьянин, — это мои враги приписывают мне такое преступление; но прежде чем откроется правда, возьмите мое имущество, дабы уладить все миром». — «И что же ты дашь моему сеньору, если я освобожу тебя?» — «Сир, я дам ему двадцать ливров». — «Ну хорошо, можешь вернуться к себе домой». В фаблио все прево похожи друг на друга и одинаково нагло грабят своих подчиненных. Их изображают выскочками, скупыми, алчными и грубыми по отношению к беднякам; один из них, приглашенный к столу своего сеньора, тайком прячет еду для своей завтрашней трапезы; другой отвечает бедной женщине, у которой отнял двух коров: «Право же, старуха, я вам верну их, когда вы мне заплатите свою долю полновесными денье, спрятанными у вас в горшке». Это просто разбойники.

И вот, наконец, лесник, «тот, кто охраняет леса сеньора» — «очень красивый и величественный, вооруженный луком и мечом». Лесник обвиняет Констана дю Амеля в том, что тот ночью срубил в хозяйском лесу три дуба и бук. Невинный в негодовании выходит из себя, но лесник, угрожая обнаженным мечом, велит забрать его быков, и Констану за мнимое правонарушение приходится заплатить сто су. По многочисленным историческим текстам этой эпохи известно, что лесник был одним из самых страшных и ненавистных сеньориальных служащих для сельского люда, отягощаемого его штрафами. В письме, адресованном одному из друзей, Петр Блуаский горячо порицает его за то, что тот состоит писарем при королевских лесниках и кичится своим положением: «И вы собираетесь корпеть над записями тиранских вымогательств, жертвами коих являются бедные люди? Знайте же, что несчастные, внесенные в штрафные списки, заставят Господа вписать вас в книгу смерти».

Прево и лесники, все эти служащие, агенты или арендаторы сеньора, которые душат поборами крестьян, являются, возможно, главным источником их страданий, их самым тяжким бичом.

Проповедник Жак де Витри в проповеди «к знати» сравнивает их то с пиявками, в свою очередь выжимаемыми сеньором, чтобы заставить их извергнуть награбленное, то с вороньем, кружащим над трупом, обобранным их хозяином, в ожидании возможности доесть остатки. И это тоже историческая правда.

По понятным причинам мы не будем рассказывать, как жене Констана дю Амеля и ее служанке удалось заманить к крестьянину одновременно всех трех персонажей, желавших его погубить: как они все трое в более чем легкой одежде оказались в бочке с перьями и как крестьянин, полностью отомстив своим врагам, выпустил их, спустив на них всех деревенских собак. Нас интересует не столько победа (довольно редкая) крестьянина над своими мучителями, сколько подробное описание методов угнетения и картина сеньориального вымогательства.

Мы знаем и другой, намного более подробный, датирующийся, по всей вероятности, началом XIII в. документ, озаглавленный «Поэма о версонских вилланах». По правде говоря, рассказ не имеет никакого отношения к фаблю, разве что написан, как и многие из них, восьмисложным стихом. Это поэма в двести тридцать пять стихов, которую обнаружили в одной описи из архивов Кальвадоса. Она сообщает нам о восстании в деревне Версон, захотевшей освободиться от барщины и повинностей, которые она выполняла в пользу аббата Мон-Сен-Мишеля. Автор, настроенный враждебно по отношению к народному движению, приводит лишь туманные и немногочисленные сведения об этом восстании, но он прилагает бесконечное перечисление повинностей, ложившихся на крестьян. Красноречивее рассказа о страданиях сельского населения, чем этот простой перечень, нет.

На святого Иоанна версонские крестьяне должны были косить луга сеньора и возить в манор сено. Затем они обязывались чистить рвы. В августе наступало время отработочной ренты, сбора урожая зерна, который надобно свезти в ригу. С их же собственных земель взимают шампар (полевую подать) — они идут за сборщиком налогов, который увозит их снопы на своей тележке. В сентябре они вносят подать свиньями: если у них восемь свиней, то две лучших они отводят к сеньору, который выберет не самую худшую, а за каждую из остальных семи они платят по денье. На святого Дионисия крестьяне платят чинш, потом вносят плату за разрешение огородить свои поля. Если они продают

землю, сеньор имеет право на тринадцатую часть суммы. С наступлением зимы возникает новая повинность — им надо приготовить сеньориальную землю к севу, взять зерно для посева, засеять и пройти бороной по каждому клочку земли. На святого Андрея, за три недели до Рождества — повинность пирогами «в личные покои». На Рождество они относят сеньору кур, и если те не «добрые и жирные», прево забирает их залогом, ибо каждый крестьянин вносил в превотство залог, который забирали в случае попытки уклониться от своих обязанностей. Затем крестьяне платят подать из двух сетье ячменя и девяти четвертей пшеницы.

Неумолимый список продолжается. Если версонский крестьянин выдает замуж дочь вне сеньории, он платит три су, и автор поэмы спешит заметить, что некогда крестьянин «приводил свою дочь за руку и передавал ее своему сеньору». Но заметим, что здесь, как и в значительной части других текстов, знаменитое право сеньора на «первую брачную ночь» упоминается только в связи с обычаями минувших времен. На Вербное воскресенье вносят налог овцами, и если крестьяне в этот день не могут заплатить, то отдаются на милость сеньора. На Пасху новая повинность: надо опять идти за зерном, сеять и боронить. Потом крестьяне отправляются в кузницу подковать своих лошадей, ибо наступает время ехать в лес рубить дрова; но тут им дают «хорошую плату», как говорит поэт — по два денье в день. Наконец, они выполняют извозчичью повинность.

Последняя страница поэмы напоминает крестьянам, что они обязаны нести подати за пользование мельницами и печами. Мельник берет с них меру зерна, совок муки, и чем больше «пригоршня», тем больше он имеет прав требовать службы по перетаскиванию мешков. Наконец, описывается, как жена крестьянина идет печь хлеб и пироги в общей печи, приносящей доход феодалу. Но жена пекаря вечно не в настроении, «заносчива и горда», а сам пекарь брюзжит. Он говорит, что ему не платят положенного, клянется зубами Господа, что печь будет плохо истоплена и он не спечет доброго хлеба, что хлеб неважно пропечется и будет «плохо выглядеть».

Казалось бы, перечисление этих налогов, поборов и страданий, которые они доставляли, должно взволновать того, кто их описывает. Но нет, напротив, он негодует и угрожает: «Ступайте и заставьте их заплатить. Подите и заберите их лошадей, коров

и телят, ибо мужики чрезвычайно коварны». И его последние слова таковы: «Сир, знайте, что под небесами я не встречал более подлого люда, чем версонские крестьяне». Феодалы не довольствовались угнетением крестьянина — они хвастали своими бесчинствами и не понимали, что жертва может попытаться сбросить ярмо.

* * *

Тем не менее далеко не везде крестьяне мирились со своим жалким положением, подобным положению животного, которое живет и умирает там, где привязано. Часто они стремились избавиться от него, изменить свою участь, что достигалось тремя различными средствами: крестьянин мог убежать из сеньории и спрятаться в соседней; он отказывался от уплаты налогов, восставал и силой завоевывал полное или частичное освобождение; наконец, он мог купить освобождение, привилегии у сеньора и получить хартию вольности мирным путем. Последнее же за ним этими тремя разными путями и посмотрим, к чему он придет.

Сначала — уход из сеньории, бегство, переселение отдельных лиц или даже целого народа: это случалось в Средневековой Франции гораздо чаще, чем порой думают. Нам кажется, что крестьянин того времени неподвижен, прикован к своему полю. Однако же все обстоит иначе, и при внимательном рассмотрении документов мы можем отметить очень активное и интенсивное передвижение сельского населения. Оно было тогда много менее оседлым, более кочующим, чем сегодня. Наряду с классом оседлых земледельцев не только существовал класс земледельцев бродячих, распахивающих новь — «госпитов», сделавших своим занятием передвижение из леса в лес, но категория таких «госпитов», вне сомнения, всегда пополнялась бежавшими от серважа крестьянами. Подобные побегы, отдельные или массовые перемещения, переходы из одной сеньории в другую были делом настолько частым, что, начиная с XII в., некоторые местные законы, особенно в Бургундии и Франш-Конте, в конце концов разрешили крестьянину покидать фьеф, к которому он принадлежал, при двух условиях: он отказывался от всего своего имущества, движимого и недвижимого, и должен был уходить голым из сеньории; и затем актом, называвшимся «отказ», он уведомлял своего сеньора о намерении признать

себя подданным другого. Но, думается, этот обычай не стал всеобщим, и такая законная льгота, предоставляемая переселенцам, была неприемлема для большей части феодальных собственников.

Итак, чтобы вырваться от них, другого средства, как бросить фьеф и бежать, не было. Но положение беглого серва, в отношении которого хозяин и его служащие всегда могли осуществить свое право преследования или возвращения, продолжало оставаться достаточно тяжелым. Сеньоры объединялись, чтобы помешать сервам бежать: они заключали соглашения, по которым предоставляли друг другу право преследовать беглых крестьян на принадлежащих им территориях и обещали не удерживать соседского серва. Так, Филипп Август подписал с сеньором Сюлли-сюр-Луар в 1187 г., а с графиней Шампанской в 1205 г. соглашения, по которым договаривающиеся стороны поклялись не укрывать чужих сервов и выдавать их. В 1220 г. королевские служащие, проживавшие в Шартре и близлежащих областях, получили от короля циркуляр, составленный следующим образом:

Филипп, Божией милостью король Франции, ко всем бальи и прево, кои получают послание, с приветом. Приказываем вам сим указом задерживать сервов Абонвиля, Буавиля и Жерминьонвиля, которые отказываются повиноваться нашему дорогому и верному аббату монастыря Бога-Отца в Шартре. Вы можете хватать их повсюду, где найдете, за исключением кладбища, церкви и святого места. Держите их под крепким замком и освободите только тогда, когда аббат Бога-Отца попросит вас об этом.

Несмотря на подобные объединения сеньоров, побегов и переселений становилось все больше: помешать крестьянину покинуть свою сеньорию было настолько трудно, что сеньоры, вместо того, чтобы пресекать бегство серва и заключать его в тюрьму, решили позволить ему перемещение и даже поселение на чужой земле. Феодалы лишь подписывали между собой договоры о «переезде» и «обмене» (*percursorus* или *intercursorus*). Это было великодушнее и безопаснее. Договаривающиеся стороны предоставляли друг другу право удерживать своих сервов и возмещали убытки путем их обмена. Такие договоры об обмене многочисленны в эпоху Филиппа Августа. Достаточно привести договоры, заключенные в 1204 г. герцогом Бургундским

и графиней Шампанской и в 1205 г. графиней Шампанской и графом Неверским Пьером де Куртене. Но такой договор порой становился обыкновенным надувательством, особенно когда одним из подписавших его был французский король: поскольку королевские земли были спокойнее и меньше подвергались разбою, сервы светских и церковных сеньоров стекались на них, а соседние с капетингским доменом сеньории пустели в пользу сеньории короля.

На самом же деле, несмотря на договоры и клятвы, сеньоры делали все, чтобы увести друг у друга сервов, привлечь и удержать чужих крестьян и помешать им уйти. И в этом малопочтенном занятии король Филипп Август отличился более, чем кто-либо другой. То же, что делал в своем домене он, делал каждый барон и в своем: речь шла о том, чтобы как можно больше заработать и как можно меньше потерять. Когда Филипп Август в 1205 г. подписал договор об обмене беглыми крестьянами с графиней Шампанской, последняя начала жаловаться, что якобы сервы массово бегут в Димон, свободный королевский город, король же заявил, что сохранит за собой всех, укрывшихся до подписания договора. В 1212 г., когда епископ Неверский тоже пожаловался, что его земля лишается сервов в пользу короля, Филиппу было угодно предложить ему следующий пункт договора: «Если епископский серв придет жить в наш домен, мы повелеваем схватить его и после дознания о его положении, ежели будет доказано, что он принадлежит епархии, передать его епископу». Но он оставляет за таким сервом право откупиться, дабы остаться в качестве свободного на королевской земле, и оговаривает, что епископ получит только половину суммы, составляющей выкуп, другая же половина отойдет к королю. Таким образом Филипп Август не только извлекал выгоду из присутствия в своем городе не принадлежавшего ему человека, но еще и находил средство заставить его заплатить за преимущество быть королевским подданным. Это же любопытное соглашение 1212 г. содержит еще одну статью, чуть ли не самую выгодную для королевской власти. Многие сервы Неверской епархии некогда укрылись в королевских городах Бурже и Обиньи-сюр-Шер. Епископ не стал требовать их возвращения, но просил, чтобы беглецов хотя бы заставили внести выкуп и он смог бы получить по договору половину суммы, уплаченной освободившимися. Нет, отвечает

Филипп: это соглашение не распространяется на них ввиду истечения срока давности. Вот так французский король смотрел на дело.

Таким образом, сами сеньоры часто способствовали переселению простолюдинов, чтобы обогатиться за счет соседа. Крестьянину даже не надо было далеко идти, чтобы избавиться от своего хозяина: достаточно было сбежать в соседнюю местность, в коммунальный город или же в один из новых городов — этих убежищ, пребывание в которых давало волю либо сразу, либо по истечении года и дня.

В крайнем случае можно было оказывать противодействие отдельным побегам и ловить беглецов, но когда все обитатели какого-либо округа желали сообща переселиться, удержать их было нелегко. В 1199 г. приготовились к массовому переселению жители острова Ре, доведенные до отчаяния неукоснительностью, с какой сеньор Молеона пользовался своим правом охоты, во время которой дикие звери вытаптывали посевы и виноградники. Чтобы их удержать, Рауль де Молеон «милостиво» пообещал за уплату ими десяти су, четвертую часть винограда и сестье урожая с земли не охотиться больше на острове ни на какую дичь, кроме зайцев и кроликов.

* * *

Когда же сеньор оставался непреклонным, его земля пустела: уходила вся деревня или даже весь округ. В 1204 г. сервы Ланской епархии в огромном количестве переселились на территории соседнего сеньора, Ангеррана де Куси. Беглецов там хорошо приняли, но епископ Ланский заявил протест. В королевском суде он доказал, что никогда не подписывал договора с сеньорией Куси, а посему последняя не имела права удерживать у себя его сервов. Крестьянам Лана пришлось вернуться в епископский домен.

Не всегда те, кто хотел бы, бежали; но, как бы то ни было, побегов было все больше и больше, так что многие сеньоры того времени наконец поняли, что единственное и действенное средство их предотвращения заключается в смягчении повинностей.

Когда у селян не было намерения переселяться, а сеньор отказывался уступить, они прибегали к отказу платить подати и к открытому мятежу. Документы времен Филиппа Августа доказывают, что крестьянин все чаще и чаще уклоняется от обязанностей. С особым трудом происходит сбор десятины, потому что

получающая ее Церковь вооружена для этого много хуже, нежели светский сеньор; она не располагает достаточными средствами подчинения для плательщиков. Руанский собор в 1189 г. напоминает верующим их обязанности:

Повсюду есть множество людей, отказывающихся платить десятину; им делается три предупреждения, дабы они полностью заплатили взимаемую зерном, вином, плодами, приплодом скота, сеном, льном, пенькою, сыром и вообще всеми производимыми ежегодно продуктами десятину. Если третье предупреждение окажется тщетным, они будут отлучены.

«Надобно, чтобы все платили десятину», — говорит Авиньонский собор 1209 г.; «чтобы она вносилась прежде всякого другого налога», — добавляет собор Латеранский 1215 г. Письмо папы Целестина III епископу Безье сообщает о требованиях некоторых крестьян, которые, будучи приставленными к перевозке продуктов десятины в жилище приходского священника, додумались вычестить из нее транспортные расходы. Папа приказывает епископу отлучить их, если будут упорствовать. Гонорий III в 1217 г. позволяет каноникам Магелона отлучить от Церкви тех из подчиненных им крестьян, которые не вносят полностью обычные десятины или удерживают часть под предлогом покрытия расходов на сев, обработку земли или жатву.

Подобные факты весьма показательны. Не без основания проповедники с кафедр возмущаются крестьянами, не платящими десятину. Вот — Жак де Витри с проповедью, адресованной земледельцам и ремесленникам:

Есть среди вас и те, кто, рискуя спасением своей души, удерживают из алчности церковную десятину. Они не только воры, они святотатцы: десятина является собственностью Бога и Его советников, и ее должно платить, как писано и в Новом, и в Ветхом Завете; десятина есть чинш, которым вы обязаны Богу, знак Его вселенского господства. Те, кто хорошо платит ее, становятся врагами дьявола и друзьями Божиими; те же, кто ее задерживает, не только подвергают опасности свою бессмертную душу, но и рискуют потерять в этом мире все свое имущество — Бог пошлет на них засуху и голод, в то время как тем, кто платит, всегда будет в достатке изобильных лет.

И церковные, и феодальные сборщики налогов жалуются, что поступления уменьшаются, и, дабы облегчить их труды,

парижский епископ Морис де Сюлли в одной из проповедей советует жителям своего диоцеза быть обязательнее:

Люди добрые, воздавайте своему земному сеньору то, что вы ему должны. Надо верить и понимать, что вы обязаны ему чиншами, налогами, подрядами, службами, извозом и поездками. Отдавайте все, в назначенное время и сполна.

Но часто Церковь вотще призывает крестьян покориться. Когда сеньор отказывается от всяких уступок, когда он жестоко расправляется с неплательщиками, их ожесточение зачастую доходит до актов мщения и мятежей. Жак де Витри пытается предостеречь феодалов от возможных последствий их насилий и гнета: «Отчаяние — опасное дело, — говорит он, — мы видим, как сервы убивают своих сеньоров и предают огню замки». Бенуа де Сен-Мор, историограф герцогов Нормандских, писавший на исходе XII в., сравнивает настоящее с минувшим, когда напоминает о бунте нормандских крестьян XI в., издавших такие гневные крики:

«Глупыми и безрассудными были мы, что так долго гнули шею. Ибо мы люди сильные и жестокие, более выносливые и мощные, много более крепкого телосложения и здоровее, чем они, или не хуже. На одного из них приходится сотня нас».

Вне сомнения, так же рассуждали и в начале XIII в. нормандские крестьяне деревни Версон, плачевное положение которых мы уже видели, пытавшиеся восстать против своего сеньора, аббата Мон-Сен-Мишеля. Неизвестно, удалось ли им это; но попытки такого рода происходили повсюду.

Между 1207 и 1221 гг. в одном архидьяконстве орлеанского диоцеза крестьяне отказались платить десятину шерстью. Епископ Орлеанский Манассия де Сеньеле решил заставить их с помощью церковного отлучения. Разъяренные крестьяне устроили заговор против епископа и однажды ночью поднялись как один человек (*quasi vir unus*), по словам хрониста епископов Осерских, и осадили владыку в замке, где тот отдыхал. Они бы убили епископа, но ему удалось спастись, и впоследствии он заставил их поплатиться за бунт.

В 1216 г. крестьяне Ньепора, близ Дюнкерка, столкнулись с канониками Сент-Вальбуржа в Фюрне по поводу десятины на рыбу. Когда посланцы капитула явились за ней, крестьяне

набросились на них и убили двух священников; еще один клирик был серьезно ранен. Отлученные церковными властями, они в конечном счете вернули милость Церкви, но — какой ценой!

Самые виновные, числом двадцать пять, старейшины деревни или простые жители, должны были в течение года совершить паломничество за море и вернуться только в конце года, поприсутствовав за свой счет на процессиях в двадцати шести различных церквях, одетыми в одни штаны, босыми и несущими розги, коими их наказывали. Сто прочих лиц, в том числе и именитых, также должны были участвовать в этих шествиях. Коммуна Ньепора обязывалась построить три часовни, дать пятьдесят ливров на один женский монастырь, возместить ущерб родственникам убитых священников, как если бы они принадлежали к знатному роду, наградить также за понесенный урон раненого священника, возвести для графа Фландрского крепость стоимостью в тысячу ливров, дабы предотвратить новые смуты, и, наконец, выдавать графу Фландрскому по сорок ливров ежегодно в памятный день убийства.

В некоторых областях Франции вооруженные восстания крестьян преследовали особую цель. Они стремились уподобиться жителям крупных предместий и городов, организуясь в коммуны. Именно поэтому папа Целестин III в 1195 г. запретил сервам Парижского собора Богоматери составить «коммуну», то есть заговор против капитула.

В конце правления Филиппа Августа деревня Меньер, расположенная близ Гамаша и зависящая от Корбийского аббатства, приняла коммунальную «конституцию», не спросив у аббата разрешения (в котором ей, вероятно, было бы отказано). Предупрежденный аббат отправился в новую коммуну, где его отказались принять и даже грубо выставили. Освободившиеся крестьяне присоединили к своей коммуне соседнюю деревушку, наложили на нее налог, потом схватили священника, находившегося на их территории, и дурно с ним обходились. Аббат Корби вызвал их на третейский суд, в котором арбитрами выступили духовные лица, осудившие крестьян: коммуну постановили упразднить, а на восставших наложили штраф в сто марок (1219 г.).

В том же году жители Шабли, подданные капитула святого Мартина Турского, тоже попытались основать коммуны. Они объединились, принесли присягу и уничтожили подати. Турские

каноники заставили немедленно вмешаться бальи Филиппа Августа и графа Шампанского. Коммуна Шабли исчезла.

Ни вооруженный мятеж в Версоне, ни выступления в Меньере и Шабли не известны нам по хроникам. Только случай дал нам в руки из тысяч пергаментных грамот, утерянных ныне документов, три хартии, которые в нескольких строках сообщают о неудавшихся выступлениях крестьян. Не будь этой случайности, историки ничего и никогда бы о них не узнали. Ничто не мешает предположить, что многие другие восстания того же рода потерпели неудачу, а те, которые можно теперь считать успешными, являлись исключением.

Однако среди них есть и такое, о котором историки рассказывали, причем даже в некоторых подробностях: это вооруженное восстание сервов Ланской епархии, охватившее восемнадцать деревень, центром которого стал Анизиле-ле-Шато и которое распространилось на территорию в двадцать четыре квадратных километра. Правда, это восстание продолжалось восемьдесят лет; оно началось в правление Людовика VII и закончилось только в середине правления Людовика Святого. Правда и то, что крестьяне боролись против объединенных сил светских феодалов и Церкви и что время от времени союзниками их становились французские короли. Именно благодаря этому обстоятельству мы можем узнать об этой попытке. Их история является наиболее назидательным примером настойчивых и энергичных усилий, посредством которых деревенское население пыталось добиться свободы.

В 1174 г. Людовик VII дал сервам Ланской области коммунальную хартию, точно такую же, какая была у горожан Лана. Епископ Ланский Роже де Розуа с помощью сеньоров области отыгрался через три года: он окружил сервов близ местечка Компорте и устроил там неслыханную бойню. Когда Филипп Август в 1180 г. стал королем, несчастные крестьяне уже попали под гнет своего епископа. В 1185 г. его требовательность и вымогательства стали до такой степени невыносимыми, что они решились принести свои жалобы королю. Филипп Август, державший зло на епископа, выступил посредником: он зафиксировал размер податей, взимание которых со своих подданных епископ подтвердил, и размер повинностей, которые выполняли сервы по отношению к епископским служащим, виду и прево. Более того, король учредил двенадцать старейшин, избранных из числа крестьян,

которым было поручено раскладывать налоги и разбирать разногласия, возникающие между ними самими или с епископом. Апеллировать по решениям этих магистратов, назначенных королем, можно было только к королевскому суду.

Крестьяне Лионской области просили большего — коммуны. Еще в 1185 и 1190 гг. при обстоятельствах, нам неизвестных, Филипп Август даровал им такие права. Однако же, отъезжая в крестовый поход в 1190 г. и желая угодить духовенству, он их отобрал. Но упорство крестьянина, желающего освободиться, было по меньшей мере равным упорству духовенства, хотевшего остаться хозяином. В начале XIII в. семнадцать крестьян, все еще жестоко угнетаемых, сделали попытку переселиться все вместе на землю соседнего сеньора, Ангеррана де Куси. Она не удалась. Два года спустя, в 1206 г., сервы ланского края воспользовались внезапно вспыхнувшей ссорой епископа с капитулом Лана. Они нашли возможность заручиться покровительством каноников. Последние же, став защитниками народного дела против епископа, в судебном порядке обвинили Роже де Розуа в плохом обращении со своими подданными и взимании с них незаконных поборов. Этот процесс разбирался епископским капитулом Реймса, выступившим третейским судьей. Судьи вынесли решение, ставшее для епископа катастрофой. Они удовлетворили крестьян и вернули дело к положению 1185 г. Они припомнили решение Филиппа Августа, определявшее максимум налогов, изымаемых епископом, и постановили, чтобы в случае недоразумений между епископом и крестьянами разбор распрей производился ланским капитулом. Это означало установление опеки над епископом его собственными канониками. Роже де Розуа был так глубоко унижен всем этим, что заболел и некоторое время спустя умер.

И все-таки мятежные выступления сельского населения редко приносили положительный результат, и в общем крестьянин страдал от них больше, чем сеньор. Горожане, сильные своей численностью и защищенные стенами, могли добиваться свободы силой; крестьяне же, не имевшие возможности сопротивляться, осуждались правосудием или без раздумий уничтожались. Так что часть сервов, свободных земледельцев и «пришлых», предпочитала добиваться тех свобод, в которых они нуждались, мирным путем, преимущественно покупкой хартий. В эпоху Филиппа Августа наблюдается значительный рост количества хартий

вольности, предоставляемых сеньорами не только городам и горожанам, но и селам, простым деревушкам, то есть крестьянам.

Очевидно, в большинстве случаев сеньором, который даровал свободу и тем самым ограничивал собственную власть, двигал непосредственный денежный интерес: крестьяне предоставляли ему ренту или одновременно уплачиваемую сумму. Случалось и так, что сеньор признавал насущную необходимость заселения территорий своего фьефа, опустевших из-за его собственных вымогательств, или же боялся, что его сервы покинут землю, чтобы переселиться в соседнюю сеньорию или в многочисленные вольные города. В этом случае он сам освобождал своих крестьян. Очень редко он действовал исключительно под влиянием человеколюбия или религиозных чувств, чтобы облегчить спасение своей души (*pro salute animae, pietatis intuitu*). Широту взглядов сеньор проявлял, как правило, исходя из собственных интересов.

В некоторых областях феодалы, не желая вступать с крестьянами в борьбу, терпели союзы деревень, вроде тех, какие существовали у сервов Ланской области, и позволяли им объединяться в коммуны. Филипп Август покровительствовал сельской агломерации Серни-ан-Лаонне (1184 г.), а аббат ланской обители святого Иоанна по примеру короля разрешил объединение Гранделена (1196 г.). В конце XII века графы Понтье позволили основать или сами основали союзы бургов Креси, Кротуа и Маркантера. Это любопытное применение принципа союзничества было воплощено уже во времена Людовика Толстого, но лишь эпоха Филиппа Августа выявила всю его значимость. Односельчане объединялись между собой под присягой; многочисленные сельские коммуны, приведенные ко взаимной присяге, составляли устойчивые корпорации со своими мэрами, своей юрисдикцией, своими органами правопорядка, казной и печатью. Составные части подобных федераций различались как по качеству, так и по количеству. Некоторые сельские коммуны были образованы из мелких деревень; другие состояли из достаточно плотно населенной деревни или даже предместья, собравшего под своим верховенством некоторое число деревушек. Здесь объединение состоит из трех-четырех деревень, там оно охватывает пятнадцать бургов. Вообще же такие деревенские группы складывались по типу большой городской коммуны, соседней с ними, без поддержки которой их учреждение, конечно, не обходилось.

Однако подобная форма освобождения деревенского населения возникала нечасто и не во всех провинциях. Большая же часть деревень покупала или получала от своих сеньоров индивидуальные вольности, которые хотя и не предоставляли им таких же свобод, но все-таки улучшали их положение, ограждая от самых унижительных и тяжелых вымогательств.

На исходе XII в. и в начале XIII в. более всего была распространена хартия Лорриса. В то время как Людовик VII и Филипп Август раздавали ее достаточно щедро и по всему королевскому домену, вплоть до Ниверне и Оверни, сеньоры Куртене и Сансера дали ее в своих областях (Монтаржи, Майи, Ла-Сель в Берри, Ла-Шапель-Дам-Жилон, Маршенуар и пр.), и даже графы Шампанские ввели ее в Шомон-ан-Бассини и в Эври. Но ее влияние, особенно на уменьшение судебных штрафов, чувствуется и в большей части договоров, все чаще заключававшихся крестьянами и все явственнее определявших их взаимоотношения.

В 1182 г. архиепископ Реймский Гийом Шампанский даровал маленькому бургу Бомон, что в Аргонне, хартию, которая послужила образцом для большей части хартий вольностей, предоставлявшихся в сельской местности графами Люксембурга, Шини, Бара, Ретеля и герцогами Лотарингии. В Шампани она соперничала с хартией Суассона и законом Вервье. Она не только давала крестьянам широкие вольности, но предоставляла им нечто вроде автономии, права свободно избирать представителей, старейшин, мэра и свободу пользования лесами и водами. Но сеньоры, принимавшие и распространявшие закон Бомона, проявляли не большую щедрость, чем его основатель: то они оставляли за собой право назначения мэра, то соглашались делить это право с крестьянами; повсеместно, если в назначенный для выборов день поселяне не договаривались об избрании своих должностных лиц, таковых назначал сеньор.

Прочие «конституции», менее распространенные, чем хартии Лорриса и Бомона, мало-помалу изменяли социальное и экономическое состояние деревень. Должности деревенских старейшин были учреждены в доменах графства Шампанского и реймских церквей. Деревня не являлась юридическим лицом, но имела представителя в лице мэра. Старейшины, исполнявшие все функции местной администрации и правосудия (например, в Аттини, хартия которого относится к 1208 г.), не были выборными. Крестьяне оставались подчиненными сеньору, но

надежнее ограждались в плане налогов и барщин от своеволия хозяина.

* * *

Если современные Филиппу Августу хронисты говорят о крестьянах только от случая к случаю и лишь для того, чтобы сообщить о некоторых восстаниях, встревоживших общественные власти, то умолчать о значительной роли, которую начали тогда играть бюргеры и города, они не могут. Произведение Гийома Бретонца изобилует описаниями городов. Во Фландрии это — Гент, «гордый своими украшенными башнями домами, богатствами и многочисленным населением; Ипр, славящийся окраской шерсти; Аррас, древний город, полный богатств и жадный до наживы; Лилль, хвастающий своими щеголями-купцами и сверкающий среди иностранных королевств сукнами, кои он окрашивает и кои приносят ему состояния, которыми он кичится». В Нормандии — Руан, Кан, роскошный город, «настолько полный церковей, домов и жителей, что считает себя немногим ниже Парижа»; на равнине Луары — Тур, «расположенный между двух рек, приятный из-за окружающей его воды, богатый фруктовыми деревьями и зерном, гордящийся своими горожанами и могущественный своим духовенством, украшенный личным присутствием [мощей] пресвятого и знаменитого прелата Мартина; Анжер, богатый город, вокруг которого простираются поля, засаженные виноградом, кои снабжают вином нормандцев и бретонцев; Нант, разбогатевший на луарской рыбе и торгующий с дальними странами лососем и миногой».

Монах из Мормонтье, который написал около 1209 г. краткое изложение церковной истории Турени, охотно описывает город Тур, где богатство бьет через край. Он восторгается прекрасными, подбитыми мехом одеждами жителей, их домами с зубчатыми стенами и башенками, великолепием их стола, роскошью золотой и серебряной посуды. Щедрые к святым и Церкви, великодушные к бедным, они преисполнены всеми добродетелями: скромностью, верностью, образованностью, воинской доблестью. Что же до жителей Турени, то «среди них столько красивых и очаровательных, что правда здесь превосходит любой вымысел и женщины из других краев по сравнению с тамошними просто уродливы. Изящество и богатство их туалетов еще больше усиливает их красоту, опасную для всех, кто их лицезрит; но они

пребывают под защитой своей нерушимой добродетели, и сии розы так же чисты, как лилии».

Ригор и Гийом Бретонец часто упоминают Париж, его улицы, мосты, церкви, рынки и базары. Они рассказывают о его крепостных стенах, о башне Лувра и двух Шатле. И вспоминается восторженное описание Парижа, составленное между 1175 и 1190 гг. Ги де Базошем:

Я в Париже, в этом королевском городе, где изобилие естественных благ удерживает не только живущих в нем, но зазывает и привлекает тех, кто далеко. Подобно тому как луна превосходит яркостью звезды, так и сей город, резиденция королевской власти, поднимает гордо свою голову над всеми прочими городами. Он раскинулся в глубине очаровательной равнины, в центре венца из холмов, кои, состязаясь, украсили собою Церера и Вакх. Сена, эта великолепная река, несет там свои полные воды и окружает двумя рукавами остров, являющийся главой, сердцем, мозгом всего города. Направо и налево простираются предместья, наименьшее из которых вызвало бы зависть многих городов. Каждое из этих предместий соединено с островом двумя каменными мостами: Большой мост направлен на север, в сторону Английского моря, а Малый — на Луару. На первом — широком, богатом, усеянном торговыми лавками — разворачивается кипучая деятельность; его окружают бесчисленные лодки, наполненные товарами и ценностями. Малый мост принадлежит диалектикам, кои прогуливаются по нему, дискутируя. На острове, рядом с королевским дворцом, возвышающимся над городом, виднеется дворец философии, где единолично правит наука — цитадель просвещения и бессмертия.

Даже в жестах, чисто феодальных по духу, города начинают становиться объектом детальных и точных описаний. В «Обри Бургундском» упоминаются богатые фламандские города Аррас, Куртре и Лилль; в «Эоле» — Пуатье и Орлеан с их тавернами и насмешливой чернью; в «Нарбоннах» — Нарбонн со своим заполненным кораблями портом и Париж, «восхитительный город, рассекаемый Сеной с глубокими протоками, где стоят корабли, полные вина, соли и огромных богатств, с возвышающимися многочисленными церквями и колокольнями».

Романы «Круглого стола», или артуровского цикла, проникнутые куртуазным духом, не являются в той степени, что жесты

старого типа, выражением воинственных страстей; они, естественно, оставляют достаточно места городскому элементу, этому новоявленному могущественному бюргерству. В этой связи можно привести в качестве примера поэму о Граале Кретъена де Труа. Герой этого романа Говен прибывает в густонаселенный город, весьма богатый и процветающий. Поэт подробно рассказывает нам о нем: длинные описания города, большинства ремесел, коими в нем занимаются, и торговой части станут для подражателей Кретъена, особенно Рауля де Уденка, написавшего при Филиппе Августе «Отмщение за Рагиделя», почти обязательным общим местом. Кретъен не только долго задерживается на изображении города и его ремесленников, но заставляет горожан принимать определенное участие в действии. Враг Говена поднимает против него коммуны; горожане с мэром и со своими старейшинами осаждают его. Городские магистраты вторгаются в конце концов не только в феодальную поэзию. Они же встречаются и в других поэмах. «Песнь о герцогине Паризе», относящаяся к началу XIII в., выводит на сцену горожан некоего выдуманного города, названного Вовенисом. Они восстают против своего сеньора Реймона, сменившего законную герцогиню Паризу на дурную женщину. Под предводительством своего мэра горожане проникают в мощную башню, находят там лжегерцогиню, вырывают ей волосы, разрывают подол платья и с позором изгоняют из города.

Бюргеры новых городов, которые феодалы и Церковь основывали во всех уголках, дабы заселить свои сеньории, тоже начинают появляться в поэмах времен Филиппа Августа. «Песнь о Рено де Монтобане», где в качестве героев выступают четыре сына Аймона, содержит легендарную версию совершенно реального исторического факта — основания большого нового города Монтобана в 1114 г. графом Тулузским Альфонсом-Журденом. Он стремился при помощи этого сооружения противопоставить консульским республикам Юга, старинным городам, ускользнувшим от его власти, новое бюргерство, наделенное привилегиями, но прямо подчиненное сеньории и эксплуатируемое ее служащими. Это событие стало в середине XII в. сенсацией для горожан. Воображение жонглеров окружило его романтическими деталями: четыре сына Аймона будто бы однажды заметили у слияния Гаронны и Дордони высокий холм; на нем с позволения короля Ионы они возвели крепость, получившую название

Монтобан; вокруг ее стен поселилось восемьсот семей горожан, которые признали четырех героев своими сеньорами и обещались платить им ежегодные подати. И, по словам поэта, эти восемьсот семей впоследствии распределили ремесла:

Сто из сих горожан стали трактирщиками, сто других — булочниками, сотня — перекупщиками и еще сто — рыбаками; была среди них сотня, занявшаяся торговлей вплоть до далекой Индии; наконец, триста остальных поделили между собой прочие занятия. Все больше значат сады и виноградники.

Это фантазия, но фантазия любопытная.

Сцены городской жизни, особенно рыночные, начинают вторгаться и в феодальную эпопею. Они содержатся в «Эоле», а в «Монашестве Гильома» они изображены с удивительной живостью и достоверностью. Вот Гильом отправляется на рынок, чтобы купить рыбы:

Тут рыбаки со всех сторон приспели,
За рясу графа ухватили крепко.
Те гонят чужака, другие держат,
И все горланят кто как разумеет:
«Пошел отсюда!.. Нет, постой маленько!
Ты рыбки хочешь? На, леща отведай!»
Под капюшоном спрятал граф усмешку
И молвил рыбакам: «Господь свидетель,
Меня, друзья, задуйте вы этак»¹⁰.

Поэма «Эрве из Меца» принадлежит к ужасной «Песни о Лотарингцах». Тем не менее в ней рассказывается история некоего дворянина из Меца, который отправляет своего сына заработать средства на шампанских ярмарках. Но молодой рыцарь лучше разбирается в верховой езде, собаках и соколах, нежели в торговле сукном, мехами или драгоценными металлами, и он просто ограничивается растрачиванием отцовских денег в веселой компании. Поэт использует этот полугородской сюжет, чтобы живо описать то, что происходило на рынках Труа, Провена и Ланьи. В поэме присутствует своеобразная смесь героических сцен и картин городской жизни.

Таким образом, мы видим, что даже в феодальной среде начинают сильно интересоваться тем, что поделывают люди в

¹⁰ Пер. Ю. Корнеева. Песни о Гильоме Оранжском. М: Наука. 1985. С. 335

городах. Жонглеры рассказывают о лавочниках и купцах не для того, чтобы показать их жертвами, которых грабит и убивает знать. Города и горожане становятся самостоятельным предметом описания.

Жаль, что для того, чтобы составить представление о городах во времена Филиппа Августа и их материальном положении, в нашем распоряжении нет иных документов, кроме рассказов историков, исторических записок и литературных произведений. Что фактически осталось в этих городах от сооружений тех времен? Несколько фрагментов крепостной стены, вроде той, что мы видим в Париже, и церкви — все остальное исчезло. Нет больше городских домов той эпохи: ведь большая их часть была деревянными, и само собой разумеется, они разрушились, а что касается домов каменных, тогда очень редких, то те, которые можно бы было уверенно датировать концом XII или первыми двумя десятилетиями XIII в., неизвестны; самые древние, бесспорно, восходят не ранее чем к правлению Людовика Святого. Не осталось даже общественных зданий, приемной для горожан, ратуши, которые можно бы было с уверенностью отнести к предшествующей Людовику Святому эпохе, за исключением, возможно, ратуши Сен-Антонена в департаменте Тарн-и-Гаронна.

* * *

В то же самое время, когда исторические и литературные источники времени правления Филиппа Августа в первый раз с начала Средневековья доносят до нас довольно многочисленные и точные сведения о городах — их внешнем облике, материальном состоянии городской жизни — они начинают также сообщать (и это тоже внове) о социальной значимости горожан. До этого времени история почти всегда говорила о населении городов как о безликих сообществах, получивших от сеньора добром или силой хартии о привилегиях и коммунальных вольностях. С конца XII в. они представляются нам более конкретно: в каждом важном центре крупные городские семьи становятся известными по имени, родству и потомству; они часто связаны с сеньориальной властью, вступают в обладание городскими магистратурами и становятся собственниками земли и даже дворянских фьефов; они отправляют высокие должности при дворах феодальных суверенов. Именно

правление Филиппа Августа знаменует приход класса горожан в политическую жизнь.

Перенесемся прежде всего в центр капетингской монархии, в сам Париж. Там в 1190 г. происходит совершенно беспрецедентный случай. Король Франции собирается отправиться в крестовый поход и перед началом великого путешествия составляет политическое завещание, где учреждает регентство и регламентирует осуществление публичной власти. Официально регентство возложено на указанных в акте лиц королевской крови: это королева-мать Аделаида Шампанская, дядя Филиппа Августа, архиепископ Реймский Гийом Шампанский. Но из самих выражений документа 1190 г. следует, что король облек регентов весьма ограниченной властью и дал им в качестве соправителей, даже, можно сказать, контролеров, совет из дворцовых должностных лиц, монахов и шести парижских горожан. Степень участия этих бюргеров в делах значительна: именно им поручена во время отсутствия короля охрана казны и даже королевской печати; у каждого из них будет ключ от сундуков, стоящих в Тампле; в случае, если король умрет во время паломничества, для нужд наследника, принца Людовика, выделяется определенная сумма, хранение которой поручается не только шести горожанам, но «всему народу Парижа». Таким образом, Филипп Август дает представителям парижского бюргерства власть над финансами и общей администрацией королевства.

Нам известны имена этих горожан, впервые в истории Франции принявших участие в государственном управлении. Они совершенно простонародны: Тибо Богатый, Отон Мятеежник, Эбруэн Меняла, Робер из Шартра, Бодуэн Брюно, Николя Буассо. В течение восемнадцати месяцев, пока Филипп Август оставался на Востоке, от имени регентского совета было разослано определенное число королевских грамот; они скреплены специальной печатью, и в них встречаются формулы вроде следующей: «В присутствии наших горожан», «по свидетельству наших горожан». И эти горожане указаны — ими являются, помимо шести названных, другие именитые лица или члены их семей: Жан, сын Эбруэна, Матье Малый, Эбруэн, сын Рембо. Так что воля Филиппа Августа в данном случае была действительно выполнена и парижское бюргерство реально приняло участие в регентстве, что доселе было невиданным делом. И — вещь еще более примечательная — Филипп Август пожелал, чтобы во время его

отсутствия во всех городах домена, а не только в Париже, представители горожан были бы приобщены к власти, осуществляемой его должностными лицами, ибо в другой статье завещания 1190 г. говорится, что во всех королевских превоствах каждый прево может решать дела города, подчиненного его юрисдикции, только вместе с четырьмя горожанами, из которых по крайней мере два избраны им в своем бурге.

Однако это участие горожан в центральном управлении и местной администрации было лишь иллюзией: когда Филипп Август вернулся во Францию, он снова целиком и полностью взял власть в свои руки. Но подобный знак доверия к жителям городов оставил в их памяти признательное воспоминание, и следы пребывания их у власти не исчезли — завязались отношения, выработались привычки управлять; союз, заключенный между королевской властью и городским населением, пережил частное обстоятельство, его породившее. После 1190 г. горожане снова появляются в окружении суверена, а один из предводителей парижских горожан, Эд Аррод, исполняет при дворе должность хлебодара. Его имя много раз фигурирует в королевских грамотах: в 1211 г. Филипп Август дарует ему два дома в Париже, а в 1217 г. отдает ему же многочисленные участки для рыболовства на Сене, близ Большого и Малого мостов. Этот человек явно является одним из доверенных лиц короля. В 1219 г. Николя Аррод вступает с другим горожанином, Филиппом Амеленом, членом его семьи, во владение парижским превоством.

То же самое происходит во всех сеньориях. Графы Шампанские с конца XII в. принимают горожан своего фьефа в качестве сержантов, прево, бальи; они допускают их в свой совет, суд, то есть в центральную администрацию. Достаточно назвать Ламбера Бушю из Бар-сюр-Об. Сей Ламбер Бушю занимал с 1200 по 1225 гг. одну из важных должностей при графе Шампанском: он стал казначеем графства. Его видят при шампанском дворе уже с 1195 г. Использовали его по-разному — как судью, арбитра, специалиста, которому поручались дипломатические миссии. В 1224 г., когда граф Шампанский отбыл с Людовиком VIII в поход на Сентонж, этот горожанин из Бар-сюр-Об, по-видимому, выполнял функции наместника Шампани на время отсутствия суверена.

Если городская аристократия начинает занимать видное место в советах королевства и феодальной знати, то тем более она

возвышается в своей среде, в городах. Здесь она обладает муниципальными правами, и мы часто видим, как на Севере, так и на Юге, что городские магистратуры становятся монополией одних и тех же семейств. Так начинаются буржуазные династии.

В Руане с 1177 г. это семья Ферганов, завладевшая главной должностью в коммуне — должностью мэра. И этот мэр уже лицо значительное. Его имя встречается во многих хартиях плантагенетских королей рядом с именем королевского канцлера и судьи, с именами «пэров», то есть муниципальных советников коммуны, числом в сто человек: Николя Груане, Гийома Кавалье, Люка де Донжона, Гийома Малого, Николя из Дьеппа и др. Многие из этих руанских горожан стали мэрами после Фергана в первые двадцать лет XIII в., и в списке этих мэров появляются другие имена, также простонародные — Жан Фессар (1186 г.), Матье Толстый (1195–1200), Сильвестр Меняля (1208–1209), Николя Пигаш (1219–1220).

В Ла-Рошели выдвигаются богатые бюргерские семьи Оффре и Фуше. Александр Оффре основывает в 1203 г. знаменитый дом для раздачи милостыни в Ла-Рошели, а Пьер Фуше в своем завещании, составленном до 1215 г., передает, совсем как знатный сеньор, значительное состояние аббатству Фонтевро. Он друг Алиеноры Аквитанской: в 1209 г. она «отдает» этого Пьера Фуше, своего горожанина, коего она называет «дорогим и верным нашим человеком», монахиням Фонтевро, то есть передает аббатству доходы, получаемые ею от Фуше.

В Бордо большие семьи Коломбов, Кало, Монеде, Беге оспаривают в течение всего XIII в. высокие должности в коммуне. Гийом Арамон Коломб уже в 1220 г. был мэром. Но документы сообщают нам о еще более ранних мэрах: Пьере Андроне в 1218 г. и Пьере Ламбере в 1208. Сей Пьер Ламбер известен только по одной, но довольно любопытной хартии. В 1208 г. кастильский король, враг Иоанна Безземельного и союзник Филиппа Августа, осадил Бордо. Бордосцам, чтобы защищаться, пришлось самим разрушить несколько церквей и лазаретов, принадлежавших приорству святого Иакова Бордоского. Дабы возместить монахам ущерб, мэр Пьер Ламбер пожаловал им хартию, изданную от его имени и имени коммуны, по которой разрешал строить им на определенных каналах столько домов, сколько им угодно, при условии не жаловать их, не продавать и не сдавать никому. И хартия начинается так: «От Пьера Ламбера, мэра Бордо,

присяжных и всей коммуны Бордо всем тем, кто прочтет настоящую хартию, привет».

В это же время крупные судовладельцы из Байонны — Дардиры и из Марсея — Мандюэли, имена которых появляются во многих актах, относящихся к торговле или общественным работам провансальской области, становятся со своими деньгами могущественными персонами, которые говорят почти на равных со знатными баронами и прелатами. Когда эти богатые бюргерские семьи становятся во главе вольного города, коммуны или полностью независимого города-республики, их гордость переходит все границы. Они образуют у себя настоящую сеньорию, включаясь в феодальную иерархию и считая себя равными суверенным баронам. И в самом деле, становясь хозяевами муниципальной земли, они пользуются всеми привилегиями, связанными с суверенитетом: у них есть законодательная власть, право юрисдикции или издания указов, судебная, гражданская и уголовная власть, право облагать город налогами; как и у сеньоров, у них своя печать, дозорная башня, играющая роль их донжона, укрепления, за которыми следят, виселицы и позорные столбы как символ высшей юрисдикции. Такая республика, как Авиньон, в своем договоре, заключенном с Сен-Жилем в 1208 г., гордо провозглашает, что «зависит только от Бога». Она присваивает себе полную автономию, право заключать мир и объявлять войну, и худо будет тому, кто навлечет на себя гнев этих бюргеров: захватив в засаде своего врага, барона Гийома де Бо, авиньонцы содрали с него кожу и порубили тело на куски.

Бюргерство того времени добилось своего места не только в административных и судебных органах и в политическом управлении. Оно начинает выдвигаться и как военная сила, как составная часть королевского и сеньориального войска. Впервые историографы с некоторыми подробностями говорят о городском ополчении, с похвалой отзываясь о нем, что также ново. Гийом Бретонец рассказывает, как король Генрих II Английский, захватив в 1188 г. Вексен, попытался взять и город Мант. К великому изумлению англичан, горожане вышли из стен своего города при полном вооружении и двинулись в полном порядке на врага, да так, что последний, заподозрив ловушку, отступил. И хронист вкладывает в уста Генриха следующие слова:

Что за безумцы эти французы и откуда идет сия дерзость? Это маленькое население Манта, насчитывающее едва ли пять тысяч человек, осмеливается мериться силами с бесчисленным войском моих рыцарей! Эти люди, коим скорее пристало бы забиться в погреб и запереться за своими дверьми, шагают на нас с обнаженными мечами!

Феодальный мир настолько не привык к подобной отваге простолюдина, что Гийом Бретонец считает себя обязанным посвятить тираду из пятнадцати стихов прославлению в лирическом тоне подвига мантской коммуны:

О коммуна, кто смог бы достойно воздать тебе похвалу? Какой триумф для тебя — заставить короля Англии тут же отступить, даже не осмелясь взглянуть тебе в лицо! Если бы мой поэтический талант оказался на высоте сюжета, твоя храбрость стала бы известной всему свету. Если только моим стихам окажут хоть какое-то доверие, твое имя навечно останется на устах наших внуков, и слава твоя будет воспета самым отдаленным потомством!

Тот же автор упоминает коммуны, используемые не только в качестве крепостей, способных остановить продвижение вторгшегося войска, но и посылающие свое ополчение дальше; например, оно действовало совместно с рыцарями Филиппа Августа в битве при Бувине. Однако относительно смысла этого отрывка у Гийома, хотя и предельно ясного, долго заблуждались. Общественному мнению, которое трудно переубедить, хотелось, чтобы ополчение Корби, Амьена, Бове, Компьеня, Арраса самым решительным образом повлияло на победный исход сражения, в то время как в действительности жители коммуны появились в битве лишь затем, чтобы их отбросила и растоптала немецкая конница. Коммунальные ополчения никогда не оказывали большой помощи войску, даже королям и сеньорам, которые их использовали: кавалерия, как мы уже говорили, не считалась с пехотой и скакала по ее телам, чтобы скорее схватиться с врагом. Именно коммуны сами по себе, рассматриваемые как надежные крепости, как элемент обороны, были по-настоящему полезны суверенам, от которых они зависели.

* * *

Приход к публичным должностям простолюдина, его вторжение в политику, дела и даже в военную среду вызвали проклятия и гневные отповеди феодальных поэтов. Ему не прощали выхода из своего сословия: все эти выскочки могут только предавать, и горе тому, кто их использует! «Ах, Господи, до чего же плохо поступил, — читаем в «Жираре Руссильонском», — добрый воин, который из сына простолюдина сделал рыцаря, а потом — своего сенешаля и советника, как поступил граф Жирар с этим Ришье, которому он дал жену и много земли, а тот потом предал Руссильон Карлу Гордому». Граф Ричард, герой «Песни о Коршуне» (авантюрного романа, написанного до 1204 г.), получает секретное послание императора, касающееся простолюдинов. Император признается, что он больше не властитель империи и не смеет без страха переехать из одного города в другой. Он был неправ, доверяясь своим сервам и возвысив их; ныне же они захватили его замки, города и леса. В заключение он умоляет Ричарда принять должность коннетабля и прийти к нему на помощь. Граф отправляется во Францию за самыми храбрыми рыцарями и по истечении полутора лет освобождает императорскую землю ото всех простолюдинов, занявших замки. Мораль: «Пусть никогда не войдет в ваше сердце ни один серв настолько, чтобы вы сделали его бальи. Ибо благородный человек будет опозорен и побежден, если сделает простолюдина своим хозяином. Да разве может простолюдин стать благородным и свободным?».

Таково мнение феодалов о выскочках-горожанах. Оно выражено совершенно ясно и в другой поэме, написанной в начале XIII в. — «Романе о Розе» или «Гийоме Дольском». Основным персонажем поэмы является германский император по имени Конрад. Этому императора обожает вся знать, «потому что он не принадлежит к числу тех королей или баронов, которые ныне дают своим слугам ренты и превотства на откуп», рискуя увидеть свои земли «погибшими», всех «униженными» и себя самих опозоренными. Этот же император Конрад, мудрый человек, набирает своих бальи среди вассалов, то есть низшей знати, любящей Бога и боящейся позора. Что же до крестьян и горожан, то он позволяет им обогащаться, хорошо зная, что их деньги станут его деньгами и он сможет, когда пожелает, отобрать их в свою казну. И подобная система превосходна! Нет ярмарки,

на которой купцы не покупали бы коня для императора — их подарки стоят больше, чем вносимые ими налоги. Органы правопорядка его королевства настолько совершенны, что «купцы могут проезжать по нему с такой же безопасностью, как через монастырь».

Вот тот социальный порядок, о котором мечтают феодальные поэты: благородные остаются при всех должностях, а бюргеры сидят в своих городах, где им позволено наживать состояние, чтобы им воспользовался сеньор. Что же доказывают эти два любопытных отрывка, выбранных среди множества других, им подобных? А то, что в эпоху, о которой идет речь, подъем бюргерства, использование горожан во всевозможной общественной деятельности начинало всерьез беспокоить знать и воинов, которым приходилось склоняться перед простолюдинами, когда те оказывались облеченными публичной властью. Но феодалам нечего было делать; тщетно они сопротивлялись этой волне — она вышла из берегов, и жонглеры волей-неволей вводили в свои сюжеты песен ненавистных и презираемых ими горожан.

Почитаем, например, вот эту часть героической поэмы о Лотарингцах, героем которой является Ансе, сын Жербера. Автор поэмы выводит на сцену графа Эрно, видящего, что вот-вот умрет, и желающего отомстить своим сыновьям, его предавшим. Он велит позвать к себе мэра Бордо:

Он велел послать за мэром Уденом и собрать городских старейшин. «Уден, добрый мой господин, — говорит ему граф, — вы должны остерегаться разных злодеяний против Бордо на море. Злодеев вам поручается наказать. Тех, кто чинит зло, следует убить. Так что прошу вас, во имя любви, приказать, чтобы меня избавили от моих сыновей». Уден отвечает: «Успокойтесь, сир. Мы не собираемся у вас ничего охранять, и вы не можете никому приказать».

И он объясняет этот гордый ответ, напоминая графу, что является вассалом не его, а короля. Тон, которым этот горожанин разговаривает со знатным сеньором, показателен, и любопытно отметить, что автор поэмы, писавший, по всей вероятности, в первой половине XIII в., утверждает, что коммуна Бордо зависит от королевства, а не от сеньориальной власти.

В этих феодальных поэмах, занимая некоторое место, появляется и городское ополчение. Правда, часто о нем упоминают в

насмешку, чтобы выставить горожан трусами. В начале «Песни о Жираре Руссильонском» поэт изображает горожан Руссильона, которым граф Жирар поручил охранять городские укрепления, осажденные королем Карлом. Но едва наступает ночь, как вся эта местная гвардия, рассудив, что лучше отправиться спать, оставляет свои посты. И предатель тотчас же пользуется этим малодушием простолюдинов, чтобы указать неохраемые места осаждающим крепость. Однако в конце поэмы этих горожан представляют нам в более благоприятном свете; они плачут от радости, узнав, что Жирар вернулся из изгнания, и храбро помогают в борьбе, которую ему приходится вести за свое наследство.

В конечном счете феодальный поэт невольно представляет нам не всех простолюдинов неприятными и смешными. Среди них есть и такие, что достигнут рыцарского достоинства, как Риго в «Гарене», один из героев эпопеи, который сражается как лев и даже оказывает сопротивление французскому королю. И все-таки, как мы видели, Риго в некотором отношении остается комичным. У других персонажей, таких, как Симон в «Берте Большеногой» или Давид в «Детстве Карла Великого», комическое начало исчезает. Поэты наконец начинают воспринимать положительно людей низкого происхождения: поэма о Дореле и Бетоне прославляет простого жонглера, а в поэме об Ами и Амиле два серва достойным восхищения образом доказывают свою преданность хозяину.

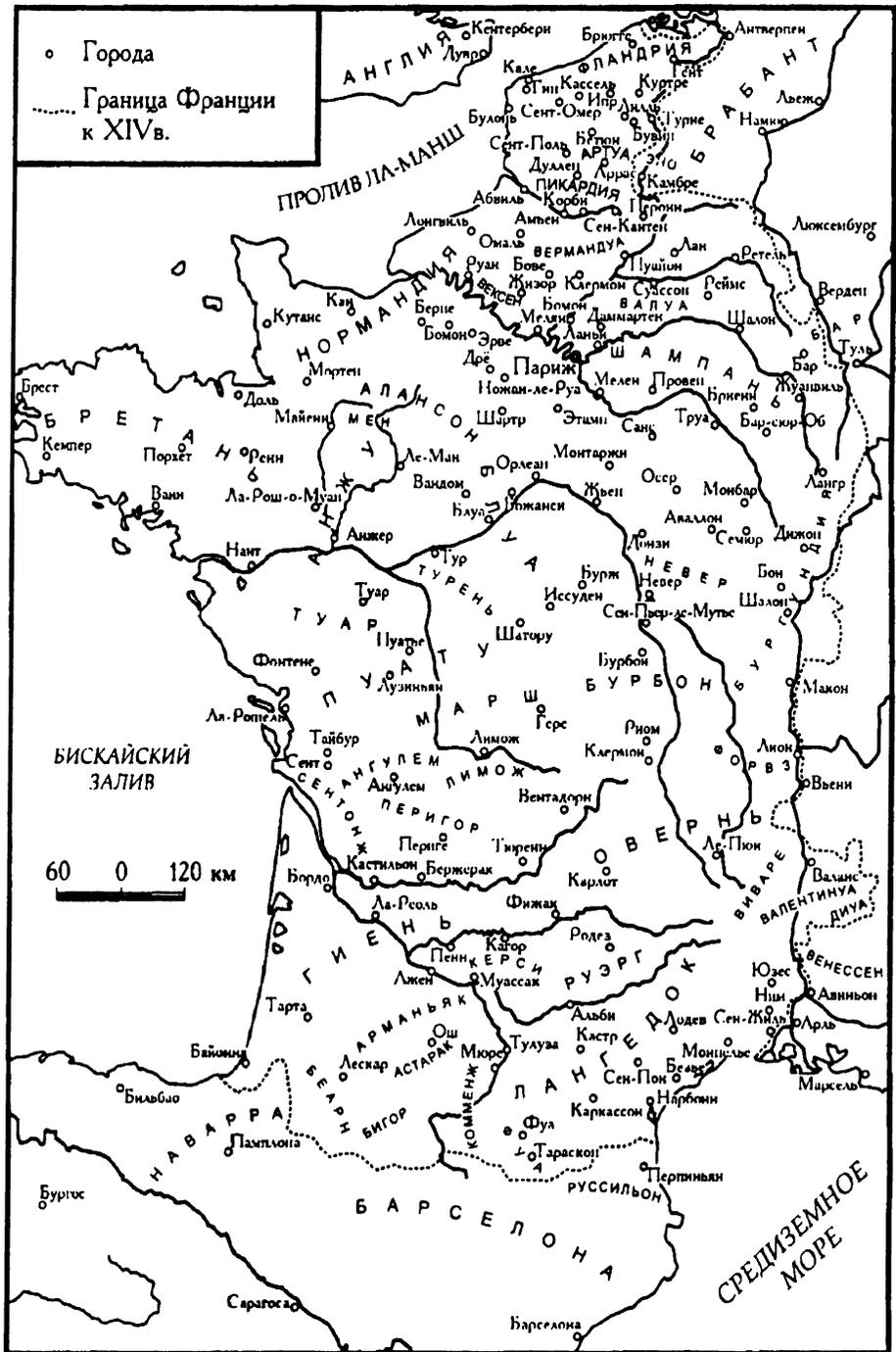
Бюргерство возвышается и день ото дня занимает все более значительное место в обществе.

СПИСОК ЗЕМЕЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО КОРОЛЕВСТВА

Аженуа (граф.)	Вексен	Граф. Пардиак
Алансон (граф.)	Виваре	Граф. Пентьевр
Альбижуа	Граф. Водемон	Граф. Перигор
Сеньория Альбре	Герц. Гиень	Граф. Перш
Викон. Амьен	Викон. Дакс	Пикардия
Граф. Ангулем	Диуа	Граф. Понтъё
Граф. Анжу	Дофине	Граф. Пуату
Арманьяк	Дюнуа	Сеньория Рец
Граф. Артуа	Жеводан	Викон. Роган
Граф. Астарак	Иль-де-Франс	Граф. Родез
Граф. Базаде	Сеньория Каркассон	Граф. Руссильон
Бассиньи	Керси	Граф. Руэрг
Викон. Безье	Граф. Комменж	Граф. Сансерр
Граф. Блуа	Граф. Конфлан	Граф. Сен-Поль
Граф. Булонь	Сеньория Куртене	Сентонж
Викон. Беарн	Лангедок	Сеньория Тальмон
Граф. Бигорр	Викон. Леон	Викон. Тарта
Викон. Блайя	Викон. Лимож	Граф. Тоннерр
Сеньория Божоле	Граф. Лионне	Викон. Туар
Сеньория Бокер	Викон. Ломань	Граф. Тулуза
Герц. Бретань	Лотарингия	Граф. Турень
Бресс	Сеньория Лузиньян	Викон. Тюренн
Граф. Бри	Викон. Марсан	Викон. Тюрсан
Герц. Бурбон	Граф. Марш	Граф. Фландрия
Герц. Бургундия	Граф. Мен	Граф. Форе
Граф. Бургундия	Граф. Могио	Граф. Фуа
Викон. Бурж	Сеньория Монтегю	Граф. Шалон
Капталат Бюш	Граф. Мортен	Граф. Шампань
Граф. Валентинуа	Викон. Мюра	Граф. Шартр
Граф. Валуа	Граф. Невер	Сеньория Шатору
Граф. Вандом	Герц. Нормандия	Граф. Э
Граф. Веле	Граф. Овернь	Эльзас
Граф. Венессен	Викон. Онис	Граф. Эно
Граф. Вентадорн	Граф. Осер	Викон. Юзес
Граф. Вермандуа		

○ Города

----- Граница Франции к XIV в.



СОДЕРЖАНИЕ

От издательства	5
ГЛАВА I. Материальное и нравственное состояние общества.....	7
ГЛАВА II. Приходы и приходские священники	41
ГЛАВА III. Студент	65
ГЛАВА IV. Каноник	103
ГЛАВА V. Епископ.....	137
ГЛАВА VI. Дух монашества	170
ГЛАВА VII. Монашеская жизнь	201
ГЛАВА VIII. Жестокий и разбойный феодальный мир	235
ГЛАВА IX. Знать в мирное время.....	289
ГЛАВА X. Сеньориальный бюджет рыцарства	307
ГЛАВА XI. Владелица замка.....	332
ГЛАВА XII. Куртуазная культура и куртуазная знать	354
ГЛАВА XIII. Крестьяне и горожане	361
Список земель Французского королевства	407
Карта Французского королевства	408

Ашиль Люшер
Французское общество
времен
Филиппа Августа

Научное издание

Директор издательства *Чубарь В. В.*
Главный редактор *Трофимов В. Ю.*
Корректор *Романова М. В.*
Дизайн макета *Шуктомова Н. А.*

ООО «Издательство „Евразия“»
197110, Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 2, лит. А, пом. 3-Н

Подписано в печать 31.10.17
Усл.-печ. 25,75. Формат 60x90 1/16, Гарнитура «PT Serif»,
Тираж 1000 экз. Печать офсетная.
Заказ №

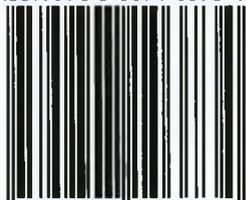
Отпечатано в Публичном акционерном обществе
«Т8 Издательские Технологии»
109316 Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5
Тел.: 8 (499)322-38-30



Время правления французского короля Филиппа Августа (1180-1223) историки часто называют «временем перемен». Франция переживает период стремительного подъема, как политического, так и социально-экономического: зарождается монархия, основанная на сильной и авторитетной королевской власти. За фасадом этих политических событий меняется и общество, разрываемое противоречиями — верностью старым устоям и новыми веяниями: по всей Франции растут города, горожане заявляют свои претензии на самоуправление, знать с оружием в руках отстаивает свои привилегии и пытается сдерживать горожан и крестьян под своим контролем. Яркий и буйный мир Средневековья в деталях выведен на страницах классика французской медиевистики Ашиля Люшера.

Для широкого круга читателей.

ISBN 978-5-8071-0373-4



9 785807 103734